

Н. К. Гудзий

Литература  
**К**ИЕВСКОЙ  
**Р**УСИ  
и украинско-  
русское  
литературное  
единение  
XVI – XVII  
веков

Н. К. ГУДЗИЙ



АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР  
ИНСТИТУТ ЛИТЕРАТУРЫ им. Т. Г. ШЕВЧЕНКО

*Н. К. Гудзий*

---

Литература  
**КИЕВСКОЙ**  
**РУСИ**  
и украинско-  
русское  
литературное  
единение  
XVII – XVIII  
ВЕКОВ

КИЕВ  
НАУКОВА ДУМКА  
1989

ББК 84Р1  
Г93

Ответственный редактор  
А. В. МИШАНИЧ

Утверждено к печати ученым советом  
Института литературы им. Т. Г. Шевченко АН УССР

Редакция литературоведения и искусствоведения

Редактор *С. А. Онисенко*

### Гудзий Н. К.

Г93 Литература Киевской Руси и украинско-русское литературное единение XVII—XVIII вв. / АН УССР. Ин-т лит. им. Т. Г. Шевченко. Отв. ред. А. В. Мишанич.— Киев: Наук. думка, 1989.—376 с.

ISBN 5-12-000701-5 (в пер.): 4 р. 10 к., 1920 экз.

В книгу входят фундаментальные труды известного русского и украинского литературоведа, академика АН УССР Н. К. Гудзья (1887—1965) о литературе Киевской Руси в ее связях с другими славянскими литературами, о «Слове о полку Игореве», об украинско-русском литературном единении XVII—XVIII вв., которые не утратили своего научного значения и являются основой дальнейших исследований истории древних русской и украинской литератур.

Для литературоведов, преподавателей, аспирантов, студентов и широкого круга читателей.

Г  $\frac{4603000000-137}{M221(04)-89}$  513-89

ББК 84Р1

ISBN 5-12-000701-5

© Издательство «Наукова думка», 1989

## НИКОЛАЙ КАЛЛИНИКОВИЧ ГУДЗИЙ (1887—1965)

Николай Каллиникович Гудзий — выдающийся русский и украинский филолог-литературовед, один из основоположников советской филологической науки. Творческий путь его длился более полувека. Перу Гудзия принадлежит свыше 400 работ по истории украинской и русской литератур, среди которых — фундаментальные исследования литературы Киевской Руси, древних русской и украинской литератур, украинско-русских литературных связей XVI—XVIII вв. Он первым начал исследовать древние украинскую и русскую литературы в их международных связях, в широком контексте других славянских и неславянских литератур того времени, раскрыл международное значение литературы Киевской Руси. Кроме того, в истории отечественного литературоведения Н. К. Гудзий был одним из крупнейших знатоков и исследователей «Слова о полку Игореве». Его многочисленные труды о «Слове» не утратили своей актуальности и сегодня, они занимают почетное место в советском «слововедении».

Н. К. Гудзий глубоко исследовал украинскую литературу и украинско-русские литературные взаимосвязи на переломе двух эпох, в переходный период от древней литературы к новой. Он первым раскрыл значение творчества Феофана Прокоповича в истории украинской и русской литератур первой половины XVIII в., обосновал феномен жанра украинских интермедий XVII—XVIII вв., показал влияние русской трагестийной поэмы XVIII в. на «Энеиду» И. Котляревского.

Труды Н. К. Гудзия — пример высокой культуры филологического анализа, четкой профессиональной и гражданской позиции в отстаивании истинности своих научных положений.

Высоко оценивая большую научную и общественную работу Н. К. Гудзия, акад. А. И. Белецкий подчеркивал, что, «усвоив лучшие традиции дооктябрьской филологичес-

кой науки и не остановившись на них, глубоко осмыслив огромные возможности, открытые для гуманитарных наук марксистско-ленинской методологией, Н. К. Гудзий вырос в ученого, которым по праву гордится русская и украинская наука»<sup>1</sup>.

Творческий путь Н. К. Гудзика типичен для представителей той дореволюционной интеллигенции, которая получила высшее образование благодаря незаурядным способностям и уже в начале своей научной и педагогической деятельности активно включилась в строительство новой советской высшей школы и науки.

Родился Н. К. Гудзий 4 мая (21 апреля по ст. ст.) 1887 г. в г. Могилеве-Подольском в семье мелкого чиновника, вышедшего из крестьян. Сначала он учился в реальном училище, затем экстерном окончил гимназию и в 1907 г. поступил на славяно-русское отделение историко-филологического факультета Киевского университета. В этом году в университете начал свою работу Семинарий русской филологии проф. В. Н. Перетца и Н. К. Гудзий активно включился в его работу. На третьем курсе, в 1910 г., он печатает свою первую научную работу — статью «Прение живота и смерти» и новый украинский его список». Уже в студенческие годы определяется круг научных интересов Н. К. Гудзика — древние украинская и русская литературы.

В 1911 г. Н. К. Гудзий окончил Киевский университет и был оставлен в нем для подготовки к профессорскому званию. Его конкурсная работа «Żywoty świętych» Петра Скарги в Юго-Западной Руси XVI—XVIII вв.» отмечена золотой медалью и в 1917 г. издана отдельной книгой. В 1912 г. будущий ученый выступил с обстоятельной рецензией на фундаментальное издание Ивана Франко «Пам'ятки українсько-руської мови і літератури. Апокрифи і легенди з українських рукописів. Т. VI. Легенди про святих» (Львов, 1910). Одновременно с древней литературой Н. К. Гудзий исследует и ряд проблем русской литературы конца XVIII—XIX вв., публикует статьи о А. Сумарокове, А. Пушкине, Н. Гоголе и др.

После сдачи в 1914 г. магистерских экзаменов Н. К. Гудзий начал преподавать в Киевском университете. В 1918 г. он переходит в Таврический университет (г. Симферополь), а с 1922 г. становится профессором Московского университета и других московских вузов — Института красной профессуры, Московского института истории, философии и ли-

---

<sup>1</sup> *Білецький О. І.* Микола Каленикович Гудзій (до 70-річчя з дня народження) // Рад. літературознавство.— 1957.— № 3.— С. 36—37.

тературы им. Н. Г. Чернышевского, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 1938—1947 гг. Н. К. Гудзий руководил отделом древней русской литературы и литературы XVIII века в Институте мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР. В Институте литературы им. Т. Г. Шевченко АН УССР в 1957—63 гг. ученый руководил отделом древней украинской литературы.

Умер Н. К. Гудзий 29 октября 1965 г. в Москве.

Н. К. Гудзий — ученый широкого профиля, однако у него были любимые темы, к которым он неоднократно возвращался на протяжении всей литературной деятельности. В древней литературе — это «Слово о полку Игореве» и международные литературные связи Киевской Руси, в новой — творчество А. Пушкина и Л. Толстого, украинско-русские литературные взаимосвязи.

В 20—30-х гг. Н. К. Гудзий уделял большое внимание исследованию русской литературы XIX — начала XX в., опубликовал ряд работ о творчестве декабристов, А. Пушкина, Ф. Тютчева, В. Брюсова, русских символистов. В центре его внимания — творчество Л. Толстого. Кроме публикации ряда интересных статей об этом писателе, Н. К. Гудзий участвует в издании академического Полного собрания сочинений Л. Толстого в 90 томах. Он лично подготовил к печати 10 томов, в которые вошли такие произведения, как «Анна Каренина», «Воскресение», «Крейцеров соната», «Власть тьмы», «Плоды просвещения» и др. Увлечение творчеством Л. Толстого вылилось в книги «Как работал Толстой» (1936) и «Лев Толстой» (1949). Последняя издавалась несколько раз, переиздавалась и переведена на украинский, армянский, польский, чешский, словацкий, китайский, японский и венгерский языки.

Но все же главное внимание Гудзий уделял древней литературе. Сформировавшись как ученый-медиевист еще в дореволюционное время, он глубоко освоил достижения отечественного академического литературоведения. Лучшие традиции дореволюционной филологической науки, закрепленные работой в Семинарии русской филологии В. Н. Перетца, молодой ученый перенес и в советское литературоведение, совмещая их с марксистским пониманием литературного процесса. Этой школе были свойственны глубокое освоение фактического материала, профессиональная критика текста, широкие литературные сопоставления, высокая культура и четкость научного изложения. Значительны достижения этой школы в издании древних текстов, подготовка которых до сих пор остается образцовой. Н. К. Гудзий, как и его учитель В. Н. Перетц, не гнушался работы «на

черном дворе науки», разыскивал и публиковал неизвестные еще тексты, проводил текстологические исследования, комментирование материала, никогда не поддавался влияниям модных течений. Памятники древней литературы он приближал к нашему времени, оценивал их, исходя из того, насколько эти произведения могут послужить дню сегодняшнему своим идейным и эстетическим уровнем.

В послевоенные годы Н. К. Гудзий осуществлял большую работу по освоению советским литературоведением достижений академической науки XIX в., выступил с публикациями о выдающихся филологах прошлого — Ф. Буслаеве, А. Веселовском, Н. Тихонравове. Он возглавил «Комиссию по истории филологических наук» при АН СССР, деятельность которой способствовала публикации научного наследия таких выдающихся филологов, как М. Н. Сперанский, В. Н. Перетц, М. К. Азадовский, И. П. Еремин. Одной из последних работ ученого была статья «Памяти учителя», опубликованная уже посмертно. В ней Н. К. Гудзий с большим пиететом говорил о своем учителе В. Н. Перетце, высоко оценивал его научную и педагогическую деятельность.

Начав свой научный путь с трудов по древней литературе, Н. К. Гудзий до конца жизни исследовал древние русскую и украинскую литературы. Он стал одним из ведущих ученых в этой области.

В 1934 г. в издательстве «Academia» вышла книга «Жизне протопопа Аввакума, им самим написанное и другие сочинения его», подготовку к изданию которой осуществил Н. К. Гудзий. Ему же принадлежит комментарий текста и вступительная статья. Это было первое советское издание произведений выдающегося русского писателя XVII в. Во вступительной статье «Протопоп Аввакум как писатель и как культурно-историческое явление» Н. К. Гудзий глубоко проанализировал литературные достоинства произведений Аввакума на фоне исторической и духовной жизни того времени.

Значительным событием в культурной жизни страны был выход в свет «Хрестоматии по древней русской литературе XI—XVII вв.» (1935) и «Истории древней русской литературы» (1938) Н. К. Гудзия, которые фактически стали первыми советскими учебниками по древней русской литературе. Они выдержали по семь изданий и принесли их автору заслуженное признание и международный авторитет. И ныне они используются в высшей школе нашей страны и за рубежом, высоко ценятся специалистами благодаря своей полноте, научности и объективности. В сравнении со своими дореволюционными предшественниками

Н. К. Гудзий пошел далеко вперед, разработал новую, марксистскую концепцию древней русской литературы, сосредоточив главное внимание на идейно-эстетической ценности памятников древней литературы, прогрессивности высказанных в них идей, преобладании светского начала над церковным.

Акад. А. И. Белецкий отмечал, что курс истории древней русской литературы Н. К. Гудзия — это «синтез многолетней работы русских, украинских, зарубежных ученых по изучению древнерусского литературного наследия от так называемой литературы Киевской Руси до XVIII века включительно», это «совершенно новая ... концепция литературного процесса древней Руси», «синтез работы дооктябрьских и советских литературоведов»<sup>2</sup>.

Н. К. Гудзий — один из ведущих советских знатоков и исследователей «Слова о полку Игореве». В 1938 г. он выступил инициатором празднования 750-летия создания «Слова о полку Игореве», принял горячее участие в проведении юбилейных мероприятий. Ему принадлежит научное издание текста «Слова», перевод его на русский язык, научный комментарий и около тридцати статей о «Слове», которые создавались на протяжении полувека. Еще в 1914 г. ученый опубликовал первую большую работу «Литература «Слова о полку Игореве» за последние двадцатилетие (1894—1913). Критико-библиографический обзор». После этого не было почти ни одной работы о «Слове» или издания «Слова», к которым бы не был причастен Н. К. Гудзий. В 1938—1940 гг., к юбилею «Слова», он опубликовал десятки научно-популярных статей, в которых популяризировал этот величественный памятник древнерусской литературы. Но наряду с этим он провел целый ряд фундаментальных научных исследований, которые и ныне не утратили своего значения и являются заметным вкладом в науку о «Слове». Результатом впервые проведенного исследования процесса работы Пушкина над «Словом о полку Игореве» явилась статья «Пушкин в работе над «Словом о полку Игореве».

Подытоживая во многих исследованиях выводы и наблюдения своих предшественников о «Слове о полку Игореве», Н. К. Гудзий одновременно сам глубоко изучил целый ряд проблем, поставленных перед наукой о «Слове». Он исследовал реальную основу, на которой написано «Слово о полку Игореве», раскрыл его историческое содержание («Слово о полку Игореве» и его историческая почва), проследил связи с древнерусской литературной традицией и

<sup>2</sup> Там же. — С. 33—34.



поэтической культурой («Слово о полку Игореве» и древнерусская литературная традиция», «Слово» и древнерусская поэтическая культура»).

Н. К. Гудзий написал несколько предисловий к изданиям «Слова о полку Игореве» (Москва, 1938; Петрозаводск, 1940; Москва, 1955). Одним из наиболее содержательных предисловий является вступительная статья к украинскому изданию «Слово о полку Игоревім», которое вышло в 1955 г. в серии «Бібліотека поета». В этой статье ученый не только дал блестящую общую характеристику произведения, но и осветил тему «Слово о полку Игореве» и украинская литература», проанализировал и оценил почти все украинские поэтические переводы и перепевы «Слова».

Много сил и таланта отдал Н. К. Гудзий борьбе со скептиками, которые отрицали подлинность, оригинальность «Слова о полку Игореве» и стремились доказать, что это произведение не XII, а XVIII в., написанное по образцу «Задонщины». Начиная с 1946 г., он опубликовал ряд статей, направленных на развенчание псевдонаучной концепции французского слависта А. Мазона, который в своей книге «Слово о полку Игореве», изданной в Париже в 1940 г. на французском языке, подверг сомнению автентичность «Слова» и доказывал, что «Слово» — это памятник XVIII в. Советская филологическая наука убедительно опровергла все аргументы как зарубежных скептиков, так и отечественных их последователей, и неопровержимо доказала, что «Слово о полку Игореве» — оригинальный памятник древнерусской литературы конца XII в. Огромная заслуга в этой полемике принадлежит Н. К. Гудзию. Итогом его многолетней работы над проблемой оригинальности и подлинности «Слова» явилась статья «По поводу ревизии подлинности «Слова о полку Игореве», напечатанная в 1962 г. в сборнике «Слово о полку Игореве» — памятник XII века». Она отличается высоким научным и теоретическим уровнем, убедительностью аргументации, последовательной логикой фактов, высоко оценена специалистами во всем мире.

В процессе всестороннего изучения текста «Слова», его композиции и образов, судьбы напечатанного в 1800 г. текста Н. К. Гудзий сделал немало ценных наблюдений и выводов, которые ныне разрабатываются филологами. Он определил состав «золотого слова» Святослава, в котором выражена основная идея произведения («О составе «золотого слова» Святослава в «Слове о полку Игореве»). Ученый бережно относился к тексту «Слова», что проявилось, например, в таком эпизоде: на основе детального изучения

каждой фразы он пришел к выводу, что в процессе переписывания первых страниц текста произошла путаница и поэтому предложил композиционную перестановку в начале произведения («О перестановке в начале текста «Слова о полку Игореве»). Большинство «слововедов» приняло такую перестановку, хотя, разумеется, и она требует дальнейшего исследования и уточнения.

Работы Н. К. Гудзия о «Слове о полку Игореве» отличаются безупречным знанием первоисточников, историографии вопроса, свежестью и новизной мысли, убедительностью аргументации. Они являются одними из основополагающих в советском «слововедении», на них опираются современные исследователи, переводчики и комментаторы «Слова».

Н. К. Гудзий уделял значительное внимание историографии литературы Киевской Руси. Он с большим уважением относился к тем русским и украинским ученым-литературоведам, которые исследовали письменность Киевской Руси, объективно освещали ее в своих курсах истории литературы. Ныне уже стала общепринятой мысль, что Киевская Русь — это колыбель трех братских восточнославянских народов, что литература Киевской Руси — это общее наследие украинской, русской и белорусской литератур. Но эта истина не родилась сама по себе, она добывалась в процессе длительной идейной борьбы между шовинистическими и националистическими взглядами, с одной стороны, и революционно-демократическими, прогрессивными, а позже марксистскими — с другой. Н. К. Гудзий в статье «Литература Киевской Руси в истории братских литератур» (1951) осветил историю этой идейной борьбы и показал, как постепенно осваивалось литературное наследие Киевской Руси в XIX — первой половине XX в. Ученый подверг критике взгляды тех авторов, которые считали, что литература Киевской Руси — это уже готовая украинская литература, и убедительно доказал, что древнерусское литературное наследие принадлежит всем трем братским восточнославянским народам. Как отмечал акад. А. И. Белецкий, Н. К. Гудзий «положил конец притязаниям украинских буржуазных националистов на право исключительной собственности на наследие XI—XIII вв., то есть того времени, когда существовала «литература Руси», но не было ни украинской, ни белорусской, ни великорусской народностей»<sup>3</sup>.

Важной вехой в исследовании традиций литературы Киевской Руси в старинных украинской и белорусской лите-

<sup>3</sup> Там же.— С. 36.

ратурах, а также ее связей с древними инославянскими литературами стали доклады Н. К. Гудзия на IV (1958, Москва) и V (1963, София) Международных съездах славистов. Ученый, используя огромный фактический материал истории всех славянских литератур XI—XIII вв., доказал, что литература Киевской Руси возникла и развивалась в тесной связи с другими славянскими литературами, в первую очередь южнославянской письменностью, и что ее традиции нашли свое продолжение в украинской и белорусской литературах XIV—XVIII вв. Эти две работы Н. К. Гудзия представляют единое целое, впервые в таком объеме освещают литературу Киевской Руси в славянском контексте, прослеживают ее живые традиции.

Заложенные в трудах Н. К. Гудзия идеи и проблемы еще не раз будут привлекать внимание исследователей, расширяться и углубляться, поскольку литература Киевской Руси заняла в XI—XIII вв. ведущее место в системе славянских литератур и на много столетий вперед определила развитие всех трех братских восточнославянских литератур. Исследование этих аспектов ее истории в их полном объеме — дело будущего. Однако Н. К. Гудзий сделал первые важные шаги.

В своей «Автобиографии» ученый отмечал: «Основные мои работы относятся к области древней русской и украинской литератур»<sup>4</sup>. Он постоянно обращался к проблемам украинской литературы, как древней, так и новой. Во втором томе (первая часть) десятитомной академической «Истории русской литературы» (1945) его перу принадлежит раздел о Галицко-Волынской летописи, которая стоит на грани между древнерусской и украинской литературами. Для третьего тома этого же издания (1941) Н. К. Гудзий написал раздел о литературном творчестве выдающегося украинского и русского писателя, церковного и культурно-общественного деятеля первой половины XVIII в. Феофана Прокоповича. Этот раздел и ныне остается лучшим обзором литературного наследия Ф. Прокоповича. Он переведен на украинский язык и помещен в качестве хрестоматийной статьи в книге «Матеріали до вивчення історії української літератури» (К., 1959.— Т. 1.).

Под руководством Н. К. Гудзия в 1960 г. было осуществлено одно из лучших академических изданий в серии «Пам'ятки давньої української літератури» (сборник «Українські інтермедії XVII—XVIII ст.») — по сути пер-

---

<sup>4</sup> Воспоминания о Николае Каллиниковиче Гудзие.— М., 1968.— С. 140.

вое советское научное издание этого оригинального драматургического жанра. В предисловии ученый дал всесторонний филологический анализ всех известных ныне текстов интермедий, определил их роль и место в истории украинской литературы. Он подчеркнул, что реалистические и социальные мотивы лучших интермедий нашли свое отображение в украинском вертепе, а также в произведениях украинских писателей XIX в.

Не обошел вниманием Н. К. Гудзий и первое выдающееся произведение повой украинской литературы — «Энеиду» Ивана Котляревского. Ученые приложили немало усилий, чтобы определить источники трагедийной украинской «Энеиды», осмыслить ее в контексте других славянских и западноевропейских трагедий. На основе детального исследования источников Н. К. Гудзий напечатал в 1950 г. статью «Энеида» И. П. Котляревского и русская трагедия XVIII в.», в которой доказал, что И. Котляревский в процессе работы над своей поэмой пользовался перелицованными «Энеидами» русских поэтов XVIII в. Н. Осипова (1791—1796) и А. Котельницкого (1802—1808), но благодаря своему поэтическому таланту и самобытному украинскому юмору далеко превзошел названные образцы, которые остались лишь фактом литературной истории. Н. К. Гудзий не преувеличивает влияния русской трагедийной поэмы XVIII века на И. Котляревского, не считает его определяющим, однако при помощи фактов свидетельствует, что оно имело место и что поэму И. Котляревского следует рассматривать также и в контексте украинско-русских литературных связей конца XVIII — начала XIX в.

Н. К. Гудзию принадлежит большая заслуга в организации систематического изучения украинско-русских литературных связей, он поставил это изучение на глубоко научную основу, отбросив поверхностные утверждения о якобы лишь одностороннем влиянии русской литературы на украинскую. В этих связях он искал не мелкие факты, а определял магистральные линии, когда обе литературы могли обмениваться своими вершинными достижениями, взаимобогащаться новыми идеями. Среди этого рода работ следует назвать статьи и публикации Н. К. Гудзия — «Шевченко і російська революційно-демократична думка» (1951), «Російсько-українське літературне єднання» (1954), «Пушкин в новейших українських перекладах» (1954), «Поезія О. С. Пушкіна в українських перекладах» (1955), «І. Франко і російські письменники» (1956), «Іван Франко і росій-

ська культура» (1956), «Культурные связи украинского и русского народов до конца XVIII века» (1957) и др.<sup>5</sup>

Ученый выступил инициатором издания, автором и ответственным редактором двух тематических сборников — «Русско-украинские литературные связи» (Москва, 1951) и «Російсько-українське літературне єднання» (Киев, 1953). Следует сказать, что Н. К. Гудзий заложил глубокие основы изучения украинско-русских литературных взаимосвязей, исследование которых успешно продолжается как украинскими, так и русскими советскими учеными.

В своих исследованиях древней литературы Н. К. Гудзий не шел проторенными путями. Он отдавал должное предшественникам, особенно представителям отечественной академической и университетской науки, но не повторял уже известного, а настойчиво искал и открывал новые факты и аспекты литературного процесса того времени.

Перспективность выдвинутых и обоснованных им положений подтверждалась и подтверждается советскими учеными, которые продолжают исследовать поставленные Н. К. Гудзием проблемы. Основное внимание ученый сосредотачивал не столько на конкретных фигурах в истории литературы, сколько на осмыслении всего литературного процесса, истории художественных произведений, их возникновении и функционировании, определении их места и значения в общем литературном развитии, мере участия в художественном прогрессе.

Литературоведческому наследию Н. К. Гудзья, в частности его трудам по древним русской и украинской литературам, обеспечена длительная научная жизнь. Они не утратили своей актуальности, полемической остроты и остаются образцом комплексного филологического анализа важных явлений и фактов литературной жизни прошлого.

*А. В. Мишанич*

---

<sup>5</sup> Библиография печатных работ Н. К. Гудзья помещена в кн.: Воспоминания о Н. К. Гудзие.— М., 1968.— С. 150—182.

## ЛИТЕРАТУРА КИЕВСКОЙ РУСИ В ИСТОРИИ БРАТСКИХ ЛИТЕРАТУР

### I

В связи с выходом в свет книги «Нарис історії української літератури» («Очерк истории украинской литературы», 1945) в издании Института языка и литературы АН УССР было принято постановление ЦК КП(б)У, в котором указывается, что авторы «Нариса» извратили марксистско-ленинское понимание истории украинской литературы и изложили ее в буржуазно-националистическом духе.

Одним из проявлений буржуазно-националистических извращений в «Нарисі» является то, что его авторы в соответствии со схемой Грушевского и его теорией «исключительности» украинского народа игнорируют общность происхождения, единство и взаимодействие в историческом развитии русского и украинского народов, их языка и культуры. Поэтому история украинской литературы не показана во взаимных связях с другими родственными литературами, особенно с русской литературой. Культура и литература Киевской Руси трактуются здесь не как общий источник культур трех братских восточнославянских народов — русского, украинского и белорусского, а только как украинские.

Эта ложная теория, как и другие извращения и ошибки «Нариса», коренится в тенденциозных концепциях происхождения украинского народа и развития украинской литературы, языка и культуры, концепциях, имеющих большую давность и восходящих уже к первым открытым выступлениям украинских националистов. Их пужно вести еще от насквозь тенденциозной «Истории русов» — памятника украинского дворянского национализма и автономизма конца XVIII — начала XIX века, предисловие к которому начинается с заявления, что «история Малой России до времен нашествия на нее татар с ханом их Батыем соединена с историей всея России, или она-то и есть единственная история российская».

Литература Киевской Руси, как и ее культура вообще, достигла такой высоты и обнаружила такое внутреннее богатство, что мы по праву гордимся ею как драгоценным нашим достоянием, завещанным нам далеким нашим прошлым. Менее чем за два века эта литература создала замечательные памятники, превосходящие по своему идейному содержанию лучшие достижения средневековой европейской литературы.

Еще в конце 30-х годов прошлого столетия, когда скептическое отношение к литературе Киевской Руси находило немало сторонников, М. А. Максимович писал: «Если сравнить древнюю словесность с современным ей состоянием словесности у западных народов, то, конечно, ни один из них не возьмет преимущества перед нами; по крайней мере нам неизвестно ничего в XI и XII веках на западноевропейских языках, что превосходило бы летописание Нестора, слова Кирилла Туровского и «Песнь о полку Игореве»<sup>1</sup>. Задолго до этого Шлецер, давая очень высокую оценку Несторовой летописи, ставил ее выше всего, что создано было средневековым европейским летописанием.

Большие невзгоды, выпавшие на долю Киевской Руси, нужно думать, привели и к утрате многих ценных литературных памятников. Судьба «Слова о полку Игореве», обнаруженного лишь благодаря счастливой случайности в конце XVIII века, лучше всего подтверждает такое предположение.

Естественно, что в высказываниях и спорах по вопросу о развитии русской и украинской культур, возникших более ста лет назад, вопрос о национальном приурочении литературы Киевской Руси должен был занять существенное место. Он неизбежно связался с вопросом о языке и народности ископаемого населения древней южной Руси.

Уже в 1818 году в Петербурге вышла первая грамматика украинского языка, написанная А. Павловским: «Грамматика малороссийского наречия, или грамматическое показание существеннейших отличий, отдаливших малороссийское наречие от чистого российского языка, сопровождаемое разными по сему предмету замечаниями и сочинениями». В этой наивной с современной научной точки зрения книге Павловский робко пока заявляет, что «малороссийское наречие» «составляет почти настоящий язык». Но через шесть лет после этого продажный журналист Н. Греч считал, что «малороссийское наречие родилось и усилилось от долговременного владычества поляков в юго-западной

---

<sup>1</sup> Максимович М. А. Собр. соч. Киев, 1880, т. 3, с. 397—398.

России и может даже назваться областным польским»<sup>2</sup>. Ту же мысль он повторил и в своей грамматике, напечатанной в 1827 году.

С другой стороны, Максимович в предисловии к своему изданию «Малороссийские песни» (в том же 1827 году) справедливо утверждал, что современный ему украинский язык — особый язык, а не только лишь наречие русского языка, как обычно принято было думать, и указал главные фонетические и морфологические его особенности, отличающие его от языка великорусского<sup>3</sup>.

В 1834 году начинающий тогда филолог-славист И. И. Срезневский также выступил с защитой самостоятельности украинского языка<sup>4</sup>. Особым языком наравне с великорусским и белорусским украинский («малорусский») язык считал и Н. И. Надеждин.

В 1837 году на страницах «Журнала министерства народного просвещения» появилась статья галичанина Иоанна Могилевского «О древности и самобытности южнорусского языка». Как явствует из примечания редакции журнала, статья эта, первоначально написанная по-русски, переведена была на польский язык и напечатана в польском львовском журнале «Czasopism naukowy» за 1829 год и затем, в переводе с польского, напечатана уже по-русски.

Статья в основном направлена против мнения тех реакционных ученых, которые украинский язык считают наречием польского.

Опровергая эту тенденциозную точку зрения, Могилевский сам не менее тенденциозно заявляет, что украинский (южнорусский) язык, который он не отделяет от языка белорусского, является исконным, древнейшим русским языком и в то же время языком Киевской Руси, что само название «русский» принадлежит украинскому (южнорусскому) народу искони и что, наконец, украинский народ и украинский язык — это русский народ и русский язык по преимуществу.

Очень показательно то восторженное предисловие, каким снабдил П. Кулиш эту дилетантскую статью, перепечатав ее в 1857 году в своих «Записках о южной Руси». Она явилась подкреплением его националистических взглядов на развитие украинской литературы. Исконно русский язык и исконно русский народ, по его мнению — это укра-

<sup>2</sup> Греч Н. Опыт истории русской литературы. Спб., 1822, с. 12.

<sup>3</sup> Максимович М. А. Собр. соч. Киев, 1877, т. 2, с. 452.

<sup>4</sup> Срезневский И. Взгляд на памятники украинской народной словесности. — Ученые записки Московского университета, 1834, VI, октябрь, с. 134—150.



инский язык и народ. Он осыпает автора всяческими похвалами как глашатая одной из тех «истин», которые должны существенно повлиять на дальнейший ход «великих общественных и гражданских событий».

В 1839 году в Киеве вышла в свет «История древней русской словесности» Максимовича, в которой читаем: «...имя русского языка в обширном смысле должно принимать как родовое имя, столько же принадлежащее языку всей Южной Руси, сколько и языку всей Северной Руси; в таком общем значении русский язык можно бы назвать восточно-словенским. Три вида сего языка, принадлежащие трем видам русского народа, столько же между собою различны, что их можно принимать не как три наречия, но как три особые однородные языка, наравне с прочими западно-словенскими языками, и даже с большим правом, чем язык польский, сербский, чешский и словацкий, ибо сии последние сходнее между собою, чем южнорусский с великорусским»<sup>5</sup>.

Касаясь здесь вопроса о древнейшем населении южной Руси, Максимович говорит: «Словены юговосточные и южнорусские составляют коренных насельников южнорусского края, занимающего обаполы Днепра, справа до Дуная и Сана, слева по р. Десне и Суле к Дону»<sup>6</sup>. Образование украинского языка Максимович неправильно относит к древнейшим временам. «Народный южнорусский язык, — пишет он, — запечатлен небольшим единством образования и состава в своих местных разностях, так что в нем можно различать, и то не очень резко, только два наречия: восточное — украинское или малороссийское, и западное — галицкое или червонорусское. Сия печать единства на языке южнорусском служит ручательством за древность его образования, которое произошло, без сомнения, не позднее древнего периода, а не в средние времена, как полагали некоторые, напрасно производя южнорусский язык от смешения русского с польским»<sup>7</sup>. По предположению Максимовича, новгородские славяне, которые, по свидетельству летописца, переселились на Ильмень с Дуная, принадлежали первоначально к славянам южнорусским, а близкие к новгородцам тверичи — к южнорусским тиверцам.

В соответствии с пониманием русского языка как родового понятия Максимович и о древней русской литературе

<sup>5</sup> Максимович М. А. Собр. соч., т. 3, с. 398—399.

<sup>6</sup> Там же, с. 364.

<sup>7</sup> Там же, с. 400. Древний период в истории Руси Максимович определяет в четыре века — от 60-х годов IX в. до последней четверти XIII в.

также говорит как о понятии родовом. Намечая периодизацию истории русской литературы вплоть до 1825 года, до времени вступления на престол Николая I, Максимович все развитие русской литературы, начиная с XIII века, рассматривает как прямое продолжение литературы Киевской Руси. С другой стороны, Максимович обращает внимание на то, что в книге Глаголева «Умозрительные и опытные основания словесности» старинные памятники нашей литературы до XVI века «несвойственно названы памятниками языка великорусского»<sup>8</sup>.

Полагая, что первые и большая часть последующих древних памятников русской литературы написаны были преимущественно южноруссами, Максимович пришел к ошибочному выводу, что «древний письменный язык наш представляет в себе преимущественно присоединение южнорусского языка к церковнославянскому»<sup>9</sup>. И это ответственное с научной стороны положение Максимович обосновывает весьма недоказательными примерами, извлеченными из древних южнорусских памятников.

Еще до этого, в обширной работе «Песнь о полку Игореве», печатавшейся на страницах «Журнала министерства народного просвещения» в 1836 и 1837 годах, Максимович писал, «что язык «Слова о полку Игореве» украинский». В другом месте у Максимовича читаем, что «Слово» написано «тем же славяно-русским языком, каким писали Нестор и его киевские и волынские продолжатели летописанья, то есть языком церковнославянским, в живом сочетании с народным южнорусским» и что севернорусские особенности дошедшего до нас текста «Слова» принадлежат не подлиннику, а позднему переписчику. «Новыми явлениями», в сравнении со «Словом», были, по Максимовичу, «южнорусские или украинские песни и думы былевые (исторические)... ближайшие и однороднейшие с «Песнью о полку Игореве»<sup>10</sup>. Этого рода высказывания Максимовича, поддержанные через двадцать пять лет А. А. Котляревским, особенно показательны как вполне определенно заявленное положение, что литература Киевской Руси — продукт творчества украинского народа. Это заявление приобретает тем большую категоричность, что Максимович, как мы видели, и новгородских славян наряду с тверичами по их происхождению причислял к южноруссам.

---

<sup>8</sup> Там же, с. 361.

<sup>9</sup> Там же, с. 441.

<sup>10</sup> Там же, с. 558, 632—633, 512.

В 1852 году ученый филолог П. Лавровский в исследовании «О языке северных русских летописей» привел ряд серьезных научных данных в доказательство того, что особенности украинского языка определились не ранее XIII—XIV веков. Ранее Лавровского в том же смысле высказался и Срезневский. По мысли Лавровского, нет оснований предполагать различие обеих ветвей русского языка еще в доисторическую эпоху, поскольку это различие не засвидетельствовано языком древнейших письменных памятников, обнаруживающих большое языковое сходство независимо от того, возникли ли они на юге, или на севере. Это сходство, полагает Лавровский, объясняется единством в древности народного языка у различных русских племен, связанных единством веры, закона, государственной власти и непрерывным взаимным общением в течение трех с половиной веков. «Одинаковость славянского происхождения, однообразие родового быта, одни предания старины, которые были так живы и свежи у всех славян в то отдаленное время,— пишет Лавровский,— не дали и не могли давать повода к раздельности языка на юге и на севере... Летописец, так верно и подробно излагающий нередко и незамечательные обстоятельства, молчит решительно о разнообразии языка». Лавровский справедливо считает, что если бы существовали исконные различия между украинской и великорусской ветвями русского языка, они сказались бы в произведениях древней русской литературы. Такие различия могли существовать лишь в области лексики, но не фонетики и морфологии. Обособление украинского языка («малорусского наречия») как языка самостоятельного могло осуществиться лишь после политического отделения южной Руси от северной, и то не сразу после этого отделения. Оспаривая наблюдения Максимовича в отношении того, что он считал особенностями украинского языка, нашедшими отражение в старинных памятниках, Лавровский усматривает тут не более чем архаизмы, свойственные вообще древнерусскому языку. Другие языковые явления, отмеченные Максимовичем по памятникам, он относит лишь к XIV веку или считает их общерусскими.

Наблюдения Лавровского, представляя шаг вперед по сравнению с тем, что сделано было в данной области Максимовичем, не могут, однако, рассматриваться как безупречные, так как он судил о южнорусских языковых явлениях, пользуясь материалом Лаврентьевской и Ипатьевской летописей, переписанных, как он и сам это знал, на севере. Этого материала было явно недостаточно для категорического утверждения о фонетическом и диалектическом един-

стве русского языка на севере и на юге Руси до времени политического разобщения юга и севера. Преувеличены были Лавровским и черты общности у различных славянских племен, сказывавшиеся в их исторической судьбе, в вере, быте и преданиях, не учтена и этнографическая дифференциация племен. Но при всем том основные положения Лавровского относительно времени обособления украинского языка как языка самостоятельного были поддержаны в последующих исследованиях по истории русского языка. Следует отметить, что свои заключения Лавровский делал, принимая в расчет исключительно лишь язык древней южной Руси, и позднее он внес существенные поправки в положения о времени возникновения украинского языка, приняв во внимание язык прикарпатской ветви восточного славянства.

## II

Новая постановка вопроса об исторических судьбах украинского языка и вместе — украинского народа связана с обострением классовой борьбы в 60-е годы. В это время, в связи с быстрым развитием буржуазных отношений, проблема украинской культуры в настоящем и в прошлом приобретает злободневный характер. Ограничения украинского печатного слова, следовавшие в 1863 году, осложнили положение украинского вопроса и дали толчок для усиления в буржуазных кругах украинского общества националистической идеологии. П. Кулиш, В. Б. Антонович своими работами особенно подогрели носителей такой идеологии. Националистические тенденции нашли подкрепление в Галиции.

Ограничения украинского печатного слова, следовавшие вслед за закрытием в Киеве юго-западного отдела Русского географического общества в 1876 году и явившиеся после валуевского циркуляра 1863 года новым этапом в борьбе царского правительства с украинской культурой, в кругах националистически настроенной украинской интеллигенции усилили враждебное отношение не только к русскому правительству, но и к русской культуре и, в частности, к русской литературе, от которой иные украинские писатели стремились всячески отгородиться. Весьма показательна в этом отношении борьба вокруг направленной против Максимовича статьи 1856 г. поклонника «официальной народности» М. П. Погодина. Еще за десять лет до этого, в своих статьях 1845 и 1846 годов, Погодин был весьма близок к Максимовичу. Тогда он не сомневался в том,

что «норман» (Рюрик) в пятом или шестом поколении стал «малороссиянином», что «малороссиянин» Андрей Боголюбский переселился на северо-восток, сохраняя свое «малороссийское» происхождение, точно так же, как и братья его, но что дети их, а еще больше внуки, начавшие княжить после монголов, подверглись туземному влиянию и среди великороссов сами стали великороссами; что «простонародный» язык издавна разделился на наречия великорусское, малорусское и белорусское и что у Нестора мы находим «отражение малороссийское», а в повгородских грамотах — великорусское. Церковнославянский язык Погодин считал тогда для нас языком чужим, хотя и близким и понятным. Он называл тогда нелепой мысль, будто русский язык происходит от церковнославянского.

Но в 1856 году в «Известиях Академии наук» по Отделению русского языка и словесности была напечатана статья Погодина, радикально расходившаяся с только что приведенными его высказываниями. Он по-прежнему утверждает положение об исконной древности украинского языка и украинской народности, однако приурочивает эту древность к Прикарпатья, откуда южнорусское племя якобы пришло в Киев уже после татар, не ранее XIV века. Он готов согласиться с тем, что не только в Галиции, но и на Волыни и в Подолии также жили «малорусские племена», среди которых на известном пространстве обитали и великоруссы, но ведущее в культурном и политическом отношении племя — поляне — были великоруссами, и центр Полянской земли — Киев и его окрестности — также заселены были великоруссами, которые удалились на север после того, как Киевская земля, по убеждению Погодина, была совершенно опустошена татарами. Теперь Погодин совсем не усматривает «малороссийского элемента» в нашей старинной летописи, написанной будто бы чистым великорусским языком, который, в отличие от его прежнего взгляда, тождествен с языком книжным, церковнославянским. Свою великодержавную позицию Погодин старается подкрепить рядом дополнительных весьма шатких соображений.

Отвечая Погодину, Максимович писал: «Я и теперь полагаю, что объяснял уже в «Истории древней русской словесности» (гл. IV и V), что южнорусский язык образовался еще в древнее, дотатарское время, когда Киевская Русь была представительницею русского мира, как после татар стала Русь Московская. Но из твоего письма вижу, что г. Срезневский признает безразличие южной и северной Руси в дотатарское время и полагает, что южнорусские особенности в языке и в пароде начались не прежде, как

после нашествия татарского. По-моему, как и по-твоему, это неверно! Но если бы пришлось мне из двух зол выбрать легчайшее, то я лучше согласен признать безразличие всей северной и южной Руси в древнее, дотатарское время, чем разрознять их и разрывать ближайшее их родство до такой степени, как это сделано в твоей нынешней системе... они, как родные братья, должны быть непременно вместе, во всякой системе»<sup>11</sup>. Само собой разумеется, что Максимович решительно оспаривал и паивное утверждение Погодина о тождестве русского и церковнославянского языков. То, что Погодин в летописи считал великоруссизмами, Максимович убедительно объяснил как церковнославянизмы, вошедшие в русский литературный язык, или как явления общерусские. Но и он ошибочно усматривал в ряде общерусских языковых фактов признаки именно украинского языка. Справедливо возражал Максимович и против теории Погодина о позднем заселении Киевской земли выходцами из-за Карпат, как и против ряда других неверных утверждений Погодина, которыми тот подкреплял свои доводы.

Необходимо отметить, что в этом споре сказались реакционные националистические позиции обоих оппонентов. Погодину, как защитнику «великорусской идеи», важно было доказать, что истоки русской культуры и государственности, идущие из Киева, — великорусского происхождения; Максимовичу же, как «украинофилу», хотя и умеренному, представлялось, что украинский народ является прямым наследником древней киевской культуры.

Вскоре в споре Максимовича с Погодиным принял участие Лавровский, выступивший сначала со статьей «Описание семи рукописей императорской С.-Петербургской публичной библиотеки» («Чтения в О-ве истории и древностей российских», 1858), а затем со статьей «Обзор замечательных особенностей наречия малорусского сравнительно с великорусским и с другими славянскими наречиями» («Журн. мин. нар. просв.», 1859), в которой он внес существенную поправку к своим прежним высказываниям о времени образования самостоятельного украинского языка. Теперь он подчеркивает исконную древность украинского языка и его исконную самостоятельность, считая его языком переходным между великорусским и сербским. Близость украинского языка к сербскому, по мнению Лавровского, обуславливалась тем, что украинский язык — язык Прикарпатья, граничившего в древности с Сербией. Настаивая по-прежнему на том, что по древнерусским памятни-

<sup>11</sup> Там же, с. 190.

кам нельзя усмотреть до XIV века различия между великорусской и украинской ветвями русского языка, Лавровский, вслед за Погодиным, но независимо от него, пришел к заключению о заселении южной Руси после татарского погрома выходцами с Карпатских гор.

В 1861 году в статье «Ответ на письма г. Максимовича к г. Погодину о наречии малорусском» (ж-л «Основа») Лавровский прямо вмешался в спор. Основной упрек, который он делает Максимовичу, сводится к тому, что Максимович в характеристике украинского языка XI—XII веков исходит из фактов, определяющих современное состояние этого языка, и таким образом отказывается признать историческое развитие языка вообще <sup>12</sup>.

Весьма показательно примечание, которым редакция «Основы» сопроводила статью Лавровского: «Помещаем ее... как личное мнение автора, могущее вызвать возражение, а может быть, и разрешение вопроса, весьма любопытного в настоящее время, когда — с одной стороны — великороссы, а с другой — поляки усматривают в древней южнорусской письменности начатки своих собственных языков и не признают в то же время признаков языка местного» <sup>13</sup>.

Лавровский не оставил без возражения это редакционное примечание и в письме к редактору, озаглавленном «По вопросу о южнорусском языке» («Основа», 1861, ноябрь — декабрь), протестовал против отождествления Срезневского, Погодина и его самого с теми поляками, которые враждебно относились к украинскому народу.

В той же «Основе» за 1862 год появилась статья А. А. Котляревского «Были ли малоруссы исконными обитателями Полянской земли, или пришли из-за Карпат в XIV веке?» Статья направлена против Погодина. Котляревский опровергает мнение Погодина о позднейшем заселении южной Руси выходцами из-за Карпат. Одним из доказательств «исторической туземности нынешнего южнорусского племени в Полянской земле», по Котляревскому, является «Слово о полку Игореве», «поэтический склад которого вполне находит оправдание в современной народной поэзии малоруссов». По мнению Котляревского, идущего тут вслед за Максимовичем, «южнорусская основа памятника уже не может подлежать сомнению: народ, поющий малорусские думы, есть потомок народа, создавшего «Слово о полку Игореве», так как между этими произведениями народной

---

<sup>12</sup> «Основа», 1861, август, с. 34.

<sup>13</sup> Там же, с. 14. Примечание,

поэзии открывается не внешнее, но внутреннее, этнографическое родство и преемственность»<sup>14</sup>.

Спор Максимовича с теорией Погодина закончился статьей Максимовича «Новые письма к М. П. Погодину. О старобытности малороссийского наречия», напечатанной в газете «День» за 1863 год<sup>15</sup>. Впрочем, тут Максимович спорит уже не с Погодиным, а с Лавровским, с которым в личную полемику не вступал.

Максимович правильно указывал на то, что древние южнорусские памятники дошли до нас в позднейших севернорусских списках, и потому нельзя говорить об исконном отсутствии в этих памятниках признаков украинского языка. Но сам он тенденциозно приводит в качестве украинизмов примеры из произведений, возникших в Киевской Руси, причем эти примеры большей частью являются общерусскими языковыми явлениями.

Защита Максимовичем исконной древности украинского языка в Киевской Руси и тем самым исконной заселенности южной Руси украинским народом нашла энергичную поддержку в статьях историка Костомарова: «Мысли о федеративном начале в древней Руси», «Две русские народности» и «Черты народной южнорусской истории», напечатанных в «Основе» за 1861—1862 годы. «Самое паглядное доказательство глубокой древности южнорусской народности как одного из типов славянского мира... это,— писал Костомаров,— поразительное сходство южного наречия с повгородским, которого нельзя не заметить и теперь, по совершении многих переворотов, способствовавших тому, чтобы стереть и изменить его»<sup>16</sup>. Он так же, как и Максимович, это кажущееся ему сходство объясняет тем, что «часть южнорусского племени, оторванная силою неизвестных нам теперь обстоятельств, удалилась на север и там водворилась со своим наречием и с зачатками своей общественной жизни, выработанными еще на прежней родине»<sup>17</sup>. Само собою разумеется, что в представлении буржуазного историка Костомарова литература Киевской Руси во главе со «Словом о полку Игореве» — литература народности южной Руси.

Однако, модернизируя историю древней Руси и усматривая в ней федеративное начало, Костомаров в то же время подчеркивал исконное сознание у русского народа

<sup>14</sup> *Котляревский А. А.* Соч. Спб., 1889, т. 1, с. 636.

<sup>15</sup> Перепечатано в Собр. соч. М. А. Максимовича, т. 3, с. 273—311.

<sup>16</sup> *Костомаров Н. И.* Две русские народности.— Собр. соч. Спб., 1903, кн. 1, с. 35.

<sup>17</sup> Там же, с. 36.



своего единства, общности всех русских земель. Это сознание, по мысли Костомарова, поддерживалось общностью религии и церкви, законов и юридических норм, а также совместной борьбой с внешними врагами. Даже княжеские убоицы, как полагает Костомаров, способствовали поддержанию единства различных частей русского народа, создавая условия для постоянного общения их друг с другом.

Выше уже было сказано, что в споре Максимовича с Погодиным существенную роль играло столкновение двух идеологий. Спор о народности, населявшей Киевскую Русь, о языке древнего Киева и национальной принадлежности литературы южной Руси для споривших сторон связан был с вопросом об органических культурно-исторических традициях украинского и великорусского народов. Для «украинофилов» этот вопрос, разумеется, был неотделим от вопроса о праве украинской литературы и культуры вообще на самостоятельное бытие и развитие. Само по себе стремление к обеспечению такого права — особенно в условиях тогдашнего правительственного режима — объективно было явлением прогрессивным, и потому выступления в этом направлении деятелей украинской культуры, в частности нашедшие себе место на страницах «Основы», вызвали к себе сочувственное отношение в демократическом, отчасти либеральном лагерьях русского общества и, наоборот, враждебное — со стороны реакционных великодержавно настроенных публицистов и реакционной печати. Энергичную поддержку украинское литературное движение встретило в «Современнике», особенно в статьях Чернышевского и Добролюбова, и враждебные отклики в таких реакционных органах, как «Русский вестник», «Московские ведомости», «День». Украинский вопрос вскоре стал предметом острой политической борьбы. Идеологами воинствующей националистической украинской буржуазии стали П. Кулиш, В. Антонович.

### III

В 1865 году появился первый на русском языке очерк развития украинской литературы, принадлежавший русскому либеральному ученому А. Н. Пыпину и вошедший в первое издание «Обзора истории славянских литератур», составленного Пыпиным и Спасовичем. Касаясь спорного в то время вопроса «о степени отдельности и автономии малорусской народности, языка и литературы», Пыпин писал: «Спор о малорусской народности начался на почве чистой филологии и истории, стал потом вопросом лите-

ратурным, перешел дальше в вопрос внутренней политики и в настоящую минуту замолк»<sup>18</sup>. Изложив вкратце сущность полемики Максимовича с Погодиным, Пыпин затрудняется сам решить вопрос об относительной древности украинского языка («малорусского наречия»). Тем не менее на основании ряда фактических данных он находит естественным признать давнее существование особой украинской речи и народности, но все же оговаривается в том смысле, что «историческая связь обеих главных частей Руси в те времена не дает... возможности провести резкую черту между литературными фактами севера или юга в период X—XIII столетий»<sup>19</sup>. Пыпин указывает на то, что литературные памятники южной Руси одинаково принадлежали и северу, ведущему от них свою литературную традицию, и что эти памятники, в том числе летопись, «слова» Феодосия и Илариона, «Слово о полку Игореве» или забылись потом на юге, или помнились там далеко не так отчетливо, как на севере, почему провести здесь определенную границу становится невозможно. В известной мере повторяя отдельные положения Костомарова, Пыпин писал: «При всех пародных особенностях, заставлявших древнего летописца отличать и на юге и на севере столько отдельных племен, при всей давности и полной физической естественности национальных отличий юга от севера, заставляющей новых этнографов принимать здесь положительно «две народности», — между ними было слишком много общего не только по общему родству и сходству, которые в древности гораздо ближе, чем теперь, соединяли разные славянские племена, но и по тесным политическим и религиозным связям, которые делали тогда из русской земли одну связную политическую федерацию (или удельную систему — все равно) и соединяли ее под один религиозный, византийский порядок. В период дотатарский эта родственность и внешняя связь была по крайней мере достаточна для того, чтобы разные племена могли соединиться в одной общей письменности и в общих национальных преданиях»<sup>20</sup>. Древние памятники литературы Киевской Руси Пыпин правильно характеризует как «общее достояние северного и южного русских племен»<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> Пыпин А. Н., Спасович В. Д. Обзор истории славянских литератур. Спб., 1865, с. 206.

<sup>19</sup> Там же, с. 211.

<sup>20</sup> Там же, с. 211—212.

<sup>21</sup> Там же, с. 213. Эти свои соображения Пыпин в основном повторил и развил во втором издании книги, вышедшем в 1879 г.

Через четыре года в первых двух книжках журнала «Филологические записки» за 1869 год был напечатан второй обзор истории украинской литературы под названием «Малороссия (южная Рус) в истории ее литератур с XI по XVIII век», принадлежащий перу революционера-нечавевца И. Г. Прыжова, с большой симпатией относившегося к украинскому народу и к украинской культуре. В более полном виде этот очерк на украинском языке появился во львовской «Правде» за тот же год. Как видно уже из заглавия статьи, Прыжов в отличие от Пыпина литературу Киевской Руси трактует исключительно как литературу украинскую. Ссылаясь на Максимовича, Головацкого и Бодянского, он отстаивает утверждение об исконной древности украинского языка и украинского народа. К статье дано примечание, в котором редакция, отдавая должное «добросовестному и кропотливому труду автора», находит, что «вопрос о самобытности южнорусского языка все-таки остается вопросом далеко не решенным»<sup>22</sup> и требует более основательного фактического его обоснования.

Как в 60-е годы, так и позднее, не только в XIX, но в XX веке, вопрос о национальной принадлежности литературы Киевской Руси прямо или косвенно продолжал связываться с вопросом об исконности украинского языка и украинской народности в Киеве и прилегающих к нему местностях. Развитие спора по этим вопросам по существу явилось продолжением полемики Максимовича с Погодиным. В 60-е и 70-е годы позиция Максимовича нашла наиболее авторитетную поддержку в трудах Потебни и Житецкого. Спор этот возобновился с 1883 года, когда А. И. Соболевский в реферате, прочитанном им на заседании киевского Общества Нестора-летописца, предложил свои соображения об особенностях древнего галицко-волынского говора, отличного от говора киевских памятников, который он считал великорусским. Заселение Киева и Киевской земли украинцами Соболевский относил лишь к XV веку, разделяя неверную гипотезу Погодина о полном запустении Киева после татарского нашествия и передвижении его исконного великорусского населения на север.

Тезис Соболевского вызвала возражения со стороны филологов и историков — Дашкевича, Антоновича, Владимирского-Буданова, Ягича и др. Историк, в частности, возражал против неверного утверждения Соболевского о запустении Киевской земли при татарах и о позднейшем заселении ее выходцами из Галиции, Волыни и Подолли.

---

<sup>22</sup> Филологические записки, 1869, вып. 1, с. 1.

К ним впоследствии примкнул и Шахматов, первоначально поддерживавший точку зрения Соболевского. В дальнейшем энергичным противником теории Соболевского выступил украинский ученый А. Е. Крымский.

Весьма показательна позиция в этом вопросе Ив. Нечуй-Левицкого. Он всячески дискредитировал и принижал величайших русских писателей. Так он поступил прежде всего в своей обширной статье «Современные литературные движения»<sup>23</sup>, напечатанной в 1878 году во втором томе львовской «Правды».

Представляя своим читателям русскую литературу от Пушкина до Льва Толстого и Достоевского в форме анекдотически-оскорбительного шаржа и умаляя безоговорочно ее ценность по сравнению с западноевропейской, Нечуй-Левицкий резко порицает русских ученых за то, что они причисляют украинскую литературу к русской. «Мы не можем, — писал он, — не попрекнуть великорусских ученых, которые в свои «Истории русской литературы» без стеснения зачисляют старинную украинскую литературу киевского периода — и Феодосия Печерского, и Кирилла Туровского, и «Слово о полку Игореве», и киевских ученых, вышедших из Киевской академии: Симеона Полоцкого, Мелетия Смотрицкого, Славинецкого, Дмитрия Туптала». Упрекнув далее историков русской литературы в мнимой непоследовательности, Нечуй-Левицкий продолжает свои выпады по адресу русских историков: «Если не принимаете Самовидца, Квитку, Шевченко, то зачем же берете себе Нестора, Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве»?»<sup>24</sup>

Статья Нечуй-Левицкого вызвала резкий протест со стороны Ив. Франко, который в статье «Литература, ее задачи и важнейшие черты», напечатанной во львовском демократическом журнале «Молот» в том же 1878 году, между прочим, отрицательно отнесся к тому, что Нечуй-Левицкий за чем-то обрушился на русских историков литературы за то, что они «без стеснения» включают памятники украинской литературы в свои курсы. По мнению Ив. Франко, незачем за это сетовать на русских историков, так как они занимались исследованием этих памятников во всяком случае не меньше украинских историков.

Центром и оплотом украинского национализма в эту пору стала Галиция, где наиболее оголтелые украинские

---

<sup>23</sup> Заглавия статей даются нами в переводе на русский язык. (Прим. автора).

<sup>24</sup> «Правда». Львів, 1878, т. 2, с. 5—7,

шовинисты усердно играли наруку австрийской политике, ставившей себе задачу возбуждать среди украинцев вражду к русской культуре. Ревностным союзником австрийских политиков среди галицийских украинцев оказался профессор Львовского университета Омелян Огоновский. Еще в 1880 году в своей книге «Studien der ruthenischen Sprache» («Опыты изучения русского языка») он выступил с утверждением, что подлинно древним русским языком является язык украинский, язык же великорусский, по его «теории», представляет собой позднейшую формацию, возникшую на основе исконного древнерусского (украинского) языка, осложненного элементами языка церковнославянского.

В связи с этим нелепым утверждением, подсказанным шовинистической тенденцией Огоновского, находится и другое его утверждение о том, что подлинную древнюю Русь представляла народность украинская, народность же «московская», хотя также славянская по происхождению, возникла позднее, впитав в себя финские элементы, отняв имя «Русь» у того народа, которому оно первоначально принадлежало, и заставив его искать для себя другое наименование (Малороссия, Украина, Гетманщина). Тут сказалось такое же полное пренебрежение к историческим фактам, ничего общего не имеющее с элементарными требованиями научной объективности, как и в первом тезисе Огоновского.

С 1886 года в львовской «Зоре» стала печататься обширная работа Огоновского «Исторія литературы русской». Первая ее часть, заканчивающаяся рассмотрением литературной деятельности Сковороды, отдельным изданием вышла в 1887 году. По своему уровню труд этот представлял собой нечто весьма архаическое. Печать глубокого научного и общекультурного провинциализма лежит на всей книге, построенной в форме своего рода аннотированного каталога, в котором без разбора и без системы занесены были памятники, никакого отношения к литературе не имеющие, вплоть до «Русской правды» и княжеских грамот, и в то же время отсутствовали важные памятники собственно историко-литературные, сравнительно давно уже находившиеся в научном обороте.

Огоновский никак не соглашается на то, чтобы отдать литературу Киевской Руси «россиянам», или хотя бы считать ее общим добром украинского и русского народов, и это несмотря на то, что ею, как и старой литературой вообще, вплоть до Котляревского, он не особенно дорожит, считая ее, за исключением «Слова о полку Игореве», мертвой, далекой от интересов народа, совершенно безучастной

к нему. Ему не приходит в голову, что литература Киевской Руси в самом главном и основном была на службе самых живых общенародных интересов, связанных с историческими условиями развития государства.

Следует отметить, что даже Драгоманов определил книгу Огоновского как «образчик поверхностности, лени и недобросовестности».

Шовинистические позиции Огоновского вызвали отпор в ряде рецензий на его книгу, появившихся в русских журналах («Русская мысль», «Известия С.-Петербургского славянского благотворительного общества», «Исторический вестник» — за 1888 год).

Но наиболее развернутую и фактически и принципиально обоснованную критику книги Огоновского дал А. Н. Пыпин в статье «Особая история русской литературы», напечатанной в сентябрьской книжке «Вестника Европы» за 1890 год.

Принципиальные взгляды Пыпина на взаимоотношение украинской и русской литератур, нашедшие свое выражение в этой статье, в существенном и основном высказаны им были в «Обзоре истории славянских литератур» и в статье «Спор между южанами и северянами», напечатанной в апрельской книжке «Вестника Европы» за 1886 год (позднее эта статья в несколько дополненном виде составила X главу третьего тома его «Истории русской этнографии», выпущенного в 1891 году).

Пыпин вскрыл сугубо националистическую подоплеку рассуждений Огоновского об украинской литературе и об украинском языке в их отношениях к русской литературе и русскому языку, а также полную научную несостоятельность книги Огоновского в целом, подчеркивая единство восточно-славянских племен, населявших княжества Киевское, Галицкое, Черниговское, Суздальское, Новгородское, составлявшие единую русскую землю и связанные общностью языка, церкви, княжеской династии. Пыпин разоблачает стремление Огоновского отгородить украинский и русский народы в их исторических судьбах. Понимая, что для такого рода реакционных воцелений царская Россия своим отношением к украинской культуре создавала благоприятную почву, Пыпин все же определенно заявляет: «При всем том мы считаем книгу г. Огоновского... не только исторической ошибкой, но и ошибкой в смысле народно-общественных понятий. Она создает исторический фантом, хочет скрыть исторические отношения южнорусского племени, уединяя его от целого, с которым оно связано теми или другими нитями. Галицко-русский историк не

желает признавать русской литературы (по его номенклатуре «российской» «великорусской»). Пусть он лично не любит ее, но, как историк, он обязан знать ее отношения, а как благоразумный патриот должен бы видеть, что во всяком случае это литература сильнейшего славянского племени, литература по содержанию богатая и единение с которой могло бы послужить большим благом для небольшой литературы его собственного племени»<sup>25</sup>.

Говоря специально о литературе Киевской Руси, Пыпин пишет: «Очевидно, что выделить из этой письменности те или другие произведения, писанные на юге, и механически сопоставить их как историческое явление, это будет значить насильственно вырвать факты из их естественной связи и поставить в чисто искусственную и потому фальшивую систему»<sup>26</sup>.

Пыпин, как и ранее, справедливо указывает на то, что южнорусские литературные памятники дошли до нас в северных списках и что после раздробления Руси, последовавшего за татарским нашествием, северная Русь не только сохранила произведения старого периода, но и положила их в основу дальнейшего литературного развития в такой степени, в какой — по историческим условиям — этого не могла сделать южная и юго-западная Русь. Отсюда он делает следующее правильное заключение: «В древнем периоде, до татар и до политического раздробления Руси, не было никакой специально южнорусской литературы; была общая литература русского или русско-славянского письменного языка, распространявшаяся одинаково по всем областям тогдашнего русского племени. Для той поры современные филологи только с некоторым усилием отыскивают в памятниках следы местных наречий, во всяком случае столь незначительные, что строить на них какую-либо отдельную литературу нет никакой возможности»<sup>27</sup>.

Огоновский ответил Пыпину статьей «Моему критику. Ответ А. Пыпину на его статью «Особая история литературы» (напечатана в львовском органе украинских буржуазных националистов — газете «Дело», №№ 265 и 266, а также отдельной брошюрой). Возражения Огоновского отличаются сугубой тенденциозностью. Ни одного конкретного довода, приведенного Пыпиным в опровержение его положений, он не сумел оспорить. Он упрямо повторяет свои антинаучные и фантастические гипотезы.

---

<sup>25</sup> Вестник Европы, 1890, № 9, с. 273—274.

<sup>26</sup> Там же, с. 263.

<sup>27</sup> Там же, с. 264.

По поводу статьи Пыпина выступил в «Зоре» и Уманец (М. Комаров), который неизвестно на каком основании писал: «...критические разыскания давно уже установили взгляд на кое-какие памятники давней письменности как на малорусские». Уманец тенденциозно использует шовинистические настроения идеологов русской буржуазии, упрекая всех русских историков литературы в том, что они «все памятники старой письменности на Руси зачисляют целиком к «русской литературе», под которой они разумеют только великорусскую, потому что в своих историях никогда ни единым словом не упоминают про малорусскую литературу»<sup>28</sup>.

К числу противников Пыпина примкнул и Нечуй-Левицкий, выступивший под псевдонимом И. Баштовый с серией статей в газете «Дело» за 1891 год под общим заглавием «Украинство в литературном споре с Московщиною», вышедших в том же году отдельной книгой.

#### IV

Вопрос о национальной принадлежности литературы Киевской Руси вновь поднят был в начале 1900-х годов в споре между И. Я. Франко и В. М. Истриным. Поводом для спора, принявшего достаточно резкие формы, послужила серия статей Истрина, печатавшихся с 1903 года под общим заглавием «Из области древнерусской литературы». Особые возражения вызвала вторая статья, посвященная вопросу о месте и времени составления «Толковой Палей»<sup>29</sup>. Приурочивая «Толковую Палею» к северо-восточной Руси и относя ее возникновение к первой половине XIII века, Истрин в заключении статьи поднимает вопрос о том, что же представляла собой русская литература XIII века. Напоминая свое недавнее высказывание (в рецензии на книгу П. В. Владимирова «Древняя русская литература киевского периода XI—XIII веков») о том, что литературу XI—XIII веков нельзя безоговорочно называть просто киевской, имея в виду, что она создавалась не только в Киеве, но и в других русских центрах, Истрин спрашивает, не должны ли известные нам памятники литературы первой половины XIII века «рассматриваться как памятники северо-восточной Руси и представлять собой новое течение, независимо от киевской литературы?»

---

<sup>28</sup> Уманец. Особая история русской литературы.— «Зоря», 1890, № 21, с. 334.

<sup>29</sup> Журнал министерства народного просвещения, 1903, октябрь.



На этот вопрос он справедливо отвечает положительно, тем более, что в первую половину XIII века уже явно обозначилось образование Владимиро-Суздальского государства на северо-востоке, определившего, в связи с новыми историческими условиями, и новые стороны в развитии литературы. При этом, как указывает Истрин, старая литература тотчас же перешла из Киева в новый центр, но, помимо старой, возникает тут и своя, новая. С этого времени Истрин считает возможным вести начало особого периода русской литературы — литературы великорусской, которая, сделавшись с течением времени литературой московской, стала в то же время и литературой общерусской<sup>30</sup>.

Суждения Истрина, касающиеся возникновения и развития социально северо-восточной литературы в XIII веке, теперь уже могут считаться в основном почти бесспорными. Однако Истрин допустил совершенно необоснованное суждение, высказывавшееся им и ранее и позднее, — о «безыдейности» литературы киевского периода в противоположность литературе последующих периодов. Тенденциозным выпадом с его стороны были и соображения о национальном приурочении «Слова о полку Игореве», которое он считал возможным приписать автору-великороссу.

Статья Истрина вызвала резкую рецензию Ив. Франко<sup>31</sup>. Франко не возражает против попытки выделить специально владимирско-суздальские памятники, хотя соображения Истрина на этот счет, в частности относительно «Толковой Палеи», он считает далеко не доказательными, а доводы и общие догадки, какими Истрин аргументирует свои положения, кажутся Франко собранными «достаточно неудачно и обнаруживают у автора какой-то ненормальный, как будто каким-то сектантским духом искривленный способ мышления». Франко упрекает Истрина за то, что, говоря о литературе XIII века, он совершенно не упоминает Серопиона Владимирского, который был южноруссом, стоял в непосредственной связи с киевской литературой, продолжал ее традицию, чего, по мнению Франко, не хочет видеть Истрин. Неубедительным представляется Франко и отнесение Истриным «Толковой Палеи» к Владимиро-Суздальской Руси. Он полагает, что «Толковая Палея» возникла в южной Руси и что Истрин не хочет этого признать «лишь для того, чтобы избежать встречи с этой ненавистной южной Русью».

---

<sup>30</sup> Там же, с. 217—218.

<sup>31</sup> Напечатана в 5-й книжке «Записок Наукового товариства ім. Шевченка» за 1904 год.

Соглашаясь с Истриным в том, что литература XI—XIII веков не была исключительно киевской, Франко замечает вместе с тем, что Истрин не указал ни одного великоросса, который был бы причастен к ней. Бездоказательным считает Франко и утверждение Истрина, что киевская литература в XIII веке перешла на север и что московская литература стала общерусской. Непонятно для него, каким образом старая южная литература расплылась в новой. Резко возражает он и по поводу утверждения Истрина о безыдейности киевской литературы и зачисления автора «Слова о полку Игореве» в великороссы.

В той же книжке «Записок» помещена рецензия Франко на книгу П. В. Владимирова «Древняя русская литература киевского периода XI—XIII веков». В основном положительно расценивая ее, Франко считает непоследовательным со стороны Владимирова то, что он не ограничивается изложением южнорусской литературы, а захватывает и север. Не удовлетворен он и тем, что автор совершенно не касается вопроса о национальных основах этой литературы. Во всяком случае, достоинство книги Владимирова Франко видит в том, что «контуры всей конструкции не искривлены в ней тенденцией показать эту старую литературу как интегральную часть «общерусской» или попросту «русской», т. е. великорусской литературы»<sup>32</sup>.

В том же 1904 году, в 81 полутоме Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, напечатана статья Франко «Южнорусская литература», которую он сплошь, включая и киевский ее период, определяет как литературу одного только украинского народа. Впрочем, дальше Франко указывает на то, что до татарского погрома «южнорусская жизнь и литература была до известной степени общерусской». Но тут же рядом он говорит, что с XIV века «течения расходятся; на севере возникает новая литература, хотя и на основании южнорусской письменной традиции, но с физиономией другого этнического облика» (подчеркнуто нами.— Н. Г.). Что касается юго-запада, то тут, по словам Франко, «продолжается старая традиция», осложненная новыми, западноевропейскими течениями. Однако в дальнейшем Франко не показывает, в чем же конкретно в послекиевский период в украинской литературе обнаружилось продолжение старой традиции.

В связи с рецензией Франко на статью Истрина и косвенно в связи с двумя другими упомянутыми работами ученого, Истриным написана обширная пятая его статья из

<sup>32</sup> Там же, с. 4.

серии «Из области древнерусской литературы», озаглавленная «Русская литература XI—XIV веков и литература малорусская»<sup>33</sup>. Полемизируя с Франко, Истрин стремится отвести упреки своего оппонента в тенденциозном отношении к украинской литературе, хотя по всему тону статьи видно, что она написана человеком, для которого украинская литература, как и украинская культура,— явления провинциальные, не вызывающие у него особой внутренней заинтересованности.

Не касаясь частных возражений Истрина, сделанных в этой статье, остановимся на основных ее положениях. Истрин полагает, что нельзя говорить о литературе южно-русской с XIII века. Это свое утверждение он основывает на спорной теории Соболевского о галицко-волынском наречии как предке украинского языка, прослеживаемом по памятникам, начиная с XII века. А так как все эти памятники сплошь церковного характера, то, заключает Истрин, «с XIII века нет литературы южнорусской», вся она в это время перешла на северо-восток. Но Истрин почему-то забывает о существовании хотя бы Галицко-Волинской летописи, которую никак не свяжешь по месту ее возникновения с северо-востоком.

Гораздо более оснований у Истрина признавать литературу до XIII века киевской лишь условно, в том смысле, что Киев являлся лишь наиболее крупным центром просвещения и литературной жизни и рядом с ним существовали и другие литературные центры, как, например, Смоленск, Новгород, Чернигов, Галич.

Вопрос о национальной принадлежности литературы до XIII века связывается для Истрина с вопросом о языке, каким говорили в ту пору в Киеве. Тут он примыкает к точке зрения Шахматова. Не разделяя погодинской теории, Истрин, тем не менее, вслед за Шахматовым полагает, что в Киеве, лежавшем на великом водном пути, нужно предполагать существование особого смешанного говора, так как сюда сходились с разных концов. Тут выработался говор, заключавший в себе элементы великорусского и украинского языков. Потому-то в киевских памятниках мы находим такое небольшое количество черт, характеризующих тот и другой язык. «Если полученный вывод приложить к образованию литературы,— справедливо говорит Истрин,— то придем к тому же выводу, что она образована одинаково как великороссами, так и малороссами, и нельзя сказать, вышел ли тот или другой памятник из-под руки той или

---

<sup>33</sup> Журнал Министерства народного просвещения, 1905, август.

другой части русского народа. Отсюда общим выводом является тот, что в образовании древней литературы до XIII века принимала участие та и другая народность... Итак, русская литература до XIII века, в том числе и киевская, не может быть названа ни малорусской, ни великорусской, а только — общерусской»<sup>34</sup>.

На стороне Истрина в споре его с Франко по вопросу о литературе Киевской Руси и об отношении ее к последующей русской и украинской литературе были В. Н. Перетц и М. Н. Сперанский<sup>35</sup>.

В 1910 году во Львове вышел «Нарис історії русько-української літератури до 1890 р.», написанный Франко. В этой книге Франко уже не делает той оговорки относительно общерусского характера южнорусской жизни и литературы в эпоху Киевской Руси, какую он сделал в статье, напечатанной в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, и безоговорочно определяет эту литературу как специально украинскую.

К вопросу о литературе Киевской Руси и ее дальнейших судьбах в плане своего спора с Франко Истрин вернулся и в книге «Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода (11—13 вв.)» (1922), где, впрочем, самое имя Франко не упоминается. Само по себе заглавие книги включает в себе скрытую полемику против определения древнейшего периода в развитии нашей литературы как периода киевского. Действительно, Истрин теперь особенно подчеркивает, с одной стороны, наличие литературных школ в различных русских землях, а не только в Киеве, где литературная жизнь была особенно интенсивной лишь потому, что Киев был главенствующим культурным и политическим центром, с другой — широкое распространение на севере литературных памятников, созданных в южной Руси и органическое усвоение литературного наследия Ростовско-Суздальско-Владимирской, а затем Московской Русью. Что же касается южной и юго-западной Руси, то она после татарского погрома и тем более после своего подчинения Польше и Литве утратила, по мнению Истрина, связь с киевской литературой и не хранила ее традиций. В качестве исключения Истрин на этот раз указывает лишь

---

<sup>34</sup> Там же. — С. 251.

<sup>35</sup> *Перетц В. Н.* Из лекций по методологии истории русской литературы. Киев, 1914, с. 373—376. Его же. Краткий очерк методологии истории русской литературы. П., 1922, с. 110—111. *Сперанский М. Н.* История древней русской литературы. Московский период, изд. 3-е. М., 1921, с. 7—8.

на Галицко-Волынскую летопись и на галицко-волынские былины о Дюке Степановиче и Чуриле Пленковиче.

Подчеркивая единство и общность древнейшей литературы на всем пространстве русской земли, Истрин справедливо указывает: «Итак, в наличности письменных памятников не могло быть различия между севером и югом Руси в XI—XII веках. Литературные памятники, будучи южно-русскими, в большинстве случаев киевскими по происхождению, в своей начальной же жизни являлись памятниками «общерусскими» и тотчас же по своему возникновению расходились по всей тогдашней Русской земле. Язык, на котором они были писаны, был общим литературным книжным языком, который, если и получил свое начало в Киевской Руси, однако был одинаково в употреблении у всех тогдашних книжников севера и юга и у всех высших слоев, вроде княжеской дружины, как у князей юга, так и северо-востока, а также и запада, как Новгород, Смоленск и др. Духовенство, говорившее и писавшее на этом языке, при своем распространении с юга на север, вместе с церковно-богослужебными книгами, распространяло среди новых книжников и грамотеев и самый литературный язык, который становился таким образом общим литературным языком всей тогдашней образованной Руси; он же не был ни великорусским, ни малорусским языком, но общерусским литературным»<sup>36</sup>.

Аргументация Пыпина и позднее Истрина в пользу признания литературы Киевской Руси литературой общерусской, то есть общим достоянием всех трех ветвей восточного славянства, в основных и самых существенных своих положениях должна быть признана с научной точки зрения вполне убедительной и бесспорной. Она нашла поддержку и в авторитетных лингвистических разысканиях Шахматова. Еще в 1899 году, признавая наличие диалектических особенностей в языке различных восточно-славянских племен, он тем не менее не считал возможным говорить об исконной древности русских наречий и русских народностей. «Деление русских говоров на великорусское, белорусское и малорусское наречия не может быть признано древним,— говорил он.— Образование этих наречий стоит в тесной связи с образованием трех великих народностей, на которые распалось русское племя. Не подлежит сомнению, что народности эти сложились на памяти истории. Нельзя говорить о белорусах, малорусах, великорусах в X или

---

<sup>36</sup> Истрин В. М. Очерк истории древнерусской литературы до-московского периода. Пг., 1922, с. 35.

XI веках; но вместе с тем трудно сомневаться и в том, чтобы между древнерусскими племенами, о которых повествуют летописцы, не следовало различать более или менее обширных групп, объединявшихся, по своему географическому соседству, в языке и в обычаях»<sup>37</sup>. В ряде своих последующих работ Шахматов привел дополнительные соображения, позволяющие утверждать, что создание киевской государственности, равно как и культуры и литературного языка Киевской Руси, было результатом совокупных усилий всех трех ветвей восточного славянства, а не одной лишь южной его ветви.

Таким образом, и лингвистические данные, наиболее полно и объективно учтенные и объясненные Шахматовым, как известно, очень сочувственно относившимся к украинской культуре и к украинским национальным интересам, не позволяют трактовать литературу Киевской Руси как специфически украинскую, а, напротив, подкрепляют аргументы, наиболее убедительно обоснованные Пыпиным и Истриным, в пользу признания этой литературы — литературой общерусской, общим достоянием всех трех ветвей восточного славянства, сложившихся впоследствии в великорусскую, украинскую и белорусскую нации.

Следует, однако, оговориться, что в споре Франко с Истриным существенное значение имели не только и порой не столько чисто академические соображения, сколько разница общественно-политических позиций того и другого. Франко высоко ценил русскую литературу, пропагандировал ее в Галиции, сам испытал влияние прогрессивных русских писателей и критиков и чужд был каких бы то ни было шовинистических настроений по отношению к русскому народу, но режим национального угнетения, характеризовавший политику царской России и тяжело отзывавшейся на судьбах украинской культуры, заставлял Франко очень настороженно относиться к тем деятелям русской культуры и науки, которые в лучшем случае проявляли безразличие к фактам, задевавшим и оскорблявшим каждого украинца, дорожащего ценностями своей национальной культуры. Франко в Истрине и его единомышленниках как раз имел основания видеть людей, безразлично и беззаботно относящихся к национальным интересам украинцев, и отсюда те его увлечения и подчас ошибочные утверждения, которые легко объяснить прежде всего политической обстановкой, в которой происходил спор,

---

<sup>37</sup> Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, полутом 55. Спб., 1899, с. 565.

по существу выходящий за пределы просто академического столкновения мнений.

Наиболее ярко и последовательно украинский национализм сказался в деятельности М. Грушевского и его «школы». Грушевский особенно настойчиво развивал концепцию литературы Киевской Руси как литературы исключительно украинской. Эта концепция у него, как и у других националистов, явилась средством антирусской агитации, стремлением во что бы то ни стало утвердить идею «старшинства» украинского народа в семье восточнославянских народов и трактовать украинский и русский народы как искони разные народы, а их историю — как историю раздельную на протяжении многих веков. Об этом он заявлял еще в 1904 году в статьях «Общая схема «русской» истории и вопрос о рациональном построении истории восточного славянства», и «Спорные вопросы старорусской этнографии». В последней статье Грушевский говорит: «...все меньше можно сомневаться о том, что зарождение трех главных восточно-славянских групп, трех народностей — украинско-русской, белорусской и великорусской — выходит целиком за границы исторической эпохи».

Эта точка зрения последовательно проводится Грушевским и в его буржуазно-националистической «Истории Украины-Руси». Украинский народ, по его теории, ведет свое происхождение непосредственно от антов и на всем протяжении своей истории представляет особую от русского народа национальную единицу.

Общая историческая концепция «Истории Украины-Руси», а также изложенный в ней конспективно обзор истории украинской литературы с древнейших времен лег и в основу многотомной книги Грушевского «История украинской литературы».

Датируя начало исторической и культурной жизни украинского народа со второй половины IV в. н. э., Грушевский пишет, что во главе восточно-славянских племен стали уже тогда «наши украинские «антские» племена — наиболее выдвинутые на юг, ближе всего стоявшие к источникам культуры».

Политически тенденциозные, отсталые с научной точки зрения и наивные суждения Грушевского о заходящем якобы далеко в глубь веков формировании украинской нации определяют основные его положения и о национальной природе литературы Киевской Руси.

Не только марксистская наука, но и наука буржуазная отвергла представление об исконности, неподвижности и неизменяемости этнографических и племенных образований,

Нечего уже говорить о том, как научно беспомощны и архаичны представления Грушевского об историческом процессе образования наций.

Еще С. М. Середонин в своих лекциях по исторической географии пришел к заключению, что славянское население Руси XI—XII веков находилось в состоянии постоянного движения и что отсюда вытекает, что так называемые «племена» в действительности часто обнимали лишь население известной местности, а вовсе не составляли союзов родственных, то есть кровных этнических групп<sup>38</sup>.

Точку зрения Середонина поддержал и углубил А. Е. Пресняков в своих лекциях по истории Киевской Руси, читанных им в 1907/1908, 1915/1916 годах в Петербургском университете.

Проблема единства русского народа и русской истории получает у Преснякова иное, чем, например, у Грушевского, разрешение. Разноплеменность состава населения и различие исторических судеб тех или иных входящих в его состав частей не обуславливают еще отмежевания народов друг от друга. Тут спор скорее переносится в настоящее и будущее. Поэтому принципиально и утверждение и отрицание единства русского народа представляется Преснякову ненаучным и некритическим разрешением проблемы. «В исторической же действительности,— говорит Пресняков,— прошлое — до XI—XII вв. включительно и позднейшее время — XVII—XIX вв.— так тесно принадлежат одинаково к истории обеих ветвей русского народа или обеих народностей — великорусской и украинской, что без ущерба для полноты и правильности научного изучения, без измены исторической правде разрывать изучения их судеб нельзя»<sup>39</sup>.

Пресняков далее утверждает, что в последние три века нет оснований и государственную и духовную жизнь России считать специально великорусской. Несмотря на доминирующее в эти века значение великорусского элемента в истории России, участие в ней украинского народа и значение его культуры и дарований оказались весьма положительным явлением. Сознание национального единства

---

<sup>38</sup> Середонин С. М. Историческая география. Посмертное издание.— Пгр., 1916, с. 124 и сл. Существенные поправки к положениям Середонина были сделаны в последующих археологических разысканиях, но они не отвергли принципиальных его соображений о неустойчивости и условности понятия «племен». См. Третьяков П. Н. Восточнославянские племена. М.— Л., 1848, с. 118—140.

<sup>39</sup> Пресняков А. Е. Лекции по русской истории. Киевская Русь. М., 1938, т. 1, с. 10.



русского и украинского народов не замирало даже в XIV—XVI веках, когда они резко разошлись в своих политических и культурно-исторических судьбах, и вновь закреплялось, когда исторические условия этому благоприятствовали.

Эти-то соображения и заставляют Преснякова киевский период рассматривать как «пролог не южнорусской, а общерусской истории»<sup>40</sup>. Существенно, кроме того, по взгляду Преснякова, полное отсутствие признаков, которые указывали бы на то, что между южноруссами и северноруссами в то время существовало сознание племенного различия. Так, вражда киевлян с новгородцами и суздальцами не была более резкой, чем, например, соперничество между владимирцами и ростовцами в пору усобиц между сыновьями Андрея Боголюбского.

Вслед за Середонным и Шахматовым Пресняков считает лишеной всякого основания мысль о том, что древнейшие черты племенной дифференциации восточного славянства совпадали не только с позднейшими особенностями великорусской, украинской и белорусской народностей, но даже и с теми, которые сложились в эпоху расселения восточного славянства и в киевский период его жизни. Нет данных для того, чтобы недолговечные и неустойчивые племенные группировки представлять как особые этнографические единства. Этнографические, культурные и языковые (диалектические) отличия отдельных восточнославянских племен в дальнейшем претерпевали изменения под влиянием новых культурных и политических условий, не дававших им возможности устояться, разрушавших и перестраивавших их на новые лады.

В своей статье «Задачи синтеза протопристорических судеб Восточной Европы» Пресняков писал о модернизации древнего периода нашей истории у националистически настроенных историков, которые с «большой легкостью» переносят на эти доисторические племена «привычные нам представления о взаимодействии устойчивых национальных групп и культур нового времени».

В примечании к статье Пресняков добавляет: «Характерный пример — один вместо многих — убеждение М. С. Грушевского, что украинская народность вышла из славянской прародины в основных чертах своих готовой, как Афина-Паллада из головы Зевса»<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> Там же.

<sup>41</sup> См. приложение к «Лекциям по русской истории», т. 1, с. 247,

Содержательные и убедительные соображения об исторических судьбах восточного славянства, высказанные Середониным и Пресняковым и в значительной мере поддерживаемые результатами лингвистических разысканий Шахматова, наглядно иллюстрируют тенденциозность и полную научную неприемлемость и несостоятельность теории Грушевского о древнейших судьбах украинского народа, якобы искони, с незапамятных времен, определившегося как особое этническое и культурно-историческое явление.

Из основных положений Грушевского о древности украинского народа, как особого славянского народа, и глубокой исконности его языка и культуры вытекает и его утверждение о том, что литература Киевской Руси была исключительно украинской, органически продолжавшей свое развитие вплоть до новейших времен. Не принимая противоречащих такому утверждению достаточно обстоятельно аргументированных соображений Истрина и Шахматова, которых он укорительно называет «общероссами», Грушевский просто отводит их выводы и доказательства, видимо не находя серьезных данных для их опровержения.

Грушевский также без всякого основания упрекает Истрина в том, что наперекор украинским ученым «он начал за счет украинских центров строить «суздальско-владимирскую» литературу XIII века, включая туда же все чем-нибудь, хоть и отдаленно и случайно, пристегнутое к северным центрам, или не связанное достаточно ясно и недвусмысленно с центром украинским».

В том же обвиняет он ряд других русских историков. Сам же без всякой аргументации, лишь по догадке, зачисляет в литературу Киевской Руси такие памятники, которые заведомо к ней причислены быть не могут. К ним относится не только «Моление Даниила Заточника», «Толковая Палея», слова Серапиона, но и «Сказание об Индийском царстве», «Двенадцать снов царя Шахаиши» и даже «Стефанит и Ихнилат» и «Измарагд» (оба последние памятника появились на Руси не ранее XIV века).

Как бы делая уступку русским историкам литературы Киевской Руси, «российским погодинцам», Грушевский согласен признать их «излюбленный тезис» об «общерусском» характере киевской литературы, особенно поры первого киевского расцвета, который обнимает столетие до смерти Мстислава Великого, последнего представителя киевской гегемонии. Если эта эпоха была общерусской, то, по мысли Грушевского, только в том смысле, что вся Русь в широком смысле слова, вся восточная Европа испытывала на себе влияние культурного и политического центра Украины, то

есть Киева, и жила его политическим и культурным содержанием. Центр же все-таки, как утверждает Грушевский, оставался украинским, сколько бы там ни было захожего элемента. И отсюда категорическое заявление Грушевского: «Культура XI—XII вв. была украинской, как мы говорим теперь, или «южнорусской», как могут сказать те, для которых название «украинский» звучит дико в применении к старому времени. Изымать ее от позднейшей галицко-волинской и новейшей киево-галицкой литературы и пришивать под названием «общерусской» опять-таки к «русской» — великорусской — это всегда останется операцией ненаучной и паучным интересам противоречащей».

Но, как мы видели выше, нет никаких объективных оснований считать культуру и вместе с ней литературу XI—XII веков исключительно украинской, а есть все основания действительно трактовать ту и другую как общерусское явление, создававшееся усилиями всех трех ветвей восточного славянства — будущими украинцами, великоруссами и белорусами. В спорах о наследстве литературы и культуры Киевской Руси обычно не фигурировали белорусы потому, что белорусские деятели не заявляли своих претензий на единоличное свое право на это наследство, но, разумеется, исторически белорусы в такой же мере являются обладателями его, как и великоруссы и украинцы.

Грушевский возводит напраслину на русских ученых, утверждая что они огульно отрезают киевскую литературу от галицко-волинской и новейшей украинской литературы, которую он почему-то называет «киево-галицкой». Русские ученые лишь справедливо указывали на то, что традиции киевской литературы, в силу исторических условий жизни России и Украины, сильнее закрепились в старой русской литературе, чем в старой украинской и белорусской, и это действительно было так. Потому-то историки древней русской литературы, как и историки древней литературы украинской и белорусской, с полным объективным основанием не только могут, но и должны присоединять литературу Киевской Руси к позднейшим периодам развития литературы трех братских народов восточного славянства.

Что же касается новой и новейшей литературы этих народов, то она, можно сказать, в одинаковой мере обращается к материалу литературы Киевской Руси, который тут уже перестает, конечно, иметь силу традиции, а выступает в качестве исторической темы, одинаково близкой писателям всех трех народов.

Националистическая общеисторическая и специально историко-литературная концепция Грушевского, возглавляюще-

го историческую работу своих учеников и последователей, породила на Украине целую школу, извращавшую исторические факты и ставившую себе целью сеять вражду к русской культуре и русскому народу. В области историко-литературной к этой «школе» относятся книги по истории украинской литературы Ефремова, Б. Лепкого и др., повторявших схему Грушевского в отношении литературы Киевской Руси. Влияние «школы» Грушевского сказалось, как уже говорилось выше, и в книге «Нарис історії української літератури», выпущенной в свет издательством Академии наук УССР в 1945 году.

Из всего сказанного выше явствует, что научный анализ фактов не дает возможности относить начало формирования украинской, великорусской и белорусской народностей ранее XIII—XIV веков. К тому же времени необходимо относить и зарождение великорусской, украинской и белорусской литератур, с той, однако, оговоркой, что обе последние литературы выступают со своими индивидуальными особенностями не ранее XV—XVI веков.

## V

Буржуазно-националистическая основа теории, по которой история, культура и литература Киевской Руси создавались украинцами (или великоруссами), и полная ненаучность ее вскрывается учением Ленина о нации и национальном вопросе. С научной точки зрения в применении к Киевской Руси нельзя говорить не только о формировании украинской, великорусской и белорусской наций, но и о существовании в ту пору украинского, великорусского и белорусского народов или языков, сформировавшихся лишь после того, как Киевская Русь прекратила свое историческое существование, во всяком случае — не ранее XIII—XIV веков [...].

История украинской литературы, в том числе литературы древнеукраинской, должна быть освобождена от всякого рода националистических извращений и тенденциозных измышлений.

## ЛИТЕРАТУРА КИЕВСКОЙ РУСИ И ДРЕВНЕЙШИЕ ИНОСЛАВЯНСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Начало книжной литературы Киевской Руси, судя по дошедшим до нас памятникам, относится к первой половине XI в. и связано с приобщением древнерусской народности к христианству. Не подлежит сомнению, что частичная христианизация Руси началась еще до массового ее крещения при Владимире Святославиче, но от поры довлдмирового княжения и от времени Владимира до нас не дошло ни переводных, ни оригинальных литературных памятников, хотя нет оснований полагать, что они вовсе не существовали. Древнейшие такие памятники датируются временем Ярослава Мудрого. В эту пору, без сомнения, началось русское летописание; тогда же получила особенно широкое распространение переводная литература, в частности благодаря трудам русских переводчиков. Литературный язык древней Руси создан в результате взаимодействия древнеболгарского (церковно-славянского) языка и живого русского языка, проникавшего в памятники русской письменности в большей или меньшей степени, в зависимости от самого характера этих памятников, их практического назначения, идейной направленности и жанровой их природы<sup>1</sup>.

Как бы то ни было, не только литературный, но и живой разговорный язык, по крайней мере наиболее культурных слоев Киевской Руси, был очень близок к болгарскому языку, и это явилось одним из факторов, обусловивших культурное воздействие на Русь со стороны Болгарии, значительно опередившей ее в своем массовом приобщении к христианству и в развитии письменности. Болгарии принадлежала значительная роль в христианизации Руси еще до

---

<sup>1</sup> *Истрин В. М.* Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода (11—13 вв.). Пг., 1922, гл. 6.— «Древнерусский литературный язык», с. 65—84; *Селищев А. М.* О языке «Русской правды» в связи с вопросом о древнейшем типе русского литературного языка.— «Вопросы языкознания», 1957, № 4, с. 57—63.

Владимира, в снабжении ее богослужебными книгами, в удовлетворении ее потребностей в церковной иерархии<sup>2</sup>.

Позднее, уже при Владимире, завязались близкие политические и династические отношения Киевской Руси с Чехией; еще позднее, не ранее XI в., можно говорить о связях чехо-моравской литературы в ее церковнославянской традиции с литературой Киевской Руси<sup>3</sup>. Однако связи эти осуществлялись, видимо, все же преимущественно при южнославянском (точнее — болгарском) посредничестве. Общеизвестно, что и болгарская, и чехо-моравская письменность и литература возникли под сильным византийским влиянием.

Не приходится говорить о литературных связях Киевской Руси ни с Сербо-Хорватией, ни с Польшей; церковнославянская письменность в Сербо-Хорватии возникла значительно позднее, чем в Болгарии (притом под ее влиянием), и позднее, чем на Руси; что же касается Польши, то у нас нет достаточно надежных данных, свидетельствующих о существовании в ней церковнославянской письменности<sup>4</sup>.

## II

Обычно развитие литературы киевского периода связывалось с византийско-болгарским влиянием на нее. С настойчивыми возражениями против этого укоренившегося в науке положения выступил Н. К. Никольский, утверждавший факт значительного западнославянского влияния, сказавшегося прежде всего на древнейшей русской летописи<sup>5</sup>. Автор, пересматривающий шахматовскую концепцию развития на Руси летописного дела, разделяет, однако, взгляд Шахматова на редактора «Повести временных лет»

---

<sup>2</sup> Подробнее об этом см. *Шахматов А. А.* Заметки к древнейшей истории русской церковной жизни.— «Научный исторический журнал», 1914, № 4, с. 49—52; *его же.* Введение в курс истории русского языка, ч. 1. Пг., 1916, с. 81—82; *Николаев В.* Славянобългарският фактор в христианизацията на Киевская Русия. София, 1949.

<sup>3</sup> Подробнее об этом см. *Флоровский А. В.* Чехи и восточные славяне. Очерки по истории чешско-русских отношений (X—XVIII вв.), т. I. Прага, 1935, с. 9—151; *его же.* Чешские струи в истории русского литературного развития.— «Славянская филология». Сборник статей, т. III. М., 1958, с. 211—232; *Stolinka R. K.* Cesko-ruským vztahům v 10. století.— «Sbornik prací filosofické fakulty Brněnské university», v. II, с. 2—4, 1953, с. 218—235.

<sup>4</sup> См. *Погодин А. Л.* Лекция по истории польской литературы, часть 1. Харьков, 1913, с. 24; *Огієнко І.* Костянтин і Мефодій, їх життя та діяльність, ч. II. Варшава, 1928, с. 185—187.

<sup>5</sup> См. его книгу «Повесть временных лет, как источник для истории начального периода русской письменности и культуры. К вопросу о древнейшем русском летописании», вып. 1. Л., 1930.

как на норманиста и грекофила, тенденциозно отстаивавшего варяжское начало в образовании русской государственности и стремившегося объяснить распространение на Руси христианства прямым воздействием на Русь Византии и византийской церкви. Одной из иллюстраций этого является, по Шахматову, так называемая «Курсунская легенда», утверждавшая факт крещения Владимира в греческом городе Курсуни, вошедшая впервые в Начальный свод и заменившая собой присутствовавшее в Древнейшем своде предание о крещении Владимира в Киеве. Но тенденциозность редактора «Повести временных лет», по мысли Н. К. Никольского, проявляется не только в том, что он говорит, но и в том, о чем он сознательно умалчивает или что померенно опускает. К числу таких умолчаний в «Повести временных лет», как думал Н. К. Никольский, относится и отсутствие в ней сведений о начале русской письменности. В особой статье о переложении книг на славянский язык, помещенной в «Повести временных лет» под 898 годом и считавшейся Шахматовым позднейшей вставкой (начала XII в.), восходящей к западнославянскому источнику, сообщается о начале письменности у западных и южных славян, но ничего не говорится о времени возникновения письменности на Руси, как не говорится об этом нигде и в других местах «Повести». Такое замалчивание, по мнению Никольского, было вполне преднамеренным: в не дошедшем до нас западнославянском (мораво-паннонском) источнике, послужившем основой не только для «Сказания» о переложении книг, но и для части вводных отрывков «Повести» до первого летописного 852 года, а также для некоторых последующих страниц свода,— шла речь об исконных культурных и религиозных связях русского славянства (отождествляемого летописцем исключительно с племенем полян) с западным славянством. Норманно-византийская тенденция редактора «Повести» заставила его опустить указание своего источника на проникновение к русским славянам письменности из Паннонии и Моравии, раньше чем она проникла сюда из Болгарии, а также на проникновение христианства до прибытия на Русь греков. А между тем о таком более раннем проникновении на Русь письменности и христианства свидетельствуют, с одной стороны, словарные данные древнейших наших памятников, с другой — летописная характеристика полян, о которых говорится как о христианах, просвещенных наряду с западными славянами еще апостолом Павлом, то есть задолго до крещения Руси при Владимире.

Если, однако, «Сказание» о переложении книг на славянский язык является не какой-то случайной вставкой, а ор-

ганически включается в повествование об исторических судьбах племени полян, то, как утверждал Никольский, нет оснований думать вслед за Шахматовым, что известие о переложении у славян книг впервые появилось лишь в общерусском своде, каким является «Повесть временных лет», а есть все данные полагать, что оно нашло себе место еще в таком историческом сочинении, которое повествовало преимущественно лишь о судьбах Поляно-Руси.

В итоге своих разысканий Никольский пришел к выводу, что «нет достаточных оснований для того, чтобы усматривать в легендарной части «Повести временных лет» результат предшествовавшей ей «сводческой» работы. Пройдя через руки не одного редактора, эта часть и в наличном своем составе сохранила явные следы попытки тенденциозной переработки, перестройки и сокращения существовавшего некогда более стройного обзора древнейшей русской истории («Повести о Русской земле»), потерявшего свой первоначальный вид потому, что сильвестровская редакция содержит только выборки из «Повестей о Русской земле», отчасти дополненные извлечениями из других источников и приспособленные к новой историографической схеме, т. е. к грековаряжской теории»<sup>6</sup>.

В своем докладе «К вопросу о следах мораво-чешского влияния на литературных памятниках домонгольской эпохи», прочитанном на сессии Академии наук СССР в мае 1933 г. и представляющем собой часть готовившегося 2-го выпуска только что рассмотренной монографии о «Повести временных лет»<sup>7</sup>, Н. К. Никольский вновь поднимает вопрос о западнославянском влиянии на древнерусскую письменность и вообще на древнерусскую культуру, в основном резюмируя общие свои положения, высказанные им в первой части монографии.

Выяснение культурно-литературных связей западного славянства с древней Русью на заре ее исторического существования Н. К. Никольский считает тем более настоящей задачей, что в IX—XI вв. не Византия и Болгария, а Мораво-Паннония, Чехия и Польша были ближайшими соседями русских племен, а Моравия была самым ранним очагом кирилло-мефодиевской письменности, способствовавшим развитию всех славянских литератур. Н. К. Никольский сетует по поводу того, что «в нашей научной литературе последнего столетия, изобилующей изысканиями о нормано-византийском и отчасти болгарском влиянии на древнерус-

<sup>6</sup> Ук. соч., с. 104.

<sup>7</sup> См. «Вестник Академии наук СССР», 1933, № 8—9, с. 5—18.



скую культуру, мы не находим монографий, в которых были бы сгруппированы с достаточной полнотой уцелевшие следы аналогичных западнославянских отражений» и что по этой причине «остаются невыясненными: объем западнославянского влияния на древнерусскую письменность, время его проникновения в нее, специфические черты его отслоений на языке, стилистике и тематике письменных памятников дотатарских столетий, равно как и на идеологии русских авторов раннего средневековья, а среди них — в первую очередь — составителей легендарно-исторических сказаний, в которых наиболее ярко проявляются особенности средневекового сословного мировоззрения на разных его этапах и в неодинаковых его очертаниях»<sup>8</sup>.

Основной причиной такого пробела, думает Никольский, было предвзятое направление нашей историографической мысли, идущее еще от Шлецера и восходящее — как к своему первоисточнику — к свидетельству редактора «Повести временных лет»: оно связывало просвещение христианизированной Руси исключительно с деятельностью греческих учителей и игнорировало участие в этом деле славянской, в частности западнославянской культурной стихии. Характерным показателем живучести этой исторической схемы Никольский считает присутствие ее у авторов всех общих курсов истории древнерусской литературы — начиная от Греча и Шевырева и кончая Сакулиным, а также в трудах наших археографов, лингвистов, исследователей отдельных древнерусских памятников, в том числе летописных. Представление об устойчивости этой «схемы» дает, по словам Никольского, отклик на его исследование о «Повести временных лет» В. М. Истрина и Г. А. Ильинского, которые, как говорит Никольский, «со всею решительностью настаивают на том, что древнерусские книжники и летописцы не могли извлекать материалов для своей умственной жизни из какого-либо иного источника, кроме единственного византийского, впервые проникшего к нам в конце X века»<sup>9</sup>.

Следует обратить внимание на то, что Н. К. Никольский, ограничиваясь простым указанием на расхождение В. М. Истрина и Г. А. Ильинского с его решением проблемы начала древнерусского летописания, не счел нужным как-либо отозваться на те серьезные возражения, которые были сделаны его оппонентами и с которыми никак нельзя было не считаться<sup>10</sup>; что же касается утверждения Никольского, что ни

<sup>8</sup> Там же, с. 5—6.

<sup>9</sup> Там же, с. 8.

<sup>10</sup> По поводу книги Н. К. Никольского см. статью В. М. Истрина «Моравская история славян и история Поляно-Руси как предполагае-

Истрин, ни Ильинский не признают западнославянских источников умственной жизни древнерусского народа, то оно ни на чем не основано: оба оппонента Никольского оспаривают лишь его гипотезу о западнославянском источнике начальной части «Повести временных лет» — не более. В частности Истрин, вслед за Соболевым, сам же указывал на то, что, кроме болгарских книг, переходили на Русь книги и западнославянского происхождения, именно — чехо-моравского, и что язык этих книг (переводных и самостоятельных) был тождествен с языком книг болгарского происхождения, отличаясь только незначительной примесью чехо-моравизмов, преимущественно в словарном материале<sup>11</sup>.

Н. К. Никольский в упомянутом докладе писал: «Очевидно, что вопросу о западном и западнославянском влияниях суждено было стать как бы оборотной стороной одной и той же исторической загадки: выросла ли древнерусская культура исключительно из одного — болгаро-византийского корня, или же она при своем возникновении воспринимала и другие чужеземные воздействия, среди которых одна из долей могла принадлежать и западному миру»<sup>12</sup>. Уже в этой формулировке нетрудно усмотреть признание первостепенной роли болгаро-византийского влияния на древнерусскую культуру по сравнению со всеми другими чужеземными влияниями, в том числе и западнославянскими.

В самом деле, если не считать гипотетической теории о мораво-чешском источнике начальной части древнерусской летописи, Никольским не приведено никаких других соображений относительно влияния западнославянской книжности на литературу древней Руси. Указанные им в докладе факты взаимообщения Киевской Руси со славянским Западом связаны не с литературным материалом, а преимущественно с историческими и династическими отношениями. Самое представление Никольского о мощном развитии у западных славян церковнославянской письменности в X—XI вв. не подкреплено конкретными фактами. Как, например, можно доказать следующее декларативное утверждение Никольского: «Остатки чешской литературы X—XI вв., сохранившиеся в поздних списках, обнаруживают, что она (вместе с мораво-паннонскую) едва ли во многом уступила болгар-

---

мые источники начальной русской летописи». — «Byzantinoslavica», т. III (1931), с. 308—331; т. IV (1932), с. 36—55, и рецензию Г. А. Ильинского: «Byzantinoslavica», т. II (1930), с. 432—436.

<sup>11</sup> См. Истрин В. М. Очерк истории древнерусской литературы до-московского периода (11—13 вв.), с. 1—2.

<sup>12</sup> «Вестник Академии наук СССР», 1933, № 8—9, стб. 8.

ской письменности века царя Симеона»<sup>13</sup>? Никольский имеет в виду чешскую церковнославянскую письменность X—XI вв., но, даже судя по ее остаткам в поздних списках и даже принимая в расчет гибель многих древнейших ее памятников, мы не можем сказать, что располагаем такими бесспорными фактами, которые позволяли бы нам согласиться с приведенным утверждением Никольского. Нет, в частности, у нас данных для того, чтобы, вслед за Никольским, говорить об утрате летописей западного славянства «более древних, чем Повесть временных лет»<sup>14</sup>.

Не говоря уже о том, что существование в древности особого обширного исторического сочинения о Поляно-Руси, разбивающего «славянофильскую», по выражению Н. К. Никольского, историографическую доктрину, не может быть подтверждено никакими фактическими данными, нет возможности определить, в каком отношении такое сочинение, если бы оно и существовало, обогатило бы нашу летопись специально в литературном и общекультурном отношении.

Н. К. Никольский пишет: «Если историограф был византистом, то не вытекает ли отсюда, что «Повесть временных лет» излагает нам историю одной только греческой просветительной струи на Руси и что, следовательно, эта история, не обнимающая собою истории других влияний на Приднепровье, сознательно устраняет их из свода во славу греческой иерархии и для престижа истинной византийской веры?»<sup>15</sup> Среди «других» культурных влияний Никольский на первое место ставит, разумеется, влияние западнославянской культуры. Но чем эта последняя, с точки зрения Никольского, отличается от культуры византийской и в свою очередь от зависевшей от нее культуры болгарской? Основное ее отличие, по взгляду Никольского, заключалось в следовании заповедям апостола Павла, которые «были свободны от крайностей аскезы, свивших себе гнездо к концу XI в. в Киево-Печерском монастыре»<sup>16</sup>.

Нечего говорить о том, что западнославянская религиозная культура, возросшая на кирилло-мефодиевском наследстве, сама теснейшим образом была связана с религиозной культурой Византии. Инициатива великоморавского князя Ростислава не может быть рассматриваема как эпизодическое, непрочное, случайное, так сказать, отклонение от традиционной чешской ориентации на Запад, как это до недав-

---

<sup>13</sup> Никольский Н. К. «Повесть временных лет...», с. 16.

<sup>14</sup> Там же, с. 51.

<sup>15</sup> Там же, с. 29.

<sup>16</sup> Там же, с. 84.

него времени считалось. Историки и археологи с очевидностью показали, что территория Чехии и Словакии, в особенности прилегающая к дунайскому бассейну, с самого начала испытывала византийское влияние — экономическое и культурное. Тяга к Византии Великоморавского государства диктовалась стремлением отстоять свою национальную самостоятельность в его борьбе с римской экспансией<sup>17</sup>.

В частности, религиозная мысль Византии далеко не всегда была выражением той мрачной аскезы и тех ее крайностей, которые Никольский склонен тут усматривать и которые якобы определили особенность русского христианства, как оно проявило себя со времени «засилья» идеологии киево-печерских монахов. Достаточно вспомнить хотя бы Иоанна Златоуста, чьи сочинения, далекие от проповеди аскетизма, проникнутые жизнерадостным настроением, в древней Руси пользовались исключительной популярностью и большой любовью<sup>18</sup>. Нельзя сказать, чтобы сочинения Григория Назианзина, также весьма почитавшегося в древней Руси, отличались преимущественно аскетическим содержанием.

Не может быть сомнения в том, что церковнославянская письменность вначале нашла для своего развития благоприятную почву (в результате деятельности Кирилла и Мефодия и их ближайших учеников) в Моравии и в Паннонии. После падения Великоморавской державы на некоторое время эта письменность утверждается и в Чехии, сосредоточившись главным образом в Сазавском монастыре св. Прокопа, в конце XI в. под натиском латинонемецкой церковной экспансии окончательно переставшего быть оплотом церковнославянской традиции.

Но что мы знаем конкретно о церковнославянской письменности у западных славян — в Моравии, Паннонии, Чехии? Переводческие труды Кирилла и Мефодия и их учеников, сотрудничавших с ними в пору пребывания в Моравии и в Паннонии, не дошли до нас в подлинниках. Они известны в позднейших списках, в которых первоначальная языковая основа этих трудов осложнилась языковыми особенностями тех славянских стран, в которых списки возникали.

Еще до отправления в Моравию Кириллом изобретена была славянская азбука; в Моравию братья прибыли уже с готовыми славянскими переводами некоторых богослужб-

<sup>17</sup> См. *Olaf Jansen (R. Jakobson). Český podíl na církevněslovanské kultuře.* — «Co daly naše země Evropě a lidstvu». Praha, 1939, с. 11.

<sup>18</sup> См. *Архангельский А. С.* К изучению древнерусской литературы. Творения отцов церкви в древнерусской письменности. Спб., 1888, с. 53—83.

ных книг. Там, и отчасти в Паннонии, широко развернулась их переводческая деятельность, причем — в связи с работой в местных условиях, быть может, при помощи помощников-моравян, — в их переводы в отдельных случаях вклинивались преимущественно лексические моравизмы и паннонизмы.

Нужно иметь, однако, в виду, что лексические особенности сами по себе не дают бесспорных указаний для установления места перевода и национальности переводчика. «Церковнославянский язык Кирилла и Мефодия легко принимал в себя разнообразные местные элементы, — писал А. И. Соболевский, — и в тех случаях, когда мы имеем дело не с несомненной эпохой славянских апостолов и их ближайших учеников, пользование словарем представляет значительные трудности. Слова моравские и словицкие легко могут оказаться в текстах несомненно болгарского или русского происхождения, слова сербские — в текстах происхождения чешского и т. д.»<sup>19</sup>

Сам А. И. Соболевский, однако, на первых порах не учел тех ограничительных соображений, которые высказаны были им позднее — в только что приведенной цитате. Так, в 1900 г. он причислил довольно значительное количество церковнославянских текстов (как переведенных с латинского и греческого языков, так и оригинальных, дошедших до нас в русских, среднеболгарских и сербских списках) к памятникам моравского происхождения<sup>20</sup>.

Наблюдения и выводы Соболевского вызвали возражения со стороны ряда славистов<sup>21</sup>. В частности, Г. А. Ильинский указал на то, что одних лишь словарных данных, при отсутствии данных фонетических, недостаточно для установления языковой родины памятников. «Присутствие в каком-либо произведении литературы известного числа иностранных слов, — писал Ильинский, — отнюдь еще не указывает на то, что памятник, хотя бы только в своем первоначальном оригинале, возник на территории того языка, слова которого вошли в его текст»<sup>22</sup>. По мнению Ильинского, они могли появиться и на родной почве в результате позднейшего языкового наслоения. В применении к памятникам, отме-

---

<sup>19</sup> Соболевский А. И. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. Спб., 1910, с. 94.

<sup>20</sup> Соболевский А. И. Церковнославянские тексты моравского происхождения. Варшава, 1900 (оттиск из «Русского филологического вестника»).

<sup>21</sup> Подробнее см. Флоровский А. В. Чехи и восточные славяне., т. I, с. 112—113.

<sup>22</sup> «ИОРЯС», т. V (1900), кн. 4, с. 1385—1386.

ченным Соболевским, такого рода наслоение может объясняться тройко: памятник мог быть написан в местности, в которой западнославянский элемент был всегда силен, например в юго-западной Руси; или переводчик, имея дело с памятником (например, латинским), язык которого был мало знаком ему, мог прибегать к помощи западнославянских выходцев, очутившихся на его родине; или, наконец, автором таких памятников мог быть западный славянин, хорошо усвоивший литературный язык той страны, в которой он поселился. То обстоятельство, что памятники, наиболее уснащенные «моравизмами», оказываются переведенными с латинского, объясняется, как полагает Ильинский, тем, что малая распространенность этого языка среди русских и южнославянских книжников заставляла их заказывать переводы с этого языка чехам или полякам, обосновавшимся в их стране. Отсюда вывод Ильинского, что обследованные Соболевским памятники, кроме Киевских глаголических отрывков, являются не остатками моравской литературы, а лишь памятниками славянской взаимности в области литературной, в частности — переводческой деятельности.

Позднее, вновь коснувшись таких переведенных с латинского памятников, как «Беседы на Евангелие» папы Григория, Никодимово Евангелие, Киевские глаголические отрывки, несколько богослужебных текстов (главным образом вращевальных молитв), легенда о Вячеславе Чешском (восходящая главным образом в латинской легенде о Вячеславе мантуанского епископа Гумпольда)<sup>23</sup>, Соболевский все эти переводы относил к концу X — началу XI в., считая их работой одного переводчика. При этом он отказался от первоначального приурочения их к Моравии или к Паннонии, так как обе эти страны в то время были в состоянии такого политического упадка, что предполагать в них сколько-нибудь значительную литературную деятельность не было оснований. Он приурочивает их к Чехии, хотя тут же, в противоречии с только что сказанным, считает вероятным, на основании фонетических признаков, приурочить перевод Киевских отрывков к Польше, где в Тышецком монастыре в XI в. существовало славянское богослужение<sup>24</sup>. Кроме указанных памятников, Соболевский предположительно относи:

<sup>23</sup> Издана по двум русским спискам XVI в. с приложением латинского текста легенды П. К. Никольским в «Памятниках древней письменности и искусства». СLXXIV. Спб., 1909.

<sup>24</sup> См. Соболевский А. И. К хронологии древнейших церковнославянских памятников. — «ИОРЯС», т. XI (1906), кн. 2, с. 1—19; его же. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии, с. 48—109.

к переведенным с латинского еще два мелких проложных текста и два памятника церковного права<sup>25</sup>.

В числе переведенных с латинского житий святых, кроме гумпольдовой легенды о Вячеславе Чешском, Соболевским опубликованы еще жития Витта, Аполлинария Равенского, Бенедикта Нурсийского, Анастасии Римлянки и Хрисогона<sup>26</sup>, папы Стефана<sup>27</sup>, папы Климента<sup>28</sup>. Жития Витта, Аполлинария Равенского, Анастасии Римлянки и Хрисогона, наряду с гумпольдовой легендой о Вячеславе Чешском, дошли до нас в русских списках.

Соболевским опубликованы также переведенные с латинского «Молитва на дьявола»<sup>29</sup> и ряд других молитв в русских списках по рукописи «Чиновника» XIII в. библиотеки Ярославского Спасо-Преображенского монастыря<sup>30</sup>. В «Мо-

<sup>25</sup> «Материалы и исследования...», с. 110—116.

<sup>26</sup> См. отдельный оттиск из «ИОРЯС», т. VIII (1903), с. III—IV, 1—62. В предисловии к нему Соболевский признался, что пока он не в силах дать ответ на вопрос, где сделан перевод издаваемых текстов. Имя в виду прежнюю статью «Церковнославянские тексты моравского происхождения», он писал: «Мы прежде думали, что житие Бенедикта Нурсийского переведено в пределах древней Моравии, там же, где переведены с латинского «Беседы» папы Григория Великого, чины церковных служб по католическому обряду и Никодимово Евангелие. Но в настоящее время мы пришли к убеждению, что язык этого жития так отличается от языка Бесед и других, что говорить решительно о переводе его в Моравии невозможно». Как мы знаем, уже в 1906 г. Соболевский отказался от приурочения к Моравии, помимо жития Бенедикта Нурсийского, и прочих, названных им здесь памятников, которые он теперь приурочивал к Чехии (нужно думать, к Сазавскому монастырю). М. Вейнгарт из всех изданных Соболевским житийных текстов, перевод которых последний приурочивал к Чехии, коснулся лишь жития Витта, относя перевод его к Сазавскому монастырю и полагая, что монахи этого монастыря ставили своей задачей прославить патрона пражской кафедры («Československý typ církevnéj slovančiny, jeho pamiatky a význam». Bratislava, 1949, с. 67—68).

<sup>27</sup> «ИОРЯС», т. X (1905), кн. 1, с. 105—135. Тут же (с. 113—117) приведены данные, свидетельствующие о том, что изданный А. Н. Веселовским текст апокрифического мучения Георгия по сербскому списку XIV в. является также переводом с латинского, сделанным, как предполагает Соболевский, тем же переводчиком, который перевел жития Витта, Аполлинария, Стефана.

<sup>28</sup> «ИОРЯС», т. XVII (1912), кн. 3, с. 214—222. Соболевский предполагает, что житие переведено на церковнославянский язык тогда же и там же, когда и где переведены Киевские глаголические отрывки, «Беседы» папы Григория Великого, Никодимово Евангелие, гумпольдова легенда о Вячеславе Чешском и т. п.

<sup>29</sup> Фотолитографическое издание. С.-Пб. Археологического института. Спб., 1899 (перепечатана в «Материалах и исследованиях в области славянской филологии и археологии», с. 41—45).

<sup>30</sup> Соболевский А. И. Несколько редких молитв из русского сборника XIII века.— «ИОРЯС», т. X (1905), кн. 2, с. 66—78. Публикация Соболевским этих молитв дала повод Н. П. Коробке доставить во-

литве на дьявола» и в «Молитве св. Троице»<sup>31</sup> наряду со святыми восточной церкви упоминаются и святые западной церкви. Перевод всех этих молитв Соболевский относил к Чехии, приурочивая их ко второй половине XI в., ко времени деятельности Прокопа Чешского и существования в Чехии Сазавского монастыря с его церковнославянским богослужением. По предположению Соболевского, эти молитвы попали на Русь через Болгарию, которая находилась в оживленных торговых сношениях с Чехией и Венгрией.

Общеизвестны политические, экономические и династические связи древней Руси, еще со времени княжения Владимира Святославовича, с Чехией. Одним из существенных показателей этих связей был культ на Руси чешского князя Вячеслава (Вацлава), убитого в 927 г.— из-за соперничества с ним — его братом Болеславом. Это убийство в сознании политических и религиозных кругов Руси ассоциировалось с убийством — также из-за политического соперничества — Бориса и Глеба их братом Святополком. Чествование на Руси памяти Вячеслава подкрепляло в первую очередь политическую апологию двух сыновей Владимира, павших от рук их брата-убийцы. Очень возможно, что инициатором культа чешского князя был Ярослав Мудрый, в политических интересах которого было прославление памяти Бориса и Глеба и дискредитация Святополка. Уже в древнейшей русской Служебной Минее 1095—1096 гг. находится канон Вячеславу, встречающийся и в позднейших служебных миссах, сложенный точно неизвестно где — в Чехии или на Руси. Вячеслав был признан русской церковью святым — в отличие от церквей византийской и болгарской, которые не чтили его в своих святцах. Уже с первой половины XI в. имя Вячеслав носили целый ряд русских князей. В древнейшую пору на Руси известно было не только переводное житие Вячеслава, восходящее как к основному источнику к латинской легенде Гумпольда, но и житие его, написанное на церковнославянском языке и возникшее в Чехии, очевидно, вскоре же после трагической его кончины. Текст этого жития впервые был обнаружен А. Х. Востоковым в рукопи-

---

прос, не от латинского ли Запада Русь получила христианство (см. его статью «К вопросу об источнике русского христианства». — «ИОРЯС», т. XI (1906), кн. 2, с. 367—385). Предположение Коробки опровергнуто Соболевским в его заметке, напечатанной в «ИОРЯС», т. XI (1906), кн. 4, с. 401—402.

<sup>31</sup> См. *Соболевский А. И.* «Материалы и исследования...», с. 45—47. Ранее издана И. А. Шляпкиным в «Журнале Министерства народного просвещения», 1884, № 12 (полностью по трем спискам XV и XVI вв. издана А. С. Архангельским в «Памятниках древней письменности и искусства». Л, 1884).



си XV — начала XVI в. и опубликован им в 1827 г. Впоследствии найдены были хорватские глаголические тексты жития и текст его в составе Великих Четьих Миней митрополита Макария (XVI в.), известный также в большом количестве минейных списков. Минейный текст, как и восточковский, в Чехии на церковнославянском языке, отличается рядом подробностей, отсутствующих в восточковском тексте. Существенной особенностью минейного текста является внесенное на русскую почву сравнение. Болеслава, убийцы Вячеслава, со Святополком: «В то же время всяя диавол, иже из начала ненавидя рода человека, Болеславу лукавая в сердце его и наустя его на брата своего, якоже и окаянного Святополка, иже совеца злое на братию свою в сердци своем, изби братию свою и прим власть един в Рустей земли». Нужно думать, что перенесение жития Вячеслава на русскую почву предшествовало появлению канона ему на Руси.

На Русь жития Вячеслава могли проникнуть при южнославянском посредстве или непосредственно из Чехии в результате весьма вероятного сношения с Печерским монастырем монастыря Сазавского, куда, между прочим, в конце XI в. были переданы частицы мощей Бориса и Глеба.

Кроме обычных житий Вячеслава, в древней Руси были известны проложные его жития, а также проложное житие его бабки Людмилы. Все они дошли до нас только в русских списках, причем проложные жития Вячеслава и возникли, возможно, на Руси, на основе восточковского жития<sup>32</sup>; что же касается проложного жития Людмилы, то в основу его, видимо, положено было не дошедшее до нас церковнославянское се житие, возникшее в Чехии<sup>33</sup>.

Киевская Русь, очевидно, знакома была и с обоими так называемыми «паннонскими» житиями — Кирилла и Мефодия. Во всяком случае житие Мефодия, вообще сохранившееся лишь в русских списках, известно было на Руси уже в XII в. в составе сборника Московского Успенского собора, но вопрос о месте написания этих житий, как и об их авторе или авторах, до сих пор еще не может считаться решенным. До нашего времени идут споры и делаются догадки о том, где жития возникли — в Паннонии, Моравии, Чехии или в Болгарии — и когда они возникли, одному или

<sup>32</sup> См. Францев В. А. Апология св. Вячеслава. — «ИОРЯС», т. VII (1902), кн. 2, с. 390.

<sup>33</sup> Подробнее о житийных произведениях, посвященных Вячеславу и Людмиле, см.: Флоровский А. В. Чехи и восточные славяне... т. I, с. 120—142, 470—471; Weingart M. Československý typ církevněj slovančiny..., с. 47—60.

двум авторам следует приписать их создание (чаще всего называется имя Климента Словенского как автора обоих житий)<sup>34</sup>. Так, П. А. Лавров, не сомневавшийся сначала в том, что оба жития были написаны в Моравии вскоре после смерти Кирилла и Мефодия и содержат в себе большое количество моравизмов, и приписывавший эти моравизмы перу Климента, впоследствии предпочел воздержаться от определения их авторства<sup>35</sup>. Вейнгарт, относивший, как и Лавров, оба жития к моравской почве, хотя и не усматривавший в них бесспорных моравизмов, также не попытался установить их авторство и национальное приурочение, ограничившись утверждением о двух авторах, писавших еще в IX в.<sup>36</sup> Огиенко, вслед за Голубинским и Вондраком, родиной обоих житий считает Болгарию и автором их Климента, как большинство исследователей<sup>37</sup>. С категорическим возражением против приписывания Клименту этих житий, а также и против приурочения их не только к IX, но и к X в. выступил В. Сл. Киселков<sup>38</sup>, в последнем случае, однако, как кажется, не нашедший себе единомышленников. Окончательно может быть установлено, что оба «паннонские» жития написаны на церковнославянском языке<sup>39</sup>.

Как бы то ни было, мы не имеем данных для того, чтобы говорить о влиянии «паннонских» житий на памятники русской литературы. Житие Мефодия и в незначительной мере житие Кирилла использовано было частично, в дополненном и измененном виде, в качестве одного из источников «Повестью временных лет» в рассказе о происхождении славянской грамоты, восходящем, в качестве вставки, как предполагал Шахматов, к утраченному западнославянскому источнику, условно названному Шахматовым «Сказание о преложении книг на словенский язык» и возникшему в Моравии или в Чехии в среде последователей славянского обряда. Ввиду существенных отступлений от «паннонских» житий

<sup>34</sup> Из работ по этому вопросу см.: *Лавров П.* Кирило та Методій в давньо-слов'янському письменстві. Київ, 1928, с. 93—96; *Огиенко І.* Костянтин і Мефодій, їх життя та діяльність. ч. II. с. 261—278; *Велчев В.* Константин-Кирил и Методий в старобългарската книжнина. София, 1939, с. 11—38; *Weingart M.* Ук. соч., с. 27—32; *Георгиев Е.* Кирил и Методий, основоположници на славянските литератури. София, 1956, с. 280—282; *Киселков В. Сл.* Проуки и очерти по старобългарска литература. София, 1956, с. 43—44.

<sup>35</sup> *Лавров П. А.* Ук. соч., с. 94—95.

<sup>36</sup> *Weingart M.* Ук. соч., с. 31.

<sup>37</sup> *Огиенко І.* Ук. соч., с. 267—269.

<sup>38</sup> *Киселков В. Сл.* Ук. соч., с. 43—44.

<sup>39</sup> См. *Погорелов В.* На каком языке были написаны так называемые паннонские жития? — «Byzantinoslavica», т. IV (1932), с. 13—21.

нонских» житий в летописном рассказе о происхождении славянской грамоты Шахматов усомнился в том, чтобы рассказ о Кирилле и Мефодии был составлен русским летописцем: по догадке Шахматова, летописец заимствовал его из западнославянского «Сказания о предложении книг на словенский язык»<sup>40</sup>.

Независимо от того, согласимся мы или не согласимся с гипотезой Шахматова относительно происхождения летописного повествования о возникновении славянской грамоты, мы в данном случае имели бы дело лишь с одним из случаев использования источника, обычным в любом историческом труде старого и нового времени<sup>41</sup>.

Единственный случай, когда возникает вопрос о влиянии западнославянского памятника церковнославянской литературы на литературный памятник Киевской Руси,— это когда заходит речь о связи анонимного «Сказания» о Борисе и Глебе с легендой о Вячеславе Чешском. В «Сказании» говорится о том, что Борис в предвидении расправы с ним Святополка вспоминает «мучение и страсть» Никиты, Вячеслава Чешского и Варвары<sup>42</sup>. Это дало повод некоторым исследователям, помимо утверждения, что автор «Сказания» был знаком с этими житиями, искать влияния их на «Ска-

<sup>40</sup> См. Шахматов А. А. Сказание о предложении книг на словенский язык.— «Zbornik v slavu Vatroslava Jagića». Berlin, 1908, с. 171—188; *его же*. «Повесть временных лет» и его источники.— «Труды Отдела древнерусской литературы», 1940, т. 4, с. 80—92.

<sup>41</sup> Шахматов возражал против предположения А. Е. Преснякова о том, что рассказ об обрах, замучивших дулебов, восходит к тому же самому западнославянскому источнику, который лежит в основе «Сказания о предложении книг на словенский язык», и что летописные дулебы — это не русские дулебы, а дулебы чешские. Находя предположение это остроумным и заманчивым, Шахматов, однако, отказывается признать его вероятность, потому что рассказ о дулебах не согласуется с общим тоном «Сказания», как оно предположительно восстанавливается; кроме того, память об обрах жила и на Руси, что явствует из известной летописной притчи о них («Повесть временных лет» и ее источники, с. 91). Отождествление дулебов с чешскими дулебами находим и у Д. Чижевского: «Geschichte der altrussischen Literatur im II., 12. und 13. Jahrhundert». Frankfurt/Main, 1948, с. 101; *его же*. История української літератури від початків до доби реалізму. Нью-Йорк, 1956, с. 66.

<sup>42</sup> По странному недоразумению Шахматов указывает, что в «Чтении» о Борисе и Глебе Нестора имеется упоминание о житии Вячеслава («Повесть временных лет» и ее источники, с. 84). О том же говорит и Никольский («Повесть временных лет как источник для истории начального периода русской письменности и культуры», с. 22), ссылаясь на указавшее исследование Шахматова, известное ему по рукописи. Ошибка эта повторена и А. С. Орловым («История русской литературы». М.—Л., 1941, т. 1, с. 57). Между тем упоминания о житии Вячеслава нет в «Чтении» Нестора, и оно имеется лишь в анонимном «Сказании» о Борисе и Глебе.

зание». Влияния житий Никиты и Варвары при этом обнаружено не было, но кое-кто усматривал наличие его со стороны жития Вячеслава, не идя тут, впрочем, дальше самых общих и приблизительных сопоставлений отдельных подробностей в текстах житий обоих святых. В самое последнее время о зависимости «Сказания» от житийных произведений о Вячеславе Чешском настойчиво заговорил Н. Н. Ильин в своей книге «Летописная статья 6523 года и ее источник» (М., 1957). Статья эта, как известно, повествует об убийстве Бориса. Возражая против укоренившегося, особенно со времени «Разысканий» Шахматова, положения о зависимости «Сказания» от летописной повести «О убьении Борисове» и утверждая положение об обратной зависимости, Н. Н. Ильин путем сопоставления «Сказания» с различными западнославянскими житийными памятниками, посвященными Вячеславу и Людмиле, пытается обосновать утверждение о влиянии их на анонимное «Сказание» о Борисе и Глебе. При этом для сопоставления со «Сказанием» привлекаются житийные памятники о Вячеславе и Людмиле, существовавшие не только на церковнославянском языке (в оригиналах или переводах с латинского), но и лишь на латинском языке. Привлекая последние к сопоставлению со «Сказанием», автор исходит из сомнительного предположения, что «по почину Ярослава могли собираться и переводиться не только греческие, но и латинские книги, попавшие на Русь через Чехию и Польшу», о чем «поостерегся упомянуть в начале XII в. после «разделения церквей» православный киево-печерский инок». Столь же необоснованно и дополнительное предположение Н. Н. Ильина: «Не исключено, что на протяжении всего XI столетия могли еще встречаться на Руси книжные люди, знакомые не только со славянскими, но и с латинскими легендами о Людмиле и Вячеславе»<sup>43</sup>.

Предполагая использование автором «Сказания» о Борисе и Глебе различных чешских легенд о Вячеславе и Людмиле, в том числе и латинских, в качестве литературного образца и источника, Н. Н. Ильин в то же время непосредственно вслед за этим пишет: «Редакция жития Вячеслава использованная как образец при составлении первоначальной повести о Борисе и Глебе, вероятно, стояла к последней ближе известных нам житий Вячеслава как по составу фактов, так и композиционно»<sup>44</sup>.

Спрашивается, как согласовать друг с другом оба эти предположения? О какой редакции жития Вячеслава идет

<sup>43</sup> Ук. соч., с. 52.

<sup>44</sup> Ук. соч., с. 65.

здесь речь? Очевидно, о какой-то такой, которая гипотетически создавалась на основе рассмотренных автором легенд на церковнославянском и латинском языках и о которой до сих пор не было речи.

Общеизвестно, что в русской агиографии, как и в любой другой средневековой агиографии, в том числе и южнославянской и западнославянской, мы обнаруживаем отдельные тематические, стилистические и композиционные заимствования из предшествовавшей житийной литературы, больше всего из византийской. Ничего невероятного не было бы в предположении о наличии известных заимствований из легенды о Вячеславе (разумеется, в ее церковнославянском варианте) и в «Сказании» о Борисе и Глебе. Но дело в том, что примеры, приведенные Н. Н. Ильиным для подтверждения факта этих заимствований, большей частью являются общими агиографическими штампами или лишней раз свидетельствуют о том, что те или иные сходные ситуации и тематические подробности в отдельных памятниках оказываются результатом исторических и фактических обстоятельств, вызвавших появление этих памятников на свет. К тому же сам Н. Н. Ильин, говоря о связи «Сказания» о Борисе и Глебе с житием Вячеслава, пишет: «Вернее сказать, что мы имеем дело не с простым заимствованием, а с мастерской литературной переработкой жития Вячеслава. Созданное русским автором литературное произведение в художественном отношении выше оригинала, которому он подражал»<sup>45</sup>.

Мы не касаемся некоторых других соображений, преимущественно зарубежных славистов, по вопросу о влиянии чешских церковнославянских памятников на литературу Киевской Руси, поскольку эти соображения большей частью отличаются значительной долей гипотетичности и высказаны без сколько-нибудь достаточной аргументации<sup>46</sup>. В заклю-

---

<sup>45</sup> Ук. соч., с. 53—54.

<sup>46</sup> Так, например, Д. Чижевский, отрицая влияние жития Вячеслава Чешского на анонимное «Сказание» о Борисе и Глебе, едва ли основательно усматривает такое влияние в «Чтении» о Борисе и Глебе Нестора (особенно со стороны гумпольдовой легенды) и в несторовом житии Феодосия Печерского (См. *Чижевський Д. Історія української літератури...*, с. 84, 91, 93—94, 97). Сводку этих высказываний см. в статье Р. Якобсона «The Kernel of Comparative Slavic Literature». — «Harvard Slavic Studies», vol. I. Cambridge Mass., 1953, с. 41—48. См. также ответы И. Вашицы, М. Коутной, Е. Прохазковой на вопрос: «Каковы были связи древней русской литературы с литературами западных славян?» — «Сборник ответов на вопросы по литературоведению». М., 1958, с. 7—17.

чение сказанного о проблеме западнославянского влияния на древнейшую русскую литературу, нельзя не присоединиться к соображениям, высказанным М. Н. Сперанским о значении для русской литературы памятников чехо-моравского происхождения: «Как памятники западного происхождения, они могли доносить к нам и западное культурное влияние, но на деле этого мы не видим, во-первых, потому, что в них ничего специфически западно-христианского (напр., в области догматики), кроме терминологии и лексики, не было; во-вторых, они прошли через югославянскую среду (по типу культуры восточную), значительно стершую и эти внешние следы западно-славянской их физиономии; в третьих, эти памятники очень немногочисленны по сравнению с массой восточных, пришедших к нам»<sup>47</sup>.

### III

Неизмеримо шире, чем в Моравии и в Чехии, церковнославянская письменность развивалась в Болгарии, откуда она затем распространилась и на Руси, и в Сербии. Не может быть сомнения в том, что переводческие труды братьев Кирилла и Мефодия и их учеников, относящиеся к Моравии и Паннонии, вскоре же стали известны в Болгарии. После смерти Мефодия в 885 г. ученики и сотрудники братьев-первоучителей, в результате обрушившихся на них гонений со стороны латино-немецкого духовенства, нашли себе приют в Болгарии, где им оказано было гостеприимство князем Борисом и его сыном Симеоном (впоследствии знаменитым болгарским царем). Особенно успешно протекало на первых порах развитие церковнославянской письменности в западной Болгарии, преимущественно в Македонии с ее центром — Охридой, куда Борисом был направлен самый плодовитый и едва ли не самый энергичный из учеников Кирилла и Мефодия — Климент Словенский и куда затем на помощь к нему был послан друг его, быть может, брат — ученик Мефодия Наум.

В IX — начале X в. в Болгарии было переведено огромное количество произведений византийской литературы, почти исключительно церковного характера. Особенный расцвет переводческой деятельности там падает на «золотой век» царя Симеона. Продолжались переводы книг «священного писания» (частично с толкованиями), разнообразной богослужебной и канонической литературы, начатые еще Кирил-

---

<sup>47</sup> Сперанский М. Н. История древней русской литературы. Введение. Киевский период. Изд. 3-е. М., 1920, с. 277.

лом и Мефодием и их ближайшими учениками. Переводились в большом количестве произведения отцов церкви, частично в составе обширных сборников, вроде дошедших до нас в русских списках «Изборника Святослава» 1073 г., «Учительного Евангелия» Константина Болгарского или «Златоструя» (переведенных по инициативе царя Симеона); переведены были жития святых и подвижников отдельно, а также в составе Четых Мипей и патериков, апокрифы, Хроника Иоанна Малалы с вошедшим в нее «Сказанием о Троянской войне», быть может, Хроника Георгия Амартола (позднее, возможно, в конце XI или в начале XII в., в Болгарии сделан был перевод Хроники Иоанна Зонары), «Откровение» Мефодия Патарского, вероятно, «Физиолог»<sup>48</sup>. Среди переводчиков мы находим имена таких крупнейших болгарских писателей поры князя Бориса и царя Симеона, как Климент Словенский, Константин Болгарский, Иоанн, экзарх Болгарский, Григорий-пресвитер. Не все болгарские переводы с греческого стояли на должной высоте, почему некоторые из них приходилось делать дважды. Особенно затрудняли переводчиков трудные и сложные по своему содержанию греческие памятники, в том числе греческие церковные песнопения.

Можно сказать с полной уверенностью, что многое из произведений древнейшей болгарской, и переводной и оригинальной литературы не дошло до нас: многое, несомненно, погибло или было истреблено в обстановке тяжелых исторических катастроф, какими чревата была история Болгарии. Ни один памятник переводной и оригинальной литературы времени Бориса и Симеона не сохранился в болгарских списках: все они, как и многие позднейшие, известны по русским или сербским спискам, обнаруживаемым вплоть до наших дней в различных книгохранилищах, преимущественно русских. Не сохранились, например, болгарские оригиналы Остромирова Евангелия и Святославова изборника 1073 г., дошедших до нас в богато оформленных русских списках, очевидно, воспроизводящих внешнее оформление оригиналов.

---

<sup>48</sup> А. А. Шахматов полагал, что при царе Симеоне создана была обширная энциклопедия, объединявшая в себе почти всю переводную литературу и составлявшая три или четыре тома. Дошедшими до нас ее частями Шахматов считал «Еллинский и Римский летописец» и «Изборник Святослава» 1073 г. (см. *Шахматов А. А. Древнеболгарская энциклопедия X века.* — «Византийский временник», 1900, т. VII, вып. 1, с. 1—35). Но существование в Болгарии такой энциклопедии трудно доказуемо. В частности, «Еллинский и Римский летописец» — компиляции русского происхождения.

Оригинальная болгарская литература представлена была, кроме сочинений Кирилла и Мефодия, сочинениями Климента Словенского, Константина Болгарского, Иоанна, экзарха Болгарского, черноризца Храбра, Петра Черноризца, Ковмы-пресвитера.

Климент, ближайший ученик славянских первоучителей, был, как сказано, весьма популярным писателем. Если не считать приписываемых ему так называемых «паннонских» житий Кирилла и Мефодия, а также обширного похвального слова им, принадлежность которых Клименту (особенно жития Кирилла) далеко не бесспорна, то с его именем, кроме перевода с греческого части «Цветной триоди», связывается большое количество церковно-ораторских произведений — «слов» и поучений, большей частью не обозначенных его именем. Часть их, предназначенная для рядовых слушателей и содержащая в себе элементарные религиозно-нравственные наставления, написана простым, доступным для широкой паствы языком; другая же часть — панегирические похвальные слова в честь апостолов и прославленных церковью святых — отличается цветистостью и выпренностью стиля, в духе позднего византийского церковного ораторства. Насколько сочинения Климента пользовались уважением в Болгарии уже в самую раннюю пору развития болгарской письменности, можно судить по тому, что одно из них было включено в составленный по инициативе царя Симеона «Златоуст» — наряду со словами Иоанна Златоуста<sup>49</sup>.

Константин Болгарский, сперва священник, затем епископ, так же как и Климент, был одним из ранних учеников Кирилла и Мефодия (неизвестно, однако, сопутствовал ли он им в их моравской миссии)<sup>50</sup>. Литературная деятельность его, во всяком случае, всецело протекала в Болгарии, в пору царя Симеона. Несомненно принадлежащим ему трудом является «Учительное Евангелие», представляющее собой перевод греческого сборника пятидесяти одной беседы

---

<sup>49</sup> См. *Тулицкий Н. Л.* «Слово о св. Троице, о твари и о суде» Климента Словенского. — ИОРЯС, т. IX (1904), кн. 3, с. 201—232; *его же.* Св. Климент, епископ Словенский. Сергиев Посад, 1913, с. 258.

<sup>50</sup> Прямых указаний на это не имеется в дошедших до нас материалах. Спутником Кирилла и Мефодия в моравской их миссии считал Константина Болгарского Е. Е. Голубинский («Краткий очерк истории православных церквей болгарской, сербской и румынской или молдавальнойской». М., 1871, с. 167) и, вслед за ним, архиеп. Антоний (Вадковский) («Из истории христианской проповеди», изд. 2. СПб., 1895, с. 139) и Н. С. Державин («История Болгарии». М.: — Л., 1946, т. 2, с. 70). Серьезные сомнения по этому поводу высказал В. Сл. Киселков («Проуки и очерти по старобългарска литература», с. 61—62).



на воскресные дни года, начиная с недели пасхи<sup>51</sup>, а также перевод «слов» Афанасия Александрийского против ариан. Установлено, что в «Учительном Евангелии» Константин Болгарский воспользовался готовой греческой компиляцией из слов главным образом Иоанна Златоуста, снабдив их своими введениями и заключениями самого общего наставительного характера<sup>52</sup>. Из вошедших в «Учительное Евангелие» бесед только одна — 42-я — является оригинальным произведением Константина<sup>53</sup>. Весь материал «Учительного Евангелия» по своему содержанию и стилю был далек от модного в ту пору византийского витийства, будучи рассчитан на усвоение его и мало искушенными в богословских тонкостях читателями и слушателями.

Константину Болгарскому приписывается также составление предваряющей «Учительное Евангелие» азбучной молитвы и — менее уверенно-выдающегося по своим литературным качествам «Прогласа святого Евангелия»<sup>54</sup>, являю-

<sup>51</sup> А. П. Смоленский высказал предположение, что «Учительное Евангелие» переведено было Константином в Моравии в 880—881 гг. (см. его брошюру «К вопросу о времени и месте написания Учительного Евангелия Константина Болгарского. Сергиев Посад, 1915, с. 11—19), но предположение это автором мало обосновано.

<sup>52</sup> См.: *архиеп. Антоний*. Указ. соч., с. 164—168. Следует иметь в виду, однако, что при переводе евангельских текстов Константин справлялся с древнеславянскими их списками (ср. *Михайлов А. В.* К вопросу об «Учительном Евангелии» Константина Болгарского. — «Древности. Труды Славянской комиссии Московского археологического общества». М., 1895, т. 1, с. 97—110).

<sup>53</sup> См. *Горский А., Невоструев К.* Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки, отд. II, вып. 2. М., 1859, с. 424.

<sup>54</sup> Если принадлежность азбучной молитвы Константину Болгарскому у ряда исследователей не вызывает сомнения, то написание им «Прогласа» считается сомнительным. Так, А. И. Соболевский в своих «Материалах и исследованиях в области славянской филологии и археологии» на стр. 3 и 9 азбучную молитву безоговорочно приписывает Константину Болгарскому, а на с. 18—19 и 126 о «Прогласе» говорит как о вероятном его произведении. Но далее на с. 127 Соболевский называет лишь два труда, несомненно принадлежащие Константину Болгарскому, — «Учительное Евангелие» и перевод «слов» Афанасия Александрийского против ариан. Ряд ученых, в том числе Голубинский, склонны приписывать «Проглас» Константину Философу (первоучителю Кириллу), именем которого он обозначен в старейшем тексте, во всяком случае, колеблются тут между двумя возможными авторами — Константином Болгарским и Константином Философом (см. *Лавров П.* Кирило та Методий в давньо-слов'янському письменстві, с. 188—191; *Иванов Йордан*. Български старини из Македонија, изд. 2-е. София, 1931, с. 342—344). По словам Р. О. Якобсона, «затяжные споры об авторе «Прогласа» можно в настоящее время считать законченными. Языковой, стилистический и идеологический разбор этого стихотворения вскрывает его связь с литературной деятельностью Константина Философа. Оно было сложено

щегося предисловием к церковнославянскому переводу Четвероевангелия. Оба текста — образцы широко распространенного в Византии так называемого «политического стиха» в двенадцать слогов с цезурой после пятого слога и представленного в древней болгарской литературе еще несколькими текстами. В «Учительном Евангелии», как и в азбучной молитве и в «Прогласе», выражается живая радость по поводу укоренения христианства среди славян и звучит настойчивый призыв к усвоению грамоты на славянском языке. В древнейшем русском списке XII—XIII вв. «Учительного Евангелия» вслед за его текстом идет в основном переводный трактат о церковном устройстве и чине литургии («Сказанье церковное») и историческая хроника («Историкия за бога...»), очень краткий перечень важнейших событий библейской и византийской истории — видимо, переводная статья с греческого). Принадлежность Константину «Сказания церковного» и «Историкии», однако, весьма сомнительна<sup>55</sup>.

А. И. Соболевский справедливо полагает, что Константину Болгарскому могли принадлежать еще и другие, не подписанные его именем или не дошедшие до нас, или еще не

---

первоучителем по-славянски для его моравской паствы» (см. его статью «Стихотворные цитаты в великоморавской агиографии» в изд. «Slavistična revija. Casopis za literarno zgodovino in jezik. Rajku Nahtigalu za osemdesetletnico». Ljubljana, X letnik, 1—4, 1957, с. 111—118. Здесь же — и анализ других образцов старославянского стихотворства, в том числе тех, которые можно приписать Константину Философу). См. также *Якобсон Р. О.* Заметки о древнеболгарском стихосложении. — «ИОРЯС», т. XXIV (1919), кн. 2, с. 351—358. Авторство Константина Философа в отношении «Прогласа», как, впрочем, и азбучной молитвы, не вызывает сомнений и у Эмила Георгиева (см. его книгу «Кирил и Мефодий, основоположники на славенските литератури», с. 141—201, и статью «Книгите на славянския просвители Константин-Кирил, преведени от неговия брат Методий на славянски (старобългарски) език». — «Slavistična revija», т. X., 1957, с. 122—123, 126—128).

<sup>55</sup> См. *Соболевский А. И.* Епископ Константин. — «Сборник за народни умотворения, наука и книжнина», кн. XVIII. София, 1904, с. 69; *его же.* Материалы и исследования..., с. 127; *Тулицкий Н. Л.* Св. Климент, епископ Словенский, с. 254; *Смоленский А. П.* Ук. соч., с. 3—8. Вопреки первоначальному своему предположению о принадлежности «Историкии» Константину, А. В. Михайлов позднее пришел к заключению, что «Историкия» не имеет никакого отношения ни к «Учительному Евангелию», ни к автору его (см. его «Заметки о времени происхождения Учительного Евангелия Константина Болгарского». — «Сборник статей в честь академика Алексея Ивановича Соболевского». Л., 1928, с. 459). Ср. также *Трифонов Ю.* Бележки върху Учительното Евангелие на епископа Константина. — «Оборник в честь на Васил Н. Златарски». София, 1925, с. 463; *Киселков В. Сл.* Ук. соч., с. 78—79.

обнаруженные произведения<sup>56</sup>. Так как его нередко смешивали со славянским просветителем Константином-Кириллом, то последнему могли приписываться сочинения, на самом деле принадлежавшие его ученику Константину Болгарскому. Так, изданные А. И. Соболевским шесть поучений на шесть дней недели (кроме воскресения)<sup>57</sup>, обозначенные именем Кирилла Философа и связываемые издателем скорее с переводами Иоанна, экзарха Болгарского, и его товарищей по кружку царя Симеона, чем с трудами Константина Болгарского и Климента Словенского, В. Сл. Киселков склонен приписывать Константину Болгарскому<sup>58</sup>. С достаточным основанием ему же можно приписывать службу первоучителю Мефодию<sup>59</sup>.

Крупнейшей фигурой, стоявшей во главе литературного движения при царе Симеоне, был Иоанн, экзарх Болгарский. Важнейшими его трудами являются перевод третьей части обширного богословского трактата Иоанна Дамаскина — «Слова о правой вере», откуда Иоанном переведено было сорок восемь глав (из общего количества ста), озаглавленных «Небеса», а также составление компилятивного в основном сочинения «Шестоднев», повествовавшего о шести днях творения и использовавшего ряд одноименных сочинений византийских писателей, главным образом Василия Великого и Севериана Гевальского, и один из антропологических трактатов Аристотеля. Главной задачей Иоанна, экзарха Болгарского, в этом сочинении, как и в «Небесах», было обоснование и утверждение христианской догматики в споре, с одной стороны, с античными философами, с другой — с еретическими течениями в самом христианстве. В ряде случаев Иоанн обнаруживает тут и самостоятельный творческий почин, сказывающийся в тех экскурсах «Шестоднева», в которых рассказывается о быте болгар и хазар, и особенно там, где описывается великолепие преславского царского дворца и преславских церквей и изображается величественная фигура Симеона (которому посвящен «Шестиднев») в окружении его вельмож.

Несмотря на то, что Иоанн, экзарх Болгарский, был выдающимся литературным деятелем, усердно изучавшим греческий язык и греческих авторов, ему нелегко было справиться с такими трудными по содержанию и по языку со-

---

<sup>56</sup> Соболевский А. И. Древняя церковнославянская литература и ее значение. Харьков, 1908, с. 16.

<sup>57</sup> Соболевский А. И. Шестоднев Кирилла Философа.— «ИОРЯС», т. VI (1901), кн. 2, с. 177—202.

<sup>58</sup> Киселков В. Сл. Ук. соч., с. 76—78.

<sup>59</sup> Там же, с. 75—76.

чинениями, как трактат Иоанна Дамаскина или «Шестоднев» Василия Великого и сочинения других авторов. Поэтому в его переводах обнаруживается немалое количество ошибок и погрешностей, что, впрочем, сознавал и сам переводчик. Говоря в «Прологе» к своему переводу трактата Иоанна Дамаскина о просветительной деятельности Кирилла и Мефодия и очень высоко ее оценивая, он сознается, что боялся, по причине немощи своих умственных и физических сил, исказить дело, столь искусно начатое первоучителями, долго уклонялся от продолжения его и взялся за него, побуждаемый черноризцем Доксом, почему и просит снисхождения у своих читателей <sup>60</sup>.

Нужно иметь, однако, в виду, что экзарх Иоанн, очевидно, совершал свою переводческую работу не единолично, а в сотрудничестве со своими помощниками.

И «Небеса» и «Шестоднев» Иоанна экзарха предназначались для умудренных книжной наукой читателей. То же следует сказать и относительно нескольких дошедших до нас его «слов», отличающихся большим искусством построения, высоким ораторским мастерством, хотя в большинстве случаев не самостоятельных, подражающих лучшим ораторским образцам из сочинений отцов церкви.

К числу литературных деятелей века царя Симеона принадлежал и Григорий-пресвитер. Кроме перевода библейского восьмикнижия (т. е. пятикнижия Моисея и книг Иисуса Навина, Судей и Руфь) <sup>61</sup>, ему приписывают несколько «слов» учительного характера, не отличающихся, однако, самостоятельностью и в ряде случаев представляющих компиляцию поучений Иоанна Златоуста <sup>62</sup>.

К эпохе царя Симеона или близко к этому времени относится и сочинение «О письменах», обозначенное загадочным пнемем черноризца Храбра. В нем идет речь об изобретении первоучителем Кириллом славянской азбуки. Задача сочинения — полемическая, направленная на то, чтобы доказать равноправие славянского языка с греческим и при помощи исторических справок, заимствованных, видимо, из

---

<sup>60</sup> Об Иоанне экзархе как переводчике см. *Горский А., Невоструев К.* Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки, от. II, вып. 1, с. 11—30; отд. II, вып. 2, с. 298—307; *Leskin A.* Die Übersetzungskunst des Exarchen Johannes.— «Archiv für slavische Philologie», 1903, т. XXV, с. 48—66; *его же.* Zum Sestodnev des Exarchen Johannes.— Там же, 1909, т. XXVI, с. 1—70.

<sup>61</sup> См. *Евсеев И. Е.* Григорий пресвитер, переводчик времени болгарского царя Симеона.— ИОРЯС, т. VII (1902), кн. 3, с. 356—366.

<sup>62</sup> См. *Соболевский А. И.* Из церковнославянской учительной литературы.— ИОРЯС, т. XII (1908), кн. 4, с. 264—289; т. XV (1910), кн. 2, с. 41—52.

какого-то греческого трактата, опровергнуть утверждения защитников «треязычной ереси» о допустимости для бого-служебного обихода только трех языков — еврейского, греческого и латинского.

А. И. Соболевский указал несколько древних поучений, дошедших до нас в русских списках и приписываемых им сыну и преемнику царя Симеона — царю Петру, большей частью обозначенных именем Петра Черноризца<sup>63</sup>. Характеризуя Петра как писателя, Соболевский замечает: «Он владеет, по-своему, отличным литературным образованием. Его наставления и рассуждения, несмотря на всю живость изложения, имеют очень общий характер, в них почти все нет бытовых подробностей»<sup>64</sup>.

Болгарская литература древнейшего периода крайне бедна оригинальными житийными произведениями. Нам известны жития большинства канонизованных болгарских церковных деятелей, а также канонизованного царя Петра. В лучшем случае до нас дошли только краткие биографические справки о некоторых из этих деятелей. Если не считать житий Кирилла и Мефодия и похвальных слов в их честь и служб им, мы можем назвать лишь краткое житие ученика первоучителей Наума Охридского<sup>65</sup> и, предположительно, не дошедшее до нас житие Климента Словенского — труды неизвестных авторов, их учеников. Житие Наума наиболее ценно теми сведениями, которые в нем сообщаются о судьбе изгнанных из Моравии учеников первоучителей после смерти в 885 г. Мефодия, а также о судьбе самой Моравии, завоеванной венграми.

Получившая широкое распространение в Болгарии с середины X в. ересь богомилов вызвала написание Козмопресвитером полемического трактата «Слово на еретики», направленного против богомильского учения и в то же вре-

---

<sup>63</sup> См. Соболевский А. И. Слова Петра Черноризца. — «ИОРЯС», т. XIII (1908), кн. 3, с. 314—321. Здесь частично издано по древнейшему русскому списку XII—XIII вв. одно из поучений Петра Черноризца. Полностью по тому же списку то же поучение издано Е. В. Петуховым («ИОРЯС», т. IX (1904), кн. 4, с. 149—153). Издатель считал его, однако, русским, а не переводным памятником. Два других поучения Петра Черноризца по болгарскому списку XVII в. издал Болю Ст. Ангелов в книге: «Из старата българска, руска и сръбска литература». София, 1958, с. 61—68.

<sup>64</sup> Там же, с. 317.

<sup>65</sup> Издао П. А. Лавровым в статье «Жития св. Наума Охридского и служба ему» («ИОРЯС», т. XII (1907), кн. 4, с. 37 и между с. 50—51 — фототипически) и одновременно Йорданом Ивановым («Български старини из Македония», изд. 2-е, с. 306—307). Перепечатано П. А. Лавровым в «Трудах славянской комиссии», JL, 1930, т. I, с. 181—182.

мя обличающего отрицательные стороны церковного и общественного быта в современной Козме Болгарии. Время жизни и писательской деятельности Козмы точно до сих пор не определено. Оно колеблется между X и XI вв.<sup>66</sup>

Мы рассмотрели важнейшие явления древнейшей болгарской литературы поры первого болгарского царства. Завоевание Болгарии Византией в начале XI в. привело Болгарию не только к политическому, но и к общему культурному, в частности литературному, упадку. На основании дошедших до нас памятников болгарской литературы в древнейшую пору ее развития мы не можем судить с полной достоверностью об ее объеме и характере: очень вероятно, как сказано было выше, что немало из того, что создано было болгарской литературой в эту пору, погибло в обстановке исторических событий, мало способствовавших сохранности рукописного материала. Очень наглядным показателем крайне неблагоприятных условий для сохранности старинных памятников болгарской литературы является тот факт, что дошли они до нас не в болгарских списках, а в русских, частично в сербских.

И тем не менее обращает на себя внимание то, что древнейшая болгарская литература, насколько мы ее знаем, представлена преимущественно переводными с греческого произведениями, а также и то, что и переводные и оригинальные древнейшие болгарские литературные памятники характеризуются почти исключительно церковно-религиозным содержанием. Касаясь оригинальных болгарских памятников века царя Симеона, Соболевский писал: «мы поражаемся отсутствием в них местных, болгарских данных. Только у Козмы есть кое-какие сведения о Болгарии его времени... Вообще в них нет почти ничего для характеристики болгарского быта IX—X веков. Точно так же поражает нас и отсутствие в церковнославянской литературе Болгарии оригинальных исторических сочинений, повестей, житий и т. п. Век царя Симеона был богат событиями: войнами, победами и т. п., но если бы не греческие источники, мы об этих событиях не знали бы ничего. По-видимому, кое-какие скудные заметки о лицах и событиях X века кем-то в восточной Болгарии были написаны; ими потом воспользовались, но ничего похожего на нашу первую летопись или на греческий хронограф не было составлено»<sup>67</sup>.

---

<sup>66</sup> См. *Ангелов Д.* Богомилство в Болгарии. М., 1954, с. 33; *Киселков В. Сл.* Ук. соч., с. 135—137.

<sup>67</sup> *Соболевский А. И.* Древняя церковнославянская литература и ее значение, с. 47,

О том же говорит и болгарский ученый А. Теодоров-Балан. Указывая на то, что болгарская литература, в противоположность всем другим европейским литературам, в IX столетии, на заре своего возникновения, являлась по своему языку литературой национальной, но не была таковой по своей идее, он продолжает: «Национальная идея в каждой литературе проявляется ярче всего в произведениях родной истории и родной поэзии. Древняя болгарская литература, ставящая себе только религиозно-учительные задания, питающаяся византийскими идеями и твердо стоящая на том, на чем воспиталась, не делала попытки к созданию ни исторических, ни каких-либо художественных произведений»<sup>68</sup>.

Чем объяснить почти исключительно церковно-религиозное направление древнейшей болгарской литературы? Очевидно, прежде всего тем, что введение христианства в Болгарию наталкивалось на сильную оппозицию широкой массы приверженцев язычества. Укоренению христианства противился простой народ, связывавший смену язычества христианством с усилением феодального гнета. Церковная иерархия, поддерживавшая и санкционировавшая политику государственной власти, не являлась защитницей народных интересов и не облегчала тяжелого экономического и правового положения народной массы. Усиленное развитие в Болгарии богомильской ереси вскоре же после воцарения сына Симеона Петра наглядно свидетельствует о мощной народной оппозиции, проявлявшейся по отношению к официальной церкви и к санкционируемой ею государственной системе. Быстрый рост болгарского богомильства и сочувственное отношение к нему народа на протяжении нескольких веков могут быть объяснены лишь тем, что богомильство корнями своими уходило в предшествовавшие религиозные движения, направленные против ортодоксального христианства и господствовавшей церкви. Уже в VIII—IX вв. в Болгарии стали распространяться павликианская и мессалианская ереси, во многом сходные с ересью богомилов<sup>69</sup>.

Распространение в Болгарии христианства, начавшееся еще до официального его принятия при князе Борисе, главным образом среди славянской части ее населения и в придворной среде, вызывало усиленное сопротивление со стороны весьма влиятельных слоев болгарского боярства, опасавшегося утраты своих сословных привилегий в борьбе с кня-

<sup>68</sup> Теодоров-Балан А. Очерк истории болгарской литературы сравнительно с историческим развитием других славянских литератур.— «Центральная Европа», 1930, № 10, с. 597.

<sup>69</sup> См. Ангелов Д. Ук. соч., с. 49—54.

жеской властью, опиравшейся на послушную ей церковную иерархию. На этой почве в Болгарии в IX в. возникает целый ряд восстаний, из которых наиболее сильным было восстание болгарских бояр при Борисе, поддержанное привлеченной ими на свою сторону частью народа. Восстание это было жестоко подавлено Борисом, но языческая оппозиция и после этого не была сломлена. Когда Борис, отказавшись от престола и удалившись в монастырь, передал власть старшему сыну Владимиру, тот попытался восстановить язычество. Борис после этого вернулся к правлению государством, лишив Владимира престола и ослепив его, а престол передал младшему сыну Симеону, предупредив его, что если и он отступит от христианства, его постигнет та же участь, что и его брата. Весьма показательно, что когда после изгнания из Моравии учеников Мефодия прибыл в Болгарию один из самых энергичных последователей братьев-первоучителей — Климент, Борис не рискнул оставить его в восточной Болгарии, при своей резиденции, где еще сильна была языческая оппозиция, а направил в западную Болгарию, в Македонию, где преобладающим населением были славяне, почти сплошь христианизированные. Там Климент имел возможность широко развернуть свою деятельность, не только литературную, но и организаторскую и педагогическую, заводя школы, в которых преподавалась славянская грамота и готовились кадры священнослужителей, церковнослужителей и учителей. Через некоторое время деятельным помощником Климента в Македонии стал его «сподруг и сострастник» Наум<sup>70</sup>.

Усиленное развитие церковно-религиозной литературы в Болгарии стимулировалось, можно думать, и тем, что ученикам Кирилла и Мефодия приходилось вести борьбу за утверждение православия с римской церковью не только в пору их пребывания в Моравии, но и позже, в Болгарии, при князе Борисе. Сам Борис, как известно, колебался между греческой и римской церквями, трижды переходя от одной к другой.

Блестящее развитие церковно-религиозной литературы в Болгарии в пору царя Симеона, при его руководящем участии, явилось в значительной мере завершением борьбы с рецидивами язычества, за торжество христианства.

Прогрессивное значение древнейшей болгарской литературы самой по себе и с точки зрения ее роли в судьбах русской и сербской литератур несомненно. Следует согласиться

---

<sup>70</sup> Об этом см. подробнее: *Тулицкий Н. Л. Св. Климент, епископ Словенский*, с. 225—260,



и с общей оценкой древнейшей болгарской культуры и литературы, данной Н. Л. Туницким: «В то время, когда западноевропейские народы не могли и думать о народных языках в богослужении, когда среди западных славян остатки народной церкви и славянской письменности постепенно замирали, а среди сербов и хорватов чуть только поднимались первые всходы просвещения, когда Россия еще была совсем языческой, в Болгарии в несколько десятилетий создалась самостоятельная славянская церковь с народным языком и духовенством, а славянское просвещение достигло небывалых успехов в своем развитии. Правда, просвещение здесь было до крайности узким, односторонним и лишенным оригинальности, так как вся славянская литература состояла почти из переводов, отчасти из подражаний греческой. Но важно то, что славянская церковь приближала христианство к народному пониманию, славянский язык воспитывал национальное самосознание, славянская литература приобщала славянский мир к византийской культуре. И этими приобретениями Болгария потом щедро поделилась со всеми другими православными славянами, в том числе и с русскими»<sup>71</sup>.

#### IV

Какова же была роль Болгарии в возникновении и развитии литературы Киевской Руси — литературы древнейшего восточного славянства, из которого впоследствии выделились народы великорусский, украинский и белорусский? Нет оснований сомневаться в том, что в связи с распространением на Руси христианства еще задолго до официального его утверждения при Владимире в Киеве и в южном Приднепровье вместе с болгарским духовенством появились и богослужебные книги на болгарском языке, необходимые для отправления церковной службы. Территориальные, экономические, этнические и языковые факторы обусловили непосредственную книжно-церковную связь Киевской Руси, в особенности на первых порах, именно с Болгарией, а не с Византией. Византийское влияние на Русь с самого начала осуществлялось при посредстве Болгарии, ранее приобщившейся к византийской церковно-религиозной культуре<sup>72</sup>. Как с достаточным основанием утверждал М. Н. Сне-

<sup>71</sup> Там же, с. 259—260.

<sup>72</sup> См. *Шахматов А. А.* Заметки к древнейшей истории русской церковной жизни, с. 49—52; *Ангелов Б. С.* К вопросу о начале русско-болгарских литературных связей. — «Труды Отдела древнерусской литературы», 1958, т. XIV, с. 132—138.

ранский, памятники древней болгарской письменности переходили на Русь до ее официального крещения из западной Болгарии<sup>73</sup>. Нужно думать, что в снабжении Руси болгарскими книгами деятельно участвовал Константинополь, являвшийся огромным рынком, торговавшим различными товарами, в том числе, вероятно, и церковнославянскими книгами<sup>74</sup>. Поступали на Русь книги, очевидно, и с Афона, где существовал русский монастырь св. Пантелеймона, населенный русскими монахами<sup>75</sup>.

«Мы не имеем права говорить,— писал А. И. Соболевский,— что Россия получила все, что было в Болгарии X-го века,— все, что было написано на церковнославянском языке солунскими братьями, их «учениками» в Моравии и Болгарии, и «учениками» их «учеников» в Чехии, все, что было написано в век царя Симеона и в ближайшее время после Симеона в Болгарии, но можем с решительностью утверждать, что Россия получила большую часть того, чем владела Болгария...»<sup>76</sup>

Действительно, Киевская Русь располагала огромным количеством переводной византийской литературы, преимущественно церковно-религиозного характера, полученной ею главным образом при болгарском посредничестве<sup>77</sup>. Уже само по себе энергичное собирание Киевской Русью памятников переводной книжности свидетельствует о том высоком стремлении к просвещению, какое ее отличало с первых же шагов приобщения к христианской культуре. Говоря о распространении в древней Руси переводной учительной литературы, Пыпин писал: «По-видимому, во всей юго-славяно-русской группе эта учительная литература нигде не имела такого сильного действия, как именно в письменности русской, или не нашла такой восприимчивости: по крайней ме-

---

<sup>73</sup> См. *Сперанский М. Н.* Откуда идут старейшие памятники русской письменности и литературы. «Slavia», ročník VII, sešit 3, 1928, с. 516—535.

<sup>74</sup> См. *Соболевский А. И.* Материалы и исследования..., с. 136.

<sup>75</sup> См. *Ильинский Г. А.* Значение Афона в истории славянской письменности.— «Журнал Министерства народного просвещения», 1908, № 11, с. 10—21; *Мошин В.* Русские на Афоне и русско-византийские отношения в XI—XII вв.— «Byzantinoslavica», XI/1 (1947), с. 55—85.

<sup>76</sup> *Соболевский А. И.* Древняя церковнославянская литература и ее значение, с. 20.

<sup>77</sup> Библиографический обзор ее см.: *Голубинский Е.* История русской церкви, т. I, первая половина тома, изд. 2-е. М., 1901, с. 880—924. См. также: *Архангельский А. С.* К изучению древнерусской литературы. Творения отцов церкви в древнерусской письменности; *Владимиров П. В.* Древняя русская литература киевского периода XI—XIII веков. Киев, 1900, с. 4—126.

ре пигде не встречаем такого оживленного книжного интереса и движения, как именно в древней Руси. В самом деле, это движение, по условиям места и времени, замечательным образом свидетельствует об образовательных инстинктах и дарованиях»<sup>78</sup>.

В пору Киевской Руси широко распространены были не только памятники византийской переводной литературы, перешедшие через Болгарию, но и произведения оригинальной болгарской литературы<sup>79</sup>, в том числе, видимо, и некоторые богомилские апокрифы.

Известно, что в эпоху Ярослава и позднее в Киевской Руси делались переводы с греческого при сотрудничестве русских и болгарских переводчиков (возможно, например, Хроники Георгия Амартола) или самостоятельно, силами одних лишь русских переводчиков. Очень показательно, что в эпоху Киевской Руси, помимо произведений церковно-религиозного характера, были переведены непосредственно на русский язык произведения повествовательного жанра (псевдокаллисфенова «Александрия», «Девгениево Деяние», повести о Варлааме и Иосафе, об Акире Премудром, о царе Адариане), а также исторические произведения («История иудейской войны» Иосифа Флавия, Хроника Георгия Синкелла, «Летописец вскоре» патриарха Никифора), сочинение космографического и географического содержания «Христианская топография» Козмы Индикоплова, «Физиолог» второй редакции, сборник морально-назидательных изречений, заимствованных из церковной литературы и из античных писателей, — «Пчела»<sup>80</sup>. Сам по себе характер памятников

---

<sup>78</sup> *Пыпин А. И.* История русской литературы, т. I, изд. 3-е. СПб., 1907, с. 91.

<sup>79</sup> О русских списках сочинений Климента Словенского, Иоанна, экзарха Болгарского, и Константина Болгарского см.: *Петухов Е. В.* Болгарские литературные деятели древнейшей эпохи на русской почве. — «Журнал Министерства народного просвещения», 1893, № 4, с. 298—322; *его же.* Материалы и заметки из истории древней русской письменности. — «ИОРЯС», т. IX (1904), кн. 4, с. 141—149; *Голубинский Е.* История русской церкви, т. I, первая половина тома, изд. 2-е, с. 895—897, 902—903. О русских списках сочинений Климента см. кроме того: *Соболевский А. И.* Из области древнецерковнославянской проповеди. — «ИОРЯС», т. VIII (1903), кн. 4, с. 59—71; т. X (1905), кн. 2, с. 130—139; т. XI (1906), кн. 1, с. 44—52; кн. 2, с. 144—154, кн. 4, с. 129—143. Сюда же нужно добавить указанные и частично изданные Соболевским русские списки «слов» Григория-пресвитера и Петра Черноризца.

<sup>80</sup> *Соболевский А. И.* Материалы и исследования..., с. 162—177; *Истрин В. М.* Исследования в области древнерусской литературы. СПб., 1903, с. 2—34 (о переводе Хроники Георгия Синкелла); *Дурново И. Н.* Введение в историю русского языка, Врно, 1947, т. I, с. 76—84.

такого рода свидетельствует о том, что Киевская Русь не удовлетворялась одной лишь строго церковно-религиозной книжностью, которую она получила в болгарских и в очень немногочисленных западнославянских переводах.

Весьма существенно, что древнерусские переводы не всегда были чисто механическими, буквально воспроизводящими текст оригиналов, а в отдельных случаях обнаруживали самостоятельный почин переводчика, его индивидуальную манеру и свободу обращения с оригиналом<sup>81</sup>. Наиболее показательным образцом такого перевода является работа русского переводчика «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия. Переводчику пришлось иметь дело с выдающимся в литературном отношении памятником, сложным по своей языковой и стилистической природе, рассчитанным не на рядового, а на литературно искушенного читателя, и тем не менее переводчик блестяще справился со своей задачей. Свою самостоятельность он проявил не только в свободном подходе к тексту оригинала, в одних случаях сокращая его, в других дополняя, прямую речь заменяя косвенной, но и в приспособлении перевода к норме русской художественной и бытовой речи, близкой к стилю русских оригинальных памятников, главным образом летописных, и к поэтическим образам, к тому времени уже обращавшимся в русском литературном и отчасти устном обиходе<sup>82</sup>.

Незаурядное качество древнерусского перевода крупнейшего произведения Иосифа Флавия дает наглядное представление о том, какой высоты достигало переводческое дело в Киевской Руси, отражавшее, впрочем, общую высоту ее культуры. Переводы в эпоху Киевской Руси делались в огромном большинстве с греческого языка<sup>83</sup>.

<sup>81</sup> См. *Истрин В. М.* Хроника Георгия Амартола в древнем славянском переводе. Пг., 1922, т. II, с. 152 и сл.; *Лихачев Д. С.* Возникновение русской литературы. М.—Л., 1952, с. 134—137.

<sup>82</sup> См. *Гудай Н. К.* История древней русской литературы, изд. 6-е. М., 1956, с. 142—148; *Мещерский Н. А.* История иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.—Л., 1958, с. 47—153.

<sup>83</sup> Предположение А. Д. Григорьева о том, что повесть об Акире переведена с сирийского языка, не может считаться доказанным (см. рецензию Н. Н. Дурново на исследование Григорьева об этой повести в «ИОРЯС», т. XX (1915), кн. 4, с. 294—297); его же. Введение в историю русского языка, с. 74. К переводам с греческого языка, сделанным на Руси в XI—XIII вв., А. И. Соболевский относил перевод книги «Эсфирь» («Переводная литература Московской Руси XIV—XVII веков». Спб., 1903, с. 433—436). Есть, однако, основания полагать, что перевод «Эсфири» сделан был в Киевской Руси не с греческого, а с еврейского языка (см. *Дурново Н. Н.* Ук. соч., с. 82, и подробно: *Мещерский Н. А.* К вопросу об изучении переводной письменности киевского периода.— «Ученые записки Карело-финского педагогического института», т. II, вып. 1. Петрозаводск, 1956.

Следует отметить, что Киевская Русь не удовлетворилась имевшимися в ее распоряжении переводными хрониками Георгия Амартола и Иоанна Малалы. Интерес к истории еврейского народа и древней Византии побудил ее создать исторические компиляции на основе главным образом двух указанных хроник. Таков не дошедший до нас, но восстанавливаемый по некоторым другим памятникам «Хронограф по великому изложению», в основу которого лег преимущественно сокращенный материал хроники Амартола, дополненный, как полагал В. М. Истрин, краткими сведениями о событиях первоначального периода русской истории: таков также «Еллинский и Римский летописец» первой редакции, основными источниками которого явились хроники Малалы и Амартола<sup>84</sup>.

Естественно, что обращенная в христианство Киевская Русь должна была стремиться к усвоению христианской книжности, в основной своей массе возникшей на почве старейшей по своей христианской культуре страны — Византии, чья роль в приобщении славянства к христианству была исключительно велика. Получив преимущественно при посредстве болгарских переводов очень большое количество текстов христианской книжности, древняя Русь избавлена была от необходимости брать на себя тяжелое и подчас непосильное бремя обширной переводческой работы, до нее уже выполненной главным образом теми болгарскими деятелями, которые по местным условиям, по своему образованию, иногда по греческому происхождению были гораздо ближе к греческой языковой культуре, чем русские люди. Русским, как сказано было выше, пришлось лишь пополнить своими переводами то, чего они не нашли в Болгарии, при этом порой, вероятно, работая в сотрудничестве с более сведущими в греческом языке пришлыми болгарскими, частично, может быть и западнославянскими книжниками. Это сотрудничество могло осуществляться не только на Руси, но и в Константинополе и на Афоне, сказавшись, например, в работе над славянским «Прологом».

Таким образом, литература Киевской Руси, получив от Болгарии в свое распоряжение большое количество памятников византийской литературы, сама увеличила доставшийся ей обширный переводной фонд собственными переводами с греческого языка. Переводы эти, как сказано выше, в ряде

---

с. 198—219. Автор предполагает, что этот перевод с еврейского не был исключением в русской литературе XI—XII вв.).

<sup>84</sup> О двух этих компиляциях см. *Истрин В. М.* Хроника Георгия Амартола в древнем славянском переводе, т. II, с. 363—379, 418—430.

случаев выходили за рамки строго церковно-религиозной тематики, хотя древняя Русь, точно так же, как и Болгария, не знала произведений с чисто светским содержанием, к которым принадлежали распространенные в Византии любовные романы или исторические сочинения, чуждые религиозной окраски. Последнее объясняется, во-первых, тем, что поставщиками книжного материала и в Болгарию и на Русь были преимущественно церковные круги и учреждения, естественно, заинтересованные в пропаганде среди новообращенных в христианство учения новой религии, во-вторых, и тем, что в обеих славянских странах книжными людьми были чаще всего церковные люди и отчасти покровительствовавшие церкви князья.

Как бы то ни было, при посредстве переводной литературы Киевская Русь приобщалась к византийской литературной культуре. Так было даже в тех случаях, когда Русь знакомилась с оригинальными произведениями древней болгарской литературы, поскольку эти последние сами создавались под византийским влиянием.

Не приходится отрицать, что и древняя русская литература, начиная с киевского периода, испытала значительное, хотя и одностороннее во многом влияние византийской литературы, как испытали такое влияние и другие европейские литературы раннего средневековья<sup>85</sup>. Следует вообще иметь в виду, что ни одна литература в мире, даже самая развитая, не обошлась без влияния на нее других литератур, с которыми она находилась в том или ином общении. И во многих случаях наличие такого влияния должно расцениваться отнюдь не как отрицательный, а несомненно как положительный момент в судьбах той или иной литературы. Все дело в том, каково качество влияния и в какой мере навстречу ему идет самостоятельная литературная работа, творчески, активно, а не пассивно воспринимающая влияние и претворяющая его в соответствии с индивидуальными особенностями писателя или с требованиями национальной истории. В свое время Ф. И. Буслаев, имея в виду тех исследователей, которые неодобрительно относились к установлению иноземных влияний на древнюю русскую летопись, писал: «Нельзя довольно надивиться, почему некоторые из исследователей нашей старины смотрят подозрительно на сближения наших древнейших обычаев и преданий с чужеземными, и особенно с западными... Национальность каж-

---

<sup>85</sup> См. Орлов А. С. К изучению средневековья в русской литературе.— «Памяти П. Н. Сакулина. Сборник статей». М., 1931, с. 186—194.

дого народа, которому предназначена великая будущность (а таков и народ русский), обладает особенною силою превратить в свою собственность все, что ни входит в него извне. Следовательно, указывая на чужеземные влияния на русскую старину, исследователь говорит не столько во вред, сколько в пользу нашей народности, которая вышла самостоятельно из-под всех чуждых наростов, усвоив себе из чужого только то, что согласно с ее существом»<sup>86</sup>.

Каковы же отличительные особенности оригинальной литературы киевского периода по сравнению с усвоенным ею болгарско-византийским переводным фондом и с древнейшей болгарской литературой? Они явственно сказываются прежде всего в том, что русская литература с самого своего возникновения, будучи публицистически насыщенной, гораздо теснее связана с запросами и потребностями своей национальной истории, чем литература болгарская, как указывалось выше, сосредоточившаяся преимущественно на религиозно-церковной тематике. Выше преобладание такой тематики у болгарских писателей объяснялось потребностью защиты христианства от языческой оппозиции, тем более угрожавшей христианству, что она представлена была влиятельными социальными слоями болгарского общества. Немалое значение тут имело и развитие в Болгарии еретических движений, приведших в конце концов к богомилству.

Что касается Киевской Руси, то сколько-нибудь серьезного сопротивления со стороны язычества введению в ней христианства не было. Отдельные факты такого сопротивления в народной массе не находили себе поддержки в феодальных верхах, так как в эпоху Киевской Руси вообще не имела места оппозиция княжеской власти со стороны этих верхов, как это было в Болгарии в IX веке. Какие-нибудь значительные с точки зрения своей организованности еретические выступления также отсутствовали в Киевской Руси. По всем этим причинам она не нуждалась в развитии специально церковной литературы в такой мере, в какой в ней нуждалась Болгария в пору своей христианизации.

Известно, какую роль играло богословское направление мысли в духовной жизни европейского средневековья: «...это верховное господство богословия во всех областях умственной деятельности,— писал Энгельс,— было в то же время необходимым следствием того положения, которое занимала церковь в качестве наиболее общего синтеза и наиболее общей санкции существующего феодального строя»<sup>87</sup>.

<sup>86</sup> Буслаев Ф. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Спб., 1861, ч. II. с. 80.

<sup>87</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 7, с. 360—361.

Но при всем том, как указывал еще Н. А. Добролюбов, русская литература в самую начальную пору своего существования, будучи церковной по содержанию, «не ограничивается уже, однако, исключительно религиозными интересами: она служит также орудием власти светской, хотя все еще не выходит из круга духовных предметов»<sup>88</sup>.

В том же смысле вслед за Добролюбовым высказался и Буслаев. «Не только в образованном обществе и в современной легкой, журнальной литературе,— писал он,— но даже и между учеными людьми господствует застарелый предрассудок о том, будто бы наша древняя литература имеет характер по преимуществу церковный. Притом это мнение обыкновенно доводят до того заключения, что даже и литературы, в собственном смысле этого слова, у нас не было, а были только книги богослужебного и церковного содержания с присовокуплением немногих произведений, хотя и имеющих предметом интересы не исключительно церковные, но составленных в однообразном тоне монашеских воззрений и убеждений»<sup>89</sup>.

Такое одностороннее мнение Буслаев объяснял, с одной стороны, недостаточным знанием русской старины, а с другой — полным неведением того, что представляла собой древнейшая средневековая литература Запада. В произведениях древнерусской литературы он усматривал не только наличие двух элементов — светского и церковного, но и ясно выраженную борьбу между ними. Оправдание «застарелого предрассудка» о сплошной якобы церковности древнерусской литературы Буслаев находит в том, что большая часть древнерусских писателей были монахи и церковные люди, и, следовательно, они должны были в своих сочинениях выражать монастырские и церковные интересы, а также в том, что сама форма этих сочинений была преимущественно церковная, монастырская. Но то же самое, по его словам, мы наблюдаем и на Западе, где вместе с победой христианства над язычеством образование и книжное учение сосредоточивалось в монастырях, и литература и искусство воплощали идеи, вытекавшие из христианской религии.

---

<sup>88</sup> Добролюбов Н. А. Полное собрание сочинений, 1934, т. 1, с. 222.

<sup>89</sup> Буслаев Ф. И. История русской литературы. Лекции, читанные наследнику цесаревичу Николаю Александровичу (1859—1860), выш. I. М., 1904, с. 251. Позднее А. Н. Пыпин писал: «Литература духовенства не остановилась на общих предметах вероучения и морали, а уже вскоре применяет их к фактам русской жизни — являются послания духовных лиц к князьям, с личными и народолюбивыми поучениями, и первые жития русских святых...» («История русской литературы», т. I, с. 143).



В самую раннюю пору развития в Киевской Руси литературы возникает летописание, которое в дальнейшем на протяжении нескольких веков было одним из главнейших и влиятельнейших жанров русской литературы. Возникновение на Руси летописания и последующее его широкое развитие свидетельствует об усиленном интересе русского человека к своему историческому прошлому, о его стремлении осмыслить настоящее путем сопоставления с минувшим — черта, характерная для русской культуры не только старого времени. Никакая другая средневековая литература не создала ничего равноценного «Повести временных лет». Не найдем мы ничего равного ей и в древних инославянских литературах. Мы ничего не знаем о существовании в древней Болгарии летописи, но если она там и существовала, то должна была значительно уступать в своем качестве русской летописи. Такой эрудированный знаток древнерусского летописания, каким был для своего времени немецкий историк А. Шлецер, оценивая древние иностранные летописи, в сравнении их с «Повестью временных лет», единоличным автором которой он считал Нестора, писал: «Теперь пусть сравнят беспристрастно русское богатство с бедностью всей верхнесеверной истории, нестерову древность с молодостью скандинавов, прочих славян и венгров; полноту и связь в русской истории с отрывками других; ее правдивость и важность с легкомысленными выдумками первых скандинавских, славянских и венгерских современников и всеми их продолжениями до XVI столетия!.. Долгое время Нестор остается единственным летописателем между своими сотоварищами». И далее: «Нестор, еще раз повторяю, на всем этом обширном поприще есть один только настоящий, в своем роде полный и справедливый (выключая чудес) летописатель»<sup>90</sup>.

Однако надолго утвердилось представление о сильной зависимости начальной русской летописи от византийской хронографии. В дальнейшем в числе хронографических сочинений, якобы оказавших большое влияние на русское летописание, была выдвинута Хроника Георгия Амартола. Рядом с нею указывались затем и другие сочинения византийской литературы, использованные в «Повести временных лет»<sup>91</sup>.

<sup>90</sup> Шлецер А. Нестор. Перевод с немецкого Д. Языкова. Спб., 1809, с. XLIV—XLV, XLVI.

<sup>91</sup> Наиболее полное их перечисление у А. А. Шахматова: «Повесть временных лет и ее источники», с. 36—150. К числу источников, использованных еще Древнейшим Киевским летописным сводом, Шахматов первоначально относил не дошедшую до нас, но, по его предположению, существовавшую болгарскую летопись. Сведения этой летописи, по мысли Шахматова, использованы были Древнейшим сводом в рассказе о двух походах Святослава на болгар,

Но следует полностью согласиться с тем определением отношения «Повести» к этим сочинениям, какое дано Д. С. Лихачевым, перечислившим некоторые из них: «Однако,— пишет он,— «Повесть временных лет» использовала переводную греческую литературу исключительно как исторический источник. В этом использовании было не больше «подражания» византийским хроникам, чем в любом историческом труде нового времени, цитирующем свои источники»<sup>92</sup>.

В частности, о литературном влиянии Хроники Георгия Амартола на «Повесть временных лет» не может быть и речи прежде всего потому, что сочинение Амартола неизмеримо ниже нашей начальной летописи и по своим литературным качествам и по своему идейному уровню. В. Г. Васильевский называет Георгия Амартола «жалким компилятором», а произведение его по своему содержанию «самым убогим»<sup>93</sup>. Высказывалось предположение, что Хроника Амартола влияла на древнее русское летописание своим монашеско-аскетическим мировоззрением, верой в чудеса и знамения, в участие божественного промысла, ангелов и бесов в человеческих судьбах. Но все это характеризовало средневековое направление мысли вообще, сказавшееся и в западноевропейском летописании в пору средневековья<sup>94</sup>.

В литературе, посвященной «Повести временных лет», неоднократно отмечалось, что ни по форме, ни по содержа-

---

а также в возникшем, под влиянием рассказа о крещении болгарского князя Бориса, рассказе о крещении Владимира в соединении с речью философа (см. *Шахматов А. А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. Спб., 1908, с. 124—125, 152—157). Но позднее Шахматов отказался от гипотезы об использовании русской летописью гипотетической болгарской летописи. В частности, он пришел к заключению, что летописный рассказ о крещении Владимира и речь философа — плод самостоятельного творчества русского летописца (см. «Повесть временных лет» и ее источники», с. 123).

<sup>92</sup> *Лихачев Д. С.* «Повесть временных лет» (Историко-литературный очерк).— В изд. «Повесть временных лет», ч. 2-я (серия АН СССР «Литературные памятники»). М.—Л., 1950, с. 144. Значительную якобы зависимость «Повести временных лет» от византийских хроник Малалы и Амартола усматривает проф. А. Стендер-Петерсен, вообще склонный преувеличивать ипоземные влияния на древнюю русскую литературу, в том числе и византийское влияние; ср. его статью «Die Problematik der russischen Literatur. Vom Bysantinismus zum Europäismus».— «Vorträge auf der Berliner Slavistentagung (11—13 November 1954)». Berlin, 1956, с. 134.

<sup>93</sup> *Васильевский В. Г.* Русско-византийские исследования, вып. 2-й. Спб., 1893, с. СХVIII—СХIX.

<sup>94</sup> См. *Сухомлинов М. И.* О древней русской летописи как памятнике литературном.— «Исследования по древней русской литературе». Спб., 1908, с. 151—152, 175—177; *Иконников В. С.* Опыт русской историографии, т. II, кн. 1. Киев, 1908, с. 309—317.

нию «Повесть» не имеет сходства с Хроникой Амартола<sup>95</sup>. Высокий патриотический строй «Повести временных лет», теснейшая связь ее с злободневными политическими событиями древней Руси, присущая ей широта общеисторического кругозора и сознание славянского единства, ее образные средства, обусловленные высотой русской языковой культуры, связь «Повести» с русским устным поэтическим творчеством — все это никак не могло быть впущено ей никакими использоваемыми ею источниками, в том числе и Хроникой Георгия Амартола. Характеризуя древнерусское летописание, В. О. Ключевский писал: «Замечательно, что в обществе, где сто лет с чем-нибудь назад еще приносились идолам человеческие жертвы, мысль уже училась подниматься до сознания связей мировых явлений. Идея славянского единства в начале XII в. требовала тем большего напряжения мысли, что совсем не поддерживалась современной действительностью»<sup>96</sup>. Связь «Повести временных лет» с русской народнопоэтической стихией очень хорошо подмечена Буслаевым. «Составные части слога нестеровой летописи, церковно-славянская и русская, — читаем мы у него, — находятся в связи с самым содержанием ее. Текущие события исторические, речи действующих лиц, а также народные предания и сказки со всею обаятельною силою действительности, с одной стороны, и творческая фантазия народа — с другой, постоянно отвлекают летописца в область безыскусных народных рассказов от высокого тона церковнославянской речи, согласно с господствующим настроением его духа. Летописец везде, где нужно, отличает языческое от христианского; но, увлекаемый своим литературным призванием, дает значительное место народным преданиям, или, как он выражается, **притчам**. За неимением древнейших памятников чисто народной русской поэзии, достаточно одних этих сказок и притчей нестеровой летописи, чтоб составить довольно полное обозрение древнерусского народного эпоса»<sup>97</sup>. В согласии с этими мыслями Буслаева Пыпин говорил, что «на первых шагах истории и на первых страницах летописи мы встречаемся с поэзией»<sup>98</sup>. Шахматов допускал широкое проникновение народнопоэтического материала уже в Древнейший Киевский свод.

<sup>95</sup> Об отличиях «Повести временных лет» от Хроники Амартола см., например, у М. И. Сухомлинова, ук. соч., с. 182 и сл. Там же — и об индивидуальных особенностях «Повести».

<sup>96</sup> *Ключевский В.* Курс русской истории, т. 1, изд. 4-е. М., 1911, с. 107.

<sup>97</sup> *Буслаев Ф.* Исторические очерки русской народной поэзии и искусства. Спб., 1861, т. II, с. 83.

<sup>98</sup> *Пыпин А. Н.* История русской литературы, т. 1, с. 67.

Летописание на раннем этапе своего развития велось не только в Киеве, но и в Новгороде, где в 1050 г. возникает свой древнейший свод, в основу которого положен был Древнейший Киевский свод 1039 г. в соединении с ранними местными летописными записями. Что касается «Повести временных лет», то она использована была в той или иной степени областным летописанием XII — начала XIII в. Под ее влиянием возникли летописи Переяславля Южного, Черниговская, Киевская, Владимирская, Новгородская XII в., Ростовская, Переяславля Суздальского. На основе «Повести временных лет» созданы и Галицко-Волинское летописание, начавшееся, впрочем, еще в XI в., судя по отдельным рассказам, вошедшим, несомненно, из Галицкой летописи в «Повесть временных лет» и в Киевскую летопись.

Столь широкое развитие летописного творчества в Киевской Руси, особенно ярко сказавшееся в таких замечательных памятниках, как «Повесть временных лет», Киевская и Галицко-Волинская летописи, наиболее убедительно характеризует древнейшую русскую литературу как такую, которая выросла и развивалась прежде всего на национальной почве и питалась теми соками, какие она находила в отечественной действительности своего времени.

Созвучным с «Повестью временных лет» в идейном отношении явилось и знаменитое «Слово о законе и благодати» первого митрополита из русских Илариона, созданное между 1037 и 1050 гг. По высоте своего публицистического содержания и по совершенству своего литературного мастерства это произведение древнерусского проповеднического жанра не имеет себе соперников ни в предшествующих, ни в современных ему церковно-ораторских произведениях других славянских литератур. Даже такой скептически и гиперкритически настроенный по отношению к древнерусской литературе и культуре ученый, как Голубинский, вообще не весьма восприимчивый к художественному слову, считал, что сочинение Илариона «возможно безукоризненное и блестящее ораторское произведение и в целом и в частности, достойное стать в один ряд с лучшими речами Карамзина», а сам Иларион является «мастером самого высокого разбора, между лучшими ораторами принадлежа к избраннейшим»<sup>99</sup>. Более ранний историк русской церкви — митрополит Макарий — так отзывался о «Слове» Илариона: «Нельзя не удивляться зрелости ума, глубине чувства, обилию богословских сведений и тому ораторскому одушевле-

---

<sup>99</sup> Голубинский Е. История русской церкви, т. I, первая половина тома, изд. 2-е, с. 843—844.

нию и искусству, какими запечатлено это образцовое слово, написанное Иларионом еще в сане пресвитера»<sup>100</sup>. Действительно, сочинение Илариона может быть сравниваемо только с первостепенными образцами византийского церковного красноречия. В нем обнаруживаются выдающаяся словесная культура, замечательный литературный вкус и подлинное чувство меры, горячее патриотическое воодушевление и безупречная стройность композиции.

Церковное по форме, «Слово» Илариона насквозь публицистично, и, по существу своему, полемично, хотя адресат полемики и не назван. Совершенно очевидна его связь с живой русской современностью, с той политической обстановкой, какая создалась в пору Ярослава для Киевского государства и для молодой русской церкви. Центральной публицистической темой «Слова», заключенной в «похвале» Владимиру, является возвеличение русского князя как насадителя христианской веры в своей земле, прославление населяющих эту землю «новых людей» и самой Русской земли, которая «ведома и слышима» во всем мире. Создание «Слова», несомненно, было вызвано стремлением Илариона отстоять независимость русской церкви от византийской гегемонии, а также защитить идею религиозного равноправия всех христианских народов, независимо от времени их приобщения к христианству. В своей скрытой полемической направленности против притязаний греческой церкви, как и в общем своем идейном содержании, «Слово» Илариона созвучно с Древнейшим летописным сводом, почему, вслед за Шахматовым, можно допустить знакомство автора с этим сводом.

Иларион, очевидно, прекрасно был знаком с лучшими образцами византийского церковного ораторства и, быть может, с теоретическими руководствами в этой области; однако, судя по литературе вопроса, посвященной «Слову о законе и благодати», он обнаружил в нем большую самостоятельность. Если в догматическо-богословской части «Слова» можно усмотреть единственное пока отмеченное заимствование из одного из поучений Ефрема Сирина или Кирилла Иерусалимского<sup>101</sup>, то в историко-публицистической и полемической части своего сочинения Иларион был уже совершенно оригинален.

---

<sup>100</sup> Макарий. История русской церкви, т. I, изд. 2-е. Спб., 1868, с. 127.

<sup>101</sup> См. П[етровск]ий М. П. Иларион, митрополит Киевский, и Дометиян, иеромонах Хиландарский.— «ИОРЯС», т. XIII (1908), кн. 4, с. 89—94.

Насколько «Слово о законе и благодати» было популярно в древней Руси, можно судить по большому количеству заимствований из него в последующей старинной русской и украинской литературах<sup>102</sup>. Как известно, в XIII в. сербский монах Доментиан использовал «Слово» Илариона для двух составленных им житий сербских святых — Симсона и Саввы<sup>103</sup>.

Иларион, по его собственному признанию, в своем «Слове» обращался не к «неведущим», не искушенным в словесной мудрости слушателям и читателям, а к «преизлиха насыщшемся сладости книжных». На такую же аудиторию рассчитаны были «Послание к пресвитеру Фоме» второго митрополита из русских Климента Смолятича, написанное в XII в., лет через сто после «Слова» Илариона, а также «слова» епископа Кирилла Туровского, современника автора «Слова о полку Игореве». Судя по дошедшим до нас их сочинениям, оба писателя чужды были того высокого публицистического пафоса, каким проникнуто было произведение Илариона, и от него или от его литературной традиции они унаследовали преимущественно любовь к «сладости книжной».

Для Климента Смолятича, о котором летопись отзывалась как о книжнике и философе, какого в Русской земле еще не бывало, характерна аллегорически-символическая манера истолкования библейских текстов и мира природы. Та же манера присуща и Кириллу Туровскому, но в своих «словах», посвященных главным образом похвале праздникам<sup>104</sup>, он превосходит Климента лирическим воодушевлением, поэтической взволнованностью, ритмически организованным строем и драматизацией своей речи. Давно уже, еще Шевыревым, а затем Сухомлиновым, издавшим «слова» Кирилла Туровского и посвятившим им специальное исследование, была указана большая зависимость русского проповедника от сочинений византийских отцов церкви. По-

---

<sup>102</sup> См. *Никольская А. Б.* Слово митрополита Киевского Илариона в позднейшей литературной традиции. — «Slavia», ročnik VII, sešit 3, 1928, s. 549—563; sešit 4, 1929, s. 853—870.

<sup>103</sup> См. *П[етровск]ий М. П.* Ук. соч., с. 96—126.

<sup>104</sup> Исключением является его «Притча о человеческой души и о телеси и о преступлении божих заповедей», представляющая собой обличение ростовского епископа Федора (Федорца) как самозванца, добившегося учреждения в Ростове самостоятельной, независимой от киевской митрополии, епископской кафедры. Впрочем, судя по продолжному сказанию о Кирилле Туровском, он написал много посланий к Андрею Боголюбскому. Если такие послания действительно были написаны Кириллом Туровским, он, видимо, мог откликаться в них на злободневные вопросы своего времени,

зднейший исследователь его сочинений — В. П. Виноградов — дает правильную и объективную оценку Кирилла Туровского как писателя. В результате тщательного изучения источников его «слов» он приходит к заключению, что «творчество знаменитого древнерусского витии вполне компилятивного характера». Однако компиляция Кирилла Туровского — не грубо механическая, а талантливохудожественная, в которой отдельные заимствованные элементы, выбор их, взаимосочетание — «все это выполнено самостоятельно и высокохудожественным образом»<sup>105</sup>. Во многом со «словами» Кирилла Туровского сближаются и сочиненные им каноны и большое количество молитв.

Есть все основания думать, что Кирилл Туровский был знаком с греческим языком, сам читал на нем и, возможно, под руководством какого-либо образованного заезжего грека основательно прошел школу церковного краспоречия.

Сочинения Кирилла Туровского пользовались на Руси большим уважением и большой популярностью. Они дошли до нас в многочисленных списках вплоть до XVII в. «Слова» Кирилла Туровского и несколько его молитв известны в сербских и болгарских списках<sup>106</sup>.

Мы остановились лишь на некоторых, наиболее выдающихся и наиболее показательных в идейном и художественном отношении церковно-учительных произведениях Киевской Руси, свидетельствующих о высоте ее литературной культуры. Упомянем в числе их еще хотя бы такие незаурядные произведения, как черниговское публицистическое «Слово о князьях», осуждающее княжеские междоусобицы, как с большим словесным мастерством написанные «Похвала» Феодосию Печерскому и «Слово о Лазаревом воскресении» (с достаточной вероятностью приурочиваемое к XII—XIII вв.). Впрочем, мы не можем быть уверены в том, что знаем доподлинно весь объем древнерусской учительной литературы. Не говоря уже о том, что не все, что было создано на Руси в этом жанре, как и в других, дошло до нас, ряд «слов» и поучений, написанных русскими авторами, обозначался, для придания им большей авторитетности, име-

---

<sup>105</sup> Виноградов В. П. О характере проповеднического творчества Кирилла, епископа Туровского. — В память столетия Московской духовной академии. Сергиев Посад, 1915, с. 393.

<sup>106</sup> См. Соколов М. И. Некоторые произведения Кирилла Туровского в сербских списках. — Древности. Труды Славянской комиссии Московского археологического общества. М., 1902, т. III, с. 22—238; Ангелов Боню Ст. Из старата българска, руска и сръбска литература, с. 219—226; его же. Из историята на русското културно влияние в България (XV—XVIII вв.). — Известия на Института за българска история, VI, София, 1956, с. 306—307.

нами прославленных византийских писателей. Так, с известной долей вероятности, можно утверждать, что «Изборник» Святослава 1076 г., составленный русскими книжниками, включал в себя не только значительно переработанные переводные греческие тексты, но и сочинения неизвестных нам русских авторов (например, «Слово некоего калугера о четырь книгах», «Стословец» патриарха Геннадия, «Слово некоего отца к сыну своему» и др.)<sup>107</sup>.

Произведения поучительного характера в древней русской литературе, как и в средневековой литературе вообще, были, естественно, привилегией духовенства, но в Киевской Руси создано было поучение особого рода, принадлежащее светскому лицу. Это «Поучение» Владимира Мономаха, соединенное с его письмом к черниговскому князю Олегу Святославичу и заключающееся в нескольких молитвах. Оно вошло под 1096 годом в «Повесть временных лет» по Лаврентьевскому списку. Будучи формально обращено к своим детям, а по существу рассчитанное на более широкий круг читателей, оно по своему жанровому своеобразию не имеет аналогий ни в одной литературе средневековья. Своеобразие это состоит в сочетании в нем собственно поучения с автобиографией. Если в наставительной своей части сочинение Мономаха использовало давнюю традицию, идущую еще от библейских книг и продолженную в старинной византийской и средневековой литературах Европы, то в части автобиографической оно является совершенно оригинальным и самобытным. «Автобиографический элемент в Поучении Мономаха, собственно, и делает этот памятник почти столь же из ряда вон выходящим, как и «Слово о полку Игореве», — справедливо замечает В. Л. Комарович<sup>108</sup>.

Даже там, где Мономах преподает наставление своим детям он, используя книжные источники, делает это как человек, глубоко проникнутый всем тем, о чем он говорит, собственным жизненным опытом и личным поведением государя, отца и домовладыки, утверждающий правоту своих советов и религиозно-нравственных предписаний. Что же касается автобиографической части «Поучения», то в ней рассказом о своей героической жизни, заполненной бесчисленными воинскими подвигами, отважными «ловами» и не-

<sup>107</sup> См. *Роров N. Les auteurs de L'izbornik de Svijatoslav de 1076.* — «Revue des études slaves», т. XV, № 3—4, с. 120—223; *Будовниц И. У.* Изборник Святослава 1076 года и «Поучение» Владимира Мономаха и их место в истории русской общественной мысли. — «Труды Отдела древнерусской литературы», 1954, т. X, с. 49—61.

<sup>108</sup> История русской литературы, изд. АН СССР, т. I, с. 291.



усыпным трудом для блага родной земли, он зовет своих детей и тех, кто прочтет его «грамотицю», следовать его примеру. Пред нами встает образ идеального правителя и гуманного человека, пекущегося не только о государственных делах, но и о судьбе бедного смерда и убогой вдовицы, которых он не дает в обиду сильным, закаленного в боях война и доброго человека, с трогательным участием относящегося к своей невестке, вдове своего убитого сына. Одним словом, Владимир Мономах, «братолюбець, и нищелюбець, и добрый страдалець за Русскую землю», как его характеризует летописец, встает перед нами в его «Поучении» не как условный, по литературным штампам созданный портрет, а как живой, соответствующий исторической действительности образ одного из замечательных людей древней Руси<sup>109</sup>. По силе своей впечатляемости к этому образу приближаются образы Святослава и его матери Ольги в «Повести временных лет», Изяслава Мстиславича в Киевской летописи, Даниила Галицкого в летописи Галицко-Волынской.

Очень рано в Киевской Руси возникает оригинальная житийная литература. И тут обращает на себя внимание тесная связь наиболее значительных житий русских святых с исторической и политической обстановкой русской жизни. Это сказывается прежде всего в том, что самыми ранними произведениями древнерусской агиографии были жития не представителей церкви, а русских князей в условиях политической борьбы. Киевская литература создала особый жанр княжеских житий, далеко ушедших вперед по сравнению с чешскими житиями Вячеслава и его бабки Людмилы и с южнославянской агиографией.

На первое место среди русских княжеских житий должны быть поставлены житийные памятники, посвященные сыновьям Владимира Святославича — Борису и Глебу. Под 1015 г. в «Повесть временных лет» вошел летописный рассказ, озаглавленный «О уььеньи Борисове». По основным моментам своего содержания и отчасти по стилю к этому рассказу примыкает анонимное «Сказание и страсть и похвала святому мученику Бориса и Глеба», значительно распространенное и литературно обогащенное сравнительно с летописным рассказом. На тему о Борисе и Глебе написано также сочинение Нестора, автора жития Феодосия Печерского, озаглавленное «Чтение о житии и о погублении блажен-

---

<sup>109</sup> Удачная, всесторонняя характеристика Мономаха главным образом на основе его «Поучения» дана в книге Б. А. Романова «Люди и нравы древней Руси». Л., 1947, с. 166—183,

ную страсготерьпицу Бориса и Глеба»<sup>110</sup>. Все эти три произведения теснейшим образом связаны с современной им политической ситуацией, сложившейся в Киевской Руси после смерти Владимира, и проникнуты определенной публицистической тенденцией — осуждением княжеских междоусобиц и защитой принципа родового старшинства в системе княжеского наследования. Но если «Чтение» Нестора написано по тем нормам, какие присущи были канонической форме византийского жития, с последовательным описанием всех этапов жизни прославляемых святых, в общем так же, как написано было житие Вячеслава Чешского, то анонимное «Сказание» по своей жанровой природе является вполне оригинальным литературным произведением, не имеющим себе аналогий ни в византийской, ни в прочих славянских литературах. «Сказание» — не столько житие в обычном его понимании, сколько своеобразное сочетание исторической и воинской повести. В нем мы не найдем обычных для житий биографических подробностей из жизни святых от их рождения до смерти. В «Сказании» идет речь лишь об убийстве Святополком своих братьев. В нем точно обозначены события и факты, сопутствовавшие убийству, упоминаются исторические местности и реальные имена участников преступления.

С литературной точки зрения анонимное «Сказание» является незаурядным произведением. Оно свидетельствует о немалой талантливости его автора, стремящегося к психологической обрисовке характеров обреченных на смерть братьев. Этому содействует введение в «Сказание» лирически насыщенных плачей, молитв и размышлений Бориса и Глеба, их монологов, в том числе монологов «внутренних». В произведении громко звучит авторский голос, поднимающийся до волнующей лирической эмоции, особенно там, где повествование достигает своего наивысшего драматизма. В ряде мест обращает на себя внимание ритмически организованная речь памятника<sup>111</sup>. Недаром анонимное «Сказание» пользовалось очень большой популярностью в древней Руси, доказательством чего служит огромное количество дошедших до нас его списков, во много раз превышающее количество известных нам списков несторова «Чтения».

<sup>110</sup> Взаимоотношение и хронологическое приурочение этих трех памятников до сих пор является спорным. В трудах, им посвященных, — А. А. Шахматова, С. А. Бугославского, Н. И. Серебрянского, Д. И. Абрамовича, Н. Н. Воронина, Н. Н. Ильина и немецкого ученого Л. Мюллера — эта проблема разрешается по-разному.

<sup>111</sup> Художественные качества «Сказания» удачно охарактеризованы в книге И. П. Хруцова «О древнерусских исторических повестях и сказаниях». Клев., 1878, с. 46—58.

Крупнейшему религиозному центру Киевской Руси — Киево-Печерскому монастырю — принадлежала, естественно, самая большая роль в развитии на первых же порах русской агиографической литературы. С середины XI в. здесь велась летопись, заключающая в себе ряд житийных сказаний, на основе которых, с привлечением других источников, в первой четверти XIII в. положено было начало формирования Киево-Печерского патерика, одной из любимейших книг русского и украинского читателя на протяжении многих веков. Продолживший и во многом освоивший традицию переводных византийских памятников, вобравший в себя устные легендарные рассказы, плодившиеся монастырской братией, Киево-Печерский патерик вместе с тем отразил факты бытовой монастырской действительности и одновременно отзывался на политическую злобу дня, как она сказывалась во взаимоотношениях монастыря и княжеской власти. Во многих отношениях патерик представляет художественную ценность. Особенно это следует сказать о рассказах одного из двух его авторов — инока Поликарпа. Недаром Пушкин (в письме к П. А. Плетневу, 1831 г.) восхищался «прелестью простоты и вымысла», которую он находил в патерике.

Мы не знаем ни в предшествующих, ни в современных литературе Киевской Руси славянских литературах произведения такого жанра, к которому относится Киево-Печерский патерик. Сам по себе факт его возникновения лишний раз свидетельствует о том, что литературные деятели Киевской Руси не удовлетворялись теми видами книжности, какие они получали при посредстве южного и западного славянства, и стремились к обогащению своей литературы по собственной инициативе создававшимися видами литературных памятников.

Независимо от инославянских литератур в Киевской Руси возник и жанр паломнической литературы. Старейшим образцом ее является «Хождение» южнорусского игумена Даниила в Палестину, совершенное им в 1106—1108 гг. Оно предпринято было с религиозными целями, с тем, чтобы собственными «очима своима грешныма» увидеть места, связанные с древнейшей историей христианства, и рассказать о них тем, кто их не видел. Но, помимо религиозного повествования, основанного преимущественно на легендарно-апокрифическом материале, «Хождение» Даниила содержит в себе большое количество сведений, относящихся к топографии, к географии Палестины, к ее хозяйственной жизни, ее промыслам. Таким образом, религиозные интересы паломника совмещаются у него с интересами любозна-

тельного путешественника, внимательно относящегося к окружающей реальной действительности, никак не связанной с его религиозными запросами, стремящегося к правдивости и точности в ее описании. Эти-то качества документальности «Хождения» и обусловили высокую его оценку со стороны историков Палестины и археологов.

Сознавая себя представителем всей Русской земли, Даниил выступает в своем сочинении как патриот, как радетель о своей родной земле. На пасху он ставит «кадило на гробе святемь от всея Русьския земля», молится о русских князьях, княгинях и детях их, епископах, игуменах и боярах, о своих духовных детях и «всех христианех Руския земля».

Почти через сто лет после Даниила повгородец Добрыня Ядрейкович, впоследствии — под именем Антония — ставший новгородским архиепископом, совершил паломничество в Царьград и описал его церковные достопримечательности. В литературном отношении это описание уступает «Хождению» Даниила, но в нем обращают на себя внимание некоторые сведения, относящиеся к истории русско-византийских отношений, а также отклик автора на столкновения враждующих сил, характеризовавшие в его время политическую обстановку и Царьграда и Новгорода. Антоний в своих обращениях к «братии» встает на защиту мирного существования народов, призывая их жить «во единой любви, не имуще рати между собою».

До настоящего времени не может считаться окончательно решенным вопрос о времени возникновения такого своеобразного по своему жанру и по своему содержанию памятника, как «Моление Даниила Заточника». С давних пор идет научный спор о том, к Киевской или к послекиевской, северо-восточной, Руси следует относить древнейшую редакцию этого публицистически заостренного памфлета. Но как бы ни решался этот спор, совершенно очевидно, что «Моление», как и ряд других литературных памятников, хронологически близких к памятникам Киевской Руси, например, «слова» Серапиона Владимирского, Галицко-Волынская летопись, «Слово о погибели Русской земли», могло возникнуть лишь на почве, подготовленной киевской литературной традицией.

Самым большим достижением литературы Киевской Руси явилось гениальное «Слово о полку Игореве», величайшее создание русского народа в последние годы XII в., памятник, равного которому не знала ни одна из прочих славянских литератур, стоящий в ряду самых выдающихся созданий средневекового героического эпоса. Появление

«Слова» было подготовлено всем ходом развития литературы киевского периода; оно явилось как бы синтезом и наиболее полным воплощением того высокого идейного и художественного богатства, которое заложено было в литературном творчестве древней Руси. В нем гармонически сочеталось то, что добыто было предшествовавшим развитием русской книжности, с тем, что представляло собой современное «Слову» устнопоэтическое народное творчество. Горячее патриотическое чувство автора «Слова» соединялось у него с реализмом политического мышления, и это побуждало автора объяснять события русской жизни в прошлом и в настоящем не вмешательством в судьбы людей небесных или адских сил, а всеми горестными перипетиями исторического пути, по которому шла Русь за столетие с лишним вплоть до своего поражения в столкновении с давним врагом в исходе XII столетия. И при этом высокая гражданская мысль автора нашла для своего выражения адекватную ей по силе художественную форму, поражающую своим непреходящим величием.

Идейно-художественная ценность «Слова» настолько самоочевидна и настолько неоспорима, что нет тут нужды распространяться на эту тему.

## V

Сделанная здесь беглая характеристика литературы Киевской Руси свидетельствует о необычайно высоком уровне ее развития, о тесной связи ее с русской действительностью и о несомненном превосходстве ее над другими славянскими литературами, возникшими ранее ее зарождения и современными ей. Наряду с высотой ее идейного и художественного строя в ней должно быть отмечено ее жанровое разнообразие — результат авторской инициативы русских писателей.

Еще в конце 30-х годов прошлого столетия, когда скептическое отношение к культуре и литературе Киевской Руси находило немало сторонников, один из первых историков древнерусской литературы, М. А. Максимович, писал: «При всем влиянии греческом на нашу словесность она не была исключительно подражательною, но имела много своеобразного, — что становится видным даже из сличения написанного нашими митрополитами греками и природными русскими писателями. И если сравнить древнюю русскую словесность с современным ей состоянием словесности у западных народов, то, конечно, ни одна из них не возьмет преимущества перед нами; по крайней мере нам неизвестно

ничего в XI и XII веке на западноевропейских языках, что превосходило бы летописание Нестора, слова Кирилла Туровского и «Песнь о полку Игореве»<sup>112</sup>. Максимович указывал на то, что среди памятников киевской литературы «столь много замечательных своим внутренним достоинством и даже временем появления, ибо некоторыми явлениями своими она опередила развитие словесности у других народов нового мира». По взгляду Максимовича, «ни один западнословенский народ не обладает таким богатством памятников своенародного и книжного словенского языка, как народ русский»<sup>113</sup>.

И тем не менее некоторые авторы, вопреки совершенно очевидным фактам, недооценивали древнюю русскую литературу и, в частности, даже достигшую в короткий сравнительно срок такого интенсивного развития и такого блестящего расцвета литературу Киевской Руси. Эта недооценка являлась следствием общего скептического отношения к древней русской культуре и к древнерусскому просвещению в особенности, отношения, которое сродни позициям русских скептиков первых десятилетий XIX в.

Особенно упорным отрицателем положительных ценностей в древнерусском просвещении и древнерусской литературе начиная с 80-х годов прошлого века выступил известный историк русской церкви Е. Е. Голубинский. По его мнению, попытка Владимира Святославича ввести в Руси просвещение окончилась неудачей, и на протяжении всего древнего периода русской истории не было настоящего просвещения, а в лучшем случае была лишь простая грамотность. «Грамотность, а не просвещение — в этих словах вся наша история огромного периода, обнимающего время от Владимира до Петра Великого», — так формулирует Голубинский свою точку зрения по вопросу о качестве образовательной культуры в допетровской Руси<sup>114</sup>. Он игнорирует наличие засвидетельствованных историческими показаниями высокопросвещенных людей в среде духовенства, князей и бояр в Киевской Руси и в последующие периоды русской истории и не принимает во внимание, что и в средневековой Западной Европе подлинное просвещение было уделом очень немногих представителей верхних слоев общества. Достаточно указать на факты слабой грамотности или даже

---

<sup>112</sup> Собрание сочинений М. А. Максимовича. Киев, 1880, т. III, с. 397—398.

<sup>113</sup> Там же, с. 350. Под «западнo-словенскими народами» здесь подразумеваются, очевидно, и западные и южные славяне.

<sup>114</sup> Голубинский Е. История русской церкви, т. I, первая половина тома, изд. 2-е, с. 720.

безграмотности среди представителей высшего духовенства, государей и вельмож западного средневековья<sup>115</sup>, чтобы убедиться в полной неисторичности взглядов Голубинского на характер древнерусского просвещения. Известно, что дочь Ярослава Анна, ставшая королевой Франции, была грамотна, в то время как ее супруг Генрих I не умел подписать своего имени. Основная ошибка Голубинского в вопросе о качестве просвещения в древней Руси, как и Пыпина, разделявшего в этом вопросе его взгляды, — в том, что оба они не учитывали, что в пору феодализма и даже позднее уровень просвещения того или иного народа измеряется прежде всего степенью просвещения господствующих его классов, в обладании которых и были все возможности просветительной деятельности. Если принять точку зрения Голубинского, Россия стояла на низкой ступени духовной культуры и просвещения вплоть до Октябрьской революции, так как до нее широкие народные массы у нас были лишь элементарно грамотны или вовсе безграмотны.

С другой стороны, благодаря археологическим разысканиям под руководством А. В. Арциховского (находка новгородских берестяных грамот) и исследованиям Б. А. Рыбакова и М. Н. Тихомирова мы знаем теперь, что не только к простой грамотности, но и к письменности уже в Киевской Руси нередко были причастны и купцы, и ремесленники<sup>116</sup>. Даниил Заточник, как бы то ни было, по времени близко стоявший к культуре Киевской Руси, во всяком случае не являлся представителем господствующих верхов древней Руси.

В Киевской Руси среди образованных ее слоев мы встречаемся со знанием не только греческого, но и латинского языка<sup>117</sup>. Сам Голубинский признает, что греческий язык был знаком Кириллу Туровскому, а между тем он пишет: «После Ярослава у нас исчезло просвещение и знание греческого языка, и, следовательно, не стало людей, способных

---

<sup>115</sup> См. *Иконников В. С.* Опыт русской историографии, т. II, кн. 1, с. 220—221. Следует согласиться с Б. Д. Грековым, что с первых же шагов заведения на Руси государственной школы при Владимире Святославиче, распорядившемся отдавать детей «нарочитые чадѣ» «на учение книжное», эта школа не ограничивалась обучением одной лишь элементарной грамотности и что «учение книжное» уже в то время должно было приближаться к системе обучения в греческих школах (см. *Греков Б. Д.* Киевская Русь. М., 1949, с. 399).

<sup>116</sup> См. *Тихомиров М. Н.* Городская письменность в древней Руси XI—XIII веков.— Труды Отдела древнерусской литературы, т. IX, 1953, с. 51—66.

<sup>117</sup> См. *Сухомяков М. И.* О языкознании в древней России.— «Исследования по древней русской литературе», с. 392 и сл.

переводить»<sup>118</sup>. Греческий язык в эпоху после Ярослава среди русских писателей знал не только Кирилл Туровский, но и паломник игумен Даниил<sup>119</sup>. Не говорим уже о том, что русские переводы с греческого делались не только в пору Ярослава, но и после него.

Как можно говорить об отсутствии в Киевской Руси настоящего просвещения, если там с таким большим мастерством и с такой творческой самостоятельностью была переведена «История иудейской войны» Иосифа Флавия; если митрополит Иларион со своей проповедью обращался не к «неведущим», а к «преизлиха насыщшемся сладости книжных»; если, наконец, Киевская Русь не только освоила в славянских и собственных переводах огромное количество произведений византийской литературы, но и создала оригинальную, выдающуюся по своим качествам литературу?

В нашем досоветском литературоведении мы большей частью не паходим надлежащей высокой оценки древнерусского литературного наследства, в частности — наследства, завещанного нам Киевской Русью. Следует сказать, что и в советскую пору не сразу было оценено по достоинству значение древнерусской духовной культуры и ее специального проявления — древнерусской литературы, начиная с киевского периода. Так, в вышедшем в 1922 г. «Очерке истории древнерусской литературы домосковского периода (11—13 вв.)» В. М. Истрина литература Киевской Руси трактуется довольно сбивчиво и по существу обедненно. В значительной мере развивая свои старые взгляды, высказанные задолго до появления «Очерка», Истрин утверждает здесь, что русская литература в первые столетия своего существования, именуемая им «домосковской», в отличие от литературы «московской», не заключала в себе идейного содержания, была лишена каких-либо руководящих идей и направлений, хотя в ряде случаев была публицистической и откликалась на политические и общественные события своего времени. «Отклик на то или другое единичное событие не есть еще, конечно, идейность», — пишет В. М. Истрин<sup>120</sup>. Очень трудно в данном случае уяснить ход умозаключений Истрина, имея в виду хотя бы такие памятники Киевской Руси, как летопись, «Слово о законе и благодати» Илариона, «Слово о полку Игореве». Побуждением древних русских писателей этой поры к самостоятельной литератур-

<sup>118</sup> Голубинский Е. Ук. соч., с. 730.

<sup>119</sup> См. Данилов В. В. К характеристике «Хождения» игумена Даниила. — Труды Отдела древнерусской литературы, 1954, т. X, с. 92—105.

<sup>120</sup> Ук. соч., с. 26.



ной деятельности Истрин считает «сочетание простой обыкновенной склонности к письму с готовыми чужими образцами», вообще тяготение к «литературным упражнениям»<sup>121</sup>. Во взгляде на степень самостоятельности древнейшей русской литературы по сравнению с литературами южнославянскими у Истрина находим не только ошибочные, но и противоречивые суждения. С одной стороны, он заключает: «Наклонность к компиляции составляет одну из отличительных особенностей древнерусской литературы от современных ей южнославянских литератур», и тут же, через страницу, пишет: «Литература, перенесенная с приятием христианства на Русь, т. е. литература болгарская, вся, за немногими исключениями, была сама переводной с того же греческого языка, да и сами немногие самостоятельные болгарские произведения были лишь компилятивными, восходившими к тем же греческим оригиналам»<sup>122</sup>. Немногочисленные русские оригинальные произведения Киевской Руси, по словам Истрина, основывались на готовом чужом материале, за исключением разве лишь «Слова о полку Игореве».

Глава «Очерка», в которой Истрин высказывает эти общие суждения о «домосковской», т. е. киевской, литературе, носит название «Византийское влияние на древнерусскую литературу и ее самостоятельность», но речь тут идет лишь о несамостоятельности древней русской литературы, и напрасно было бы искать здесь ответа на вопрос, в чем же проявилась ее самостоятельность. Впрочем, в дальнейшем, переходя к анализу отдельных памятников литературы Киевской Руси, Истрин, кроме «Слова о полку Игореве», отмечает ту или иную долю самостоятельности в «Слове» Илариона, в летописи, в «Хождении» игумена Даниила, в «Поучении» Владимира Мономаха.

В дальнейшем, в результате трудов советских ученых по истории древней русской культуры, выяснилась очевидная ее высота и неоспоримая ценность в перспективе общего развития мировой культуры<sup>123</sup>. Советская историко-литературная наука по достоинству оценила и древнерусскую литературу, в частности литературу киевского периода, с ее высокой идейностью и незаурядным художественным мастерством. В последние годы весьма положительное отношение в литературе Киевской Руси вместе со значительным интересом к ней обнаруживается и у ряда зару-

<sup>121</sup> Там же, с. 15.

<sup>122</sup> Там же, с. 5, 6—7.

<sup>123</sup> Итоги этих работ подведены в издании Академии наук СССР «История культуры древней Руси. Домонгольский период», тт. I—II. М.—Л., 1948, 1951.

бежных литературоведов, сосредоточившихся на ее изучении.

Не может быть сомнения в преимущественной ценности литературы Киевской Руси по сравнению с другими славянскими литературами, возникшими ранее ее или развивавшимися одновременно с ней.

Бесспорно, до нас дошло далеко не все, что создано было древними инославянскими литературами, в особенности литературой болгарской. Многое погибло в тягчайшие эпохи народных бедствий, нашествий и завоеваний. Но в сходных условиях находилась и литература Киевской Руси, в очень незначительном количестве передавшей нам тексты памятников, притом лишь переводных, в рукописях своего времени. Чудом дошедшее до нас «Слово о полку Игореве» в единственном позднем списке заставляет думать, что оно не было единственным древнерусским произведением столь высокого литературного качества. К. Н. Бестужев-Рюмин имел достаточные основания предполагать, что «Повесть временных лет» является архивом, в котором хранятся следы погибших для нас произведений первоначальной нашей литературы»<sup>124</sup>. Таким образом, судьбы наследия русской литературы киевского периода и других древнейших славянских литератур исторически как бы уравниваются.

Монгольское иго нанесло тяжкий удар культуре и литературе Киевской Руси. Оно задержало дальнейший их рост, затормозив его в пору их непрекращавшегося цветения. «Именно в это злосчастное время, длившееся около двух столетий, Россия и дала обогнать себя Европе», — писал Герцен<sup>125</sup>.

Но литературное, как и общекультурное наследие Киевской Руси, было воспринято и умножено в дальнейшей жизни древнерусской народности. Киевская литература — общее достояние великорусского, украинского и белорусского народов — стала залогом дальнейшего процветания их литератур.

**П р и б а в л е н и е.** Проф. П. Динсков в статье «Основные черты и старата българска литература», напечатанной в № 1 журнала «Литературна мисъл» за 1959 г., касаясь настоящего моего доклада в его издании отдельной брошюрой, возражает против моего утверждения, что древнейшая

<sup>124</sup> *Бестужев-Рюмин К.* О составе русских летописей до конца XIV века. Спб., 1868, с. 59.

<sup>125</sup> *Герцен А. И.* О развитии революционных идей в России (перевод с французского). — Собрание сочинений в тридцати томах, том седьмой. М., 1956, с. 159.

болгарская литература, судя по дошедшим до нас ее памятникам, отличается почти исключительно церковно-религиозным содержанием. Признавая, что для обоснования этого своего утверждения я привожу «некоторые интересные соображения и доводы», проф. П. Динеков тем не менее считает, что оно не может быть принято, поскольку недооценивает оригинальных древнеболгарских произведений, в том числе произведений не церковного, светского, актуального общественного характера.

Не оспаривая факта сильного византийского влияния на древнюю болгарскую литературу, проф. Динеков отстаивает мысль о самобытных путях ее развития, обнаруживаемых в соблюдении ее национальной специфики. Но в своем докладе я нигде не вступаю в противоречия с этим совершенно справедливым положением проф. Динекова, как и с его утверждением о высоком патриотическом звучании древней болгарской литературы. Что же касается высказанной мной мысли о преимущественно церковно-религиозном направлении древнейшей болгарской литературы, на что указывал уже ряд ученых, касавшихся ее судеб, то приводимые проф. Динековым факты не могут оспорить этой мысли в самом ее существовании: слишком редкие исключения на общем церковно-религиозном фоне древнеболгарского литературного наследия, к числу которых, по мысли проф. Динекова, следует отнести даже и возникшие задолго до создания Кириллом и Мефодием славянской письменности так называемые «первоболгарские» надписи на камне на греческом языке, — все же не меняют общей картины.

К сказанному добавлю, что в своем докладе я касаюсь особенностей лишь самого древнего периода в развитии болгарской литературы — поры первого болгарского царства — и не касаюсь дальнейших ее судеб вплоть до XVIII века, привлекаемых проф. Динековым в полемике со мной. Кроме того, подчеркивая преимущественно церковно-религиозный характер древнейшей болгарской литературы, я отнюдь не утверждаю, как это, очевидно, представляется проф. Динекову, что она не была связана с жизнью болгарского народа, с его общественным развитием. Наоборот, я пытаюсь объяснить такой ее характер историческими условиями, в которых протекала жизнь древней Болгарии. И, наконец, характеризуя древнейшую болгарскую, как и русскую, литературу, нельзя упускать из виду, что и ту и другую мы знаем не в полном объеме и можем судить о них лишь на основе того материала, который дошел до нас, будучи пощажен в обстоятельствах, далеко не благоприятствовавших его сохранности.

## ТРАДИЦИИ ЛИТЕРАТУРЫ КИЕВСКОЙ РУСИ В СТАРИННЫХ УКРАИНСКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРАХ

По внутреннему богатству, по силе своих художественных качеств литература Киевской Руси представляет собой настолько незаурядное явление, что выделяется не только среди прочих современных ей славянских литератур, но и среди мировых средневековых литератур вообще. Общеизвестна ее значительная роль в развитии последующей русской литературы вплоть до XVII в. включительно. Об этом обстоятельно, с большим количеством конкретных сопоставлений сказано в трудах о русском летописании А. А. Шахматова, М. Д. Приселкова, Д. С. Лихачева, а также в книге последнего «Национальное самосознание древней Руси»; в работах В. О. Ключевского и Н. И. Серебрянского о древнерусских житиях святых, С. А. Бугославского — о литературной традиции в северо-восточной русской агиографии<sup>1</sup>, А. С. Орлова «Об особенностях формы русских воинских повестей (кончая XVII в.)»<sup>2</sup>, А. Б. Никольской о слове «О законе и благодати» митрополита Илариона в позднейшей литературной традиции<sup>3</sup> и др., а также в общих курсах по истории древней русской литературы, в первую очередь в первых двух томах (в трех книгах) академической истории русской литературы (1941—1948).

Немалое влияние оказала литература Киевской Руси и на развитие старинных южнославянских литератур, о чем особенно убедительно свидетельствуют труды М. Н. Сперанского. В последнее время на эту же тему идет речь в работах болгарского ученого Бопоу Ангелова.

Что касается старинных украинской и белорусской литератур, то вопрос об усвоении ими литературного наследия Киевской Руси оставался по сию пору недостаточно

<sup>1</sup> Сборник статей в честь академика Алексея Ивановича Соболевского. Л., 1928, с. 332—336.

<sup>2</sup> Чтения в Обществе истории и древностей российских, 1902, кн. 4 (раздел «Исследования»), с. 1—50.

<sup>3</sup> «Slavia», 1928, год VII, вып. 3, с. 549—563; вып. 4, с. 858—870.

уясненным. При разрешении этого вопроса необходимо предварительно оговориться, что в эпоху средневековья далеко не всегда можно провести четкую границу между той и другой литературой. И Украина и Белоруссия находились в ту пору в составе общего государственного организма, характеризовались общими признаками языковой и общественно-социальной культуры, свои духовные и специально литературные потребности удовлетворяли общими памятниками книжности. Поэтому в дальнейшем, как правило, мы не станем и не сможем во всех случаях разграничивать старинную литературную продукцию обоих народов.

Рассматривая проблему наследования восточным славянством литературных традиций Киевской Руси, В. М. Истрин в свое время писал: «...13-й и 14-й века в истории литератур западнорусской и южнорусской были самыми темными и непроизводительными. От этого периода мы не имеем ни одного литературного памятника, и надо, следовательно, признавать тот факт, что старая литературная традиция в указанных областях совершенно исчезла. Продолжали существовать лишь необходимые богослужебные книги...»<sup>4</sup> Касаясь литературного процесса на Украине и в Белоруссии в XV и XVI вв., Истрин продолжает: «Итак, в областях южнорусских, вошедших в состав Литовско-Русского, а потом Польско-Литовско-Русского государства, и в рассматриваемый период не произошло возрождения старой литературы киевского периода. Наоборот, она все более и более уничтожалась и поддерживалась лишь присылкой и случайным заходом необходимых богослужебных книг из Московского государства; новая московская литература, возникшая из новых уже условий и новых потребностей, западу и югу была чужда. Можно указать один голько пример появления памятника, напоминающего старину, хотя памятника и компилятивного, это — составление в начале 15-го века в Киево-Печерском монастыре из старых творений Симона и Поликарпа особой редакцией «Киево-Печерского Патерика»<sup>5</sup>. Обращаясь к украинской

---

<sup>4</sup> *Истрин В. М.* Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода (11—13 вв.). Пг., 1922, с. 40.

<sup>5</sup> Там же, с. 42. Тут Истриным допущена, очевидно по рассеянности, оплошность: в начале XV в. Киево-Печерский Патерик возник не в Киево-Печерском монастыре, а в Твери (Арсеньевская редакция). В Киево-Печерском монастыре возникли две вторичные его редакции (1-я и 2-я Кассиановские), притом не в начале, а во второй половине XV в. (1460 и 1462 гг.). В дальнейшем на страницах книги, посвященных специально Киево-Печерскому Патерику, Истрин исправил свою оплошность.

литературе XVII в., которую Истрин относит к новому периоду, он пишет: «Литература нового киевского периода шла всецело по стопам и образцам литературы польской и, следовательно, питалась только западно-европейскими элементами... С древнерусской литературой она не имела ничего общего, народный элемент в нее не проникал...»<sup>6</sup>

Наконец, суммируя свои соображения по вопросу о судьбах литературного наследства Киевской Руси в последующем развитии литературы Южной Руси, Истрин пишет: «С прекращением политической и культурной жизни в Южной Руси само собой, естественно, прекратилось и книжное списание. Сами книжные люди разошлись в разные стороны; общественная и политическая жизнь стала неблагоприятна для дальнейшего составления и появления самостоятельных произведений; старые памятники были уничтожены во время татарского нашествия, а вновь они уже не переписывались. Одним словом, история дальнейшей русской литературы для Южной Руси закончилась, ее естественное развитие остановилось; последующие периоды некоторого возрождения литературного движения в южно-русских областях в главных своих основаниях поконились уже на иных данных, а новая литература, уже на новом литературном языке, с древнейшей литературой 11—12 вв. имела уже ничтожную связь»<sup>7</sup>.

Нетрудно опровергнуть самоочевидные ошибки, допущенные Истриным в его только что приведенных высказываниях. Никак нельзя согласиться с характеристикой XIII и XIV вв. в истории западнорусской и южнорусской литературы (от которых «мы не имели ни одного литературного памятника»), хотя бы потому, что XIII век дал нам такой выдающийся литературный памятник, как Галицко-Волынская летопись, в равной мере относящийся к украинской и русской литературам. Что касается литературной продукции Южной и Западной Руси на протяжении не только XIV, но и XV и первой половины XVI в., то она действительно была скудна; однако, как увидим ниже, говорить о полном ее бесплодии не приходится. Кстати, нельзя говорить и о том, что «новая московская литература... западу и югу была чужда»: достаточно обратить внимание на то, что нам известны были, частично в списках с местными языковыми особенностями, «Задонщина», Сказание о Мамаевом побоище, сочинения Максима Грека, старца Артемия, Степенная книга.

<sup>6</sup> Там же, с. 43.

<sup>7</sup> Там же, с. 44.

Посмотрим, насколько прав был Истрин и в остальных своих утверждениях, относящихся к судьбам литературы Киевской Руси на специально украинской и белорусской почве.

\* \* \*

Начнем с традиций летописной литературы. Каковы были судьбы летописания в украинско-белорусских землях, начиная со второй половины XIII в., и какова связь этого летописания с традициями летописной литературы Киевской Руси?

В первую очередь необходимо коснуться упомянутой выше Галицко-Волынской летописи, окончательно сложившейся в конце XIII в. и, как сказано, в одинаковой мере принадлежащей русской и украинской литературам в начальной стадии их выделения из древнейшей общерусской литературы. Как указал в свое время Шахматов, «галицко-волынское летописание основалось на «Повести временных лет»<sup>8</sup>. Что касается специально Волынской летописи, то она отразила в значительной мере влияние предшествующей ей в Ипатьевском списке Киевской летописи XII в.<sup>9</sup>

Галицко-волынское летописание вместе с тем использовало наиболее значительные произведения переводной и оригинальной исторической литературы, которыми владела Галицко-Волынская земля. Тут во второй половине XIII в., нужно думать, был составлен сборник, включавший Толковый апокалипсис, Хронограф, содержащий библейские книги, хроники Иоанна Малалы и Георгия Амартола, «Александрию» и «Историю пудейской войны» Иосифа Флавия, затем «Летописец русских царей», включивший в сокращении «Повесть временных лет», и сборник типа «Изборника» Святослава 1073 г. (весь этот материал был использован в так называемом Архивском сборнике XV в. и в Виленском списке Хронографа)<sup>10</sup>. В конце XIII или в начале XIV в. в Южной Руси (возможно, в Галиции) возник сборник, явившийся протографом Ипатьевского (XV в.) и Хлебниковского (XVI в.) списков, последний из которых возник также, очевидно, в Галиции.

<sup>8</sup> Новый энциклопедический словарь Брокгауза-Ефрона, т. 25, стб. 158. Перепечатано в книге А. А. Шахматова «Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв.» (М.—Л., 1938, с. 363).

<sup>9</sup> См. *Еремин И. П.* Волынская летопись 1289—1290 гг. Труды Отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). 1957, т. XIII, с. 112—114.

<sup>10</sup> См. *Орлов А. С.* К вопросу об Ипатьевской летописи. Известия Отделения русского языка и словесности (ИОРЯС). 1926, т. XXXI, с. 95; его же. О Галицко-Волынском летописании. ТОДРЛ. 1947, т. V, с. 24 и сл.

Что касается «Летописца русских царей», вошедшего в Архивский сборник<sup>11</sup>, а также в дефектный Никифоровский сборник<sup>12</sup>, то он, будучи составлен в Галицко-Волынской земле, включал в себя, помимо сокращенной «Повести временных лет», также известия, изложенные в летописце Переяславля Суздальского, относящиеся к истории Северо-Восточной Руси и доведенные до 1214 г., и содержал фонетические и лексические элементы украинско-белорусской речи<sup>13</sup>.

Не позже половины XV в., а, может быть, и раньше возникает так называемое западнорусское, или литовское летописание. Наиболее полная публикация дошедших до нас списков западнорусских летописей осуществлена в 1907 г. в XVII томе Полного собрания русских летописей. Нужно, однако, иметь в виду, что до нас дошли далеко не все западнорусские летописи. За два с половиной века — от XIV до половины XVI столетия — украинская и белорусская литературы понесли большие утраты вследствие опустошительных вражеских нашествий, пожаров, домашних междоусобиц, а еще больше — в результате религиозных споров и столкновений католиков и окатоличенных униатов с защитниками православия. Такую же судьбу испытало и западнорусское летописание, судя хотя бы по тому, что польским хронистам Длугошу, Бельскому, Стрыйковскому известны были такие западнорусские летописи, которые до нас не дошли<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Издан К. М. Оболенским в кн.: Летописец Переяславля Суздальского, составленный в начале XIII века (между 1214 и 1219 годами). М., 1851, с. 1—112.

<sup>12</sup> Издан С. Белокуровым («Русские летописи». М., 1898, с. 7—17).

<sup>13</sup> См. Орлов А. С. О Галицко-Волынском летописании, с. 30—31.

<sup>14</sup> В связи с изучением украинских списков жития князя Владимира исследователь их пишет: «Необходимых пособий, где бы были собраны указания на сохранившиеся до нашего времени рукописи, заключающие в себе произведения украинской литературы, мы не имеем. К тому же немало погибло материала, полезного для работы историка древнейшего периода этой литературы: частью во время империалистической войны — в Галичине и на Буковине, частью и на территории УССР, вследствие хозяйничанья банд, которые, как, например, махновцы, грабили даже музейное имущество, как это произошло в Днепропетровске» (Перетц В. Н. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI—XVIII веков. М.—Л., 1962, с. 31). Приведенные слова, как и статья, откуда они извлечены, написаны В. Н. Перетцем лет за десять до второй мировой войны (он умер в 1935 г.). Поэтому В. Н. Перетц не мог предвидеть, какие опустошения рукописных собраний Украины и Белоруссии принесет вторжение в эти земли германских фашистских аггрессоров,



Группу древнейших западнорусских летописей составляют списки Супрасльский<sup>15</sup>, Никифоровский, изданный в указанном труде Белокурова, а также Уваровский. Все эти списки, по наблюдениям Шахматова, ведут свое начало от Смоленского свода XV в., в состав которого входила — через посредство общерусского митрополичьего свода, доведенного до 1446 г., и новгородских 4-й и 5-й летописей — «Повесть временных лет». Таким образом, «Повесть временных лет», по словам Шахматова, «входила в состав того летописного свода, от которого в той или иной степени произошли все литовские летописи»<sup>16</sup>.

Анализируя особенности стиля западнорусских летописей, Ф. П. Сушицкий, автор наиболее обстоятельного исследования, посвященного западнорусским летописям, сопоставляет стиль их со стилем Галицко-Волынской летописи, как сказано выше, продолжающей литературные традиции «Повести временных лет» и частично бывшей одним из источников западнорусских летописей. С Галицко-Волынской летописью связывают западнорусские летописи устойчивые формулы боевых эпизодов<sup>17</sup>.

Язык западнорусских летописей — в основном древнерусский литературный язык, с проступающими белорусскими диалектическими особенностями; в отдельных случаях встречаются украинизмы, нередки и полонизмы.

К 1495 г. относится возникновение в Смоленске так называемой Летописи Авраамки, представляющей собой соединение краткого Хронографа с краткой общерусской летописью, составленной в Новгороде и ведущей изложение от начальных исторических событий Киевской Руси до 1446 г. (издана в XVI томе Полного собрания русских летописей). Будучи в политической зависимости от Литвы, Смоленск в своей литературной культуре был близок к западнорусским землям, тоже находившимся в подчинении у Литвы. Отсюда родственность смоленского и западнорусского летописания, отсюда и наличие в Летописи Авраамки местных западнорусских языковых особенностей<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Подробное его описание см. у А. А. Шахматова («О Супрасльском списке западнорусской летописи» — «Летопись занятий Археологической комиссии за 1900 г.». СПб., 1901, вып. 13, с. 369—370).

<sup>16</sup> Шахматов А. А. Обзорение русских летописных сводов XIV—XVI вв., с. 329, 369—370.

<sup>17</sup> См. Сушицкий *Геоктист*. Західньо-руські літописи як пам'ятки літератури. Київ, 1930, с. 368—404.

<sup>18</sup> См. Карский Е. Ф. Особенности письма и языка рукописного сборника XV в., именуемого Летописью Авраамки. «Труды по белорусскому и другим славянским языкам», М., 1962, с. 345—372.

В западнорусском сборнике XVII в. известен «Летописец русских князей и земли Русские» епископа Павла, составленный в XVI в. в Новгороде, но дошедший до нас в западнорусском сборнике, будучи подвергнут сокращениям. Летописец этот в первой своей части, излагающей события, начиная от крещения Руси (по «Повести временных лет») до 1309 г., сходен с первой частью Летописи Авраамки, доведенной до того же 1309 г., что объясняется общим для них источником — кратким извлечением из свода 1448 г.<sup>19</sup>

К Летописи Авраамки близки и некоторые другие летописные сборники<sup>20</sup>, из которых наибольший интерес для нас представляет Супрасльский список, содержащий сокращенные Новгородскую и Киевскую летописи (издан в 1836 г. М. А. Оболенским). Сокращенная Новгородская летопись тождественна с текстом Летописи Авраамки, с той лишь разницей, что заканчивается рассказом о взятии Тохтамышем Москвы в 1382 г., не доведенным, однако, до конца и обрывающемся на полуфразе. Заглавие ее «Початок Русской земли, како приидоша словяне племени Афетова и сели на Рускую землю по рекам, то ес летописец киевский и всее Руское земли и Полское и Литвани», уже само по себе свидетельствует о западнорусском происхождении летописца.

Соединенная в Супрасльском списке с краткой Новгородской летописью краткая Киевская летопись написана тем же почерком и характеризуется теми же западнорусскими языковыми особенностями, что и Новгородская. Изложение событий в ней ведется, начиная с 862 г. по 1515 г. Заглавие ее — «Начало русских князей рускаго княженья». События, связанные с историей Киевской Руси, излагаются в ней вплоть до Батыева нашествия на Русскую землю. Общерусские данные извлечены здесь из 4-й Новгородской летописи. Название свое эта летопись получила у Карамзина, хотя, как отметил еще Ю. Тиховский, «название «Киевская» к ней ни в каком отношении не приложимо: ни по выбору или характеру известий (т. е. киевских или с киевской точки зрения), ни по месту написания или переписки: языку и правописанию рукописи»<sup>21</sup>. По его предположению, летопись эта была написана в Смоленске,

<sup>19</sup> См. Шахматов А. А. Обзорение русских летописных сводов XIV—XVI вв., с. 302—310.

<sup>20</sup> См. Приселков М. Д. Летописание Западной Украины и Белоруссии. «Ученые записки Ленинградского ун-та», 1941, № 67, с. 21—23.

<sup>21</sup> См. Тиховский Ю. Так называемая «Краткая киевская летопись». «Киевская старина», 1893, № 9, с. 365.

его уроженцем. Обстоятельное подтверждение смоленского происхождения Краткой киевской летописи принадлежит В. А. Арнаутову, подтвердившему заключение Тиховского, видимо, не будучи знакомым с его статьей<sup>22</sup>.

В истории украинского летописания XVII в. значительное место должно быть отведено Густынской летописи, принадлежавшей первоначально Густынскому монастырю на Полтавщине. Дошла она до нас в копиях, написанной в 1670 г. монахом Густынского монастыря Михаилом Лосицким и отличающейся ярко выраженными украинизмами. Автор для своего труда использовал огромное количество исторического материала, начиная от «Повести временных лет» и Галицко-Волынской летописи, продолжая польскими и византийскими хрониками и позднейшими русскими и западнорусскими летописями. События изложены в летописи, начиная с 842 г. и кончая 1596 г., — годом заключения Брестской унии. Густынская летопись в части, относящейся к истории Киевской Руси, ближе всего стоит к Хлебниковскому списку летописи, возникшему, как мы знаем, в Южной Руси. С текстом Густынской летописи по содержанию и по языку сходны тексты, заключающиеся в рукописях, принадлежавших Мгарскому монастырю и Московскому главному архиву Министерства иностранных дел. Обе эти рукописи, относящиеся к XVII в. и содержащие в себе Русский летописец, использованы для подведения вариантов к Густынской летописи, помещенной в качестве приложения к Ипатьевской летописи, входящей во второй том Полного собрания русских летописей издания 1843 г. В качестве гипотезы, нуждающейся в дополнительном обосновании, следует указать на попытку приписать составление Густынской летописи автору «Палиподии» Захарии Копыстенскому<sup>23</sup>. Будучи в основном компилятивным сочинением, Густынская летопись в то же время не лишена известных черт научнообразного отношения к использованным летописцем материалам, поскольку он, приводя высказывания отдельных авторов о тех или иных событиях, старается в иных случаях критически относиться к своим источникам и пред-

---

<sup>22</sup> См. Арнаут В. А. «Киевская» летопись Супрасльского сборника (К вопросу о смоленском летописании)». ИОРЯС, 1909, т. XIV, кн. 3, с. 1—34.

<sup>23</sup> См. Ершов А. Коли й хто написав Густинський літопис? «Записки Наукового товариства імені Шевченка». 1930, т. 100, с. 205—241. О Густынской летописи см., кроме того: Иконникова В. С. Опыт русской историографии. Киев, 1908, т. 2, кн. 2, с. 1520—1526; Багалій Дмитро. Нарис української історіографії. «Літописи», т. I, вип. 1, Київ, 1923, с. 115—118.

лагает свою точку зрения по поводу сообщаемых им фактов.

В рукописном отделении Института Оссолинских во Львове хранился сборник, озаглавленный «Летописцы Волины и Украины», писанный в Киеве в середине XVII столетия и принадлежавший сыну бывшего киевского воита Богдану Балыке, затем уставнику Межигорского монастыря Илье Коцаковскому, родом из Галичины. Сборник этот заключает в себе ряд летописных статей, представляющих компиляцию, составленную из древних русских летописей, а иногда — из неизвестных вариантов их. В него входят сведения, внесенные потом в «Синописис», приписываемый Иннокентию Гизелю, извлечения, в частности из «Повести временных лет», наряду с извлечениями из польских хроник. Первая вошедшая в сборник статья озаглавлена: «Хроника руская о российских самодержцех и великих царех, откуда и как быша, подобает взыскати. Зде воцмем и услышим и обрящем от сего, яко от Августа, кесаря римского, корень их вышел». Из «Повести временных лет» здесь заимствованы сведения об основании Киева Кием и о прибытии Аскольда и Дира, о княжении и смерти Олега, о княжении Игоря и Ольги, о ее мести древлянам и путешествии в Царьград, о княжении Святослава, Ярополка и Владимира, затем сказание об изобретении славянской азбуки, о крещении Владимира и о княжении Ярослава. Далее следует весьма краткий перечень событий до 1113 г. и более подробный рассказ о княжении Владимира Мономаха, после чего идет быстрое перечисление событий до 1224 г. и более подробный рассказ о битве при Калке и нашествии Батыя, причем прибавлен эпизод о разорении монголами Чернигова. Статья заканчивается апокрифическим рассказом об убиении Батыя венгерским королем Владиславом.

Под общим заглавием «Летописец второй» помещено шесть различных летописных отрывков, следующих друг за другом. Первый является извлечением из местной монастырской летописи Киево-Печерского монастыря (за годы 1051—1147). Здесь помещены рассказы, вошедшие в состав «Повести временных лет», о сооружении Киево-Печерской церкви, о первых киевских митрополитах, о чудесных знамениях, виденных в монастыре, и т. д. Другой отрывок представляет извлечение из местной смоленской летописи (1162—1492), подробно рассказывающий о событиях в Смоленске, и прибавлены краткие сведения о событиях литовских, московских и киевских.

Материал этого сборника издан лишь частично (за годы с 1241 по 1621) в «Сборнике летописей, относящихся к

истории Южной и Западной Руси» (изд. Комиссией для разбора древних актов, Киев, 1888, с. 73—99). Сведения о составе сборника даны в предисловии к нему В. Б. Антоновичем.

К 1672—1673 гг. относится написание перомонахом Феодосием Сафоновичем, игуменом Киевского Михайловского Златоверхого монастыря «Кройники», общее заглавие которой: «Кройника з летописцов стародавних, з святого Нестора Печерского и инших, также з кройник полских». Она состоит из трех частей: «Кройники о Руси», «Кройники о земли Полской» и «Кройники о початку и назвыску Литвы». В составе всех трех частей труд Феодосия Сафоновича до нас не дошел ни в одной рукописи; «Кройника о Руси», с одной стороны, и обе последующие «Кройники» вместе, с другой, сохранились в различных рукописях. «Кройника о Руси» озаглавлена «О Руси. Отколь Русь почалася и о первых князех русских и по них далших наступающих князех и о их делах». Она, в свою очередь, делится на три части, причем о событиях в Киевской Руси речь идет в первых двух частях, основанных на материале преимущественно Ипатьевской летописи, а также «Хроники» Стрыйковского. Феодосий Сафонович интересуется главным образом судьбами Южной Руси. Он ставит перед собой задачу связать современную ему историю Украины с ее стародавней историей, идущей от Киевской Руси<sup>24</sup>.

<sup>24</sup> См. *Рогозинский А. М.* «Кройника» Феодосия Сафоновича и ее отношение к «Киевскому Синописцу» Иннокентия Гиззеля. ИОРЯС, 1910, т. XV, кн. 4, с. 270—286; *Borelius Cecilia.* Safonovičs Chronik im Codex AD 10 der Västeråser Gymnasialbibliothek. Eine Sprachliche Untersuchung. Uppsala, 1952.

Основное внимание автор уделяет, как это видно и из заглавия книги, лингвистическому анализу Вестеросского списка «Кройники о Руси», сделанного в Москве в 80-х годах XVII в. и завезенного в Швецию, где в первой четверти XIX в. снята была с него копия, поступившая в бывш. рукописное собрание Киево-Софийского собора (см. *Петров Н. И.* Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве. М., 1904, вып. III, с. 104, 525). Следует сказать, что в лингвистическом анализе памятника Борелиус допускает существенные погрешности, на что указано было в рецензии Ю. Сереча («Slavic Word», 1953, т. 9, № 4, с. 409—412). Главной погрешностью является заключение автора на основе изучения Вестеросского списка об украинском происхождении Сафоновича, тогда как Вестеросский список характеризуется наличием явных белорусизмов. Однако и утверждение Сереча о белорусском происхождении Сафоновича не может считаться доказанным, поскольку оно вытекает из рассмотрения не оригинала памятника, а лишь одного из его списков. Кроме языкового анализа, в книге Борелиус содержатся сведения о дошедших до нас рукописях «Кройники» Сафоновича, основанные преимущественно на статье Рогозинского, довольно подробные биографические данные о Сафоновиче и характеристика других его сочинений.

В 1674 г. в типографии Киево-Печерской лавры было напечатано первое издание знаменитого «Синописа», полное заглавие которого: «Синописис, или краткое собрание от разных летописцев о начале славяно-российского народа и первоначальных князех богоспасаемаго града Киева, и о житии святаго благовернаго великаго князя Киевскаго и всея России первейшаго самодержца Владимира, и о наследниках благочестивыя державы его Росийския даже до пресветлаго и благочестиваго государя нашего царя и великаго князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белья России самодержца». Книга вышла в свет «по благословению» архимандрита Киево-Печерской лавры Иннокентия Гизеля; ему же — с колебаниями — приписывается и ее авторство. При жизни Гизеля «Синописис» выходил еще дважды — в 1678 и 1680 гг., каждый раз с дополнениями, особенно значительными по количеству в издании 1680 г.<sup>25</sup> где к тому времени уже умерший царь Алексей Михайлович заменен Федором Алексеевичем. В дальнейшем, как мы знаем, «Синописис» выходил в большом количестве изданий в XVIII и в первой трети XIX в. и даже был переведен на греческий и латинский языки.

Как известно, Гизель, если и не бывший автором «Синописа», то во всяком случае редактировавший его, был убежденным сторонником идеи воссоединения Украины с Россией и издание «Синописа» должно было содействовать историческому обоснованию этой идеи. С этой целью злободневная политическая современность генетически связывается в «Синописисе» с отдаленным прошлым и таким образом получает свое политическое и историческое осмысление. Здесь Москва трактуется как прямая преемница киевской государственности, как продолжательница и храни-

---

В приложении к книге напечатаны в небольшом количестве фрагменты из «Кройники о Руси» по Вестеросскому списку.

Как явствует из заявления С. Т. Голубева, сделанного им в заметке «Дополнение к одному из «Объяснительных параграфов по истории западнорусской церкви» («Труды Киевской духовной академии», 1910, июль-август, с. 571), в конце 1910 г. должно было в «Архиве Юго-западной России» появиться полностью издание всех трех частей «Кройники» Сафоновича, но оно не было осуществлено.

<sup>25</sup> Экземпляры «Синописа», датированные 1680 г., известны в трех разновидностях, заставляющих предполагать, что под этой датой напечатано было по крайней мере три издания «Синописа», причем первое издание выпущено в свет, очевидно, не ранее 1681 г., второе — близко к этому времени, а третье — возможно, в конце XVII в. См. *Маслов С. И.* К истории изданий киевского «Синописа». «Сборник статей в честь академика Алексея Ивановича Соболевского», с. 341—348.

тельница ее самодержавного строя, утвержденного киевским великим князем Владимиром Святославичем и укрепившегося его продолжателями вплоть до современных написанию «Синописа» московских государей. Судьбы Киевской Руси занимают первенствующее место в «Синописе», и последующая история великорусского и украинского народа, с большими пробелами, излагается в нем лишь для уяснения ее связи с отдаленной киевской стариной. При этом, как и в московской публицистике XV—XVI вв., право московских князей на киевское наследство мотивируется родственными связями их с киевским княжеским родом, начиная от Владимира. Вместе с тем утверждается исконное единство народов, населяющих «Великую», «Малую» и «Белую» Россию. Все эти три части единой Российской державы в пору Владимира Святославича, якобы именовавшего себя «царем и самодержцем всея России», достигли необыкновенного расцвета и славились своим могуществом. Продолжателем дела Владимира Святославича явился Владимир Мономах, после которого, со времени татарского нашествия, наступает упадок киевской государственности<sup>26</sup>.

Боевые картины «Синописа» порой близки к стилистическим формулам воинских повестей Киевской Руси и позднейшего времени, как, например, описание битвы с турками за Чигирич, вошедшее в третье издание «Синописа» 1680 г.: «Тамо бо гласы до небес возвышахуся от превелика клича безчисленных воев! Тамо солнце затмися ради прегуста дыма, от огненных стрелбы возходяща! Ту воздух помрачися от праха земли, конскими копытами горе возбиеннаго!.. Ту стрелы от многочисленных луков испущенныя, яко прегустыя капли дождевныя! Тамо куле от великия и меншия стрелбы, яко огненный град исхождаху! Тамо гласы стрелбы огненныя, аки страшныя громы слышахуся! Ту мечи обнаженныя, аки молния блещахуся!»<sup>27</sup>

Что касается источников «Синописа», то тут на первое место следует поставить польскую «Хронику» Стрыйковского. Но наряду с ней в «Синописе» использованы были, по словам автора, и «многие летописцы русские», из коих он особо упоминает Нестора, который, по его словам, «изряд-

---

<sup>26</sup> См. Еремин П. П. К истории общественной мысли на Украине второй половины XVII в. ТОДРЛ, т. X, 1954, с. 212—222. Напомним, что самодержцем всей Русской земли Владимир именуется и в апокримном сказании о Борисе и Глебе. См. Сборник XII в. Московского Успенского собора, вып. 1, изд. под наблюд. А. А. Шахматова и П. А. Лаврова. М., 1899, с. 12.

<sup>27</sup> Цит. по статье П. П. Еремина «К истории общественной мысли...», с. 220.

нее свидетельствует», чем многие другие летописцы. Много почерпнул автор «Синописа» из Густынской летописи<sup>28</sup>.

Одновременно с выходом в свет третьего издания «Синописа» взялся за писание «Обширного Синописа русского» эконом Киево-Печерской лавры Пантелеймон Кохановский, работавший над своим трудом в течение 1680—1682 гг. Как показывает само заглавие этого труда, он должен был заключать в себе материал более обширный по сравнению с кратким «Синописом» Гизеля. Труд Пантелеймона Кохановского дошел до нас в двух рукописях 1681 и 1682 гг. Толстовского собрания. В отличие от краткого гизелевского «Синописа», содержавшего в себе материал, главным образом относившийся к Киевской Руси, Пантелеймон Кохановский ставил перед собой задачу дать возможно полную, преимущественно церковную историю всего восточного славянства и соседствовавших с Русью народов. В качестве источников Кохановскому послужили те же материалы, какими воспользовались для своей «Кройники» Феодосий Сафонович, а также авторы краткого «Синописа» и Густынской летописи, в частности и древнее киевское летописание<sup>29</sup>.

Наконец, упомянем сочинение, озаглавленное «Летописец сий есть Кроника з розных авторов и гисторыков многих, диалектом руским есть написана в монастыру Свято-Троицком Илинском Черниговском». Авторство «Кройники» приписывается постриженнику Выдубицкого монастыря перомонаху Черниговского Троицкого Ильинского монастыря Леонтию Боболинскому, завершившему свой труд в 1699 г. и среди других источников использовавшему и «Повесть временных лет». М. А. Максимович, однако, Боболинского считал не автором «Кройники», а лишь ее переписчиком. В одном из «Писем о князьях Острожских» он писал: «Не лишним считаю сказать о старом *летописце* южно-русском, на который я ссылался. Он известен по списку, сделанному в Чернигове 1699 года перомонахом *Леонтием Боболинским*... Но о. Леонтий был только переписчиком. У меня под рукою теперь другой список, несколько старше и без тех прибавлений, какие сделаны Боболинским, даже из печатного Киевского Синописа; он кончается сказанием о гетмане Подкове; писан мелким письмом, на 696 листах,

<sup>28</sup> См. *Пештич С. А.* «Синопис» как историческое произведение. ТОДРЛ, т. XV, 1959, с. 284.

<sup>29</sup> См. указанную статью А. Rogozинского. См. также: *Голубев С. Т.* Киево-Выдубецкий монастырь (домонгольское время). «Труды Киевской духовной академии», 1913, октябрь, с. 222—223.



озаглавлен так: «Летописец, то есть *Хроника*, с разных, многих о досведочных авторов и историков, диалектом русским есть сложены». Кем сложена эта современница *Хроники Густынской*, мне неизвестно»<sup>30</sup>.

Как указал в свое время еще А. Н. Попов<sup>31</sup>, в основу общеисторической части этой «Хроники» положен хронограф южнорусской редакции. Впоследствии обнаружено было еще несколько сходных с «Хроникой» Боболинского южнорусских хронографов<sup>32</sup>.

Характеризуя направление труда Боболинского, автор книги об украинской историографии приходит к следующим заключениям: «Образцом для летописца послужили церковно-поучительные моралистические произведения ранней средневековой литературы. По примеру древнерусских летописцев XI—XII столетий Боболинский рассматривает явления природы и человеческого общества как неотвратимое следствие проявления божественного провидения и воли божией...» И далее: «Украинские летописи XVII столетия монастырского происхождения были последним живым отголоском старинного киевского монашеского летописания XI—XII столетий. Свойственный христианскому вероучению провиденциализм во взглядах на общественную жизнь церковные книжники, в том числе летописцы, особенно в Южной Руси, пронесли через семь столетий, от «Повести временных лет» до украинских летописей конца XVII столетия включительно...»<sup>33</sup>

Из сказанного выше относительно судеб летописания на Украине и в Белоруссии, начиная со второй половины XIII столетия и кончая XVII столетием, явствует, что традиция летописания Киевской Руси здесь не угасала. В связи с условиями исторического процесса древнейшее киевское летописание в летописной литературе Украины и Белоруссии не было столь влиятельным, как в литературе Великороссии. Но все же киевское летописное наследство в украинско-белорусских землях было освоено в меру их политических и идеологических потребностей. Не следует

<sup>30</sup> Максимович М. А. Собр. соч. Киев, 1876, т. I, с. 167—168.

<sup>31</sup> См. Попов А. Обзор хронографов русской редакции, вып. 2. М., 1869, с. 276.

<sup>32</sup> См. Иконников В. С. Опыт русской историографии, т. II, кн. 2, с. 1550—1553. См. еще предисловие к отрывкам из «Летописца» Боболинского (начиная с конца XVI в.), напечатанное в издании труда Гр. Грабянки «Действия презельной и от начала поляков кровавой небывалой брани Богдана Хмельницкого, гетмана запорожского с поляки». Киев, 1854, с. I—X (отрывки — на с. 273—327).

<sup>33</sup> Марченко М. I. Українська історіографія (з давніх часів до середини XIX ст.). Київ, 1959, с. 55.

забывать, что, как указано было выше, до нас не дошли отдельные памятники украинско-белорусской летописной литературы, бывшие в распоряжении польских хронистов. Через их посредство в ряде случаев до украинского и белорусского летописца доходил исторический материал, связанный с Киевской Русью; польские хронисты оказывались в роли передатчиков этого материала.

Начиная от Густынской летописи и продолжая последующими историческими компиляциями, южнорусское и западнорусское летописание приобретает черты наукообразного освещения исторических фактов, что особенно характеризует «Синописис», приписываемый Иннокентию Гизелю. В подобного рода исторических трудах Киевская Русь и ее культурное наследие трактовались как органическое преддверие последующей истории Южной и Западной Руси.

\* \* \*

В работах Ключевского, Серебрянского, Богуславского, посвященных русской житийной литературе Северо-Восточной послекиевской Руси, отмечены факты очевидного влияния житийной литературы Киевской Руси на последующую русскую житийную литературу вплоть до XVII в. Нельзя того же сказать о житийной литературе средневековых Украины и Белоруссии. Здесь это влияние сказывается в значительно меньшей степени. Это объясняется прежде всего очень незначительным количеством канонизованных святых в Южной и Западной послекиевской Руси по сравнению с Северо-Восточной Русью. Подразумевая под Киевской Русью средневековую Украину и Белоруссию и перечисляя дошедшие до нас имена местных святых, Е. Голубинский писал: «Поразительно это различие между Русью Киевскою и Русью Московскою в отношении к количеству святых: тогда как в Московской Руси целый многочисленный сонм святых, в Киевской Руси не насчитывается и целого десятка... Возможно, что около десятка местных святых остаются нам не известными, но и этот десяток, если допускать его, несколько не изменит дела»<sup>34</sup>.

Чем бы ни объяснять такое положение вещей, в частности несравненно меньшим количеством монастырей в средние века на Украине и в Белоруссии по сравнению с Великороссией — при условии, что наибольшая часть святых Московской Руси была основателями монастырей,—

---

<sup>34</sup> Голубинский Е. История канонизации святых в русской церкви. М., 1903, с. 221.

факт, указанный Голубинским, не мог не отразиться на развитии на Украине и в Белоруссии житийной литературы и, следовательно, на отражении в ней житийных традиций Киевской Руси.

Оригинальное агиографическое творчество, связанное с почитанием собственных святых, в послекиевской Южной и Западной Руси отсутствовало. Отсутствие оригинальной житийной литературы здесь восполнялось достаточно скудной переводной агиографической литературой, в большинстве случаев восходящей к имевшейся уже в обращении славяно-русской переводной агиографической литературе. Имеем в виду сравнительно малочисленные сборники типа четых-миней, более распространенные Прологи<sup>35</sup>, условно именуемую четей-миней Четью 1489 г., содержащую, наряду с древнерусским житийным материалом, также переводные жития, составленную на Украине и лишь переписанную в Белоруссии<sup>36</sup>. Наибольшей популярностью на Украине и в Белоруссии с конца XVI в. вплоть до XVIII в. пользовались «Żywoty świętych» Петра Скарги, обращавшиеся там в подлинниках, а также в значительном количестве украинских и белорусских переводов, оказывавшие, в частности, влияние на Четью-Минею Дмитрия Ростовского<sup>37</sup>. С иностранного оригинала в конце XV в., скорее всего — с чешского, переведено было в Западной Руси еще лишь одно житие — Алексея человека божия<sup>38</sup>. Оно же известно и в двух южнорусских списках XVII в. по текстам «Римских деяний»<sup>39</sup>.

Наибольшей популярностью на Украине пользовалось крупнейшее агиографическое произведение Киевской Руси — Киево-Печерский Патерик, зародившийся, как извест-

---

<sup>35</sup> О житийной литературе, обращавшейся в средневековых Украине и Белоруссии, подробнее см.: *Гудзий Н. К.* Переводы «Żywotów świętych» Петра Скарги в Юго-Западной Руси. Киев, 1917, с. 1—6.

<sup>36</sup> См. *Перетц В. Н.* К изучению Четью 1489 г. «Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI—XVIII веков». Л., 1928, т. 1, вып. 1, с. 1—107.

<sup>37</sup> Об этом см. указанную книгу Н. К. Гудзья, а также: *Перетц В. Н.* Украинський переклад житія кн. Вячеслава з «Żywotów świętych» П. Скарги. «Труды Ин-та славяноведения», 1932, 1, с. 97—104.

<sup>38</sup> См. *Владимиров П. В.* Житие св. Алексея человека божия в западнорусском переводе конца XVII в. Журнал Министерства народного просвещения (ЖМНП), 1887, № 10, с. 250—267; *Адрианова В. П.* Житие Алексея человека божия в древней русской литературе и народной словесности. Пг., 1917, с. 121—122.

<sup>39</sup> *Адрианова В. П.* Указ. соч., с. 123—124.

но, в первой трети XIII в. и сложившийся в древнейшей, датированной 1406 г. Арсеньевской редакции, составленной на великорусской (тверской) почве для епископа Арсения, вероятно, постриженника Киево-Печерского монастыря. Независимо от нее в 1460 г. в Киеве возникла первая Кассиановская редакция Патерика, а через два года — в 1462 г. — вторая Кассиановская, «повелением смиренного Кассиана, уставника Печерского». Она сделалась основой для последующих рукописных и печатных текстов Патерика. Каждая из этих редакций пополнялась добавочным материалом, заимствованным из литературного запаса Киевской Руси. Обращение в XV в. к Киево-Печерскому Патерику объясняется новым наплывом аскетических и мистических настроений, шедших на Русь из Болгарии. В Болгарии в это же время и в сходной обстановке также наблюдается повышенный интерес к патериковой литературе, ко всякого рода чудесам, видениям, демонологическим мотивам<sup>40</sup>. Кстати говоря, только что сказанное опровергает утверждение Истрина о том, что Украина оказалась чуждой тем мистическим течениям, которые в ту пору под влиянием Византии возникли в Болгарии; опровергает и другое высказывание Истрина, утверждавшего, что новая этнографическая школа (имеется в виду, конечно, прежде всего ее изобильный разукрашенный риторический стиль) совершенно не коснулась Северо-Западной и Юго-Западной Руси: напротив, в ряде случаев Киево-Печерский Патерик в Кассиановской редакции, особенно 1462 г., обнаруживает явное тяготение к пышной риторике<sup>41</sup>.

Почти через 175 лет, в 1635 г. епископом Сильвестром Коссовым по повелению и благословению митрополита Петра Могилы в типографии Киево-Печерской лавры Киево-Печерский Патерик («Paterikon») был напечатан на польском языке. Издание это преследовало задачу защиты и апологии православной святыни в борьбе с католическими и протестантскими попытками подвергнуть сомнению святость покоившихся в киевских пещерах «отцов печерских» и даже принадлежность их к православию, ибо, по утверждению латино-униатских писателей, русская церковь с самых давних времен состояла в единении с западной, римской церковью и находилась в подчинении папе римскому. В предисловии к «Патерику» и в двух небольших трактатах, присоединенных Коссовым к нему, он, полемизируя

---

<sup>40</sup> См. *Грушевський М.* Історія української літератури. Київ, 1926, т. 5, вип. 1, с. 23—24.

<sup>41</sup> Там же, с. 160—162.

с иноверцами, настаивает на святости нетленных мощей печерских угодников и утверждает на основе летописных справок, что пятикратное крещение Руси происходило при посредстве не римского, а греческого духовенства и что первые русские митрополиты (Михаил, Иларион, Ефрем, Климент) были подлинно православными иерархами, не состоявшими ни в какой зависимости от римского престола. Однако полемическая часть «Патерикона» Коссова была лишь дополнительным материалом к основному ее тексту, в котором составитель стремится «явить свету» жизнь и подвиги «отцев печерских».

Отправляясь от второй Кассиановской редакции Киево-Печерского Патерика, Коссов во многом видоизменил его текст, сокращая или опуская все то, что не шло навстречу его основной цели — защиты киево-печерской святыни от посягательств на нее ее хулителей. В нашу задачу не входит рассмотрение той большой редакторской работы, которую проделал Коссов над своим изданием «Патерикона»<sup>42</sup>. Существенно подчеркнуть, что в целях защиты православия и — по тем временам — национального престижа украинского народа Сильвестр Коссов обратился к одному из значительнейших памятников Киевской Руси, возвеличавших Киево-Печерскую обитель, являвшуюся оплотом и знаменем независимости религиозной и национальной культуры древнерусской государственности.

«Патерикон» написан на польском языке, так как по своему полемическому заданию он предназначен был в первую очередь для польского католического читателя и для униатов-украинцев, по большей части владевших польским языком. На том же языке через три года, в 1638 г., также по инициативе Петра Могилы и отчасти на основе его собственноручных записок, в той же типографии Киево-Печерской лавры был напечатан обширный труд лаврского монаха Афанасия Кальнофойского «Тератургима», по своей основной идее — апологии православной святыни — примыкавшей к «Патерикону» Сильвестра Коссова. Если в «Патериконе» прославлялись подвиги и чудеса киево-печерских отшельников, совершенные ими главным образом при жизни, то в «Тератургиме» шла речь о чудесах, продолжавших совершаться и в последующее время, вплоть до тогдашней современности: от их мощей, а также от «чудотворной»

---

<sup>42</sup> Об этом см.: *Перец В. Н.* Киево-Печерский Патерик в польском и украинском переводе. «IV Международный съезд славистов. Славянская филология», сб. III. М., 1958, с. 174—188.

иконы богородицы, находившейся в Киево-Печерской лавре <sup>43</sup>.

Для читателя, не искусенного в польском языке или слабо его знавшего, «Патерикон» Коссова был переведен в XVII в. на «простую мову», украинскую и белорусскую. Судя по описанию А. Е. Викторова, в Ниловой Столбенской пустыни находилась рукопись, содержащая полный перевод «Патерикона» и написанная украинской скорописью XVI в. <sup>44</sup> Местонахождение этой рукописи в настоящее время неизвестно, но известны частичные переводы «Патерикона», сохранившиеся в ряде украинских и белорусских рукописей второй половины XVII и начала XVIII в., в той или иной мере в отдельных случаях отступающие от польского оригинала <sup>45</sup>.

На основе Кассиановской второй редакции Киево-Печерского Патерика в середине XVII в. возникла его редакция, составленная «тщанием и повелением боголюбивого архимандрита святыя великия пресветлыя царския лавры Печерская кир Иосифа Тризны» и дошедшая до нас в единственной рукописи Троице-Сергиевой лавры. Патерик Иосифа Тризны является составной частью летописного свода, повествующего об исторических событиях Киевской Руси до половины XIII в. На основе той же второй Кассиановской редакции Патерика составлена также в середине XVII в. обработка его «старанием и иждивением» Калистрата Холошевского, игумена Красногорского Гадячьского монастыря (на Полтавщине) и «рукоделием и трудолюбием» Тарасия Рибсовича, монаха того же монастыря. Эта редакция дошла до нас также в единственной рукописи XVII в. бывш. Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии.

---

<sup>43</sup> Подробнее о «Гератургиме» А. Кальнофойского см.: *Голубев С.* Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, т. II. Киев, 1898, с. 293—309.

<sup>44</sup> См. *Викторов А. Е.* Описи рукописных собраний в книгохранилищах северной России. СПб., 1890, с. 214. Заглавие: «Патерикон или жития святых отец Печерских, прославленных славянским языком чрез святого Нестора, законника и летописца русского, прежде написанный, лета же от воплощения господня 1635 с греческих, латинских, словенских и польских летописцев чрез чеснаго о Христе отца Сильвестра Коссова, епископа Мстиславского, Оршанского и Могилевского, собраный и польским языком в Киеве в типографии св. лавры Печеро-Киевския изданный».

<sup>45</sup> Об украинско-белорусских переводах «Патерикона» см.: *Леретц В. Н.* Киево-Печерский Патерик в польском и украинском переводе, с. 188—210; его же. След украинского перевода Киево-Печерского Патерика. «Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI—XVIII веков», I. Л., 1926, с. 100.

В 1661 г. вышло первое печатное издание Киево-Печерского Патерика на обычном славяно-русском языке в типографии той же Киево-Печерской лавры. Издание вышло «повелением и благословением» архимандрита Печерской лавры Иннокентия Гизеля. Возможно, что инициатива этого издания принадлежала митрополиту Сильвестру Коссову, при котором еще в 1655 г. началась подготовка к его осуществлению. Оно по существу представляет собой компиляцию, в основу которой легло польское издание «Патерикона» 1635 г. и в еще большей мере редакция Патерика Иосифа Тризны. С некоторыми изменениями издание 1661 г. в Киеве было повторено в 1678 и 1702 гг. Помещенное в этих изданиях Киево-Печерского Патерика «Предисловие к читателю православному, содержащее ответы противу хулениям на святых печерских», уже самим своим заглавием свидетельствует о том, что оба они ставили перед собой те же полемические задачи, что и «Патерикон» Сильвестра Коссова.

В 1689—1705 гг. в типографии Киево-Печерской лавры было напечатано первое издание Четьих-Миней Дмитрия Ростовского, составленных украинцем, до принятия монашества Даниилом Туптало, написанных в большей части на Украине на славяно-русском языке с выступающими кое-где украинизмами. В числе источников труда Дмитрия Ростовского были и источники летописные, связанные с именами древнерусских святых. Наряду с Густынской летописью, «Сипопсисом» Иннокентия Гизеля, Степенной книгой Дмитрий Ростовский использовал «Повесть временных лет» и Киевскую летопись в особых, не дошедших до нас редакциях <sup>46</sup>.

Обращение на Украине и в Белоруссии к киевскому литературному наследству в области житийной литературы сказалось, в частности, и во внимании к княжеским житиям Киевской Руси. Естественно, что благочестивого украинского и белорусского читателя не могли не заинтересовать жития основоположников христианства на Руси — княгини Ольги и князя Владимира Святославича. Для нас первостепенный интерес представляют жития, переложенные на украинскую «простую мову». К их числу принадлежит житие княгини Ольги, известное по рукописи Киево-Печерской лавры (пыне в собрании Государственной публичной биб-

---

<sup>46</sup> См. *Абрамович Д.* Літописні джерела Четьїх-Міней Дмитра Ростовського. «Науковий збірник за рік 1929». Київ, 1929, с. 32—61.

лиотеки УССР) конца XVII — начала XVIII в.<sup>47</sup> В основу жития положен текст Степенной книги, отнюдь не механически воспроизведенный, во многих местах сокращенный, в известной степени зависящий от Густынской летописи, отчасти от древней летописи типа Ипатьевского списка, проложного жития Ольги и жития Владимира. Автор переработки отходит от традиционного агиографического иконописного изображения Ольги, придавая своему изложению во многом черты светской повести.

Что касается жития Владимира, то в украинско-белорусской традиции оно дошло до нас в значительном количестве списков. Помимо трех списков жития Владимира XVI—XVII вв., в которых элементы украинского и белорусского языков обнаруживаются лишь в фонетике, проникающей в обычный славяно-русский текст, на Украине возникли в XVI—XVII вв. обработки жития Владимира «простою мовою». Они известны в списках различных редакций, которые можно разделить на четыре группы, включающие в себя краткий и пространный виды жития, причем последний известен в большем количестве списков, чем первый. Один из списков пространной редакции жития Владимира был издан в 1670 г. в типографии Уневского монастыря в обработке Симеона Ставницкого в приложении к книге «Выклад о церкви и церковных речах»<sup>48</sup>.

Источниками пространного украинского жития Владимира, как указывает В. Н. Перетц, послужили разнообразные славяно-русские жития Владимира — проложного и распространенного вида, далее — древняя летопись типа Ипатьевской, летопись Густынская, «Патерикон» Сильвестра Коссова, слово «О законе и благодати» митрополита Илариона, известное в украинских списках XVI в., в конечном счете — памятники, в ряде случаев так или иначе связанные с литературными традициями Киевской Руси.

В украинских обработках житие Владимира, по наблюдениям В. Н. Перетца, как и житие Ольги, приняло форму скорее исторической защитательной повести, чем произведения агиографического жанра. Таким оно стало и в печатной обработке типографа Уневского монастыря Симеона Ставницкого, положенной в основу жития Владимира, помещенного в «Синописисе» 1674 г.

---

<sup>47</sup> Анализ и издание его текста см. в кн.: *Перетц В. Н.* Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI—XVIII веков, с. 9—28, 66—76.

<sup>48</sup> Анализ украинских текстов жития Владимира и издание самих текстов см. там же, с. 28—65, 76—116.



Заключая свое исследование украинских текстов жития Владимира, В. Н. Перетц приходит к выводу, что «самым важным стимулом, воскресившим к новой жизни повесть об эпохе христианизации, была ожесточенная борьба, разгоревшаяся на Украине в конце XVI в. против социального, национального и религиозного угнетения украинского народа панской Польшей. В ходе этой борьбы, когда защита национальности приобретала форму защиты религии, биография «просветителя» Владимира давала украинским патриотам сильный довод против нажима католической церкви». «Вместе с тем,— продолжает В. Н. Перетц,— в последней четверти XVII в. постоянные казацко-крестьянские восстания против казацкой старшины, с одной стороны, и против царских воевод — с другой, усилили реакционные настроения не только среди феодалов, но и среди части городского мещанства. Стремление дать на примере прошлого идеализированный образ сильного правителя определило их особый интерес к биографии кн. Владимира»<sup>49</sup>.

Житиями Ольги и Владимира не исчерпываются княжеские жития в украинской обработке. Так, в рукописи на украинском книжном языке бывш. собрания Киево-Софийского собора № 278 (129), по которой В. Н. Перетцем опубликовано житие Владимира четвертой группы, имеется и анонимное Сказание о Борисе и Глебе<sup>50</sup>. Очевидно, оно имеется и в рукописи того же собрания (№ 279/130), при описании которой В. Н. Перетцем отмечено лишь, что она содержит «жития святых в южнорусском переводе за полугодие с марта по август» (память Бориса и Глеба празднуется 24 июля). То же анонимное Сказание в списке контаминированной редакции имеется и в рукописи бывш. собрания Киево-Печерской лавры (№ 370/155)<sup>51</sup>, откуда В. Н. Перетцем извлечены жития Ольги и Владимира второй группы. Оно опубликовано С. А. Бугославским<sup>52</sup>. Им же опубликован другой список также контаминированной редакции Сказания о Борисе и Глебе по рукописи бывш. Московской синодальной типографии (№ 752) конца XVII в.<sup>53</sup> То же анонимное Сказание вошло в украинскую Четью 1489 г.<sup>54</sup>

<sup>49</sup> Там же, с. 65.

<sup>50</sup> См. *Петров Н. И.* Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве, вып. III, с. 92.

<sup>51</sup> См. *Петров Н. И.* Указ. соч., вып. II. М., 1897, с. 119—120. Тут же и Слово о перенесении мощей Бориса и Глеба.

<sup>52</sup> *Бугославський С.* Пам'ятки XI—XVIII вв. про князів Бориса та Гліба. Київ, 1928, с. 49—55.

<sup>53</sup> Там же, с. 44—48.

<sup>54</sup> Издано Д. Н. Абрамовичем: Життя святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Пг., 1916, с. 179—189.

Текст анонимного Сказания о Борисе и Глебе, характеризующийся лишь фонетическими особенностями белорусского языка, находится в белорусском сборнике XVI в. Чудового монастыря (№ 62/264), описанном А. Н. Поповым<sup>56</sup>. Такой же текст с украинскими фонетическими особенностями — в бывш. собрании Киево-Михайловского монастыря в рукописи XVII в. (№ 49/165). В той же рукописи — Слово о перенесении мощей Бориса и Глеба<sup>56</sup>. То же Слово — с такими же фонетическими особенностями — в бывш. собрании Виленской публичной библиотеки в рукописи XVI в. (№ 105/199). Тут же анонимное Сказание о Борисе и Глебе (Романе и Давиде)<sup>57</sup>. Те же два памятника — с теми же особенностями — в рукописи (№ 57) Народного дома во Львове из коллекции Ант. Петрушевича<sup>58</sup>.

Помимо княжеских житий, в украинско-белорусских списках существуют и жития монастырских подвижников, возникшие в Киевской Руси. Эти жития в одних случаях написаны «простою мовою», как в упомянутых выше рукописях бывш. библиотеки Киево-Софийского собора (№ 278/129 и 279/130), а также в рукописи бывш. Румянцевского музея (№ 325)<sup>59</sup>, в других — обычным славяно-русским языком с фонетическими украинско-белорусскими приметами.

Перечисленные украинско-белорусские списки хотя бы только житийных произведений, возникших в Киевской Руси, наглядно свидетельствуют о неправоте В. М. Истрина, утверждавшего, что после татарского нашествия в Южной (очевидно, и Западной) Руси прекратилось «книжное списание», что старые памятники, будучи уничтожены во время татарского нашествия, вновь уже не переписывались в Южной (и Западной, конечно) Руси.

\* \* \*

Но помимо украинско-белорусских списков житийных текстов сохранились такие же списки с особенностями юго-западно-русской книжной речи и других памятников Киевской Руси. Таковы, например, произведения древнерус-

---

<sup>55</sup> Библиографические материалы, собранные А. Н. Поповым, изданные под редакцией М. Сперанского (XV—XIX). М., 1889, с. 48—49.

<sup>56</sup> См. *Петров Н. И.* Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве, т. II, с. 199, 204.

<sup>57</sup> См. *Добрянский Ф.* Описание рукописей Виленской публичной библиотеки. Вильна, 1882, с. 223, 226.

<sup>58</sup> Українсько-руський архів. Рукописи львівських збірок, т. 1, вип. 1. Львов, 1906, с. 82, 92 (описание И. Свенцицкого).

<sup>59</sup> См. *Востоков А.* Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музея. Спб., 1842, с. 461.

ского проповеднического красноречия, такие, как слово «О законе и благодати» митрополита Илариона в рукописи XVI в. бывш. Виленской публичной библиотеки<sup>60</sup>. Особенное внимание в Южной и Западной Руси уделялось словам Кирилла Туровского, судя по дошедшим до нас южнорусским и западнорусским спискам его слов<sup>61</sup>. Высоко ценил его Петр Могила, жаловавшийся в своем «Лифосе» на то, что все еще отсутствовали печатные издания проповедей Кирилла Туровского<sup>62</sup>. В «Учительном евангелии» Кирилла Транквиллиона Ставровецкого обнаруживаются следы влияния этих проповедей<sup>63</sup>. Начиная с конца XVI в., в Вильне и в Остроге печатаются сборники, содержащие молитвы Кирилла Туровского<sup>64</sup>.

Из произведений переводной литературы, обращавшихся в Киевской Руси, на Украине и в Белоруссии в списках XVI—XVIII вв. широко были распространены памятники литературы апокрифической<sup>65</sup>, переписывались творения отцов церкви; известна была псевдокаллисфенова «Алек-

<sup>60</sup> См. Добрянский Ф. Описание рукописей Виленской публичной библиотеки, с. 225.

<sup>61</sup> Там же, с. 417, 420, 421; Петров Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве. Вып. 1. М., 1892, с. 230; Березин В. Описание рукописей Почаевской лавры, хранящихся в библиотеке музея при Киевской духовной академии. Киев, 1881, с. 13, 15—17; Ягич И. В. («Четыре критико-палеографические статьи». Спб., 1884, с. 96) отмечает слова Кирилла Туровского с южнорусскими особенностями правописания в Толстовском сборнике XIII в.

<sup>62</sup> См. Архив Юго-Западной Руси, ч. 1, т. IX. Киев, 1893, с. 351.

<sup>63</sup> См. Возняк М. Історія української літератури, т. I. Львів, 1920, с. 144.

<sup>64</sup> Каратаев И. Описание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими буквами. Спб., 1883, т. I, с. 264, 279, 296—297, 447; Творения Святого отца нашего Кирилла, епископа Туровского. Киев, 1880, с. LXXX—LXXXI.

<sup>65</sup> Ср. известное издание И. Франко «Апокрифи і легенди з українських рукописів», т. I—V. Львів, 1896—1910. См. еще Сумцов Н. Ф. Очерки истории южнорусских апокрифических сказаний и песен. Киев, 1888; Яворский Ю. А. Два замечательных карпато-русских сборника XVIII в., принадлежащих Университету св. Владимира. Киев, 1909, с. 55—95; Калужняцкий Е. И. Обзор славяно-русских памятников языка и письма, находящихся в библиотеках и архивах львовских. «Труды Третьего археологического съезда в России», т. II. Киев, 1876, с. 233—236; Сперанский М. Н. Южнорусские тексты апокрифического Евангелия Фомы. «Чтения в Историческом обществе Нестора-Летописца», кн. 13, отд. II, с. 169—185; Адрианова В. Евангелие Фомы в старинной украинской литературе. ИОРЯС, т. XIV, кн. 2 (1909), с. 1—47; Назаревский О. А. «Хождение богородицы по мукам» в новых украинских списках XVII—XVIII вв. «Записки Украинского научного товариства в Київі», кн. 2, 1908, с. 173—216 и др. Библиографические указания см. у М. С. Возняка («Історія української літератури», т. 1, с. 317—319) и у Е. Ф. Карского («Белорусы», Пг., 1921, т. III, ч. 2, с. 47—51).

сандрия»<sup>66</sup>, Святославов «Изборник» 1073 г.<sup>67</sup>, «Шестоднев» Иоанна-эксарха болгарского<sup>68</sup>.

В описаниях рукописей не всегда даются указания на их языковые особенности. Это, в частности, нужно сказать об описаниях таких рукописных собраний, в которых естественнее всего искать языковых украинизмов или белорусизмов. Имеем тут в виду описания Ф. Добрянского, Н. И. Петрова, Е. И. Калужняцкого, И. С. Свенцицкого, В. Березина. С другой стороны, не нужно упускать из виду, что отдельные переписчики, работавшие на Украине и в Белоруссии и на потребу этих земель, могли точно копировать свои оригиналы, написанные на обычном русско-церковнославянском языке, не окрашивая их даже фонетически признаками местной речи.

Для своего времени весьма полезным пособием по выявлению украинско-белорусской рукописной книжности был труд П. В. Владимирова «Обзор южнорусских и западнорусских памятников письменности от XI до XVII ст.»<sup>69</sup>,

---

<sup>66</sup> См. *Попов А.* Обзор хронографов русской редакции, вып. 2, с. 286; *Карский Е. Ф.* Белорусы, т. III, ч. 2, с. 69; *Викторов А.* Собрание рукописей Н. Д. Беляева. М., 1881, с. 31—32. К тексту «Александрии» приписка: «Писал сию Александрею Василий Гаврилов Менжинский, попович Мозырский, дяк Рождества пресв. богородицы Дубровницкий, року 1697, июля 31 дня». По поводу этого списка «Александрии» А. И. Соболевский пишет: «Перед нами свободный перевод одной из редакций древнерусской Александрии, сделанный раньше XVII века. Остатки старого текста (в звуках, формах, словах) в нем довольно многочисленны; язык западнорусский, близкий, по словарному материалу и синтаксису, к языку западнорусских документов XV—XVI веков, но с сравнительно небольшим количеством полонизмов. Этот язык во время странствований текста по юго-западной Руси принял в себя порядочное количество малоруссизмов, так что в нашей рукописи, написанной белорусом, мы имеем соединение с западнорусскими южнорусскими особенностями» («Заметки о малоизвестных памятниках юго-западнорусского письма XVI—XVII вв.» — «Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца», кн. 9, от. II. Киев, 1895, с. 22). См. еще: *Каллаш В.* Южнорусский список «Александрии» конца XVIII ст. «Киевская старина», 1887, № 11, с. 377—379; *Назаревский О. А.* Знадоби до історії давньої повісті. I. Повістевий репертуар кнївських рукописних збірок. «Записки істор.-філол. відділу ВУАН», 1929, кн. 25, с. 317—319.

<sup>67</sup> См. *Калужняцкий Е. И.* Указ. соч., с. 283; *Добрянский Ф.* Описание рукописей Виленской публичной библиотеки, с. 433.

<sup>68</sup> См. *Востоков А.* Описание рукописей Румянцевского музея, с. 244—245; *Перегц В. И.* Рукописи библиотеки Московского университета, Самарских библиотек и музея в Минских собраниях. Л., 1934, с. 179 (Минское собрание, белорусский полуустав начала XVII в. Приписка: «В року 1616 місяца сентебрія 14 написася сія книга глаголемый шестидневеп»).

<sup>69</sup> «Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца», 1890, кн. 4, с. 101—139.

но он, во-первых, не отличался должной полнотой в использовании тогдашнего наличного материала даже в момент своего выхода в свет, во-вторых, после его напечатания стал известен новый материал.

\* \* \*

Переходим далее к судьбам украинско-белорусской паломнической литературы в сопоставлении ее с паломнической литературой Киевской Руси, точнее — с Хождением в Палестину игумена Даниила. Как известно, оно в Северной Руси пользовалось большой популярностью и дошло до нас в большом количестве (более сотни) списков; что же касается Южной и Западной Руси, то там, помимо списков Хождения игумена Даниила, а также свободного перевода Хождения в XVII в. на живую украинскую речь<sup>70</sup> и переводных с польского и греческого паломнических произведений, известно было сочинение, принадлежавшее архимандриту Даниилу Корсунскому, предпринявшему путешествие в Палестину из Белоруссии в 1590—1594 гг.; оно написано под сильнейшим влиянием Хождения игумена Даниила; автор, буквально заимствуя целые главы из этого источника, выдавал за свои личные впечатления такие эпизоды, которые связаны были с путешествием его тезки XII в., например, встречу Даниила-паломника с королем Балдуином или такого рода зрелища, которые не могли иметь места в конце XVI в., но которые автор, подражая механически своему источнику, видел «очима своими грешными» и писал «вся по истине, ничто же солгах». Личный почин Даниила Корсунского выразился в некоторых сокращениях своего источника и в ряде добавлений к нему, преимущественно апокрифического материала.

Подводя итоги своим наблюдениям над сочинением Даниила Корсунского, В. П. Адрианова-Перетц пишет: «Автор принадлежит к числу компиляторов; однако в своем хождении обнаружил достаточно черт, которые характеризуют его и как украинца XVI в. и как писателя. Начитанный книжник, литературно образованный, он все же не был настолько самостоятельным, чтобы не оказаться во всецелой зависимости от своего оригинала и в своем увлечении хождением

---

<sup>70</sup> См. *Адрианова-Перетц В. П.* Из истории русско-украинских литературных связей в XVII веке. (Украинские переводы «Хождения» игумена Даниила и «Сказания Афродитиана»). «Исследования и материалы по древнерусской литературе». М., 1961, с. 245—263, 271—292.

XII в. не заметить тех его сторон, которые, отражая современность, для XVI века звучали как анахронизм»<sup>71</sup>.

Хождение Даниила Корсунского дошло до нас в восьми списках XVII—XVIII вв., в большинстве галицкого происхождения. В шести из этих списков следы южнорусского происхождения явственно сказываются в наличии украинских языковых элементов, увеличивающихся в своем количестве и качестве в зависимости от возраста списков: в младших по возрасту их больше, чем в старших<sup>72</sup>. Один из списков — из бывш. собрания Троице-Сергиевой лавры 1747 г. — лишен юго-западнорусских языковых признаков, но это не дает еще оснований считать его русским по происхождению, тем более, что в Троице-Сергиеву лавру он передан был отозванным туда в 1753 г. иеромонахом Сумского Успенского монастыря Иосифом Ковалевским<sup>73</sup>. Нужно иметь в виду, что мы не знаем, каковы были языковые особенности оригинала Хождения Даниила Корсунского: возможно, что оригинал был написан, как и ряд других памятников украинского происхождения, сравнительно ранних — до XVII в. — на обычном славяно-русском языке и лишь в позднейших списках накапливал украинские языковые элементы.

К концу XVI — началу XVII в. относится любопытная переделка Хождения игумена Даниила, обнаруженная в сборнике Дмитрия Ростовского, датированном 1704 г. и хранившемся в Московской синодальной библиотеке<sup>74</sup>. В этой переделке подверглось исключению все то, что связано с личными впечатлениями и высказываниями самого Даниила. Здесь отсутствует не только рассказ от первого

<sup>71</sup> *Адрианова-Перетц В.* Данило Корсунський — паломник XVI віку. «Записки істор.-філол. відділу УАН», кн. IX, 1926, с. 76—77.

<sup>72</sup> Перечень и характеристику дошедших до нас списков Хождения Даниила Корсунского см. в указанной статье В. П. Адриановой-Перетц, с. 2 и сл. Один из украинских списков издан В. Щуратом («Пereгринання, или путь до Иерасулиму Даниїла, архимандрита Корсунського в Белой Россіи». Жовква, 1906). В. П. Адрианова-Перетц сообщила интересный факт — наличие еще одной переработки Хождения игумена Даниила, обнаруженной ею в рукописи XVII в. Московской синодальной библиотеки. Переработка эта, аналогичная компиляции Даниила Корсунского, возникла, очевидно, на великорусской почве. См. *Перетц В. Н.* Отчет об экскурсии Семинария русской филологии в Петроград. Киев, 1915, с. 19—25.

<sup>73</sup> См. *Веневитинов М.* Заметки к истории Хождения игумена Даниила. ЖМНП, 1883, май, с. 6—7. В этой же статье приведены выдержки из списка Хождения Даниила Корсунского по рукописи Троице-Сергиевой лавры.

<sup>74</sup> См. *Веневитинов М.* Переделка Хождения игумена Даниила в сборнике св. Дмитрия Ростовского. «Чтения в обществе истории и древностей российских», 1889, кн. 3, отд. II, с. 1—25.

лица, как это имеет место в подлинном *Хождении Даниила*, но даже упоминание о тех исторических личностях, с которыми Даниилу во время его путешествия приходилось встречаться. Так, в переделке отсутствует рассказ о его встрече и знакомстве с Балдуином, сведения о спутниках Даниила, упоминание о русских князьях. Очень сжат рассказ о схождении небесного огня. В переделке сделаны значительные добавления, преимущественно из текстов священного писания. Все эти особенности придают ей характер своего рода путеводителя по Палестине, которая описана подробно, тогда как описание Галилеи очень сокращено, быть может, ввиду малой ее доступности для паломников, так как она находилась во владении мусульман. По предположению М. Веневитинова переделыватель *Хождения Даниила* был жителем Юго-Западной Руси или воспитанником Киевской академии, более знакомым со священным писанием, чем с географией Палестины. В тексте переделки имеются некоторые следы полонизмов.

Несколько путешествий в «святую землю», совершенных украинскими паломниками и описанных ими, относятся к первой половине XVIII в. В 1704—1707 гг. в Иерусалим для поклонения гробу господню ходили иеромонахи Новгород-Северского монастыря св. Спаса Макарий и Сильвестр; в 1707—1709 гг. в Иерусалим, на Синай и на Афон ходил иеромонах Черниговского Борисоглебского монастыря Ипполит Вишенский; в 1712—1714 гг. в Палестину путешествовал находившийся при русском посольстве в Турции иеромонах Киево-Печерской лавры Варлаам Леницкий; с 1723 по 1745 г. по «святым местам» Востока странствовал киевлянин, воспитанник Киево-Могилянской академии Василий Григорович-Барский; наконец, в 1749 г. в «святую землю» путешествовал Серапион, инок Матроинского монастыря, находившегося в Чигиринском уезде Киевской губернии<sup>75</sup>.

<sup>75</sup> Путешествия Макария и Сильвестра, Варлаама Леницкого, Серапиона по случайным спискам, притом небрежно, изданы архимандритом Леонидом в «Чтениях в Обществе истории и древностей российских», 1873, кн. 3, отд. V, с. 1—129 («Паломники-писатели петровского и послепетровского времени, или Путники во святой град Иерусалим»). Список путешествий Варлаама Леницкого, изобилующий украинизмами и полонизмами, находится в библиотеке Нежинского педагогического института (см. *Перець В. И.* Отчет об экскурсии Семинария русской филологии в Нежин. Киев, 1914, с. 49—50). «Пеллримация» Ипполита Вишенского впервые издана (неисправно) архимандритом Леонидом в «Чтениях в Обществе истории и древностей российских», 1876, кн. 4, отд. V, с. 16—142 и затем, почти с безупречной точностью, в сопровождении вступительной статьи и комментариев, — С. П. Розановым в серии «Православный палестинский сборник», вып. 61. Спб., 1914 (критический разбор последнего издания — в рецензии В. П. Адриановой в ЖМНП, 1915, № 5, с. 179—210).

В каждом из этих путешествий авторы в той или иной степени сообщают сведения, отражающие их личные наблюдения, или передают почерпнутое ими из современных описаний тех мест, которые они посещали; но в каждом путешествии, в одних случаях в большей мере, в других — в меньшей, присутствуют легендарные и апокрифические элементы, сближающие эти путешествия с Хождением игумена Даниила XII в.

Больше всего реминисценций из Хождения Игумена Даниила мы находим, пожалуй, в путешествии Макария и Сильвестра. Тут, вслед за паломником Даниилом, упоминается камень, на котором отдыхала богородица, идя из Иерусалима в Вифлеем, чтобы родить там Христа, и возвращаясь из Вифлеема в Иерусалим. В Вифлееме сохранилась пещера, в которой лежат четырнадцать тысяч убитых Иродом младенцев. Недалеко от Иерусалима находится «страшная долина», именуемая Юдолью плачевною. Долина эта ведет к лавре св. Саввы Освященного. На самом дне этой долины Савве «по божьему откровению» ослица показала воду, которой в течение многих лет питался св. Илья, и теперь той водой, а также дождевой питается монастырь. Над Юдолью плачевной на горе стоит село Скудельничее. Вслед за Евангелием от Матвея говорится, что в нем стали погребать странников со всех стран, от Востока и Запада, приходивших поклониться гробу господню и застигнутых смертью во время своего странствования. Такое предназначение этого села пошло от продажи Иудой Христа иудеям за тридцать сребреников. Совершив свое предательство, Иуда испытал «страх велик» от сознания, что он «продал кровь неповинную», и, повергну сребреники, удавился. Иудеи же, решив, что они не могут воспользоваться брошенными Иудой сребрениками, так как это цена крови, купили на них село Скудельничее для погребения в нем странников. Сходно с тем, что читается в Хождении Даниила, описаны у Макария и Сильвестра Иерусалим и близ него стоящий дом Давидов. Сходно с Хождением Даниила рассказывается в путешествии Макария и Сильвестра о стоящем на Сионской горе доме отца Иоанна Богослова Зеведея, где происходила тайная вечеря Христа с его учениками, во время которой Христос умыл ноги своим ученикам, а Иоанн Богослов возлежал на груди у Христа. На ту же гору пришел Христос к ученикам своим после своего воскресения, показав им, в том числе неверно-

---

Странствования В. Григоровича-Барского — в издании Православного палестинского общества, тт. 1—4. Спб., 1885—1889.



му Фоме, ребра свои. В том же доме произошло сошествие св. духа на собравших в доме апостолов.

Макарий и Сильвестр вслед за Даниилом указывают местонахождение гроба богородицы и того места, где Христос научил своих учеников молитве «Отче наш» и которое и по сию пору называется «Отче наш». На самом верху Сионской горы стоит церковь Вознесения Христова и тут есть камень, с которого Христос вознесся на небо и на котором отпечаталась стопа его правой ноги. По традиции, идущей от игумена Даниила, говорится о схождении в церкви Воскресения Христова, где находится гроб господень, священного огня, от которого загорается кадило «христианское», т. е. поставленное исповедующими православие, «а от иных вер что ни есть кадило не загорится никогда ни едино». Сходно с Даниилом Макарий и Сильвестр описывают гроб господень с висящими над ним кадилами, день и ночь горящими и никогда не потухающими.

По той же традиции при рассказе о Голгофе говорится о каменной расщелине на ней, куда, когда тело распятого Христа было прободено воином, стекала его кровь, которой была крещена погребенная под этой расщелиной голова Адама. На той же Голгофе путешественникам указано было место, на котором Авраам хотел принести в жертву богу своего сына Исаака. Как и у Даниила-паломника, в путешествии Макария и Сильвестра исповедующие католическую веру «франки», «френки» не удостаиваются той благодати, какой удостаиваются исповедующие православную греческую веру.

Ряд отмеченных подробностей находим и в остальных упомянутых нами украинских паломничествах XVIII в. Так, и у Ипполита Вишенского и у Серапиона есть рассказ о том, что кровь распятого на Голгофе Христа, просочившаяся через расщелину в то место, где погребена была голова Адама, очистила его от первородного греха. У Серапиона указывается место, где ученики Христа научились от него молитве «Отче наш». У того же Серапиона, как и у Даниила, говорится о том, что в церкви Воскресения Христова находится «пуп земли». У него же и сведения о селе Скудельничее, какие находим и у игумена Даниила, и у Макария и Сильвестра, и у Ипполита Вишенского, и у Василия Григоровича-Барского. У последнего, вслед за игуменом Даниилом, говорится: «Гора Сионь стоит... домъ Зеведеевъ там бяше в немъ же Христос тайную вечерю съ святыми апостоли ядыше. Таможне и хлебъ в тело святое, а вино в кровь свою святую претворили; тамо и апостоломъ ноги умилъ; тамо,

в томъжде Зеведеомомъ дому, сниде дух святый въ огненихъ язичехъ на богомъ избранныя апостолы»<sup>76</sup>.

Как и у игумена Даниила, в каждом из этих путешествий точно указывается расстояние от одного памятного места до другого, причем расстояние это часто измеряется полетом брошенного камня.

По отношению к каждому из указанных нами путешествий приложимо наблюдение, сделанное С. П. Розановым над паломничеством Ипполита Вишенского: «По обилию легендарного и апокрифического элемента и по живой, драматической передаче его описание Вишенского более всего напоминает паломника иг. Даниила»<sup>77</sup>. И еще одна существенная особенность связывает Вишенского, как и других современных ему паломников, с игуменом Даниилом, — это «полное благочестивого внимания отношение Вишенского к святыням и вытекающее отсюда стремление к детальному и возможно точному их описанию»<sup>78</sup>.

\* \* \*

В борьбе за свою национальную самостоятельность Украина и Белоруссия, находившиеся под властью Польско-Литовского государства, выдвигают ряд авторов полемических сочинений, направленных на защиту православия против притязаний католичества, стремившегося при помощи своей церковной агентуры — иезуитов и униатов — дискредитировать православную религию. Борьба украинцев и белорусов за свою исконную православную веру по существу преследовала задачу отстоять национальные и культурные интересы и вместе с ними интересы материально-пра-

---

<sup>76</sup> Странствования Василия Григоровича-Барского по святым местам Востока с 1723 по 1745 г., т. 1, с. 330.

<sup>77</sup> «Православный палестинский сборник», вып. 61, 1914, с. X.

<sup>78</sup> Там же, с. XXXIX. Нет оснований причислить к памятникам белорусской литературы, как это делал, например, М. К. Добрынин («Беларуская літаратура», Минск, 1952, с. 132—135) или А. Ф. Коршунов («Хрестаматыя по старажытнай беларускай літаратуры». Минск, 1959, с. 144—160), Хождение Игнатия Смолнянина — памятник конца XIV — начала XV в., состоящий из отдельных статей, к числу которых без достаточных оснований причислялось Хождение в Иерусалим, наиболее близкое по сравнению с другими статьями к традициям, идущим от Хождения паломника Даниила XII в. Поводом для отнесения Хождения Игнатия Смолнянина к произведениям белорусской литературы, очевидно, послужило указание издателя его С. Арсеньева на якобы наличие в опубликованном им списке памятника в 12-м выпуске «Православного палестинского сборника» некоторых западнорусских выражений, которые на самом деле в этом списке отсутствуют, как они, видимо, отсутствуют и в других списках Хождения Игнатия Смолнянина.

вовые. Полемика между защитниками православия и пропагандистами католичества особенно усилилась после Брестской унии 1596 г. Основная задача, которую ставили перед собой православные полемисты, сводилась к тому, чтобы доказать непререкаемость испокон веков сложившейся связи православной церкви с церковью греческой, возглавлявшейся греческими патриархами, вопреки утверждениям католических полемистов, пытавшихся доказать зависимость православной церковной организации от Рима и римского папы. С этой целью отдельные православные полемисты обращались к начальной поре христианизации русского народа — ко времени Владимира Святославича и ближайших продолжателей его княжения, а также есылались на обстоятельства поставления первых русских митрополитов.

Еще в 1587 г. Герасим Смотрицкий в своем трактате «Ключ царства небесного», в посвяtitельном предисловии к нему, обращенном к князю Александру Константиновичу Острожскому, упоминает «великого Владимира, преславно и много чудно крестившаго землю русскую, которого церкви и роду зацная линия и доныне не устала, в ней же истинный наследник и властный потомок, ваша княжа милость есть и на месце оных великосановных и многославных предков своих наступает»<sup>79</sup>. Одним словом, по мысли Смотрицкого, князья Острожские являются потомками и преемниками св. Владимира. Права русской православной церкви подтверждены были его сыном Ярославом.

Особенно значительны по своему количеству ссылки, почерпнутые из церковной истории Киевской Руси, в сочинении иеромонаха Киево-Братского монастыря Захария Копыстенского «Палинодия», написанном в 1621—1622 гг. в опровержение сочинения виленского униатского архимандрита Льва Кривзы «Оборона унии». Для этой цели автор воспользовался тем, что он почерпнул из «Повести временных лет», Киево-Печерского Патерика, из польских хроник. Так, в «Палинодии» упоминается путешествие апостола Андрея вверх по Днепру. Благословив горы, на которых позднее возник Киев, он предсказал его грядущее величие и, поставив тут крест, направился к Новгороду (о новгородских банях ничего не говорится), а затем пошел в Рим, а оттуда в Грецию. Приходя через Русскую землю, он многих крестил. Далее идет речь о приходе к Владимиру послов с предложением принять их веру. Послы, отправленные Владимиром для испытания различных вер, с особенным восторгом восприняли греческое богослужение. После этого

---

<sup>79</sup> Архив Юго-Западной России, ч. 1, т. VII. Киев, 1887, с. 233.

следует поучение Кирилла-философа. Владимир избавляется от слепоты, приняв крещение, женится на царевне Анне и возвращается с христианским духовенством на Русь. Относительно этих сообщений сказано: «Читай о том в летописцах русских» и делается вывод: «Уважай притом и то, як то господь бог россом не до Риму старого латинского показал дорогу для одержания крещеня и веры христианской, а не от того ему науки, учителя, книги и набоженство подал, але з Риму нового грецкого, з Константинополя, напрод од св. Андрея, апостола, першого фундатора, патриархии Константинопольской»<sup>80</sup>.

После Владимира, упоминается в «Палинодии», княжил Ярослав, воздвигши храм св. Софии в 6545 г. О Ярославе по тексту «Повести временных лет» сообщается: «а был Ярослав любящий церковнии уставы и пресвитеры, а наболш чернецов, монахов любил и книг пилювал, читаючи их часто в день и в ночи. А зобравши писаров много, многии книги гречески на словенский язык перекладад, а списал книги многии...» и т. д. Вслед за этим — переложение летописной похвалы книгам и Ярославу, распространителю их на Руси<sup>81</sup>.

Копыстенский, ссылаясь на «Повесть временных лет» и Киево-Печерский Патерик, настойчиво утверждает, что христианство на Руси пошло не от Рима, а от Константинополя: «Летописцы росски и з ними латипскии и польскии историки пишут, иж Володимер монарха в Херсоне от столицы апостолской Константинопольской окрещен ест около року от сотвореня света 6497, а от рожества Иисуса Христа року 989...»<sup>82</sup>

Настаивая на том, что митрополиты Киевской Руси получали посвящение не от римского папы, а от константинопольского патриарха, Копыстенский заявляет: «Жадеи митрополит киевский в послушенстве папежа а не в едности з костелом римским не был»<sup>83</sup>. Первый митрополит киевский из русских был поставлен при Ярославе собором русских епископов, так как Ярослав в то время вел войну с греками, «яко летописци наши росскии написали, мовячи: понеже Россия з греками в брани и нестроении тогда была»<sup>84</sup>. Избрание Илариона митрополитом собором русских епископов без благословения константинопольского патри-

<sup>80</sup> «Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею». Спб., 1878, т. 4, стб. 977 и 978—979.

<sup>81</sup> Там же, стб. 985.

<sup>82</sup> Там же, стб., 999—1000.

<sup>83</sup> Там же, стб., 1005.

<sup>84</sup> Там же, стб., 1009.

арха Кривза объясняет как преднамеренный шаг со стороны русской церкви. Русская летопись, по словам Кривзы, не сообщает, оказывал ли Иларион повиновение папе римскому, но достаточно и того, что он не оказывал повиновения и Константинополю. Возражая Кривзе, Копыстенский пишет о том, что после заключения мира с греками Иларион обратился к греческому патриарху за благословением, которое и получил от него, к папе же римскому не обращался. Для поддержки своего отрицательного отношения к католицизму Копыстенский ссылается на приписывавшееся Феодосию Печерскому послание к князю Изяславу о вере латинской, в котором содержится осуждение этой веры.

В четвертой части «Палинодии» идет речь о мужестве и военной доблести русского народа, обнаруженных еще со времен Киевской Руси. Пользуясь летописными свидетельствами, Копыстенский напоминает о походах на греков «сильного монарха роского» Олега, при помощи поставленных на колеса кораблей осадившего Константинополь, о победах Святослава над болгарами и сербами, Владимира над греками, о подвигах Даниила Галицкого. Упоминается в «Палинодии» и о подвигах иноков Киево-Печерского монастыря.

В дальнейшем, по словам Копыстенского, русский и украинский народы совместными усилиями одолевают своих врагов: Иоанн, цар Московский, «две орды татарские, Казань и Астрахань» взял, «под свою мощь подбил», а другая часть «яфето-росского поколения», «з Мало Росии выходячи», успешно воюет с татарами и турками. «Тоето есть войско и той-то народ, который веру оную за Володимера, от греков принятую, держит и который в послушенстве и благословении патриарха вселенского, архиепископа константинопольского, статечне трвает»<sup>85</sup>.

В 1632 г. Виленским православным братством выпущены были два трактата в защиту прав православной западно-русской церкви, дарованных ей Владимиром Святославичем: «Synopsis» и «Supplementum synopsis». В обоих трактатах — подробные выписки из русских летописей и из «Хроники» Стрыйковского и ссылки на них. Во втором трактате из «Повести временных лет» заимствован, между прочим, рассказ о посылке Владимиром послов для испытания вер<sup>86</sup>.

<sup>85</sup> Там же, стб. 1110.

<sup>86</sup> Оба трактата изданы в Архиве Юго-Западной России, ч. 1, т. VII, с. 532—649. О них см.: Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Киев, 1883, т. 1, с. 453—463, 487—517; его же. Незвестное полемическое сочинение против папских притязаний в Юго-Западной Руси (1633 года). Киев, 1899, с. 14—27.

Как видим, в рассмотренных нами памятниках полемической литературы Юго-Западной Руси связь их с традициями Киевской Руси обнаруживается не в плане специфически литературного продолжения и наследования этих традиций, а преимущественно в плане исторической преемственности юго-западнорусской православной церковью церковных традиций и церковных преданий, бытовавших в Киевской Руси.

Летом 1705 г. в стенах Киево-Могилянской академии ее студентами была разыграна трагедия «Владимир всех славянорусских стран князь и победитель...», написанная молодым академическим учителем поэзии Феофаном Прокоповичем. В основе сюжета пьесы — победа на Руси христианства в борьбе Владимира с языческими жрецами, враждебно относившимися к религиозной реформе киевского князя. Вместе с тем в пьесе показана борьба Владимира с собственными не побежденными еще страстями и соблазнами языческой жизни. Историческая тематика пьесы находилась в зависимости от таких исторических компиляций, как «Синописис» Иннокентия Гизеля и Густынская летопись.

Обращение Феофана Прокоповича в его пьесе к личности Владимира было связано со злободневной обстановкой современности. Апология киевского князя — религиозного реформатора — косвенно преследовала задачу апологии реформаторской деятельности Петра Великого в его борьбе с защитниками отжившей старины, главным образом — с реакционным русским духовенством.

Почти одновременно со своей трагедокомедией Феофан Прокопович написал и 15 июля, в день памяти Владимира, произнес посвященное ему слово, по своей идейной направленности очень сходное с трагедокомедией. В этом слове о Владимире говорится, что он «основатель духовнаго в земли нашей Сиона, царь чувственно и духовно, царь словом и делом, царь вещию и имением»<sup>87</sup>. Наряду с восхвалением Владимира восхваляется и Киев как второй Иерусалим, повый Сион. «Кому бо несть явно, — восклицает проповедник, — яко богоспасаемый град сей Киев мати градовом и всея земли наша пространная слава и великое украшение, от всех христиан второй Иерусалим и новый Сион единогогласно нарицается, и тако вся наша начало оттуду приемшая православнорусская церковь обретающесе в соборной и по всему миру рассеянной церкви, аки драгоценной бисер в перстне, Сион в Сионе, Иерусалим во Иерусалиме оменоватися может»<sup>88</sup>.

<sup>87</sup> Феофана Прокоповича, архиепископа Великаго Новаграда и Великих Лук... Слова и речи..., ч. III, Спб., 1765, с. 336.

<sup>88</sup> Там же.

Для возвеличивания Киева как второго Иерусалима Феофан Прокопович прибегает к перечислению выдающихся киевских святых, ведущих свое происхождение еще со времен Киевской Руси. Обращаясь с приветственным словом к Петру Великому во время приезда его в Киев в 1706 г., оратор задает вопрос: «Где бо зде и ступити можеши, идеже бы не узрел еси родства твоего следов?» и тут же дает на него ответ: «Мимо шел еси церковь богородичну Десятинную прозываемую; то здание есть благочестиваго и великаго князя родоначальника твоего Владимира, и святаго его телесе сокровище. Храм сей, в нем же стоиши, от Ярослава созданный есть и его тело погребенное в себе крыет. Пойдеши ли во обитель, во святую и чудотворную лавру Печерскую? тую созда великий князь Святослав. Пойдеши ли в монастырь Выдубицкий? той воздвигнул великий князь Всеволод. Пойдеши в церковь святаго Михаила архангела? тую воздвиге Святополк и неоцененным сокровищем, телом мученическим обогати. Пойдеши в дом Троицкий Кирилловский? то здание княжны киевской, королевы польской Марии Всеволодовны. Пойдеши ли на Вышград? тут Борис и Глеб почивают. Пойдеши во обитель Межигорскую, ту иждивение великаго князя Боголюбскаго. Что подробну исчисляти дерзаю? Возри на вся страпы киевския: вся то есть царскаго вашего благородия и пресловутых его памятей, аки единая сосудов хранительница»<sup>89</sup>.

Следует иметь в виду, что наименование Киева, памятного своими святыми и своей исторической ролью в судьбах Руси, вторым Иерусалимом, новым Сионом возникает на Украине после воссоединения ее с Россией, возможно, по аналогии с наименованием Москвы третьим Римом<sup>90</sup>.

Подводя итоги всему сказанному, следует признать: мы имеем все основания для того, чтобы утверждать, что старинная украинско-белорусская литература не оказалась изолированной от литературных традиций Киевской Руси. Традиции эти на Украине и в Белоруссии не были столь влиятельны и столь плодотворны в процессе литературного развития Юго-Западной Руси, как это было в Руси Северо-Восточной. Это объяснялось историческими условиями, в которых находились Украина и Белоруссия после их отрыва от общерусской государственности. Юго-Западная Русь испытала огромное книжное опустошение, утратив почти начисто какие бы то ни было письменные следы литературных па-

<sup>89</sup> Там же. Спб., 1760, ч. 1, с. 4—5.

<sup>90</sup> См. *Stupperich R. Kiev — das zweite Ierusalem. Ein Beitrag zur Geschichte des ukrainisch-russischen Nationalbewusstseins*. «Zeitschrift für slavische Philologie», Т. XII (3—4), 1935, с. 332—354.

мятников Киевской Руси, вновь обретенных, главным образом, после воссоединения Украины с Россией, когда Украине стало возможно приобщиться к утерянному киевскому литературному наследию.

Далее. Украине и Белоруссии выпала на долю такая упорная и напряженная борьба за отстаивание своей национальной самостоятельности и своей религиозной веры, явившейся выражением национального самосознания, какой не знала Великороссия. И это обстоятельство заставляло литературных деятелей Украины и Белоруссии ориентироваться больше на живую общественно-политическую современность, чем на исторические традиции. И при всем том Украина и Белоруссия, как мы старались показать, сохраняли связь с культурными и литературными традициями Киевской Руси, питаясь в меру своих обусловленных историей возможностей ее духовной пищей.



## «СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВИМ»

Біля 770 років тому в Київській Русі створено було «Слово о полку Ігоревім» — найвидатнішу літературну пам'ятку древньоруської народності — спільного предка російського, українського і білоруського народів, яка є їх спільним дорогоцінним художнім надбанням.

Вперше «Слово о полку Ігоревім» було надруковане у 1800 році в Москві любителем і збирачем пам'яток давнини графом О. І. Мусіним-Пушкіним в співробітництві з ученими архівістами О. Ф. Малиновським і М. М. Бантишом-Каменським з рукопису, придбаного Мусіним-Пушкіним у Ярославлі, очевидно ще на початку 90-х років XVIII століття. На титульному аркуші стояв такий заголовок: «Ироническая пѣснь о походѣ на половцов удѣльного князя Новгорода-Сѣверского Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходѣ XII столѣтія с переложеніем на употребляемое нынѣ нарѣчіе»; самий же текст пам'ятки з паралельним перекладом його і примітками під рядками був озглавлений «Слово о полку Игореве, Игоря сына Святослава, внука Ольгова».

У 1812 році, під час вторгнення французів у Москву, серед інших рукописів Мусіна-Пушкіна, що зберігалися в його московській бібліотеці, загинув і рукописний збірник з текстом «Слова». Таким чином, ми втратили єдиний старовинний список дорогоцінної пам'ятки і маємо тепер за основу тексту «Слова» лише першодрук і копію, яка була зроблена для Катерини II років за чотири до його опублікування. Але більшість примірників першого видання, надрукованого в кількості 1200 примірників, також загинули під час московської пожежі, і воно стало тепер великою бібліографічною рідкістю.

Єдиний знайдений список «Слова» відносився, треба думати, до початку XVI ст. і був віддалений з часу створення пам'ятки більш ніж на триста років. За цей час, в процесі неодноразового переписування спочатку з оригіналу, а потім

з копій, текст його частково перекручувався, і придбаний Мусіним-Пушкіним пізніший список мав у собі немало темних місць, які не могли розгадати перші дослідники рукопису, недостатньо досвідчені в читанні старих почерків; позбавлені можливості користуватися рукописом, не завжди можемо розгадати їх і ми. З часу опублікування «Слова» створилася досить значна література про нього не тільки вітчизняна, але частково і зарубіжна, зокрема присвячена виявленню темних його місць. Ряд цінних праць про «Слово» і поетичних перекладів його з'явилися в радянську епоху.

«Слово о полку Ігоревім» створено понад сім з половиною століть тому невідомим нам автором. Темою для «Слова» став невдалий похід на степових кочівників-половців новгород-сіверського князя Ігоря Святославича разом з його братом Всеволодом, сином Володимиром і племінником Святославом Ольговичем. Похід відбувся весною 1185 року. Слідом за першою вдалою битвою Ігоря з половцями наступила його поразка. Він та три інші князі, які брали участь у поході, потрапили в полон. «Слово», написане незабаром після цих подій, очевидно, не пізніше 1187 року, розповідає про долю Ігорового походу і про те, як тяжко поразка Ігоря відбилася на Руській землі. Принагідно автор звертається і до минулого і до сучасного, переходячи від епічної розповіді до ораторської мови, виконуючи цим самим завдання пристрасного і впевненого агітатора за згуртування всіх руських сил для відсічі ворогові.

Починаючи з темних, тривожних тонів — у передчутті неминучої біди, продовжуючи в тонах скорботних і схвильованих, автор закінчує «Слово» радісно-піднесеним оповіданням про втечу Ігоря з полону, про повернення його до рідної землі, де його привітно і радісно зустрічають співвітчизники, проголошуючи славу йому, іншим князям — учасникам походу — і дружині.

Ще задовго до походу Ігоря — з 1061 року на Руську землю, що зазнала немало біди від печенігів, стали нападати половці. У «Повести временных лет» під 1093 роком малюється трагічна картина нестерпних страждань руських людей, які стали жертвою цих нападів: «Люди в містах змучилися від голоду і здалися переможцям; половці ж, взявши місто, спалили його, а людей розподілили і повели їх у свої шатри, до своїх близьких і родичів. Мучачись від зимнього холоду, страждаючи від голоду і снаги, з побліднілим обличчям і почорнілим тілом, в незнаній країні, з запаленим язиком, роздіті і босі, з погами, поязвленими терном, вони з сльозами зверталися один до одного, кажучи: «Я був із такого-то міста», а інші «Я був із такого-то села».

Об'єднаній боротьбі з кочівниками були на перешкоді в ті часи численні князівські усобиці як наслідок феодального роздроблення древньоруської держави, перші ознаки якого проявилися вже в середині XI століття. У 1907 році на Любецькій з'їзді деякі князі говорили: «Що губимо Руську землю, чинячи між собою сварки? А половці землю грабують і раді тому, що між нами сварки. Будемо ж віднині жити в єдинстві («имемся в єдино серце») і охоронимо Руську землю». Але такі добрі наміри рідко здійснювалися: важко було об'єднати військові сили роздробленої на окремі князівства древньоруської держави.

В XII ст. боротьбою з половцями прославився київський князь Володимир Мономах, який з 1103 до 1116 року організував чотири походи проти степовиків і відкинув їх за Дон і частково на Кавказ. Син Мономаха Мстислав намагався продовжити справу батька, але після його смерті (у 1132 р.) половці знову зміцніли і відновили напади на Руську землю. Подальше роздроблення Київської держави, загострення на Русі класової боротьби, користолюбива політика князів і бояр — все це полегшувало половцям можливість безкарно нападати на Руську землю і розоряти її.

В той же час, поряд із занепадом Київської землі, зміцніли окремі руські князівства, які могли б взяти участь у боротьбі з половцями, якби ці князівства подолали свою політичну відокремленість і відмовилися від продовження міжусобиць. Автор «Слова», звертаючись після поразки Ігоря з закликом до володимиро-суздальського князя Всеволода Велике Гніздо постояти за Руську землю, так показує його військову силу: «Ти ж бо можеш Волгу веслами розкрити, а Дніш шоломами вилляти» \*. Ще більш образно малюється ним могутність галицько-волинського князя Ярослава Осмомисла: «Високо сидиш ти на своїм злотокованім столі, підпер гори угорські своїми залізними полками, заступивши королеві путь, зачпивши Дунаю ворота, метаючи тягарі через хмари, суди рядячи до Дунаю. Грози твої по землях течуть, одчиняєш ти Кисву ворота, стріляєш ти з отчого золотого стола салтанів за землями». Але енергійний заклик автора лишився без відгуку: руські князі не об'єдналися для відсічі половцям, і древньоруська держава під натиском степовиків все більше і більше схилилася до занепаду. На зміну половцям прийшли татари, з якими Київській Русі було ще важче боротися, ніж з половцями.

---

\* Цитати з «Слова» українською мовою тут і далі даються в перекладі Л. Є. Махновця,

Князь Ігор Святославич був добре відомий на Русі як непримиренний ворог половців, одержавши три рази перемогу над ними. Перша з них відноситься до 1174 року, дві інших — до 1183 року. В березні 1185 року він збирався допомогти київському великому князю Святославу в поході на половців, кажучи: «Не дай бог нам відмовлятися від війни з поганями,— погані всім нам спільний ворог», але через ожеледицю йому не вдалося тоді здійснити свій задум. Незабаром — менше ніж через два місяці після того — Ігор відправився на половців без домовлення з київським князем і потерпів поразку. Тут ще раз дали себе знати наслідки сепаратної політики князів, при якій ворогу полегшувалась можливість досягати успіхів у боротьбі з руським народом, по частинах підривати його військову силу, в той час як при об'єднанні руських князів половці терпіли поразки.

Так, за рік до походу Ігоря південні руські князі, що об'єдналися навколо київського князя Святослава, спільними силами панесли половцям нищівний удар. За свідченням літопису, самих тільки полонених було взято руськими сім тисяч, а серед них дуже велику кількість половецьких князів. В числі полонених був і хан Кюбьяк. За словами літописця, перемога викликала у руських велику радість: дружина взяла багато полонених, добула коней і зброю і урочисто повернулася додому. Автор «Слова» в гіперболічному стилі зображує перемогу Святослава: він «наступив на землю Половецьку, притоптав гори і яруги, змутив ріки і озера, висушив потоки і болота. А поганого Кюбьяка із лукомор'я, із залізних великих полків половецьких, як вихор, вихопив. І упав той Кюбьяк в граді Києві, в гридниці Святослава».

За повідомленням літопису, Святослав у спілці з іншими князями незабаром одержав ще дві перемоги над половцями, та міжкнязівські усобиці, які згодом почалися, фактично звели цей успіх нанівець.

В таких умовах виступив у похід і з своїми союзниками князь Ігор. Спочатку він розбив половців і взяв у них велику здобич, але на наступний день половці, оправившись від своєї воєнної невдачі, рушили на руське військо і, в свою чергу, нанесли йому поразку. «Слово» надзвичайно стисло, з великою художньою виразністю і динамічною силою зображує цю другу, гірку для «русичів» битву: «З зарання до вечора, з вечора до світа летять стріли гартовані, гримлять шаблі об шоломи, тріщать списи харалужнії в полі незнаємім, серед землі Половецької. Чорна земля під копитьми кістями була засіяна, а кров'ю полита: тугою зійшли вони по Руській землі... Билися день, билися другий; третього дня під полудень упали стяги Ігореві, Тут брати розлу-

чилися на березі бистрої Каяли; тут кривавого вина не стало; тут пир докінчили хоробрі русичі: сватів напоїли і самі полягли за землю Руську. Никне трава жалоцями, а дерево з тугою к землі приклонилось».

Так було розбите військо Ігоря, судячи за Суздальським літописом, 1 травня 1185 року, на річці, яка в Київському літопису і в «Слові о полку Ігоревім» називається Каялю. Разом з Ігорем були взяті в полон і три інші князі; побита або полонена була майже вся дружина. Невдача походу Ігоря великим горем відгукнулася на Русі: похід коштував народу великих жертв; за цією поразкою слід було чекати ще більшого лихоліття для Руської землі.

Автор «Слова» виступає як палкий патріот, якому дорогі честь і благополуччя Русі. Він закликає князів до об'єднання всіх руських сил проти ворога, усовіщає їх припинити чвари і спільно виступити проти половців «за землю Руськую, за рани Ігореві, смілого Святославича». Основна публіцистична ідея «Слова» — визнання необхідності об'єднання князів для захисту Руської землі, для ліквідації гірких наслідків невдалого походу Ігоря. Це відзначили і наші вітчизняні дослідники пам'ятки, це відзначив і К. Маркс, обмінюючись своїми міркуваннями про «Слово» з Енгельсом: «Смисл поеми — заклик руських князів до єднання якраз перед навалюю монголів»<sup>1</sup>. Автор упевнений в тому, що, тільки об'єднавшись, руські князі зможуть завдати половцям рішучого удару, а роз'єднання і егоїстична політика князів веде до лиха. В уста Святослава київського він вкладає «золоте слово», в якому Святослав скаржить на те, що не має «допомоги від князів», що «минули щасливі часи». Бездіяльний брат його Ярослав чернігівський, військо якого «без щитів, з пожами захаявними кликом полки побиває, дзвонячи в прадідівську славу». Ярослав усунувся від боротьби з половцями, як усунулися в ті часи й інші князі.

Благополуччя південної Русі мислилося автором «Слова» як спільна турбота і спільна справа всієї Руської землі і всього руського народу, і тому на боротьбу з половцями він закликає не тільки тих князів, володінню яких безпосередньо загрожувала небезпека від половецьких вторгнень, але й тих, які могли не боятися за свої володіння. В тих політичних умовах, що склалися в Київській Русі в кінці XII ст., тяжка воєнна невдача, яка спіткала Ігоря і привела до небувалого ще на Русі полонення чотирьох князів, учасників походу, і до загибелі їхнього війська, повинна була розцінюватися найбільш далекозорими і політично чулими

<sup>1</sup> Маркс К., Энгельс Ф., Сочинения, т. 22, с. 122.

сучасниками як тяжке випробування, як своєрідне останнє попередження князям, що діяли врозбід, кажучи один одному: «Се моє, і те — теж моє», та сварилися за мале, як за велике.

Створення «Слова» було виявом активного втручання поета-громадянина в події, які загрожували фатальним наслідком для Руської землі. І він з хвилюванням і пристрасною відгукнувся на згубні прояви князівських чвар, які і в минулому заподіявали велике зло Руській землі і тепер готували їй ще тяжкі випробування.

Автору тим прикріше було бачити бідування Русі, якого завдавали їй «погані», що не занепала вона військовою доблестю, що прославилася вона живими і на той час відважними князями-рицарями і випробуваною в боях відважною дружиною, здатною постояти за рідну землю. Рицарська честь і воїнська слава мужнім братам Ігорю і Всеволоду дорожчі за все. Звертаючись до своєї дружини, Ігор говорить: «Браття і дружино! Лучче ж би потятим бути, аніж полоненим бути... Хочу бо,— сказав,— списа переломити кінець поля Половецького з вами, русичі; хочу голову свою положити або напитися шоломом з Дону!» Всеволод, знаходячись у самій гущі бою, б'ється як билинний богатир, засіваючи поле звитяги половецькими трупами, в самовідданій відвазі не думаючи ні про своє життя, ні про бувалі почесті, ні про коханої дружини своєї Глібовни «свычая и обычая». Святослав київський, хоч і обвинувачує Ігоря і Всеволода за їхню самовпевненість, все ж віддає їм належне і визнає, що серця їхні виковані з міцного булату і загартовані у відвазі. Про Романа, галицько-волинського князя, автор говорить, звертаючись до нього: «Високо плинеш ти на подвиг в сміливості, наче сокіл на вітрах ширяючи». Як про могутніх князів говориться в «Слові» і про Ярослава чернігівського, і про Рюрика і Давида Ростиславичів, а пайбільше — про Святослава київського, Всеволода володимиро-суздальського, Ярослава Галицького.

Високими воїпськими якостями відзначається і руське військо. Воно шукає собі честі, а князю слави. До своєї дружини звертається Ігор з закликом постояти за честь і достоїнство Русі. З великою похвалою відгукується про своїх курян Всеволод. Високу оцінку в «Слові» дано і воїнам Ярослава чернігівського, і дружині Рюрика та Давида Ростиславичів.

Будучи виразником загальнонародних інтересів, автор ставить завданням свого твору служіння рідній землі. Події руської історії, що передували походу Ігоря і згадувані в «Слові», трактуються з точки зору основної ідеї автора —

служіння на благо батьківщини. Поет намагається показати, як згубно на долі Руської землі відбивалися князівські міжусобиці, як підривали вони її благополуччя. Не добром згадує він діда Ігоря і Всеволода — Олега Святославича, прозваного за бідування, заподіяні ним Русі, Гореславичем. При ньому сіялися і росли усобиці, гинуло надбання Даждзьбожого внука (руського народу), в князівських чварах скорочувалося життя людей. Поет сумує за тим, що голоси орачів рідко у той час чулися на нивах, але часто там гайвороння крикало, ділячи між собою трупи. Засуджує він і померлого більш ніж за вісімдесят років до Ігорового походу неспокійного полоцького князя Всеслава, що прославився сміливими воєнними авантюрами, які завдавали шкоди Руській землі. З гірким докором звертається автор і до внуків Всеслава. Їхній дід — псабнякий воїн, хоч і здобув собі славу у нащадків, нехай і не зовсім втішну для цього, а вони і такого не здобули, «вискочили» вони з дідівської слави, тому що своїми чварами почали наводити поганих на землю Руську. Явно не співчуває поет і витівці сіверських князів, що пішли походом на половців без відому Святослава.

Зате яким ореолом оточує він Святослава, хоч сам по собі це був досить непомітний князь. Поет так високо підносить авторитет київського князя тому, що в його очах він уже за самим своїм становищем — був символом загальноруської єдності, втіленням ідеї спільної справи для всіх руських князів в їхній боротьбі з половецьким засиллям.

Гідний подиву в умовах середньовіччя — і руського і західно-європейського — реалізм історичної і політичної думки автора «Слова». Історичні події, в тому числі і невдалий похід Ігоря, осмислюються ним не в плані релігійному або вузько особистому, як це ми бачимо більше всього в літописця, зокрема в його ставленні до поразки Ігоря, а в плані конкретної політичної ситуації. Воєнна невдача Ігоря пояснюється в «Слові» не стільки особистою поведінкою Ігоря, скільки історичною і політичною обстановкою, яка склалася на Руській землі на протязі цілого століття. Те, що для менш далекоглядних сучасників автора було тільки поодиноким фактом невдачі князів — учасників походу, в його уяві є перш за все неминучим результатом князівських чвар, що були причиною потрясінь і прикростей, які випали на долю рідної землі.

Пристрасний публіцистичний темперамент поета знайшов собі найбільш сильне вираження в його заклик до князів постояти за Руську землю. Він повсякчас відхиляється від

розповіді про події для того, щоб висловити своє до них ставлення і пояснити прикладами із сумного минулого руської історії непоправну шкоду, яку причиняли Русі міжкнязівські усобиці. Він разом з Святославом київським неспівчутливо ставиться до згубного заходу Ігоря і сумує над його поразкою, яка тяжко відгукнулася на долі Руської землі. Але в той же час, маючи надію на згуртування всіх руських сил для відсічі ворогу, він говорить про Ігоря і Всеволода так, щоб викликати по відношенню до них, що й без того зазнали тяжкої розплати за свій непродуманий крок, не тільки засудження, але і співчуття і жаль, які змогли б спонукати князів до відсічі половцям.

Автор «Слова» був воїн, член дружини князя, але йому близькі і зрозумілі не тільки інтереси і доля випробуваних у битвах воїнів: він відгукується і на почуття жалю Ігоря до стомленого битвою брата Всеволода, і на горе матері, що оплакує юного сина Ростислава, який утопився, і на сум руських жінок, що втратили своїх чоловіків — дружинників Ігоря, і на безутішну журбу сумуючої за Ігорем Ярославни, і на страждання плугатаря, обездоленого разом з усіма руськими людьми половецькими наскоками.

Автор називає ім'я свого далекого попередника, древньоруського співця Бояна, який жив років за сто до нього. Він із захопленням говорить про його талант співця, називає його «соловієм часу давнього». Але у автора «Слова» були свої завдання, набагато відмінні від тих, які ставив собі Боян, що, розтікаючись «мислю по дереву, сірим вовком по землі, сизим орлом поїд хмарами», славив князів; творець же «Слова» не тільки прославляв князів, коли вони цього заслуговували, але й був їхнім суворим суддею, коли вони своїми непродуманими і егоїстичними вчинками шкодили Руській землі. Крім того, наш автор насичує свій твір такими публіцистичними і історичними екскурсами, які, очевидно, не були властиві поетичній манері Бояна. Ось чому він вирішує створити свою пісню не «за вимислом Бояна», не «старими словами», а за бувальщиною свого часу. Але, відмовившись на початку своєї пісні йти по слідах Бояна, він надалі нерідко вступає на його шлях і виявляє такий політ поетичного натхнення, який споріднює його з Бояном. Не прагнучи точно і дослівно передавати події, він малює нам цілу низку різноманітних картин, насичених яскравими поетичними образами, багатих живими, не бліднучими від часу фарбами. В «Слові» все живе, діє, рухається, звучить. Природа, що безперестанку бере тут найактивнішу участь у долі руських князів і їхніх дружин, — жива, одухотворена, активно впираюча в світ людських відносин. Вона в «Слові»



невід'ємна від людини, як і людина від неї. В її допомозі і участі — запорука благополуччя і успіху людей, так само як у її ворожому ставленні до людей криється причина їх нещастя і бідувань.

Цей тісний зв'язок людини з природою, виражений в «Слові» так послідовно і так лірично насичено, як ні в одній пам'ятці світового епосу, пояснюється органічною близькістю автора «Слова» до народної поезії, що наснажувала його творчий геній. Народній поезії зобов'язане «Слово» найбагатшими своїми художніми фарбами. Незрівнянний своєю красою образ Ярославни, яка на стіні Путивля оплакує свого полоненого чоловіка і закликає вітер, Дніпро і сонце допомогти Ігорю вернутися із полону і пощадити його воїнів, — бере свій початок у народній поезії. Народна поезія навіяла автору і ту задушевність, той глибокий хвилюючий ліризм, яким сповнений плач Ярославни, уподібненої до зозулі, що летить над Дунаєм і думає про те, щоб у злочасній для Ігоря Каялі-річці намочити свій бровровий рукав і витерти ним криваві рани князя на його могутньому тілі. Гідний подиву своєю силою мотив діяльного жіночого кохання, втіленого в Ярославні, що перемагає всі перешкоди, які заважають коханому чоловікові, що начебто магічно сприяє звільненню його із полону, — цілком від народної поетичної творчості.

Народною поезією підказано автору «Слова» порівняння битви з засівом, бенкетом і молотьбою, картини втечі Ігоря, а також багато інших образних засобів пам'ятки. Близькістю до поетичного уявлення народу, що ще не втратило на той час язичеської міфології, пояснюється і згадка в «Слові» язичеських богів. Торкаючись «Слова», Маркс писав: «Вся пісня має християнсько-героїчний характер, хоча язичеські елементи виступають ще дуже помітно»<sup>2</sup>. Треба, між іншим, гадати, що, говорячи про «Слово» як про християнсько-героїчну поему, Маркс мав на увазі не специфічно християнське в релігійному розумінні забарвлення «Слова», а ідейно-політичний характер пам'ятки, що відобразив у собі суттєві риси духовної культури християнського суспільства.

Автор «Слова» був не тільки видатним поетом і публіцистом, але й високоосвіченою на той час людиною, які, до речі сказати, нараховувалися в древній Русі аж ніяк не одиницями. Він прекрасно був знайомий з тодішньою літературою, зокрема, звичайно, літописною. Вивчення «Слова» з боку історичного переконує нас у тому, що воно має велику пізнавальну цінність, яскравіше, ніж яка інша руська пам'ятка, відображуючи характерні особливості феодалного

<sup>2</sup> Там же.

устрою Київської Русі і найсуттєвіші риси її політичного укладу.

Багата образно-символічна насиченість «Слова» — характерна його ознака. Поетичне втілення, метафора, порівняння, паралелізм — всім цим дуже переповнене «Слово».

Особливо багате «Слово» на порівняння, що взяті майже всюди з природи. Боян — соловей, Всеволод — буй-тур, «поганий половчин» — чорний ворон. Боян скаче сірим вовком по землі, ширяє сизим орлом під хмарами. З сірим вовком порівнюються також князі, дружина і Кончак. Князі, крім того, порівнюються з сонцем, з місяцем, з соколами, дружина — з тими ж соколами і з зграєю вороння, Ярославна — з зозулею, Ігор — з горностаєм, з білим гоголем. Всеслав — з лютим звіром, половці — з барсовим гніздом. Віщі персти Бояна, які він кладе на живі струни, щоб прославити піснею князів, порівнюються з десятьма соколами, пущеними мисливцем на зграю лебедів, скрипучі вози — також з сполоханою лебединою зграєю.

Узгоджена з загальним характером поетичного стилю «Слова» і його різноманітна і пишна символіка. Символічна співузгодженість — улюблений метод образного розкриття фактів і подій у «Слові». Рух половецьких військ символізується тут в образі чорних хмар, що намагаються закрити чотири сонця, тобто, чотирьох князів, учасників походу. Битва символічно уподібнюється до посіву, до весільного бенкету, до молотьби — так поетично осмислюється поразка Ігорового війська на річці Каялі. Згадуючи поразку Всеслава полоцького на Немизі, автор з гіркотою вигукує: «На Немизь снопы стелють головами, молотять чепа харалужными, на тодь животь кладуть, вьють душу оть тѣла» і закінчує вже одного разу використаною картиною: «Немизь кровави брезь не бологомъ бяхуть посѣяни, посѣяни костьми рускихъ сыновъ». Поряд з цими розгорнутими символічними картинами — стисліші символічні образи: «искусити Дону великого», «копіе приломити конецъ поля Половецкаго», «испити шеломомъ Дону», «летая умомъ подъ облаки», «Игорь князь высѣдъ изъ сѣдла злата а въ сѣдло кощєво» і т. ін. Елементи символіки у великій кількості присутні і в порівняннях, якими користується автор «Слова».

З символом нерозривно зв'язана метафора, що на кожному кроці супроводжує виклад подій у «Слові». Ігор «истягну умъ крѣпостию своею и поостри сердца своего мужествомъ», горе «пасеть птицъ по дубію», «щекоть славій успе, говоръ галичь убудися», «крававыя зори свѣтъ повѣдають», «печаль жирна тече средь земли Рускыи», «князи сами на себе крамолу коваху» і т. д.

Образна насиченість «Слова» зумовлюється і багатством епітетів. Одним з улюблених автором «Слова» епітетів є «златой» з його похідними: «златоверхий», «златокованый», «злаченный». Деякі з словосполучень, у яких вжито цей епітет у «Слові», мають собі паралелі і в усній поезії. Такі: «сѣдло злато», «златъ столъ», «златъ шеломъ», «златъ стремень». Часто в «Слові» фігурує і епітет «сребреный», однак у таких словосполученнях, які не зустрічаються ні в інших літературних пам'ятках, ні в усній поезії: «сребреными струями», «на своихъ сребреныхъ брезъхъ». Для нас особливий інтерес становлять такі словосполучення епітетів з іменниками, які мають собі відповідність тільки в творах усної словесності і не зустрічаються в літературних пам'ятках, що передували «Слову» або сучасних йому. Такі: «шизый орель», «синее море», «зелена трава», «стрелы каленья», «красныя дѣвки», «кровавые раны», «острые мечи», «студеная роса», «серый волкъ», «храбрая дружина», «черный воронъ», «черная туча», «чистое поле». Користується автор «Слова» і метафоричними епітетами: «вѣщія персты», «желѣзные плѣки», «злато слово», «жемчюжна душа», «живая струны».

У староруській риторичній проповіді і життійній літературі ми відзначаємо наявність символізму, уособлення абстрагованих понять, наявність метафоричних образів, введення у виклад монологічної і діалогічної мови, риторичних вигуків і запитань, використання прийомів порівняння і паралелізму, антитези, ритмічну організацію мови, що виражається у повтореннях, єдинопочатках, у замиканні суміжних фраз дієсловами, іноді римованими одне з одним. Всі ці стилістичні особливості ми знайдемо і в «Слові о полку Ігоревім»; більша частина їх (символічні уподібнення, уособлення, метафори, порівняння, паралелізми) вказана вище. Зразком монологічної мови в «Слові» є «золоте слово» Святослава, діалог виступає в розмові Святослава з боярами з приводу його віщого сну, і в розмові Гзака з Кончаком. Риторичним питанням починається «Слово» і далі питання повторюється: «Что ми шумить, что ми звенить далече рано предъ зорями?». Або: «А чи диво ся, братіє, стару помолодити?» і т. п. Не менше і риторичних вигуків: «Дремлетъ въ полѣ Ольгово хороброе гнѣздо. Далече залетѣло!», або: «О, далече зайде соколь, птицъ бья, къ морю!», або: «А Игорева храбраго плѣку не крѣсити!» і т. д. Повторення і антитези в «Слові» — звичайні прийоми його стилю. Як зразки повторення з однаковими початками, можна навести хоч би такі приклади:

Ту ся копіємъ приламати,  
ту ся саблямъ потручати...

Уже снесєся хула на хвалу,  
уже трєсну нужда на волю,  
уже врѣжєся Дивъ на землю...

Игорь спить.  
Игорь бдить.  
Игорь мыслию поля мѣрить...

Тут звертає на себе увагу звичайне і в урочистій, риторичній проповіді симетричне розміщення членів речення. Симетрично розміщені фрази, що закінчуються римованими, точніше — асонованими дієсловами, також часто вживаються в «Слові»:

Боянъ же, братіє, не 10 соколовъ на стадо лебедѣй пушаше,  
Нъ своя вѣща прѣсты на живая струны вѣскладаше.

Вєславъ князь людемъ судяше,  
княземъ грады радяше,  
а самъ въ почѣ влькомъ рыскаше...

жаждею имъ лучи съпряже,  
тугою имъ тули затче...

Торкаючись питання про зв'язок автора поеми з літературною і народнопоетичною традицією, варто підкреслити, що він був цілком самостійним і оригінальним у використанні і книжного, і уснопоетичного матеріалу. «Слово» виявляє таку високу ступінь художньої самобутності, що не може бути і мови про наслідування навіть в окремих його частинах.

Говорячи про поетичний стиль «Слова о полку Ігоревім», необхідно згадати і про одне найскладніше питання з галузі його вивчення — саме питання його ритмічної будови. Ряд дослідників вважали «Слово» написаним повністю віршованим розміром і намагалися розбити його на вірші, наближуючи віршовану будову «Слова» до віршованої системи українських дум, до вірша скандинавських скальдів, до російського вірша билін, до візантійської церковної пісні.

Потрібно, однак, сказати, що всі намагання повністю розкласти «Слово» на вірші не можуть бути визнані вдалими. Насамперед треба мати на увазі, що «Слово» дійшло до нас у списку, далекому від досконалості, в якому у великій мірі порушена, без сумніву, і його ритмічна будова. Але і незалежно від цього виникає сумнів, щоб «Слово» цілком було написане віршами: насамперед — велика кількість цілком історичних джерел, а також згадка значної кількості князів, — навряд чи могло укластися все це у віршовані рядки.

Присутність в ряді випадків у «Слові» складних речень також вказує на відсутність у ньому безперервного віршованого ритму. Чи не вірніше було б думати, що «Слово», як і скандинавські саги, являло собою чергування прозових і віршових, в основі своїй пісенних фраз. Сліди пісенного складу дають себе знати в «Слові» не тільки в однаковості ритму симетрично побудованих, суміжних коротких фраз, але і в строфічній побудові плачу Ярославни, і в таких рефренах, як «ищучи себѣ чти, а князю славѣ», «О Руская земле, уже за шеломянемъ еси», «на рѣцѣ на Каялѣ», «за землю Рускую, за раны Игоревы, буюго Святъславлича», «Ярославна рано плачеть въ Путивлѣ на забралѣ». Нарешті пісенний музикальний ритм «Слова» підтримувався його пишною алітерацією: «трубы трублять въ Новѣградѣ», «сѣ заранія въ пятъкъ потошташа поганыя плъкы половецкыя и, рассушыя стрѣлами по полю, помчаша красныя дѣвки половецкыя», «стрѣлы по земли сѣяше», «пороси поля покрыватѣ», «се ли створисте моея сребренея сѣдинѣ» і т. д.

Глибока політична ідейність «Слова», підказана насущними інтересами історичного моменту, в поєднанні з тим, що воно органічно зв'язане з багатющою скарбницею народної творчості, характеризує його як твір, що відзначається справжньою народністю.

«Слово» є найяскравішим показником тієї вершини культури, яка була досягнута древньоруським народом ще в дуже віддалений час, в перші століття його державного життя. «Слово о полку Ігоревім» поряд з іншими пам'ятками словесного, а також живописного і архітектурного мистецтва древньої Русі — свідоцтво значного культурного розвитку молодой держави, загальмованого на декілька століть татарським ігом.

«Слово о полку Ігоревім» зробило вплив на наступну російську літературу. Коли наші предки в 1380 році під керівництвом Дмитрія Донського одержали на Куликовому полі перемогу над татарами, під прямим впливом «Слова» була написана «Задонщина», яка розповідала вже не про гіркі події на рідній землі, а її торжество над ворогами. Вплив «Слова» помітний і в новій російській, українській і білоруській літературах, помітний він і в радянській літературі трьох братніх народів. Російські, українські і білоруські поети неодноразово давали поетичні переклади і переспіви «Слова» — пам'ятки, що вишикла у тій спільній колісці, якою історично є Київська Русь для росіян, українців і білорусів. Воно перекладено на мови багатьох інших народів Радянського Союзу і на багато мов зарубіжних країн.

На українському ґрунті вперше зацікавленість «Словом» виявили представники славнозвісної «Руської трійці» Маркіян Шашкевич та Іван Вагилевич. В умовах тяжкого цісарського режиму, коли система поліцейського деспотизму душила найменші прояви національної самобутності, Шашкевич і Вагилевич звернулися до «Слова», обстоюючи ідею єдності руської землі, ідею спільності історичного походження західних українців з усім українським і російським народами. Патріотизм «Слова» був могутнім на той час фактором у справі єднання культури всіх слов'янських народів.

Високої оцінки заслуговує перша в українській літературі спроба М. Шашкевича (1833) перекласти одну з частин «Слова» — «Плач Ярославни» ритмічною прозою зі збереженням змісту і образної системи оригіналу.

Поширенню серед українських читачів «Слова» великою мірою сприяв своїми працями видатний вчений М. О. Максимович, який доклав багато зусиль у справі вивчення славетної пам'ятки.

У 1837 році Максимович вперше на Україні видав староруський текст «Слова» з своїм прозовим російським перекладом і примітками, а в 1857 році опублікував віршовану «Песнь о полку Игореве, переведенную на украинское наречие...». Досліджуючи староруську і народну словесність, Максимович прийшов до думки, що «Слово» своєю мовою, поетичною образністю і символікою має спорідненість з українськими народними піснями. Саме тому образну систему свого перекладу «Слова» він намагався наблизити до українських народнопісенних форм.

Про «Слово», як видатну пам'ятку староруської літератури, М. О. Максимович в одній з своїх праць писав: «Думи нашого стародавнього співця, який був сповнений любові до Руської землі і її слави, так глибоко переживав її тодішнє лихо і страждання, — заповітні для всіх поколінь Русі». Учений не тільки сам досліджував і дав спробу поетичного переспіву «Слова», але й заохотив О. С. Пушкіна до вивчення видатного твору, а Т. Г. Шевченка до перекладу «Слова» українською мовою.

Думка перекласти «Слово» «на наш милий, на наш любий український язик» виникла у Шевченка ще до заслання. Перебуваючи на засланні, великий поет звертався до знайомих з проханням надіслати йому оригінальний текст «Слова», зауважуючи при цьому: «перевода читати не втну». Поет був незадоволений тодішніми перекладами і мріяв зробити свій. Цей задум йому повністю не вдалося здійснити — він тільки переклав «Плач Ярославни» і уривок про битву Ігоря на річці Каялі, Шевченко прагнув відтворити всю кра-

су і привабливість «Слова», не знижуючи її великого художнього рівня. Ямбічний розмір Шевченкового вірша відповідав духові і характерові поеми.

В своєрідній «співомовній» формі, римованими віршами хореїчного розміру переклав «Слово» у 1860 році поет-демократ С. Руданський. Цей переклад був надрукований лише в 1896 році. Про велику увагу і вдумливість Руданського в праці над «Словом» свідчить його передмова до перекладу, в якій він дав цілий ряд оригінальних тлумачень «темних місць» пам'ятки і оцінює попередні наукові дослідження видатного твору.

Великий інтерес до «Слова» виявив видатний демократичний поет і культурний діяч Юрій Федькович, який жив і творив на Буковині. Його, як на свій час, майстерну і оригінальну переробку «Плачу Ярославни» досить позитивно оцінив І. Я. Франко. В кінці 60-х років XIX ст. Федькович переклав гекзаметром увесь твір, наситивши свій переклад, говорячи його словами, — «багатим гуцульським язиком». Цим поет прагнув зробити твір більш дохідливим і зрозумілим для своїх земляків-буковинців.

В умовах, коли західноукраїнські землі були відірвані від усїєї України і Росії, популяризація «Слова» в Галичині, Буковині і Закарпатті мала велике прогресивне значення.

До «Слова о полку Ігоревім» неодноразово звертався також Іван Франко. Це відбулося як у науковій, так і в художній спадщині великого письменника і вченого. Збереглася в рукописі чимала за розміром (понад 130 стор.) спеціальна розвідка про «Слово», яку Франкові так і не вдалося закінчити.

Мотиви і образи «Слова» часто зустрічаються в поетичній творчості Франка, зокрема в циклі віршів «На старі теми», у збірці «Semper tiro» (1906). Використовуючи «старі теми», поет надавав їм нового змісту і нового суспільного звучання.

Ще в роки навчання у Дрогобицькій гімназії (1873) Франко зробив повний переклад «Слова». Хоч у цьому перекладі є чимало пропусків нерозгаданих «темних місць», а також відступів від тексту оригіналу, він все ж не позбавлений художньої і пізнавальної цінності. Вперше Франків переклад «Слова» надрукований лише у 1952 році і ще не здобув кваліфікованої оцінки в науковій літературі.

У 1896 році був надрукований переспів «Слова», зроблений Панасом Мирним. Зберігаючи в основному образно-стилістичну і ритмічну систему «Слова», Панас Мирний стилізував свій переспів під українські народні думи. Ця стилізація привела до деякого перенасичення тексту новими

словами, що віддалило переспів від оригіналу. Все ж переспів Мирного є цікава і оригінальна спроба поетичного осмислення староруської пам'ятки.

Крім названих авторів, у дожовтневій українській літературі перекладали «Слово» В. Кендзерський (1874 р., Кременчук), К. Шейковський (1885 р., Єлабуга), М. Чернявський (1894), В. Щурат (1907) та інші. У свій час ці переклади мали певне значення в справі популяризації «Слова» і осмислення його тексту.

Треба пам'ятати, що кращі переклади і переспіви «Слова» українською мовою виникали в умовах гострої боротьби передових письменників з буржуазно-націоналістичними елементами, які вважали «Слово» пам'яткою тільки української літератури. Письменники демократичного напрямку боролися проти спроб принизити значення «Слова», розглядали його як спільну пам'ятку братніх російського, українського і білоруського народів, підносили ідею «Слова» про єдність всіх руських земель.

Після Великої Жовтневої соціалістичної революції захоплення «Словом» не тільки не ослабло, а зросло ще з більшою силою, особливо в дні святкування 750-річного його ювілею. Збагачені великим досвідом своїх попередників, озброєні марксистсько-ленінським вченням, українські радянські письменники в братній співдружності з російськими, білоруськими та іншими митцями дали цілий ряд нових перекладів та переспівів. Образи, теми, емоції «Слова» були і є живими, збагачували і збагачують оригінальну творчість радянських письменників, композиторів, художників.

Одним з найкращих перекладів «Слова» в українській літературі є переклад видатного поета і вченого М. Т. Рильського (перше видання 1939 р., друге — 1952). Великий знавець мови, літератури і народної творчості Максим Рильський виконав свій переклад «Слова» на високому художньому рівні, зберігши ритміку і пісенний склад твору.

У 1940 році вперше був надрукований переспів «Слова про Ігорів похід», зроблений талановитою дитячою письменницею Наталею Забілою. Переспів цей уже витримав кілька видань і одержав схвальну оцінку літературознавців і читачів як цікава спроба поетичного осмислення видатного твору з урахуванням інтересів юних читачів.

Над поетичним перекладом «Слова» довгий час працював лікар у Дніпродзержинську О. І. Коваленко. До речі, він був одним із організаторів окремого видання переспіву «Слова о полку Ігоревім», зробленого Панасом Мирним (1914 р.). Переклад О. І. Коваленка поступається своїми художніми якостями і щодо точності відтворення оригіналу, скажімо,



перед перекладом М. Рильського. Але все ж він цікавий і дає багато повчального для перекладацької практики всім тим, хто цікавиться «Словом».

Серед прозових перекладів «Слова» українською мовою у радянський час слід відзначити переклад проф. М. К. Грунського, зроблений і опублікований у 30-х роках.

У 1953 році в книжці «Слово о плъку Игоревѣ» в українських художніх перекладах і переспівах XIX—XX ст.» (Видавництво АН УРСР, Київ) був опублікований прозовий переклад Л. Є. Махновця, який загалом прихильно зустріли дослідники давньої літератури.

Зрозуміло, що всі переклади та переспіви, як дореволюційних, так і радянських письменників, виконані у властивій кожному митцеві своєрідній формі, поетичній манері, з неоднаковою художньою майстерністю. Їх публікація дає читачеві можливість прослідкувати, як все більше зростала майстерність перекладу «Слова», удосконалювалася виразність, точність передачі оригіналу з урахуванням тлумачень окремих темних місць на основі нових філологічних досліджень.

Благотворний вплив «Слова о полку Ігоревім» позначився і на оригінальній творчості багатьох українських радянських письменників. У творах П. Тичини, М. Рильського, А. Малишка, П. Воронька, Л. Первомайського та інших поетів зустрічаються теми, мотиви, образи, вислови, запозичені з героїчної поеми, по-своєму творчо осмислені і художньо виявлені кожним поетом. Цей вплив особливо позначився у роки Великої Вітчизняної війни, коли образи «Слова» з новою силою ожили в художній літературі, служили вихованню великих патріотичних почуттів у радянських воїнів, захисників соціалістичної Батьківщини.

Таке багатостороннє захоплення «Словом о полку Ігоревім» і постійна увага до нього митців художнього слова в різні історичні періоди не є чимось випадковим. «Слово» за своїм характером є провісником класичної і радянської літератури — російської, української і білоруської, її геніальним прологом. В ньому закладено основні особливості, властиві кращим зразкам літератури трьох братніх народів: гуманізм, висока ідейність, передова політична тенденція, кровний зв'язок з насущними інтересами народного життя і разом з тим висока художня майстерність. Нас хвилює і ніколи не перестане хвилювати благородне патріотичне почуття, що пронизує «Слово о полку Ігоревім», почуття, яке незмінно керує поведінкою радянської людини і є найсвятішим в її політичному і моральному світогляді.

## «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» И ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ

Счастливая случайность в 1795 г. привела любителя и собирателя древних русских памятников А. И. Мусина-Пушкина к открытию драгоценнейшего памятника старинной русской литературы — «Слова о полку Игореве». «Слово» было написано по поводу неудачного похода на половцев северского князя Игоря Святославича в союзе с его братом Всеволодом из Трубчевска, сыном Владимиром из Путивля и племянником Святославом Ольговичем из Рыльска. Поход состоялся в конце апреля и в начале мая 1185 г. Князь Игорь, попавший в плен к половцам, бежал из плена осенью того же года. Побывав в Новгороде-Северском и затем в Чернигове, он направляется в Киев к князю Святославу, где и застает его заключительная часть «Слова».

Такова историческая почва нашего памятника. Он представляет собой произведение письменного творчества, однако не могущее быть приуроченным к определенному имени: автор «Слова» нам неизвестен. Можно лишь сказать, что он был дружинник, скорее всего — киевского князя Святослава, выступающего в «Слове» центральной политической фигурой, обладающей всей силой политического и нравственного авторитета. Он изображается как выразитель идеи общерусских интересов и как непогрешимый судья князей, своими сепаратными действиями приносящих горе и беду Русской земле. К Святославу, который на самом деле не всегда был на высоте в качестве оберегателя общерусских интересов, автор «Слова» явно пристрастен и явно переоценивает его авторитет и его политическую мудрость. Это было естественнее всего у поэта-публициста, по своему положению и по своим личным связям стоявшего близко к киевскому князю. Поэт мог быть и северянином по своему происхождению, но он, очевидно, ко времени похода Игоря уже прочно обосновался в Киеве, при дворе Святослава. Содержание «Слова» не дает нам никаких оснований для утверждения, что его автор был участником похода. В «Слове» отсутствуют те

конкретные подробности в описании событий похода, которые были бы естественны у очевидца, непосредственно наблюдавшего все происходящее.

Поэтический гений автора «Слова» питался книжной литературой его времени — оригинальной и переводной — и, видимо, еще больше устной народной поэзией. Нет оснований богатейшую устно-поэтическую стихию «Слова» ограничивать узкими рамками специально дружинной среды, основываясь только на том, что сам автор был дружинником. Мы не имеем никаких данных для того, чтобы утверждать наличие специфически дружинных особенностей эпического или песенного устного творчества, специфически дружинной поэтики, отличной от поэтики, характерной для творчества крестьянства. И это тем более, что нельзя говорить о том, что культурный, а следовательно и литературный, уровень дружины в целом, как и вообще привилегированных слоев древней Руси, был резко отличен от соответствующего уровня крестьянской массы. К тому же дружина не представляла собой вполне замкнутого социального слоя; выходцы из холопов и крестьян попадали не только в младшую дружину, что было явлением довольно обычным, но иногда и в старшую; Владимир киевский произвел в старшие дружинники юношу из скорняков, в единоборстве победившего печенежского богатыря.

«Слово о полку Игореве» привлекает нас тем, что глубокое идейное его содержание гармонически воплотилось в изумительной поэтической форме, какой мы не встретим ни в одном памятнике старинного славянского эпоса. Богатство образно-символических элементов — отличительная черта «Слова». Поэтическое олицетворение, сравнение, параллелизмы — все это в изобилии находим мы в нем. Важнейшей его особенностью, обусловившей богатство его поэтических красок, является неразрывная связь в нем мира природы и мира человека. Природа принимает здесь самое активное — дружеское или враждебное — участие во всех происходящих событиях; животные и растения, земные и небесные стихии очень живо отзываются как на горе, так и на радость Игоря, его войска и всех тех, о ком упоминается в «Слове». Мрачными предзнаменованиями природа сопровождает сборы Игоря в поход и самый поход, и с радостным возбуждением она помогает ему во время его бегства из плена.

Природа в «Слове» — не немая, бессловесная, а звучащая и говорящая: галки говорят своей речью, Донец разговаривает с Игорем; звуками, звоном, пением переполнено вообще все «Слово»: звенит слава, звон идет от битвы, поют копьа, кричат телеги, говорят боевые знамена,

Обильные и богатые эпитеты и сравнения «Слова» — сплошь из мира природы. Боян — соловей, Всеволод — буйтур, «поганый» половчанин — черный ворон. Боян растекается серым волком по земле, сизым орлом под облаками. С серым волком сравниваются также князья, дружина, половецкий хан Кюпчак. Ярославна сравнивается с кукушкой, Игорь — с горностаем, с белым гоголем, Всеслав — с лютым зверем, половцы — с барсовым гнездом. Вещие персты Бояна, которые он возлагает на живые струны, чтобы петь песню во славу князей, сравниваются с десятью соколами, пущенными охотником на стаю лебедей, кричащие телеги — также со вспугнутой лебединой стаей. Органическим созвучием между автором «Слова» и стихийными силами природы объясняется присутствие в памятнике языческих богов. Не нужно думать, что введение в «Слово» богов языческого Олимпа является литературным упражнением, которым автор занимается наподобие поэтов XVIII в., обычно упоминавших имена классических богов; нет основания и полагать, чтобы он верил в них, как верили его языческие предки. Вернее думать, что он настолько был во власти поэтической стихии, что, несмотря на свою связь с христианством, не мог и не хотел уйти от той системы мироощущения, которая подсказывалась ему язычеством и которая была еще очень сильна в ту пору среди широких масс. Не следует забывать, что тогда еще живо было так называемое двоеверие, являвшееся источником поэтического восприятия природы для таких одаренных людей, каким был автор «Слова».

В связи с общим характером поэтического стиля «Слова» находится его разнообразная, красочная символика, его метафорический язык, богатство его эпитетов. Все это также обусловлено было воздействием на автора традиции не только книжной, но и в большей мере устно-поэтической, народной.

Художественные средства поэтической речи автор «Слова» использовал так, что придал своему произведению глубокую лирическую взволнованность и большое эмоциональное напряжение, то и дело высказывая свое субъективное отношение к событиям и лицам, принимавшим в событиях участие. Это делает «Слово» памятником насквозь публицистическим, агитационным, призывающим к действию, к борьбе за определенные политические идеалы — в данном случае за сплочение всех русских сил против степных кочевников, разорвавших Русскую землю и угрожавших ей непрерывно неожиданными губительными нашествиями. Автор с большой страстью и с подлинной гражданской скорбью рисует картины несчастий родной земли, происходящих от княже-

ских усобиц и всяческих неурядиц, сокращающих человеческий век, губящих жизнь «даждь-божья внука», русского народа. Призыв постоять «за землю Русскую», забыв личные счеты и личные временные эгоистические выгоды, звучит у нашего автора значительно энергичнее и убедительнее, чем он звучит даже у древнего летописца, также стоящего на страже интересов Русской земли в ее целом. По высоте основной идеи, проникающей «Слово», оно является сугубо прогрессивным для своего времени литературным памятником, ярко обнаружившим силу национального самосознания наиболее передовых людей Киевской Руси, стремившихся направить движение истории по пути, объективно полезному для судеб всего русского народа.

Велика и познавательная ценность «Слова». Оно дает живую и очень правдивую картину феодальной обстановки старой Руси, как эта обстановка сказалась преимущественно в междукняжеских взаимоотношениях, а также во взаимоотношениях князя и дружины. Ни один памятник старой русской литературы не рисует нам так сконцентрированно рыцарского уклада Киевской Руси, как это делает «Слово». Игорь и Всеволод выступают в нем в качестве воинов, для которых честь и слава являются главными двигателями их поведения. Игорь обращается к своей дружине со словами: «Братья и дружина! Лучше пасть в бою, чем быть в плену. Я хочу сломить копьё в конце поля половецкого, хочу с вами, русские, либо голову сложить, либо напиться шлемом из Дона». По словам Святослава киевского, сердца обоих братьев «скованы из крепкого булата и в отваге закалены». Рыцарская храбрость, воинская доблесть отличают Игоря, еще больше — его брата буй-тура Всеволода, который, стоя в передовом отряде, прыщет на врагов стрелами, гремит о шлемы мечами булатными. Рыцарями-храбрецами выступают в «Слове» также князь Борис Вячеславович, Всеслав полоцкий, Роман владимирово-волинский. Княжеская дружина тоже помышляет о том, чтобы добыть себе честь и князю славу. О своей дружине Всеволод отзывается так: «мои курыне — испытанные воины; они под трубами повиты, под шлемами взлелеяны, с конца копья вскормлены. Пути им ведомы, овраги им знакомы, луки у них напряжены, колчаны отворены, сабли заострены; сами скачут, как серые волки, ища себе чести, а князю — славы». Обращаясь к князьям Рюрику и Давиду, Святослав говорит: «Не у вас ли храбрая дружина рыкает, как туры, раненные саблями закаленными в поле неизвестном?»

В «Слове» присутствует один из замечательнейших в мировой литературе образов — тоскующей жены Игоря Яро-

славны, кукушкой причитающей на степях Путивля по своему ладе, заклинающей стихии природы вернуть ее мужа и силою все преодолевающей и побеждающей любви помогающей ему счастливо бежать из плена на родину. Мимоходом, но с большим лирическим подъемом изображает «Слово» и горе матери, плачущей по своему утонувшему сыне Ростиславе и заражающей своей скорбью цветы и деревья.

К какому времени относится создание «Слова»? Прежде всего, нужно думать, что оно писалось по крайней мере в два приема. Уже сравнительно давно некоторыми исследователями было обращено внимание на то, что рассказ о бегстве Игоря и о возвращении его в Русскую землю, написанный в ликующе-радостных тонах, не согласуется со всем предшествующим повествованием, в котором судьба Русской земли и самого Игоря изображена в мрачных, пессимистических красках. Сама собой поэтому напрашивается мысль о том, что когда создавалась основная часть «Слова», в горестных картинах изображавшая несчастье Руси и раненного, находящегося в плену Игоря, побег Игоря еще не состоялся. Когда же Игорь вернулся на Русь, автор во славу его и двух других князей, участников похода, написал заключительную часть «Слова», в которой говорилось о бегстве Игоря из плена и которая должна была дать удовлетворение нравственному чувству, подавленному ярким изображением недавней военной неудачи.

Время создания основной части «Слова», кончая плачем Ярославны, правдоподобно определяется следующими соображениями. Повесть о походе Игоря на половцев, вошедшая в Ипатьевскую летопись, в очень реальных, хоть и не лишенных лиризма подробностях, рассказывают о том, как известно стало Святославу о поражении Игоря: Святослав пришел к Новгороду-Северскому летом 1185 г., желая идти на половцев на все лето, и тут-то он узнал впервые о том, что его двоюродные братья — Игорь и Всеволод — сами отправились против половцев, и ему стало досадно; затем, придя к Чернигову, он от Беловолода Просовича, видимо участника Игорева похода, услышал о победе половцев и со вздохом, утирая слезы, стал упрекать князей, чья невоздержанная молодость отворила ворота в Русскую землю врагам, которых он год назад обессилил. «Но воля господня да будет во всем,— говорит он,— как раньше я досадовал на Игоря, так и теперь еще больше жалею я Игоря, брата моего». После этого Святослав шлет весть о поражении Игоря к соседним князьям, призывая их на помощь против половцев. Имея перед своими глазами урок Игорева похода, Святослав, естественно, должен был задуматься над тем, чтобы

гарантировать удачу своего предприятия и не поставить русское войско в то положение, в каком оно очутилось во время похода Игоря. Нужно было опереться на солидную силу, которая способна была бы нанести половцам сокрушительный удар. Нужно было объединить русских князей для совместного отпора врагу. Вот та конкретная задача, выполнение которой было первоочередным для Святослава. Замысел «Слова» как раз нужно поставить в связь именно с этими планами Святослава. В таком случае написание основной части поэмы следует отнести к лету 1185 г.: эта часть была создана по горячим следам событий, в целях поддержки призыва Святослава. Обратим внимание на то, что он в своем «золотом слове» обращается к князьям Рюрику и Давиду Ростиславичам с просьбой вступить в золотые стремяна «за обиду сего времени, за землю Русскую, за раны Игоревы, буге Святославлича». Судя по повести Ипатьевской летописи, Рюрик и Давид тогда же, летом 1185 г., откликнулись так или иначе на призыв Святослава и двинулись против половцев. Значит, нужно думать, «золотое слово» было написано еще до того, как стало известно о выступлении Ростиславичей. Во всяком случае, основная часть «Слова о полку Игореве» не могла быть написана после 1187 г., так как в ней упоминается как здравствующий князь Владимир Глебович переяславский, погибший во время похода на половцев 18 апреля этого года. Кроме того, Святослав обращается с просьбой о помощи к Ярославу галицкому, умершему 1 октября 1187 года.

Что касается вопроса о том, когда написана была заключительная часть «Слова», повествующая о бегстве Игоря из плена, то на него можно ответить, определив предварительно время пребывания Игоря в плену. Основываясь на том, что в «Слове» говорится о соловьях, возвещающих бегущему Игорю рассвет, логически следовало бы заключить отсюда, что дело было весной, т. е. через год после похода. Значит, Игорь пробыл в плену целый год. Летописные данные не дают нам точных указаний на этот счет, но все же, судя по ним, следует думать, что в плену Игорь оставался значительно менее года. Лаврентьевская летопись, ошибочно приурочивающая поход к 1186 г., под тем же годом, вслед за упоминанием о ранении под Переяславлем Владимира Глебовича, сообщает: «И по малых днех ускочи Игорь у половець». В Ипатьевской летописи, правильно определяющей время похода 1185 годом, опять-таки под тем же 1185 годом, тоже после упоминания о ранении Владимира Глебовича, сказано: «Игорь Святославличь тот год бяшетъ в половецех». Но в контексте повести Ипатьевской летописи, как и во мно-

гих других древнерусских памятниках, «год» означает «время» (ср. в повести Ипатьевской летописи: «Идущим же им к Донцю реки в год вечерний», и т. д.). Далее там же сказано, что Игорь, полагая, что он долго задержится в плену, выписал себе попа из Руси «со святою службою». Значит, Игорь в плену пробыл недолго, во всяком случае, много меньше года. Годичный срок был вполне достаточен для того, чтобы традиционно благочестивому русскому князю потребовался поп и его служба. Кроме того, в рассказе Ипатьевской летописи бегство Игоря приурочено к возвращению половцев из-под Переяславля, что было через несколько месяцев после пленения Игоря. Таким образом Игорь, вернее всего, бежал осенью 1185 г. (зима исключается, так как в Ипатьевской летописи говорится о том, что, убегая из плена, Игорь перешел реку вброд). Если же, по «Слову», побег Игоря сопровождался соловьиным пением, то тут мы имеем дело, скорее всего, с поэтической вольностью автора поэмы.

Из всего сказанного следует, что окончание «Слова» может быть приурочено ко времени, начиная с осени 1185 г. Если согласиться с теми исследователями, которые считают, что включение в число прославляемых князей Владимира Игоревича могло иметь место лишь после того, как он вернулся из плена, а это было осенью 1187 г., то время завершения «Слова» придется отодвинуть к последним месяцам этого года или к начальным 1188 года.

## 2

Вскоре же после появления в свет первого издания «Слова о полку Игореве» (1800 г.) стали раздаваться голоса скептиков, отрицавших древность памятника. Так, митрополит Евгений Болховитинов утверждал, что «Слово» написано лишь в XVI в., а Румянцев относил его к XVIII в., считая, что оно является явной подделкой. Были даже столь крайние отрицатели подлинности «Слова», которые усматривали в нем подделку не то самого Мусина-Пушкина, не то Карамзина. Недоверие к «Слову» как к подлинному памятнику не было поколеблено у некоторых наиболее упорных скептиков и после того, как появилась публикация (в 1838 г.) «Поведения и сказания о побоище великого князя Дмитрия Ивановича Донского», относящегося к началу XV в. и написанного под явным влиянием «Слова о полку Игореве». К числу этих скептиков принадлежали в первую очередь Каченовский и Сенковский, до середины 50-х годов высказывавшиеся против подлинности «Слова».



Скептическое отношение к знаменитому памятнику было лишь частным проявлением скептического отношения преимущественно в 30—40-е годы группы историков и критиков к прошлому русской истории, которое представлялось им как эпоха культурно очень бедная, почти варварская. Специально же в отношении «Слова» скептики указывали, с одной стороны, на отсутствие в древней русской литературе произведений, хотя сколько-нибудь по своим художественным качествам приближающихся к нему, с другой — они подчеркивали особенности языка «Слова», якобы не находящие себе параллелей в языке древнейших русских памятников. Обращалось также внимание на присутствие в «Слове» элементов рыцарского быта, будто бы чуждых древнерусскому укладу жизни.

Очень показательна позиция в отношении «Слова» славянофила Константина Аксакова в его книге «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка», вышедшей в 1846 г. Не отрицая подлинности «Слова», Аксаков в то же время указывает на искусственность его языка, отсутствие в нем живого движения и внутренней жизни, что сказывается в безучастном, педантически-правильном употреблении автором языков древнерусского и церковнославянского. Так мог писать, по мнению Аксакова, только иностранец, столкнувшийся с двумя стихиями в тогдашнем нашем литературном языке, хорошо усвоивший обе эти стихии и равномерно их использовавший в своем произведении. Если бы автор был русским человеком, то он, утверждает Аксаков, неизбежно допустил бы ошибки, пытаясь совместить в одном сочинении две языковые стихии, и это свидетельствовало бы о живом, органическом, а не чисто книжном отношении к языку. А боязливая, холодная правильность как раз характерна для иностранца, ошибкой и обмолвкой боящегося обнаружить свое нерусское происхождение.

С другой стороны Аксаков не находит в «Слове» обычно для древнерусских памятников религиозного элемента. Кроме того, поэтические образы «Слова», по его словам, «так мало имеют народного русского характера, так часто отзываются фразами, почти современными, так кудреваты иногда, что никак нельзя в них признать русской народной поэзии, если и нельзя отказать сочинителю в поэтическом таланте, которому придал он только оттенок руссизма» (с. 158). Автор «Слова», по догадке Аксакова, был грек, знавший церковнославянский язык еще у себя на родине и на Руси научившийся русскому. Отсутствие у него религиозного элемента, думает Аксаков, не препятствует предположению, что он был грек, потому что, несмотря на то, что христианская

вера была заимствована русскими у греков, «религиозность была собственным элементом русской жизни, и грек мог и не иметь ее» (с. 159).

Эти неожиданные в устах славянофила рассуждения о драгоценнейшем памятнике древней Руси и сдержанная, а порой и недоброжелательная его оценка поражают своим субъективизмом и полной необоснованностью. Язык позднейшего списка Аксаков отождествляет с языком оригинала, образное богатство речи считает «кудреватостями» и «хитросплетениями» и склонен видеть в «Слове» отсутствие христианского религиозного элемента. Последнему утверждению легко противопоставить суждение о «Слове» К. Маркса в его письме к Энгельсу: «Вся песнь носит христиански-героический характер, хотя языческие элементы выступают еще весьма заметно» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. XXII, с. 122).

В 1877 г. появилась заставившая о себе много говорить книга Вс. Миллера «Взгляд на «Слово о полку Игореве». Эпиграфом к книге Вс. Миллер взял цитату из «Слова»: «Девицы поют на Дунаи, вьются голоси чрез море до Киева». Этим эпиграфом Вс. Миллер подчеркивает свое принципиальное воззрение на «Слово» как на памятник самостоятельный, написанный под воздействием чужеземных литературных образцов. Он ищет для «Слова» источников, главным образом, в средневековой византийской поэзии, дошедшей до русского автора в болгарской передаче, а также отчасти и в болгарской литературе. Для доказательства связи «Слова» с общим строем византийских поэм Вс. Миллер очень детально сопоставляет его с переведенной у нас в XII в. с греческого повестью «Давгешиевое деяние», усматривая в обоих произведениях общность поэтического стиля. Автор «Слова», по Вс. Миллеру, — книжник, хорошо начитанный в византийской и болгарской литературах, далекий от той наивной непосредственности, которую видел в нем, например, Буслаев. Упоминая языческие божества, он делает это якобы единственно для украшения речи, пересаживая на русскую почву то, что он нашел в греческой и болгарской мифологии. Так, например, по мнению Вс. Миллера, «внук Дажь-божь» могло быть передачей византийского эпитета, приданного в каком-нибудь византийском произведении какому-либо мифическому или историческому лицу. Дажь-бог был поставлен на место Гелиоса или Феба. Обращая внимание на то, что среди упоминаемых в «Слове» богов нет самого главного русского бога — Перуна, Вс. Миллер объясняет этот пропуск тем, что автор «Слова» не нашел Перуна в своем болгарском источнике, хотя эту мысль петрудно

оспорить тем простым соображением, что автору «Слова» вовсе не обязательно было упоминать всех русских языческих богов и что ему пригодились лишь те из них, которые естественно согласовались с самим контекстом повествования.

Позже, по крайней мере на последнем этапе своей научной деятельности, Вс. Миллер, очевидно, отказался от своего первоначального взгляда на «Слово» как на памятник подражательный. Во всяком случае, в статье «Очерк истории русского былевого эпоса», написанной в 1900-х годах и впервые напечатанной в 1924 г. в III томе «Очерков русской народной словесности», он ни слова об этом не говорит, но зато уделяет достаточно места связи «Слова» с предшествовавшей ему русской песенной традицией.

Через год после выхода в свет книги Вс. Миллера, в 1878 г., появилась книга Потебни «Слово о полку Игореве. Текст и примечания» (переиздана в 1914 г.), по своей общей направленности представляющая как бы опровержение исходных положений Вс. Миллера. Потебня считает «Слово» произведением личным и письменным; он усматривает в нем наличие книжных элементов, не возражает против того, что оно «сочинено по готовому византийскому шаблону» (явный намек на точку зрения Вс. Миллера), а, напротив, утверждает, что «мы не знаем другого древнерусского произведения, до такой степени проникнутого народно-поэтическими элементами», как «Слово». Потебня приводит большое количество параллелей из славянской народной поэзии, особенно украинской и великорусской, подтверждающих его точку зрения. Наряду с этим он пытается вскрыть мифологические элементы памятника.

Еще до Потебни (в работах по «Слову» Максимовича, Буслаева, Тихонравова, Огоповского), а также после Потебни (в трудах Смирнова, Барсова, Владимирова, Яковлева и др.) сделано было немало сопоставлений отдельных мест «Слова» с произведениями устной поэзии — великорусской, украинской и белорусской. Сопоставления эти по необходимости делались с текстами позднейших записей, преимущественно XIX в. (памятники устной поэзии впервые начинают записываться у нас, и то лишь в очень небольшом количестве, лишь в XVII в.), но устойчивость художественных средств народной поэзии заставляет думать, что позднейшие записи не слишком нарушают первоначальные формы поэтики народного творчества. В результате мы с уверенностью можем утверждать непосредственную и органическую связь поэтики «Слова» с поэтикой былиц, устных лирических песен, причитаний. Отсюда идет изумительно разнообразная и красочная символика «Слова», богатство его эпитетов и метафор,

отсюда — и органическое созвучие мира человека и мира природы, на каждом шагу наблюдаемое в «Слове».

Автор поэмы об Игоровом походе представляется нам одиноким певцом значительных и памятных страниц русской старины. Кажется, будто у него не было предшественников и сверстников в его поэтическом деле. А между тем сам он с уважением и восторгом говорит о «соловье старого времени» Бояне, песенный дар которого ценит так высоко, что не решается идти по его стопам, чувствуя себя бессильным сравняться с ним в искусстве поэзии. Боян пел во славу «старого» Ярослава, его брата — «храброго» Мстислава, внука — «красного» Романа Святославича; он поведал и о подвигах беспокойного князя, воина-авантюриста Всеслава полоцкого, о судьбе которого к тому же сложил назидательную припевку. Наш автор не прочь был бы уступить свое место Бояну, чтобы он своим соловьиным щекотом воспел Игоровы полки, но, сам принимаясь за свою песнь, автор «Слова» то и дело говорит не «по былинам сего времени», как он обещал это делать, а «по замыслению Бояню». Красочность и гиперболичность образов «Слова», стремительность и напряженность повествования, взволнованность речи — все это, нужно думать, подсказано было ему песенным стилем Бояна. Он идет по следам Бояна и тогда, когда с явным преувеличением изображает богатство добычи Игоря при его победе над половцами, предшествовавшей его поражению, и тогда, когда рисует картину второй битвы русских с половцами, и тогда, когда живописует победоносное вторжение Святослава в Половецкую землю и пленение им хана Кюбьяка. В манере Бояна, нужно думать, изображается и могущество и воинские удачи князей Всеволода Большое гнездо, Ярослава Осмомысла и, быть может, эпизод бегства Игоря из плена.

Таким образом своим поэтическим искусством наш автор был обязан не только безличной народной поэзии, но и творчеству личного певца, в свою очередь воспитавшего свой дар на лучших образцах народно-песенного творчества.

К сожалению, мы очень мало знаем о таких личных певцах старой Руси, но кое-какие сведения о них дает древняя летопись. Так, в Галицко-Волынской летописи под 1240 г. упоминается о «словутном певце» Митусе, который подвергся наказанию за то, что из гордости не захотел служить князю Даниилу. В той же летописи под 1251 г. говорится о том, что, когда князя Даниил и Василько, победив ятвягов, вернулись со славою в землю свою, им пели «песнь славну». Такую же песнь пели и в честь Александра Невского, судя по житию его, когда он вернулся с победы на Чудском

озере над немецкими рыцарями. В обоих последних случаях, при отсутствии указаний на конкретных певцов, певших во славу князей-победителей, существование их все же необходимо предполагать, так как трудно допустить, чтобы песни, сложенные по поводу определенных событий, возникли без непосредственного участия индивидуальных певцов.

Рядом с песнями о подвигах князей в древнейшую пору существовали и песни, рассказывавшие о подвигах «храбров», защищавших Русскую землю от нападений степных врагов. Эти песни, группировавшиеся вокруг личности Владимира киевского, были предками наших былин и, как справедливо указывает Вс. Миллер («Очерки русской народной словесности». Т. III, с. 27), не могли не быть известны автору «Слова».

Итак, у певца Игореве похода и позади его и в ближайшее к нему время была определенная песенная традиция. Не исключена возможность и того, что частично она была закреплена на письме, но в письменном виде до нас не дошла, как не дошло, можно сказать с уверенностью, очень многое из того, чем богата была древнерусская письменная традиция. Весьма возможно, что и песни вещего Бояна существовали не только в устном обиходе, но и были записаны, как было записано автором в период своего создания и «Слово о полку Игореве».

Древняя русская летопись сохранила следы влияния на нее устного предания и устной народной песни. Рассказы «Повести временных лет» о походах Олега на Царьград, о его смерти от своего коня, о смерти Игоря, о походах Святослава, о пирях Владимира и другие в значительной мере являются отражением эпических сказаний, создававшихся вокруг наиболее популярных старых русских князей. Рука монаха-редактора летописных сводов, вобравших в себя весь этот народно-поэтический материал, в очень большой степени стерла и обесцветила его, но в пору, когда жил и писал автор «Слова», устная эпическая традиция, растворенная в летописном повествовании, очень вероятно, бытовала и вне связи с летописной компиляцией и хранила еще свою свежесть и полноту поэтического выражения. Об этом можно догадываться хотя бы по той похвале князьям Роману и Владимиру Мономаху, которой открывается Галицко-Волынская летопись и которая помещена под 1201 г. О Романи сказано, что он «ума мудростью» ходил по заповедям Божиим, устремлялся на поганых, словно лев, сердит был, словно рысь, губил [врагов], словно крокодил. Как орел, проходил он через вражескую землю, был храбр, как тур. Он сореживал деду своему Мономаху, победившему половцев, загнав-

шему хана половецкого Отрока в Абхазию и заставившему другого хана — Сырчана — скрываться на Дону. Тогда, — говорится далее, — Владимир Мономах пил золотым шлемом из Дона, завладев всей землей Половецкой и прогнав поганых агарян. В эту похвалу вплетается поэтический рассказ на тему о любви к родине. Память о ней пробуждается у половецкого хана запахом травы с родных степей. После смерти Мономаха Сырчан посылает своего певца Оря к Отроку с предложением вернуться в родную землю. Но ни слова Оря, ни половецкие песни, которые он поет перед Отроком, не склоняют его к возвращению; когда же он понюхал полынь с половецких степей (емшан), то, расплакавшись, сказал: «лучше в своей земле костью лечь, нежели в чужой прославиться», и вернулся в свою землю. От него — добавляется в рассказе — родился Кончак, который, ходя пешком, нося на плечах котел, вычерпал Сулу.

В свое время Вс. Миллер в упомянутой выше книге «Взгляд на «Слово о полку Игореве» утверждал, что весь приведенный рассказ не имеет ничего общего с летописью и попал в нее из какой-либо героической повести вроде «Слова о полку Игореве», быть может, даже из недошедшей до нас начальной части «Слова», и это, по мнению Вс. Миллера, тем более вероятно, что в самом начале «Слова» автор обещает начать повествование от «старого Владимира» (т. е. от Владимира Мономаха) до нынешнего Игоря», и что это едва ли было только пустое обещание.

В самом деле, рассказ Галицко-Волынской летописи роднит со «Словом» и сравнение Романа с туром, и выражение «пил золотым шлемом Дон», и упоминание о половецком певце и половецких песнях, и, наконец, гиперболическое изображение Кончака, вычерпывающего котлом Сулу, близкое к изображению могущества Всеволода Большое гнездо, способного расплескать веслами Волгу и вычерпать шлемом Дон, а также могущества Ярослава Осмомысла и Святослава киевского.

Если догадка Вс. Миллера о том, что приведенный рассказ Галицко-Волынской летописи — фрагмент не дошедшей до нас части «Слова о полку Игореве», представляется лишь остроумной гипотезой, то вполне приемлема его мысль о том, что этот рассказ привнесен в летопись из круга произведений, по своему поэтическому стилю очень близких к «Слову»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Признать данный летописный рассказ фрагментом «Слова» мешает прежде всего употребление в нем такой синтаксической формы, как дательный самостоятельный, ни разу не встречающийся в «Слове о полку Игореве».

В упомянутом выше рассказе Галицко-Волынской летописи под 1251 г. о хвалебной песне в честь Даниила и Василька о Романе сказано, что он «изоострился на поганья, яко лев, им же половци дети страшаху».

Как видим, тут применяется знакомое нам уже сравнение Романа со львом, «изоострился на поганья» близко к «поостри сердца своего мужеством» «Слова о полку Игореве», а упоминание о том, что именем Романа половцы устрашали своих детей — отзвук эпической формулы, нашедшей себе применение в одновременно почти написанном «Слове о погибели Русской земли» по отношению к Владимиру Мономаху.

### 3

Если мы теперь обратимся к русской книжной литературе, предшествовавшей по времени появления «Слову о полку Игореве», а также к литературе, современной ему и возникшей в ближайшее после него время, мы убедимся в том, что оно, не имея равных себе по своим художественным достоинствам, все же имеет достойных соседей.

Мы не должны забывать того, что наши знания о древнейшем периоде русской литературы далеко не полны, что мы обладаем лишь тем материалом, который случайно дошел до нас, преодолев ряд весьма неблагоприятных условий своего хранения и распространения. Нужно принять в расчет гибель, в результате всяких стихийных бедствий (пожары, разграбления книгохранилищ во время войн и т. д.), отдельных литературных памятников, особенно обращавшихся в незначительном количестве списков. Само открытие в одном из провинциальных монастырей «Слова о полку Игореве», дошедшего до нас в единственном списке, в значительной мере является, как сказано выше, случайной, счастливой находкой. Если бы этой находки не было, наше представление о характере и ценности древней русской литературы было бы значительно беднее, чем оно составилось в результате открытия «Слова». Но у нас нет уверенности в том, что рядом со «Словом» не существовали и другие памятники, в какой-то степени однородные с ним по своему художественному качеству.

В свое время акад. Н. К. Никольский в брошюре «Ближайшие задачи изучения древнерусской книжности» (1902) указывал на то, что мы не знаем древнерусской литературы во всем ее объеме, потому что письменность, особенно за время до XV в. включительно, сохранилась лишь в остатках, и сохранившееся является результатом одностороннего от-

бора книг монастырскими книгохранилищами. «Слово о полку Игореве», «Слово Даниила Заточника», отрывки исторических сказаний в летописях, «Слово о погибели Русской земли» и тому подобные произведения, — писал он, — показывают, что в начальные века русской жизни, кроме церковно-учительской книжности, существовала и развивалась светская литература, достигнувшая в Южной Руси значительного расцвета. Если бы «Слово о полку Игореве» было единственным для своей эпохи, то оно было бы, конечно, исторической несообразностью». «Но мы знаем кроме того, — продолжал он, — что в тот же ранний период было немало частных книголюбцев и участников литературного труда. Однако ни частные собрания таких лиц (за исключением случайных экземпляров), ни произведения литературы, чуждые церковного папидательного характера, нам не известны помимо того немногочисленного, что сохранилось до нас в разрозненном виде монастырские библиотеки более поздней формации, как северно-русские, так отчасти и юго-западные» (с. 10).

Что представляла собой во времени создания «Слова» древняя русская литература — переводная и оригинальная, насколько мы ее знаем по дошедшим до нас текстам?

Из памятников переводной литературы, заключавших в себе элементы художественности, должны быть отмечены библейские книги, апокрифы, жития, церковно-ораторские поучения, исторические хроники, сочинения о животном и растительном мире («Физиолог» и «Шестоднев») и, наконец, произведения светской повествовательной литературы. Особенностями своего поэтического стиля все эти переводные памятники в разной мере оказывали влияние на древнюю художественную литературу. Уже в раннюю эпоху у нас существовали в переводе такие крупнейшие повествовательные памятники, как «Александрия», «Девгениево деяние», «Повесть о разорении Иерусалима» Иосифа Флавия. Два последние произведения, особенно второе, отдельными чертами своего стиля сближаются со «Словом о полку Игореве». Однако ни одно из переводных произведений и в малой доле не способно объяснить нам поэтического своеобразия «Слова» в его целом. Если переводная литература может привлекаться при его рассмотрении, то преимущественно для установления той культурно-исторической перспективы, которая поможет нам уяснить появление крупного исторического памятника.

Но такая перспектива в значительно большей степени создается в результате учета явлений литературы оригинальной. Если дошедшие до нас ее памятники отличались значительностью своего художественного и идейного уровня,



то это уже само по себе заставит нас видеть в появлении «Слова» не случайное явление, а такое, которое может быть понято из условий развития нашей оригинальной литературной культуры, хотя бы в ней мы не могли найти очевидных аналогий с интересующим нас памятником.

Приняв во внимание то, что создано было в области древней русской литературы в первые же века ее существования, мы должны дать ей очень высокую оценку. Вскоре же после принятия христианства, приобщившего Русь к европейской культуре, на Руси создаются литературные памятники, в общем не уступающие по своему качеству памятникам задолго до этого приобщенной к христианству средневековой Европы.

Письменность на Руси развилась для удовлетворения в первую очередь потребностей христианизировавшегося государства, и потому литература древней Руси на первых порах по содержанию и по форме была преимущественно церковной, религиозно-поучительной. Религиозные тенденции характерны и для древнейших памятников переводной литературы со светской тематикой. Поскольку, однако, церковь была теснейшим образом связана с государством, являясь его политическим агентом, постольку церковная по своему основному содержанию литература служила не только интересам церкви самим по себе, но вместе с тем и интересам государства.

Покровительство, какое оказывало государство церкви и церковной литературе, было совершенно естественно, так как борьба за укрепление политического строя складывавшегося русского феодализма определяла собой в этом процессе роль церкви как крупного политического и идеологического фактора.

Все это наглядно подтверждается древнейшим памятником русской оригинальной литературы (первая половина XI в.) — «Словом о законе и благодати» первого русского митрополита Илариона. Возведение Илариона в 1051 г. Ярославом Мудрым на митрополичью кафедру в Киеве знаменовало собой попытку освободиться от административного вмешательства Византии в русские церковные дела и тем самым — по тогдашнему времени — попытку защитить самостоятельное развитие русской культуры. Для того чтобы оправдать свой шаг, Ярослав должен был иметь в числе тогдашних русских церковных деятелей человека, стоявшего на определенной высоте образования и культуры. Иларион в полной мере оказался таким человеком. Его «Слово» по своим литературным качествам и по значительности идейного содержания было в русской литературе совершенно не-

заурядным явлением. Оно принадлежит к числу тех памятников, появление которых трудно объяснить, принимая во внимание слишком краткий срок, прошедший со времени приобщения Руси к европейской культуре. Если принято указывать на отсутствие литературных precedентов для «Слова о полку Игореве», то с не меньшим правом можно указать и на такое же отсутствие precedентов и для «Слова» Илариона.

Заключая в первой своей части искусно построенный догматический трактат на тему о всемирной роли христианства, «Слово о завете и благодати» в дальнейшем превращается в публицистически насыщенную апологию отца Ярослава Владимира, как насадителя христианства на Руси, а затем и самого Ярослава, как продолжателя дела Владимира.

Содержание «Слова» подсказано было Илариону, прежде всего, живой современностью, той политической ситуацией, которая в пору Ярослава создавалась для молодого Киевского государства и русской церкви. Центральным моментом сочинения Илариона является, наряду с похвалой Владимиру и Ярославу, и апология Русской земли, которая «ведома и знаема во всем мире», а также независимой русской церкви. Всем ходом своего рассуждения Иларион стремился доказать, что Владимир принял христианство не по внушению Византии, а по своему собственному почину. Однако автор прославляет Владимира не только за его благочестие, но и за его мужество, и за государственные заслуги, за то, что он покорил окружающие страны, одни — миром, другие, непокорные, — мечом.

Рядом с интересами чисто церковными, у Илариона обнаруживаются национальные интересы. Недаром он в духе позднейшего «Слова о полку Игореве», говоря о Владимире, упоминает о том, что он «внук старого Игоря, сын же славного Святослава». Его, дорожащего лучшими страницами своей родной истории, не смущает то, что и Игорь и Святослав — оба были язычниками: они — русские князья, прославившие себя мужеством и храбростью, и потому с чувством патриотической гордости поминает их Иларион, как с чувством такой же гордости говорит он о своей земле.

В сочинении Илариона мы имеем дело с образчиком высокого ораторского искусства, достойного стать рядом с лучшими произведениями византийского церковного красноречия. Оно обнаруживает в авторе выдающуюся словесную культуру, замечательный вкус и настоящее чувство меры. С большим умением и изяществом он использует такие приемы стиля, как символический параллелизм и сравнения,

олицетворение отвлеченных понятий, метафоры, антитезы, повторения, риторические восклицания и вопросы, и т. д. — одним словом, все те стилистические особенности, которые мы, хотя и в другой форме и в другом применении, встретим в «Слове о полку Игореве». «Слово» Илариона все насквозь проникнуто горячим патриотическим воодушевлением, написано с большим внутренним подъемом и отличается безупречной внешней стройностью. Без преувеличения можно сказать, что вся древняя русская литература не оставила нам в области ораторской речи ничего равного по своей значительности «Слову» Илариона. Оно является блестящим показателем той высоты литературного мастерства, какого достигла Русь в пору раннего расцвета ее культуры, при Ярославе Мудром. Иларион, можно думать, был одним из первых в числе тех книжных людей, которых Ярослав собрал вокруг себя и при помощи которых он, по словам летописи, «насея книжьными словесы сердца верных людей».

Ораторская речь представлена у нас очень яркими образцами и в XII в. В середине этого столетия одним из видных проповедников-риторов был второй русский митрополит Климент Смолятич, о котором летопись отзывалась как о книжнике и философе, какого в Русской земле не бывало. Типичной особенностью его литературного творчества было, как это видно из единственно дошедшего до нас произведения Климента — «Послания к пресвитеру Фоме», аллегорически-символическая манера истолкования библейских текстов и мира природы. Судя по посланию, Фома упрекал Климента в том, что он опирался в своих сочинениях не на «отцов церкви», а на Гомера, Аристотеля и Платона. Этот упрек сам по себе, независимо от вопроса о его основательности, говорит о том, что творчество Климента Смолятича стояло на той высоте, какая характеризовала собой выдающихся риторов византийского средневековья.

Но наиболее талантливым и плодовитым представителем торжественного, стилистически украшенного церковного ораторства был у нас, во второй половине XII в., Кирилл Туровский. В противоположность Илариону, он в своих «словах», дошедших до нас, совершенно не откликнулся на современные ему политические события и не обнаружил в себе публицистических наклонностей. Все его «слова» представляют собой лирически и часто драматически окрашенную похвалу празднику, в которой путем аллегорий, символических соответствий и сближений уясняется религиозный его смысл.

Испытав на себе в этом отношении сильное влияние

со стороны, главным образом, византийских «отцов церкви» и ораторов, Кирилл Туровский не был, однако, простым компилятором, механически усваивавшим чужие образцы; в нем сказываются подлинный творческий талант и несомненное поэтическое одушевление. Ему недоставало той стройности и логической строгости в расположении материала, какая присуща была Илариону; в ряде случаев речь его отличается излишней пышностью и как бы самодовлеющим риторизмом, но при всем том все его «слова» обличают в нем незаурядного оратора и поэта. Кирилл Туровский сознательно ставит целью проповедника превзойти светских писателей в изяществе и красоте речи. «Если историки и витии, то есть летописцы и песнотворцы,— писал он в одном из своих «слов»,— преклоняют свой слух к рассказам о бывших между царями ратях и ополчениях, чтобы украсить словами услышанное ими и возвеличить, венчая похвалами, крепко боровшихся за своего царя и не обратившихся в бегство перед врагами,— то тем паче нам подобает приложить хвалу к хвале храбрым и великим воеводам божьим, крепко подвизавшимся за сына божия, своего царя, господя нашего Исуса Христа».

Для «слов» Кирилла Туровского, так же как и для «Слова» Илариона, характерны символизм и аллегоризм, а также значительная насыщенность их тропами и фигурами — метафорой, олицетворением, антитезой, риторическими вопросами и восклицаниями. Кирилл Туровский в своих сочинениях сплошь и рядом от лирической похвалы празднику переходит к повествованию о самом событии, связанном с праздником, драматизируя это повествование введением монологов, диалогов, поэтических плачей и изображая самые события как бы происходящими в настоящее время. Такая драматизация повествования особенно сильна в «Слове о расслабленном», где приводится диалог Христа с исцеленным им расслабленным. Пользовался Кирилл Туровский в своих проповедях и приемом иносказания — притчи («Притча о души челоуестей и телеси», параллели к которой находим в «Талмуде» и в сказках «Тысячи и одной ночи», и «Притча о белоризце-челоуеце», восходящая к повести о Варлааме и Иоасафе). Наконец, нужно отметить и ритмическую упорядоченность речи Кирилла Туровского, особенно присутствующую в его молитвах.

Нужно думать, что Кирилл Туровский сам читал по-гречески, быть может, прошел строгую школу писательского искусства под руководством какого-либо заезжего образованного грека, какие в ту пору несомненно должны были появляться на Руси.

Исследователи, сопоставлявшие «Слово о полку Игореве» с литературными произведениями древней Руси, в определении его литературной школы чаще всего привлекали, вслед за летописью, произведения Кирилла Туровского.

В самую раннюю пору — уже в XI в. — у нас возникает оригинальная житийная литература. С самого же начала своего существования она, как и другие памятники древней литературы, проникается определенными публицистическими тенденциями. Наиболее значительным по своим литературным достоинствам житийным произведением древнейшей поры является «Сказание о Борисе и Глебе», без достаточного основания приписываемое Иакову-мниху.

Оно значительно отличается от канонической формы византийского жития. В нем отсутствует последовательное изложение всей жизни святых или хотя бы основных ее моментов, как это обычно для жития, а рассказан лишь один эпизод — их убийство. «Сказание» является скорее исторической повестью, стремящейся к точному обозначению событий и фактов, с упоминанием исторических местностей и имен, и в то же время представляет собой произведение, лирически насыщенное плачами, монологами, молитвами и размышлениями, влагаемыми в уста Бориса и Глеба. Сам автор не остается в стороне от рассказываемых им событий и обнаруживает повышенную лирическую эмоцию там, где повествование достигает своего наибольшего драматизма, и особенно в похвале Борису и Глебу. Риторика и лирический пафос, в ряде случаев довольно талантливые, господствуют на протяжении всего «Сказания». Автор пытается изобразить психологическое состояние юных братьев перед грозящей им смертью (особенно удачно младшего — Глеба) и их внутреннюю борьбу между страхом и отчаянием и верой в небесную награду. В конце «Сказания» дан портрет Бориса, гармонически сочетающий в себе идеальные внутренние и внешние качества христианского героя. «Сказание» проникнуто насущными политическими интересами своего времени. Литературная и последовавшая за ней церковная апология Бориса и Глеба и проклятие, тяготевшее над Святополком, одновременно выполняли две задачи — с одной стороны, осуждались княжеские братоубийственные распри, с другой же — всем поведением убитых братьев, не хотевших поднять руку на старшего брата, подчеркивалась и укреплялась идея родового старшинства в системе княжеского наследования, проводившаяся в целях укрепления новой феодальной системы.

В связи с прославлением Бориса и Глеба в 1175 г., 2 мая, в день празднования их памяти, было произнесено в черни-

говском соборе неизвестным нам духовным лицом похвальное слово в честь братьев, известное как «Слово о князех». Оно составлено в интересах будущего киевского великого князя Святослава, фигурирующего в «Слове о полку Игореве», соперничавшего тогда с младшим по возрасту князем Олегом Святославичем из-за черниговского стола. Идея повиновения младших князей старшим и осуждения княжеских усобиц звучит в этом «Слове» еще более энергично, чем в «Сказании о Борисе и Глебе». «Слушайте, князья, противящиеся старшим братьям своим, рать на них воздвигающие и поганых приводящие! — читаем мы здесь. — Не обличит ли нас бог на страшном суде этими двумя святыми? Как претерпели они от брата своего не только потерю власти, но и жизни! Вы же и слова брату стерпеть не можете и за малую обиду вражду смертоносную воздвигаете!.. Постыдитесь, враждующие против своих братий и единоверных друзей, вострепещите и плачьтесь перед богом! Своей славы и чести вы хотите лишиться за свое злопамятство и вражду!»

Как нетрудно видеть, «Слово о князех» по своей идейной сущности живо перекликается со «Словом о полку Игореве».

Одним из древнейших и получивших на Руси большое развитие жанров является жанр летописный. Еще в первой половине XI в. у нас зарождаются летописные своды, а к началу XII в. окончательно сформляется так называемая Начальная летопись — «Повесть временных лет». Наша старинная летопись нашла себе достойную высокую оценку не только у русских, но и у западноевропейских историков, не отрицающих того, что по своим качествам она несколько не уступает средневековым европейским хроникам, а в некоторых отношениях даже и превосходит их. Идея славянского единства, с одной стороны, и идея единства целей и интересов всей Русской земли — с другой, проходят в летописи через все изложение событий. В последнем случае она сближается со «Словом о полку Игореве».

«Замечательно, — говорит Ключевский, — что в обществе, где сто лет с чем-нибудь назад еще приносили идолам человеческие жертвы, мысль уже училась подниматься до сознания связи мировых явлений. Идея славянского единства в начале XII в. требовала тем большего напряжения мысли, что совсем не поддерживалась современной действительностью» («Курс русской истории». Т. I, изд. 4, М., 1911, с. 107). И далее Ключевский подчеркивает, что для XI—XII вв. характерно «пробуждение во всем обществе мысли о Русской земле, как о чем-то цельном, об общем

земском деле, как о неизбежном, обязательном деле всех и каждого, о котором так часто говорят и князья и летописцы» (там же, с. 248).

Литературное значение летописи определяется большим количеством вошедших в нее сказаний, повестей и легенд, чередующихся с краткими заметками и справками чисто фактического характера. Если редакторами летописных сводов были лица духовные, тесно связанные с монастырем, как это мы видим и в практике западно-европейского средневекового летописания, если той же духовной среде нужно приписать вошедшие в летопись благочестивые сказания, легенды и поучения, то повести, рассказывающие о воинских событиях или о частной жизни князей и их приближенных, вышли из среды светской, по всей вероятности дружинной. Значительная часть этих повестей возникла на основе устных поэтических преданий, в ряде случаев осложненных мотивами и сюжетами, почерпнутыми из фонда международных бродячих рассказов. Немалая доля повествовательного материала летописи в большей или меньшей степени отличается всеми признаками поэтического изложения. В иных случаях художественные достоинства этого материала очень незаурядны. Этот материал в большей своей доле возник независимо от летописи и был использован ею уже в готовом виде, подвергшись специальной обработке под руками редактора летописных сводов; но отдельно от летописной компиляции он до нас не дошел, знакомимся мы с ним только по летописным сводам, и этим обуславливается большая ценность летописи с точки зрения специфически историко-литературной. По удачному определению К. Н. Бестужева-Рюмина, начальный летописный свод — «Повесть временных лет» — является «архивом, в котором хранятся следы погибших для нас произведений первоначальной нашей литературы» («О составе русских летописей до конца XIV в.». СПб., 1868, с. 59).

Характеризуя особенности летописного изложения событий, Ключевский пишет: «Под пером летописца XII в. все дышит и живет, все безудержно движется и без умолку говорит; он не просто описывает события, а драматизирует их, разыгрывает перед глазами читателя. Таким драматизмом изложения особенно отличается Ипатьевский список. Несмотря на разноголосицу чувств и интересов, на шум и толкотню описываемых событий, в летописном рассказе нет хаоса: все события, мелкие и крупные, стройно укладываются под один взгляд, которым летописец смотрит на мировые явления» («Курс русской истории». Т. I, с. 111).

С половины XII в. начинается оскуднение Киевской Руси, усиленное нашествием татар. Литературная продукция здесь постепенно начинает ослабевать, но ее традиция передается частично северо-восточной Руси, частично Галицко-Волынскому княжеству. В ближайшие после появления «Слова о полку Игореве» десятилетия литература там и здесь живет еще неизрасходованными запасами того культурного и поэтического возбуждения, которые характеризовали собой Киевское государство. В первой четверти XIII в., в результате взаимодействия севера и юга, создается памятник, получивший впоследствии название «Киево-Печерского патерика». Читая его, Пушкин восхищался в нем «прелестью простоты и вымысла». Приблизительно тогда же в пределах Переяславля Суздальского возникает острый публицистический памфлет, известный под именем «Моления Даниила Заточника». Автор его, прекрасно начитанный в переводной и оригинальной литературе своего времени и хорошо знакомый с «мирскими притчами» (поговорками и пословицами), в риторически-приподнятой речи обращается к переяславскому князю с просьбой избавить его от холопского положения, в котором он находится, будучи во власти немилостивого боярина. Обращение Даниила пересыпано образными сравнениями, красочными афоризмами и изречениями. В его сочинении дает себя знать незаурядное литературное дарование автора и темперамент страстного обличителя социальных неурядиц своей эпохи.

Татарское нашествие, обрушившееся на Русь как страшное и неожиданное бедствие, отразилось в ряде литературных памятников XIII в. Наиболее значительным из них по своим художественным достоинствам является повесть о разорении Рязани Батыем в 1237 г., сложившаяся, очевидно, вскоре же после этого события под влиянием эпических сказаний и песен о разорении татарами Рязанского княжества. Народно-поэтическая основа повести особенно сильно дает себя знать в эпизоде убийства Батыем князя Федора Юрьевича и самоубийства его жены Евпраксии, нашедшем себе отражение в былинке о Данииле Ловчанине, а также в рассказах о подвигах и гибели Евпатия Коловрата — мстителя татарам за бедствия, причиненные ими Рязанской земле.

Повесть о разорении Рязани Батыем по своей тематике и по стилю является ярким образчиком воинских повестей. Среди последних она по своим художественным качествам занимает одно из первых мест. Характерной особенностью



ее является напряженный и в то же время сдержанный лиризм и драматизм. Впечатление волнующего драматизма, производимое повестью, достигается в ней не многословной риторической фразеологией, как в позднейших сходных памятниках, а как бы преднамеренно предельно сжатой передачей трагических событий. Повествование, в основе своей восходящее к лиро-эпическому сказанию, как будто сознательно чуждается напыщенной и витиеватой словесной шумихи, заслоняющей собой непосредственное и искреннее выражение чувств; с той же предельной сжатостью и словесной безыскусственностью передается скорбь окружающих по поводу смерти близких. Первоначальная основа повести отличается всеми характерными чертами раннего воинского стиля как в своей фразеологии, так и в своих образных средствах. Изложение насквозь проникнуто героическим пафосом воинской доблести, князя и дружина изображены здесь в ореоле беззаветного мужества, побуждающего их безбоязненно идти навстречу смерти. Образ «смертной чаши», как лейтмотив, проходит через всю повесть. Рядом с «благоверными» и «благочестивыми» князьями неоднократно с лирическим воодушевлением упоминается «дружина ласкова», «узорочие и воспитание резанское», «удальцы и резвцы резанские». Во всем тоне повести сильно дают себя знать идеальные представления о рыцарственных взаимоотношениях князя и дружины, характерных для поры раннего феодализма. Князья неизменно пекутся о своей дружине и оплакивают погибших в бою дружинников, дружина хочет «пити смертную чашу с своими государями равно». Воодушевляемые преданностью своим князьям, «удальцы и резвцы резанские» бьются «крепко и нещадно, яко и земли постонати», «один с тысящею, а два с тьмою», а когда они не в силах одолеть врага, все до одного умирают, испив единую смертную чашу. Изложение повести отличается в ряде случаев ритмической организованностью речи. Все эти особенности заставляют очень высоко расценивать повесть как произведение нашего раннего воинского жанра, отводя ей едва ли не второе место после «Слова о полку Игореве».

К числу памятников XIII в., связанных с татарским нашествием и созданных в северной Руси, принадлежит и упомянутое выше «Слово о погибели Русской земли», найденное в начале 1890-х годов. Оно очень невелико по объему (в рукописи занимает всего 45 строк).

В «Слове о погибели», по своему стилю представляющем соединение книжного изложения с устно-поэтическими формами песенной речи, перечисляются природные и материаль-

ные богатства, которыми до татарского нашествия изобиловала «светло-светлая и украсно-украшена земля Русская»: озера многочисленные, реки и колодцы местнопочитаемые, горы крутые, холмы высокие, дубравы чистые, поля дивные, звери различные, птицы бесчисленные, города великие, села дивные, сады монастырские, дома церковные. Были тогда на Руси князья грозные, бояры честные, вельможи многие. Большие пространства и живущие на них народы были покорены великому князю Всеволоду, отцу его Юрию, князю киевскому, деду его Владимиру Мономаху, именем которого половцы устрашали своих детей в колыбели и при котором литовцы из своих болот не показывались на свет, а венгры укрепляли каменные свои города железными воротами, чтобы он через них не въехал к ним; немцы же радовались, живя далеко за синим морем. Различные соседние племена платили дань Владимиру медом, а царь византийский Мануил, опасаясь как бы Владимир не взял Царьград, посылал ему великие дары. Так было раньше, теперь же приключилась болезнь христианам.

Таково содержание «Слова о погибели». Первый издатель памятника Лопарев считал его «только началом великолепной поэмы XIII в., оплакивающей гибель Руси», и сравнивал его по художественным качествам со «Словом о полку Игореве». То же сравнение находим и у позднейшего исследователя памятника — Мансикки. Несмотря на то, что тут мы имеем дело с явным преувеличением, «Слово о погибели» все же свидетельствует о незаурядных литературных способностях его автора.

Стилистическую манеру «Слова о полку Игореве» некоторые ученые сопоставляли с манерой, в которой написана Галицко-Волынская летопись, памятник, окончательно сложившейся на юге Руси в конце XIII в., но использовавший, несомненно, материалы значительно более ранней поры, с самого начала XIII в., откуда и ведет свое повествование эта летопись.

Со «Словом» ее роднит, прежде всего, красочность языка, яркость поэтических образов. Автор ее обнаруживает несомненный литературный талант. Он любит красивую, изысканную фразу и торжественную отделку стиля. В то же время, как ценитель и апологет рыцарской доблести восхваляемых им князей, он прислушивается и к тем песням, которые пелись певцами в честь князей-победителей, и сам, очевидно, подпадает под влияние этих песен. Лучший образец песенного склада в изложении Галицко-Волынской летописи (похвала Роману и Владимиру Мономаху) приведен выше.

Как и «Слово о полку Игореве», Галицко-Волынская летопись в большей своей части обязана своим написанием не церковнику, а светскому автору. В ней мало сообщается о фактах церковной истории, а говорится преимущественно о военных столкновениях, бедствиях, мятежах и распрях, сопутствовавших, главным образом, княжению сына Романа — Даниила. Характеристики князей, их быт, детали их придворного обихода — все это изложено в Галицко-Волынской летописи с точки зрения светского человека, принимающего горячее участие в событиях и в судьбе князей и, вероятно, принадлежавшего к официальным кругам.

Приведем некоторые образчики стиля Галицкой летописи. Здесь поединок унодобляется игре: «и обнажившу мечь свой, играя на слугу королева, иному похвативши щит играючи» или «наутрея же выехаша немце со самострелы, и ехаша на не (на них) Русь с половци и с стрелами, и ятвязе со сулицами, и гонишася на поле подобно игре». Вооружение галицкой пехоты описано так: «Щите их яко зоря бе, шолом же их яко солнцю восходящю, копиемь же их держащим в руках яко трости мнози, стрельцемь же обапол идущим и держащим в руках ражаници (луки) свое и наложившим на не стрелы своя противу ратным, Данилови же на коне сидящу и вое рядящу». Далее о вооружении русских полков и о воинских доспехах Даниила сказано: «беша бо кони в личинах и в коярях (попонах) кожаных, и люде во ярьщех (латах), и бе полков его светлость велика, от оружья блистающася. Сам же (т. е. Даниил) еха подле короля (венгерского), по обычаю руску: бе бо конь под ним дивлению подобен, и седло от злата жьжена, и стрелы и сабля златом украшена, иными хитростьми, якоже дивитися, кожую же оловира (шелковой ткани) грецького и круживы (кружевами) златыми плоскыми ошит, и сапозы зеленого хза (кожи) шити золотом». О «светлом оружии», о «соколах-стрельцах» говорится под 1231 г. в рассказе о войне Даниила с венграми. Сам Даниил изображается летописцем всегда в апофеозе. Пользуясь библейским образом, летописец так характеризует своего героя: «бе бо дерз и храбор, от главы и до ногу его не бе в нем порока». Когда князь подъезжает к Галичу, жители города бросились ему навстречу, «яко дети ко отцю, яко пчелы к матце, яко жажюци воды ко источнику». У Даниила рыцарское представление о назначении воина и об его долге. Князьям, решившим уклониться от битвы с половцами, он говорит в стиле речи Дария из «Александрии»: «Подобает воину, устремившуся на брань, или победу прияти или пастися от ратных; аз бо возбранях вам, ныне же вижю, яко страшливу

душо имате; аз вам не рек ли, яко не подобает изыти трудным (усталым) воемъ противу целым (бодрым)? Ныне же почто смущаетесь? Изыдите противу имь». К потерпевшим поражение союзникам своим — полякам, пришедшим в уныние, он обращается с такой речью: «Почто ужасываетесь? не весте ли, яко война без падших мертвых не бывает? не весте ли, яко на мужи на ратные нашли есте, а не на жены? аще мужь убьен есть на рати, то кое чюдо есть? Инии же дома умирають без славы, си же со славою умроша; укрепите сердца ваша и подвигнете оружие свое на ратнее». Унижение, испытанное Даниилом, когда он пошел на поклон к татарам, вызывает у летописца горестную тираду: «О злее зла честь татарская! Данилови Романовичю, князю бывшу велику, обладавшу Рускою землею, Къевом и Володимером и Галичем, со братом си, и инеми странами, ныне седить на колену и холопом называться, и дани хотять, живота не чають, и грозы приходять. О злая честь татарская! Его же отец бе царь в Руской земли, иже покори Половецкую землю и воева на иные страны все; сын того не прия чести, то иный кто может прияти?».

Эти примеры, с точки зрения их художественной выразительности, говорят сами за себя.

Все сказанное выше свидетельствует о том, что и устно-поэтическая и литературная продукция древней Руси ко времени создания «Слова» и в ближайшее после этого время далеко не была так бедна, как думали об этом скептики в первые десятилетия XIX в. и как думал даже Пушкин, всегда энергично в спорах со скептиками отстаивавший подлинность «Слова» и тем не менее писавший о том, что оно «возвышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности».

В пору Пушкина изучение древней русской литературы только еще начиналось; многие крупные ее памятники были еще неизвестны, и этим в значительной степени можно объяснить безотрадный взгляд Пушкина на нашу старинную литературу как на «пустыню», в которой одиноко высятся «Слово».

Даже то, что дошло до нас от литературной культуры древней Руси, говорит нам о том, что эта культура отличалась значительной высотой и что она создала в самое короткое время выдающиеся памятники словесного мастерства. Знакомство с ней убеждает нас в том, что в ней присутствовали элементы подлинного творческого возбуждения и настоящего творческого роста. И то и другое было резуль-

татом общего развития культуры древней Руси, на время лишь замедлившей свое дальнейшее движение благодаря тяжести татарского ига.

Древняя Русь дала нам выдающиеся памятники не только литературного искусства, но и искусства живописного и архитектурного. Рядом с автором «Слова о полку Игореве» она выдвинула такие выдающиеся личности, как книголюбец Ярослав Мудрый, как незаурядный государственный деятель и талантливый писатель Владимир Мономах, как его отец Всеволод, изучивший пять языков, и многие другие.

«Слово о полку Игореве», конечно, много выше того, что создала до него русская литература, как пушкинский «Борис Годунов» несравненно выше того, что представляла допушкинская русская драматургия, но и «Слово» и «Борис Годунов» не могли возникнуть на почве, не подготовленной всем предшествующим литературным развитием.

«Слово о полку Игореве» ценно не только само по себе, но и как органический продукт нашей хотя и молодой, но уже в ту пору талантливой культуры, быстрыми шагами догонявшей более старую и значительно раньше себя проявившую культуру средневековой Европы.

## «СЛОВО О ПЛЪКУ ИГОРЕВЪ» И ЕГО ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЧВА

### 1

Неудачный поход новгород-северского князя Игоря Святославича на половцев в 1185 году, предпринятый им в союзе с его братом Всеволодом из Трубчевска, сыном Владимиром из Путивля и племянником Святославом Ольговичем из Рыльска, вызвал к жизни великую поэму неведомого нам певца и две летописные повести. Одна из них, вошедшая в Ипатьевскую летопись, рассказывает о походе и его последствиях особенно подробно; другая, помещенная в Лаврентьевской и сходных с ней летописях, — значительно короче.

Игорь двинулся из Новгорода-Северского 23 апреля 1185 года. По пути (в Посемье) к нему присоединились со своими войсками Владимир и Святослав Ольгович. Черниговский князь Ярослав Всеволодович дал ему в помощь отряд ковуев, кочевавших в южных пределах Черниговской земли и защищавших ее границы. Этим отрядом командовал боярин Ярослава Ольстин Олексич.

На девятый день после выступления, 1 мая, Игорь подошел к Донцу. Войска шли медленно, потому что кони у них были «тучни вельми». У Донца, судя по обоим летописным повестям, Игоря настигло солнечное затмение. Лаврентьевская летопись описывает его в таких красках: «Месяца мая в 1 день, в память святаго пророка Иеремия, в середу на вечерни, бысть знаменье в солнци, и морочно (темно) бысть вельми, яко и звезды видети, человеком в очью яко зелено бяше, и в солнци учинися яко месяцъ, из рог его яко уголь жаров исхожаше; страшно бе видети человеком знаменье божье». По Ипатьевской летописи, Игорь, увидев знаменье, стал ободрять дружину, сославшись на то, что тайны божией никто не знает, а знаменью, как и всему миру, творец — бог и не известно еще, на добро или на зло это знаменье,

Игорь переправился на другой берег Донца и подошел к реке Осколу, где два дня ожидал брата Всеволода, шедшего на соединение с Игоревым войском из Трубчевска через Курск. После этого Игорь с союзными князьями дошел до притока Донца Сальницы, теперь уже не существующего. Тут от «сторожей» он узнал о том, что близко разъезжают вооруженные половцы и что нужно или поскорее напасть на них, или вернуться восвояси, потому что обстоятельства для русских войск складываются неблагоприятно. Услышав это, Игорь и другие князья решили, что если вернуться не бившись, то будет позор пуще смерти и что нужно положить на бога. Решено было продолжать наступление. Русские войска шли всю ночь и на другой день, в пятницу, встретили у реки Сюурлия половцев. Половецкие стрельцы пустили на русскую сторону по стреле и затем обратились в бегство. Игоревое войско перешло через реку, нанесло половцам поражение и, дойдя до брошенных ими веж, захватило большой полон.

Далее летописные известия расходятся между собой. Критически относящийся к Игорю рассказ Лаврентьевской летописи сообщает, что северские князья после победы стояли три дня у половецких веж, веселясь. Судя же по Ипатьевской летописи, Игорь тотчас же после удачного нападения на половцев предложил вернуться домой, говоря: «Бог помог победить нам врагов и даровал нам честь и славу. Мы видели много половецких полков, но все ли они соединились против нас? Пойдем же в эту ночь, а кто не может идти теперь, те пусть пойдут завтра утром». Святослав Ольгович возражал, ссылаясь на то, что он далеко гнал за половцами и кони его притомились; если он поедет теперь же, то придется отстать в пути. Его поддержал Всеволод, и решено было заночевать.

Между тем половцы собрались с силами и с раннего утра, в субботу, в несметном количестве начали наступление. Князья стремились с боем пробиться с войском к Донцу. Они говорили: «Если сами, спасаясь, побежим, а черных людей оставим, то будет нам грех перед богом за то, что выдали их; но или все умрем или все живы будем». Русские полки храбро бились весь день и всю ночь. Много пало раненых и убитых в русских полках. Сам Игорь был ранен в руку. На рассвете в воскресенье ковуи дрогнули и побежали. Игорь один, сняв шлем, чтобы его узнали ковуи, погнался за ними, надеясь вернуть их, но вернуть ему никого почти не удалось, сам же он, отдалившись от своего полка, попал в плен. Уже схваченный, он видел, как крепко бьется с нападающими полчищами врагов его брат Всеволод. Игорь

желал смерти для себя, чтобы не видеть гибели своего брата, который так бился, что, как сказано в летописи, и бывшего у него оружия не хватало ему. Лаврентьевская летопись сообщает, что русское войско страдало от жажды, потому что половцы оттеснили его от воды: «Изнемогли бо ся бяху безводьмень, и кони и сами, в зной и в тузе, и поступиша мало к воде, по три дни бо не пустили бяху их к воде».

Так было разбито русское войско на реке Каяле (вероятно, как предполагает профессор Кудрявцев, на верховьях Кальминуса). Все князья попали в плен, побиты или пленены были почти все: бояре и дружина; спаслось только пятнадцать мужей, а из ковуев — еще меньше.

О дальнейшем особенно подробно говорится в Ипатьевской летописи. Игорь объясняет свое поражение наказанием божьим за его грехи, за то, что он взял «на щит» город Глебов у Переяславля, не пощадив христиан, и пролил много безвинной христианской крови. Далее сообщается о том, как дошла весть о поражении Игоря до великого князя киевского Святослава Всеволодовича, который в ту пору направился в Корачев собирать войска для летнего похода на половцев. Огорченный Святослав призвал нескольких русских князей «постеречь Русскую землю», помочь ему справиться с половцами. Но призыв Святослава не имел существенных результатов. Половцы напали на русские земли, стали разорять их и уводить пленных.

Игорь, находясь в половецком плену, не подвергался особым стеснениям. К нему приставлено было двадцать стражей, сопровождавших его на прогулках и охоте и почтительно обращавшихся с ним. Кроме того у Игоря было пять или шесть собственных слуг. Он даже выписал из Руси попа для церковных обрядов, рассчитывая на долгое пребывание в плену. Но плен оказался короче, чем он предполагал. Осенью при помощи половецанина Лавра (в «Слове о полку Игореве» имя его — Овлур) он бежал на Русь и, побывав в Новгороде-Северском, отправился в Чернигов к Ярославу Всеволодовичу с просьбой о помощи на Посемье, а затем — в Киев, к Святославу Всеволодовичу. Сын Игоря вместе с дочерью Кончака, от которой прижил ребенка, вернулся на Русь через два года, осенью 1187 года. О времени возвращения из плена двух других князей, участников похода — Всеволода Святославича и Святослава Ольговича — в летописных известиях сведений нет.

Так закончилось рискованное, необдуманное предприятие северских князей.



Это было далеко не первое и не последнее столкновение русских с их степными соседями. Нападениям половцев Русь начала подвергаться более чем за сто лет перед этим — с 1061 года, а прекратились они лишь перед самым нашествием татар, покоривших половцев и частично вливших их в свои полчища.

Активной силой, боровшейся с половцами, был сам русский народ. Летопись под 1068 годом рассказывает о народном возмущении киевлян против князей, отказавшихся выступать против половцев. Восставшие «люди киевстии» собрали вече на торгу и, пославши к князю, сказали ему: «Се половци росулися по земли; да вдай, княже, оружия и кони, и еще бьемся с ними». Упорство князя Изяслава стоило ему престола: он был свергнут народом и бежал в Польшу. Против половцев выступил Святослав и одержал над ними крупную победу.

С начала XII века Русь перешла в наступление против степных кочевников и нанесла им ряд сокрушительных ударов. Особенно прославился своими походами на половцев Владимир Мономах. С 1103 по 1116 год было предпринято против них четыре похода, в результате которых половцы были отброшены за Дон и частично — на Кавказ. Дело Мономаха продолжал сын его Мстислав. Но со смертью Мстислава (в 1132 году) наблюдается новое усиление половцев.

За два столетия насчитывается свыше сорока опустошительных половецких набегов на Русскую землю, не считая бесчисленного количества набегов мелких. Русь испытывала тяжелые потрясения от вражеских нашествий. Никакие стоворы и соглашения не гарантировали ее от внезапных вторжений беспокойных варваров. Не помогали даже брачные союзы, заключавшиеся между русскими и половцами.

С половины XII века половцы стали особенно сильно тревожить русские земли. В 1170 году, за пятнадцать лет до похода Игоря, на съезде южных русских князей шла речь о том, как совместными усилиями бороться с половцами. Князь Мстислав Изяславич, призывая князей поскорбеть о Русской земле и о своей отчине и дедине, так говорил о половцах, постоянно нарушавших клятву: «А уже у нас и Гречьский путь изъютимають, и Соляной (Крымский), и Залозный (на Дунай)».

Тяжесть положения усугублялась непрерывными княжескими усобицами, в которых князья, сводя свои личные счета, зачастую прибегали к половецкой помощи,

В основном все это больше всего содействовало ослаблению Киевской Руси, которая со второй половины XII века стала явно клониться к политическому и экономическому упадку, чтобы в пору татарских нашествий надолго захитеть. Уже после разорения Киева войсками Андрея Боголюбского в 1169 году киевский великокняжеский стол и Киевская земля потеряли свое первенствующее политическое значение. Киев продолжал импонировать русским князьям, в сущности, лишь привычным представлением о нем как о традиционном центре русской государственности и русской культуры. По своему политическому влиянию и по степени военной мощи Киевское княжество значительно уступало теперь княжествам Суздальскому и Галицко-Волынскому. В «Слове о полку Игореве» Святослав киевский, обращаясь к суздальскому князю Всеволоду Большое Гнездо, так отзывается о его воинской силе: «Великий князь Всеволод, ты ведь можешь Волгу веслами расплескать, а Дон шлемами вылить. Если бы ты был (здесь), то раб и рабыня продавались бы по мелкой монете. Ты ведь можешь посуху живыми копьями метать, удалыми сынами Глебовыми». Еще ярче изображеться устами Святослава могущество галицко-волынского князя Ярослава: «Галицкий Осмомысл Ярослав! Высоко сидишь ты на своем златокованном столе, подперев горы угорские своими железными полками, загородив королю путь, затворив Дунаю ворота, метая тяжести через облака, суды рядя до Дуная. Грозы твои по землям текут; отворяешь ты Киеву ворота, стреляешь с отцовского золотого стола султанов за землями».

Неудача Игорева похода и сама по себе, и в условиях современной походу исторической обстановки должна была ощущаться как событие особенно тягостное, несравнимое с предшествующими неудачами русских князей в борьбе со степью.

Поражение Игоря было неожиданным не только для него самого, но и для его современников. Он приобрел себе репутацию ненавистника половцев и счастливого победителя их в нескольких походах. Первая победа Игоря над ними относится к 1174 году, когда он многих половцев побил, а многих взял в плен. В 1183 году Игорь дважды победил половцев. В марте 1185 года он собирался помочь киевскому князю Святославу в его походе на половцев, говоря: «Не дай бог нам отречься от войны с погаными: поганые всем нам общий враг». Но гололедица помешала ему осуществить свое намерение.

Однако через два месяца после этого Игорь отправился на половцев со своими союзниками без сговора с киевским

князем Святославом. Лаврентьевская летопись, очень сдержанно относящаяся к северским князьям, приписывает им такую самомнительную похвальбу: «Разве мы не князья? Пойдем также добыть себе славу». Одержав победу при первой схватке с половцами в этом походе, те же князья, по Лаврентьевской летописи, хвастливо противопоставляют себя другим русским князьям, ходившим на половцев: «Братья наши ходили со Святославом, великим князем, и бились с ними, озираясь на Переяславль, а они сами к ним пришли, в землю же их не смели за ними идти; а мы в земле их, и самих их избили, а жен и детей пошленили; а теперь пойдем к ним за Дон и до остатка побьем их. Если тут будет наша победа, пойдем к лукоморью, куда не ходили и деды наши, и возмем до конца свою славу и честь». Вслед за этим летописец наставительно-укоризненно добавляет по адресу возомнивших о себе князей: «А не ведуще божья строенья». Святослав киевский, упрекая в своем «золотом слове» Игоря и Всеволода за их своеволие, говорит в их адрес: «Вы сказали: сами помужася, предстоящую славу сами добудем, а минувшую сами поделим».

Планы северских князей простирались очень далеко: они надеялись, видимо, отвоевать у половцев утраченную ими Тьмуторакань. По крайней мере, бояре в «Слове о полку Игореве», толкующие Святославу его «мутный сон», говорят о том, что два сокола (то есть Игорь и Всеволод) слетели с отцовского золотого стола, чтобы поискать города Тьмуторакани или испить шеломом из Дона.

И всем этим гордым замыслам суждено было потерпеть жестокое крушение. Первое столкновение Игоревых войск с половцами, как мы уже знаем, окончилось победой русских. Летописные повести сообщают о большом полоне, взятом Игорем, а «Слово» в гиперболических чертах изображает богатство добычи, доставшейся победителям: потоптав половецкие полки, русские захватили красных дев половецких, а с ними золото и дорогие ткани. Одеждой побежденных и всякими их «узурочьями» они мостили мосты по болотам и грязным местам. Но вслед за тем для русских наступила тяжелая расплата. Половцы собрались с силами и повели на них наступление. Трехдневная битва закончилась полным разгромом Игоревых полков. Автор «Слова» припоминает прошлые битвы русских князей с вражескими силами, но такой кровавой, как эта, не припомнит. Уже само наступление врагов способно было вызвать ужас и предчувствие неизбежной катастрофы для недавних победителей: «Ветры, Стрибожьи внуки, веют с моря на храбрые полки Игоревы; земля гудит, реки замутились, пыль поля

покрывает». Еще страшнее была сама битва, с предельной художественной выразительностью и изумительной сжатостью описанная в «Слове»: «С утра до вечера, с вечера до рассвета летят стрелы каленые, гремят сабли о шлемы, трещат копыя булатные в степи неведомой, среди земли Половецкой. Черная земля под копытами костмы была посеяна, а кровью полита; горем взошли они по Русской земле».

Поражение, испытанное Игорем в 1185 году, было действительно очень тяжелым. В сравнение с ним может идти лишь поражение, нанесенное половцами Южной Руси почти за сто лет перед этим, в 1094 году, при киевском князе Святополке Изяславиче. Но такого большого урона, как в походе 1185 года, русские, пожалуй, никогда не испытывали при своих столкновениях с половцами: все четыре князя были взяты в плен, большая часть дружины перебита, а остальные взяты в плен. Никогда еще, судя по летописным известиям, не кончались так печально для русских их походы против половцев; ни разу еще русские князья не становились пленниками половцев.

Лаврентьевская летопись так передает последствия Игоря поражения: «Все князья были взяты в плен, а бояре и вельможи и вся дружина перебиты, другие же, раненые, попленены. И возвратились с победой великой половцы, а о наших за наше согрешение, не было никаких вестей. Где у нас была радость, там теперь распространились воздыхание и плач... у одних братья были перебиты и уведены в плен, у других — отцы и родственники». В Ипатьевской летописи говорится о том, что города в Посемье, услышав о поражении Игоря, пришли в смятение, и была скорбь и печаль лютая, какой никогда не бывало во всем Посемье, и в Новгороде-Северском, и во всей земле Черниговской: князья попленены и дружина попленена, перебита и, метаясь, словно в сетях, восставали города, и не милы были каждому ближние его; многие предпочитали умереть, жалея своих князей.

Но дело было не в одной лишь жалости к князьям и дружине, а еще больше в том, что вслед за победой над Игорем половцы ринулись разорять Русскую землю. Не даром автор «Слова» говорит, что посев, засеянный Игорем, горем взошел по Русской земле. Ипатьевская летопись рассказывает о том, как, разбив Игоря, половцы возгордились и приготовились идти на Русскую землю. Между ними завязался спор, в каком направлении двигаться. Хан Кончак звал идти на Киев, где побиты были половцы и хан Боняк, другой же хан — Гза настаивал на том, чтобы идти в Посемье, где остались одни лишь жены и дети. Там приготовлен для половцев

полон и можно брать города «без опасы». Не договорившись друг с другом, ханы направились в разные стороны. Кончак по дороге к Киеву пошел на Переяславль и осадил город. Переяславский князь Владимир Глебович, мужественно защищавшийся, был тяжело ранен. От Переяславля Кончак пошел на город Римов, разорил его, взял большое количество пленных и вернулся восвояси. Гза же пошел на Путивль, повоевал волости, пожег села, сжег и острог у Путивля и после этого тоже вернулся в половецкие степи.

«Слово о полку Игореве» говорит также о том потрясении, какое пережито было Русской землей после поражения Игоря. «Поганые» после этого со всех сторон приходили с победами на землю Русскую. Застонал Киев от печали, а Чернигов — от напастей. Тоска разлилась по Русской земле, печаль обильная текла средь земли Русской. Князья занимались раздорами, а «поганые» рыскали по Русской земле. Святослав киевский скорбит о разорении Римова и о ранах Владимира Глебовича.

Тяжесть неудачи Игоря была тем сильнее для Русской земли, что она чрезвычайно подорвала значение бывшей за год до этого блестящей победы над половцами коалиции русских князей во главе со Святославом киевским. Наступило, наконец, долгожданное замирение Ольговичей с Мономаховичами, и они общими силами нанесли сокрушительный удар своим злейшим врагам. По свидетельству Лаврентьевской летописи, одних пленных половцев взято было семь тысяч, а половецких князей — четыреста семнадцать. В числе пленных оказался и хан Кюбьяк. Казалось, возвратились счастливые времена Владимира Мономаха, нещадно бывшего половцев. В уста переяславского князя Владимира Глебовича летописец вкладывает благодарность богу, который освободил русских от врагов, покорил их «под нозе наши» и сокрушил «главы змиевы». Летописец сообщает далее о большой радости, бывшей у русских после победы: дружина ополонилась, добыла оружие и коней и вернулась домой.

Автор «Слова о полку Игореве», скорбя о том, что два храбрые Святославича — Игорь и Всеволод — свели на нет победу Святослава, в ярких красках рисует военную удачу киевского князя, прекратившего княжеские распри: он «наступил на землю Половецкую; притоптал холмы и овраги; замутил реки и озера; иссушил потоки и болота. А поганого Кюбьяка из лукоморья, из железных великих полков половецких, словно вихрь исторгнул. И пал Кюбьяк в городе Киеве, в гриднице Святославовой». Успех Святослава и неудача Игоря нашли отклик не только у русских, но и у иноземцев: немцы и венециане, греки и мораване цели славу

Святославу и укоряли Игоря, погрузившего богатство на дне Каялы, реки половецкой.

Судя по Ипатьевской летописи, Святослав в союзе с другими князьями вскоре одержал еще две крупных победы над половцами. После этого могло казаться, что враг обессилел и что Киевская Русь, страдавшая от непрерывных набегов степняков, обессилевшая и терявшая свой политический престиж, получила надежду на свое политическое возрождение. Но надежды эти были сильно подорваны разгромом Игорева войска, вновь пробудившим половецкую экспансию. Этим объясняется энергичная попытка Святослава объединить нескольких русских князей, для того чтобы ликвидировать последствия Игоревой неудачи; этим объясняется и тот живой отклик на события, который мы находим у автора «Слова», своим талантом и силой своего гражданского чувства задумавшего послужить интересам родной земли. Он был страстным патриотом Киевской Руси, болевшим ее горестями и помышлявшим о восстановлении ее бывшего авторитета и бывшего ее положения — центра русской государственности. Он, вопреки действительному положению вещей, и окружает киевского князя ореолом политического авторитета для всей Русской земли. Былые, еще недавние распри Ольговичей и Мономаховичей ему представляются изжитыми, и он зовет тех и других для общего дела — защиты Русской земли под руководством киевского князя Ольговича, преодолевшего, однако, свои родовые симпатии и пристрастия и борющегося за общее достояние «Даждь-божья внука» — русского народа.

Однако благополучие Киевской Руси для автора «Слова» было неотделимо от благополучия всей Русской земли в целом, всего русского народа. Его патриотические чувства к родному Югу сочетались у него с патриотизмом общерусским и питали этот патриотизм. На защиту Руси от половцев он призывает не только тех князей, землям которых непосредственно угрожали половецкие вторжения, но и тех, которые от этих вторжений были гарантированы, — Всеволода III Суздальского, Ярослава Галицкого.

### 3

В судьбах Киевской Руси конца XII века военная катастрофа, постигшая Игоря, наиболее дальновидными современниками должна была рассматриваться как тяжкое испытание, как своего рода последнее предупреждение князьям, действовавшим вразброд, а порой еще и затевавшим усобицы. «Слово о полку Игореве» было актом вмешатель-

ства поэта-гражданина в события, которые в его сознании могли быть роковыми для Русской земли. И он с волнением и страстью отозвался на те горестные проявления княжеского сепаратизма, которые и в прошлом губили Русскую землю и теперь грозили ей неисчислимыми бедами. Серьезность и напряженность политической обстановки Киевской Руси ввиду усиления вражеской опасности, еще совсем недавно как будто устраненной, и породила на свет вскоре же после Игорева похода облеченный в замечательную поэтическую форму патриотический «призыв русских князей к единению как раз перед нашествием монгольских полчищ»<sup>1</sup>.

Действительно, именно в призыве русских князей к прекращению взаимных распрей, к объединению их ввиду вражеской угрозы — основной смысл «Слова». Поэт с глубокой горестью говорит о безрассудстве и политической близорукости князей, из-за своих личных счетов губящих жизнь и достояние «Даждь-божья внука» — русского народа. Исходя из общенародных интересов, он своим талантом стремится послужить тому, что он считает благом для родной земли. Все события русской истории, предшествовавшие походу Игоря, он рассматривает с точки зрения своей основной идеи — служения интересам Русской земли. Поэт старается показать, как губительны были на протяжении многих столетий княжеские междоусобия, когда один князь говорил другому: «Это мое, а это тоже мое» и когда про малое говорилось: «Это великое». Недоброй памятью поминает автор деда Игоря и Всеволода Олега Гориславича, который «мечом крамолу ковал и стрелы по земле сеял». При нем в княжеских распрах укорачивалась жизнь человеческая. В ту пору редко пахари перекликались, но часто вороны граяли, деля между собой трупы русских воинов.

С горькой укоризной обращается поэт и к внукам полоцкого князя Всеслава, поставившего себе как бы самоцелью безрассудные воинские авантюры: «Уже склоните стяги свои, вложите в ножны свои мечи поврежденные: уже выскочили вы из дедовской славы. Вы ведь своими крамолами стали наводить поганых на землю Русскую, на достояние Всеволово; из-за раздоров ведь пошло насилие от земли Половецкой». Ему жаль, что нельзя было навеки удержать у киевских гор оберегателя границ Русской земли Владимира Мономаха, бывшего грозой для половцев, и что теперь стяги Мономаховы поделены между собой русские князья. Призыв постоять за землю Русскую наиболее энергично звучит в обращении к князьям киевского князя Святослава, в его

---

<sup>1</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, 2-е изд., т. 29, с. 16,

«золотом слове», поистине золотом по своей художественной силе и по своей политической значительности.

Коллебясь, как ему начать свое повествование об Игоровом походе, автор «Слова» отказывается это делать «старыми словесы», а решает петь «по былинам сего времени». «Старыми словесы» пел певец Боян, живший до творца «Слова» лет за восемьдесят. Наш автор не чувствует в себе той силы песенного дара, какая была у Бояна, который если кого хотел воспеть, то растекался мыслью по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками. Но, отказавшись идти по пути Бояна, автор на деле то и дело пользуется его стилем и обнаруживает при этом такую силу поэтического мастерства, которая, видимо, не только не уступает силе песенного дара неведомого нам Бояна, но, нужно думать, даже превосходит ее.

Однако, несмотря на то, что автор «Слова» во многом был обязан Бояну как своему учителю, у него были свои задачи, отличные от тех, какие были у «соловья старого времени», а потому был и свой поэтический путь, во многом отличный от пути Бояна. Боян обычно пел славу князьям, и только в адрес беспокойного полоцкого князя Всеслава он сочинил укоризненную припевку. Творец же «Слова» не только славославил князей, но и был их суровым судьей, когда они своими необдуманными и эгоистическими действиями причиняли зло Русской земле. «Слово о полку Игореве» — не только и не столько хвалебная песнь, сколько горячий призыв к действию, публицистически насыщенный и проникнутый насквозь высокой гражданской идеей. Эта публицистика, этот страстный отклик на политическую злобу своего времени и являются теми «былинами сего времени», которые наш автор противопоставляет «замышлению Бояна».

Но гениальный поэт сумел свою публицистику облечь в такую исключительную по силе и по красоте художественную форму, что мы воспринимаем его создание как произведение высокого поэтического искусства.

Автор «Слова о полку Игореве» был в высшей степени художественно одаренным человеком. Он стоит в ряду первых поэтов всех времен. Пушкин, любовно изучавший бессмертную поэму незадолго до своей смерти, возражая тем, кто считал ее позднейшей подделкой, относящейся к XVIII веку, писал, что наши поэты XVIII века «не имели все вместе столько поэзии, сколько находится оной в плаче Ярославны, в описании битвы и бегства».

Не стремясь к точной передаче событий похода и бегства Игоря из плена, автор дает нам ряд сменяющих друг друга картин, предельно насыщенных поэтическими



образами, богатых яркими красками. В «Слове» все живет, движется, звучит. Природа, принимающая здесь самое живое участие в судьбе русских князей и их дружины,— живая, одухотворенная и деятельная. Она неотделима от мира человека, как человек неотделим от мира природы. В ее помощи и участии залог человеческого благополучия и удачи, точно так же как в ее враждебном отношении к человеку кроется причина всяческих его злоключений и бед.

Эта стихийная связь человека с природой, выраженная в «Слове» так ярко и так лирически насыщено, как, пожалуй, ни в одном памятнике европейского эпоса, является основным источником его художественной силы и его поэтической значительности. Она, эта связь, целиком объясняется органической близостью автора к народной поэзии, которая питала его творческий гений. Народной поэзии обязано «Слово» самыми яркими своими художественными красками. Несравненный по своей красоте образ Ярославны, на стене Путивля причитающей по своему пленному муже и заклиная ветер, Днепр и солнце помочь Игорю вернуться на родину, восходит к народной причете. Народной песнью внушено автору «Слова» сравнение битвы с посевом, пиром и молотьбой, как к народному творчеству восходят и многие другие сравнения в поэме об Игореvem походе и многие его эпитеты, метафоры. Близостью к тогдашним поэтическим воззрениям народа, еще не изжившего в ту пору язычества, объясняется и присутствие в «Слове» языческих богов. Касаясь «Слова» в своей переписке с Ф. Энгельсом, К. Маркс отмечал: «Вся песнь носит христиански-героический характер, хотя языческие элементы выступают еще весьма заметно»<sup>2</sup>.

Однако автор «Слова о полку Игореvem» не только был глубоко проникнут народно-поэтической стихией, но очень хорошо знал и письменную литературу своего времени, оригинальную и переводную. Исследователи «Слова» наряду с параллелями из произведений устного творчества приводили к нему также и параллели из произведений книжной литературы, обращавшейся тогда на Руси. При всем том наш поэт был совершенно самостоятелен и оригинален в использовании и народно-поэтического, и книжного материала. «Слово» обнаруживает такую высокую степень художественной самобытности, что не может быть и речи о его подражательности даже в отдельных его частях.

Автор очень хорошо знал прошлое и настоящее Русской земли, он прекрасно разбирался в событиях русской истории

---

<sup>2</sup> Там же.

и в междукняжеских отношениях. Изучение «Слова» с точки зрения исторической убеждает нас в том, что оно представляет собой очень большую познавательную ценность, ярче чем любой другой русский памятник отражая характернейшие особенности феодального быта Киевской Руси и существеннейшие черты ее политического уклада.

Поэт, судя по содержанию «Слова», был воин, дружинник, но ему близки и понятны не только бранные подвиги закаленных в боях воинов: он понимает и братское чувство жалости к утомленному боем брату, и горе матери, оплакивающей утонувшего юного сына, и преданную любовь супруги, закликающей силы природы помочь возвращению на родину ее мужа. Он суров, когда говорит о врагах своей родины и когда порицает князей — зачинателей раздоров, — и лирически мягок и сострадателен, когда говорит о тех, кто близок его сердцу и в ком он принимает живое, человеческое участие.

«Слово о полку Игореве» дорого нам потому, что оно является блестящим показателем той высоты культурного развития и политического и национального самосознания, какая достигнута была русским народом еще в отдаленную эпоху, в первые столетия его государственной жизни. Оно, во всяком случае, не уступает по своим художественным качествам лучшим созданиям мирового героического эпоса. Возникнув в той общей колыбели, какой была Киевская Русь для великоруссов, украинцев и белоруссов, оно по праву принадлежит в равной мере всем этим трем братским народам.

Но не одно лишь «Слово» свидетельствует о высоте культуры молодого Киевского государства. Если говорить о нашей древнейшей письменной литературе, дошедшей до нас, очевидно, далеко не полностью, то достаточно сослаться хотя бы на нашу летопись, о качествах которой — с точки зрения идейной и литературной — с большим уважением отзывались не только русские, но и иностранные исследователи. Она нисколько не уступает лучшим образцам летописных хроник Византии и Западной Европы, а в некоторых отношениях и превосходит их.

Только высокоодаренный народ мог создать в очень короткое время такие ценности в области словесного, живописного и архитектурного искусства, какие созданы были русским народом уже на заре его культурной жизни. Нет сомнений, что еще в киевский период своей истории русский народ в основном создал свой устный героический эпос, рассказывающий о подвигах богатырей, защищавших родную землю от вражеских нападений и зорко оберегавших ее

границы. Этот эпос — наши былины — в народной памяти прошел через многие века и до сих пор еще живет в памяти сказителей, передающих своим детям и внукам героические предания о прошлом Русской земли.

Нашествия варваров, разорявших и опустошавших древнюю Русь, порой тормозили и замедляли органический рост ее культуры. Так было особенно в пору татарского ига, которое всей своей тяжестью обрушилось на Русскую землю, ходом исторического процесса спасавшую от разгрома и истощения культуру европейского Запада. «России определено было высокое предназначение,— писал Пушкин,— ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу поработленную Русь и возвратились на степи своего Востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией...», и далее, в сноске, Пушкин добавляет: «а не Польшею, как еще недавно утверждали европейские журналы,— но Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна»<sup>3</sup>.

Но «растерзанная и издыхающая» Россия, освободившись от своих поработителей и залечив язвы, причиненные ей чужеземным владычеством, уверенными и твердыми шагами пошла по пути дальнейшего строительства своей органической и мощной культуры. Эта культура еще в XII веке проявила себя созданием гениального «Слова о полку Игореве», которому, как и всему подлинно великому, не страшна «веков завистливая даль» и которое воспринимается нами, через семь с половиной столетий после его создания, во всей его неувядаемой силе и красоте.

---

<sup>3</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений. Гослитиздат, 1936, 4-е изд., т. VI, с. 228.

## О СОСТАВЕ «ЗОЛОТОГО СЛОВА» СВЯТОСЛАВА В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Вопрос о составе «золотого слова» Святослава различно толкуется в литературе о «Слове».

Автор приводит высказывания по этому поводу исследователей и комментаторов «Слова» на протяжении почти 150 лет и приходит к выводу, что нет оснований расширительно толковать объем «золотого слова». В частности, судя по отдельным фразам в обращении к князьям за помощью против половцев, оно не может быть приписано Святославу, а должно считаться принадлежащим самому автору, который в «Слове» неоднократно выступает от своего лица. «Золотое слово» должно быть ограничено той частью текста памятника, в которой содержатся лишь упреки киевского князя Святослава, обращенные к Игорю и Всеволоду.

При таком понимании объема «золотого слова» авторское лицо выступает в «Слове о полку Игореве» еще более рельефно, и гражданский пафос автора и его активное вмешательство в события обнаруживаются особенно явственно.

Вопрос о том, что считать «золотым словом» Святослава, каков его состав и объем, до сих пор остается спорным и по-разному разрешается в специальных и общих работах, посвященных «Слову о полку Игореве». А между тем уяснение этого вопроса тесно связано с разрешением вопроса о композиции памятника, в основном определяемой его жанровой природой. В частности, для выделения и характеристики ораторских элементов стиля «Слова» необходимо установить, какая доля его текста представляет собой прямую авторскую речь, а это зависит, между прочим, от того, что мы будем понимать под «золотым словом» Святослава.

В первопечатном, мусин-пушкинском издании «Слова» (1800 г.) на этот вопрос мы не найдем ясного ответа. С одной стороны, в переводе подлинного текста памятника на современный русский язык там в кавычки взяты лишь слова Святослава, содержащие в себе, в основном, укоры Игорю и Всеволоду, именно, в соответствии со старорусским текстом, от слов «О моя сыновчя, Игорю и Всеволоде!» и кончая словами «на ниче ся години обратиша», так что можно думать, что все дальнейшее, от слов «Се у Римъ кричать подъ

саблями половецкими» вплоть до плача Ярославны, издатели считают авторской речью (в подлинном тексте кавычки всюду отсутствуют). Но, с другой стороны, в предисловии к мусин-пушкинскому изданию «Слова», при изложении его содержания, сказано: «Великий князь киевский Святослав Всеволодович весьма сетовал о племянниках своих Игоре и Всеволоде Святославичах, общественно всеми любимых. Он в горести своей жалуется на свою старость, препятствующую ему выручить их из неволи, и взывает ко всем современным князьям о вспоможении». Следовательно, выходит, что по крайней мере прямое обращение к князьям с просьбой о помощи издатели включают в «золотое слово» Святослава.

В 1805 году А. С. Шишков, переиздавая мусин-пушкинский текст «Слова» в сопровождении своего перевода и обширных примечаний и, видимо, не обратив внимания на сказанное в предисловии к первому изданию, писал в примечании, следующем за словами «на ниче ся години обратиша»:

«Впрочем, не знаю, почему в переложении речь Святослава по сии токмо слова означена двумя точками<sup>1</sup>, чрез что разуметь должно, якобы она на сем месте окончивалась, и что следующее потом есть уже сочинителево повествование. Мне кажется, Святослав не престаёт здесь беседовать с боярами своими. Правда, речь его несколько длинна; но, во-первых, в подлиннике ничто не показывает прерыва оной; во-вторых, она содержит в себе продолжение тех же самых жалоб и взываний, толико приличных во устах Святослава; в-третьих, порядок расположения сей песни кажется быть таковым, что сочинитель, для возбуждения вящшей в сердцах чувствительности, тотчас после Святославовой речи приводит другую жалостную речь, или паче плач жены Игоревой, как мы то ниже сего увидим»<sup>2</sup>.

Таким образом, по мнению Шихкова, «золотое слово» Святослава оканчивается там, где начинается плач Ярославны. Поэтому в своем переводе «Слова» он закрывает кавычки непосредственно перед плачем Ярославны после слов этого перевода «и копя их поют на Дунае».

Карамзин, пересказывая содержание «Слова о полку Игореве» в VII главе третьего тома «Истории Государства Российского», вышедшего в 1816 году, пишет: «Сочинитель молит всех князей соединиться для наказания половцев...

<sup>1</sup> Очевидная обмолвка, вместо «двумя запятыми», т. е. кавычками.

<sup>2</sup> Цитирую по изданию «Собрание сочинений и переводов адмирала Шихкова», Спб., 1826, ч. 7, с. 92.

В тожь время сочинитель оплакивает гибель одного кривского князя, убитого литовцами...» В примечании 262-м к этому же тому читаем:

«Сочинитель именует князей своего времени, Ярослава Галицкого и других, живших в конце XII века. А. С. Шишков в примечаниях на «Слово о полку Игореве» утверждает, что сочинитель не от себя величает сих князей, но именем Святослава: гордый владетель киевский не мог называть их своими господами, или государями, как там сказано...»<sup>3</sup>.

Н. Грамматин, очевидно возражая против сказанного в соответствующем месте предисловия к мусин-пушкинскому изданию и против мнения Шишкова в примечаниях к его изданию «Слова», говорит:

«Перв[ые] изд[атели] и А. С. Шишков думают, что к современным князьям взывает не автор, а киевский великий князь Святослав; но после жалоб сего последнего следует описание происшествий: се у Римъ кричатъ подъ саблями погаными (обмолвка, вместо половецкими.— Н. Г.) и пр. Неужели они скажут, что и это Святослав говорит?».

Далее следует ссылка на приведенное выше соображение Карамзина в его 262-м примечании к третьему тому «Истории Государства Российского»<sup>4</sup>. Кавычки в интересующем нас месте текста «Слова» и его перевода у Грамматина закрыты в соответствии с тем, как это сделано в переводе мусин-пушкинского издания, то-есть после слов «на ниче ся години обратиша». То же и в текстах «Слова», напечатанных Вельтманом (два издания — 1833 и 1866 годов) и Максимовичем (в Журнале Министерства народного просвещения, 1836 и в сборнике «Украинец», кн. 1-я 1859)<sup>5</sup>.

В своем обстоятельно комментированном издании «Слова», вышедшем в 1844 году, Дубенский делает следующее примечание к словам «Ярославнынъ гласъ слышитъ»:

<sup>3</sup> Разрядка всюду Карамзина.

<sup>4</sup> Грамматин Н. «Слово о полку Игоревом» — историческая поэма, писанная в начале XIII века на славенском языке прозою... М., 1823, с. 172—173.

<sup>5</sup> То же в текстах «Слова», напечатанных позднее Н. Гербеком (1854), Я. Малашовым (1871), В. Миллером (1877), Д. Прозоровским (1882), А. Юговым (1945). В изложении содержания «Слова» у Ор. Миллера читаем: «Следует негодующий голос Святослава, а там певец извещает уже о новом нападении половцев на Ромпы, город князя Владимира Глебовича. «Туга и тоска сыну Глебову», вырывается тут у певца, а при виде продолжающегося торжества половцев он начинает взывать к самым могущественным из современных князей...» (Опыт исторического обозрения русской словесности. Спб., 1865, изд. 2-е, ч. 1, вып. 1, с. 369—370),

«Ежели «гласъ» (голос) винительный падеж, то подлежащим действия слышит будет Святослав: все предыдущее воззвание к князьям певец Игорьев, кажется, вложил в уста Святославу... Это мнение г. Шишкова... Карамзин находит его неверным (И.Г.Р., пр. 262): «гордый владетель киевский,— говорит историограф,— не мог их называть своими господами: вступи́та, господина, въ злата стремень... стрѣляй, господине, Кончака», но в таком случае надобно, чтоб тут было прибавлено слово м о и. В этом и состояло искусство сочинителя, что он воззвание свое к князьям — стать за святое дело России — сделал как бы от лица великого князя киевского. Притом господину разве не прилично равного себе называть господином?»<sup>6</sup>

Следовательно, Дубенский, как и Шишков, «золотое слово» Святослава доводит вплоть до плача Ярославны.

Шевырев, касаясь возвания к князьям, писал: «...здесь говорит гражданин-современник, поэт переходит в оратора, поэзия в красноречие. Трудно определить, вложено ли это воззвание в уста Святославу Киевскому или сказано устами самого автора. По летописи можно бы скорее предположить первое. Но эта неопределенность, как мне кажется, имеет свое значение. Как везде лицо творца скрыто за важностью мысли и события, то и самое воззвание его к лицам князей скрыто за лицом важнейшего из державных владетелей тогдашней Руси, которая была сценой событий»<sup>7</sup>.

Убедительным защитником взгляда на состав «золотого слова» Святослава, высказанного Шишковым и поддержанного Дубенским, явился поэт А. Н. Майков, напечатавший свой стихотворный перевод «Слова о полку Игореве» с предварительными замечаниями о памятнике и примечаниями в журнале «Заря» (1870). В примечании к строке этого перевода «Розно копя петь пошли по рекам» («копѣя поють на Дунаи» — в подлиннике) Майков писал: «Здесь оканчивается «злато слово слезами смешено» старца Святослава. Так его понимали все первые издатели, переводчики и толкователи. Но впоследствии времени вздумали его укорачивать и ограничили одним приступом... Такое урезание речи Святослава есть существенная порча памятника. Началось оно, кажется, вследствие сомнения Карамзина, который находил неприличным достоинству великого князя обращение

<sup>6</sup> Дубенский Д. «Слово о полку Игореве Святослава пестворца старого времени, объясненное по древним письменным памятникам». Русские достопамятности, ч. III. М., 1844, с. 210—211.

<sup>7</sup> Шевырев С. История русской словесности, преимущественно древней, вып. 2-й. М., 1846, с. 293.

к другим князьям со словом господин... Но сомнение это нельзя было принять серьезно; во-первых, такое ли значение в XII веке имело слово «господин», как, например, при Иоанне III, в его прениях с новгородцами? Может быть, это была обыкновенная форма учтивости между князьями. Во всяком случае гораздо важнее слова самого певца: он торжественно открывает речь Святослава, назвав ее златым словом, со слезами смешанным. Где ж эти золотые слова? В том, что оставляют за Святославом, не более как жалоба на Всеволода и Игоря, да сетование на свою старость. Воззвание же проникнуто тем духом любви к Русской земле, чувством народного единства, в чем и есть задушевная мысль певца, его идеал того, что бы должно делать князьям и чего они не делают. Это-то воззвание и можно назвать золотым словом, слезами окропленным, и все оно логически вытекает из капитальной мысли: князья мне не помога! Непонятно, как С. П. Шевырев, обладавший таким поэтическим тактом, настаивает, что все равно, от лица ли Святослава это воззвание или от лица певца. Совершенно не все равно! Если мы возвратим эти слова Святославу, то посмотрите, что за величественный, Приамовский образ выходит из этого старца! Подобное то раздробление слова на множество отдельных мест и особенных глав, сделанное в первый раз, кажется, Сахаровым <sup>8</sup>, и обратило этот цельный поэтический памятник в простой сбор красивых выражений, повторений, без всякой органической связи! Это были жемчуг и камни, вырванные из драгоценного оклада; картина пропала; поставьте их на место, и все получит смысл».

В приписке к этому примечанию, сделанной в 1888 году, Майков заметил: «С гордостью могу добавить, что в открытых недавно опытах перевода «Слова о полку Игореве» Жуковского и Пушкина все это место, т. е. речь Святослава, понято ими совершенно так же, как мною» <sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Это сделано было впервые Максимовичем. Судя по делению «Слова» на песни, принятому Сахаровым, и по расстановке кавычек, Сахаров считал, что «золотое слово» Святослава кончается словами «не дасть гнѣзда своего въ обиду». См. текст «Слова» в его изданиях «Песни русского народа», ч. V. Спб., 1839, и «Сказания русского народа». Спб., изд. 3-е, 1841, т. 1.

<sup>9</sup> Примечание и приписку к нему цитирую по изданию «Полное собрание сочинений А. Н. Майкова», изд. 7-е. Спб., 1901, т. 2, с. 556—557. Как известно, Пушкин самостоятельно «Слова о полку Игореве» не переводил, а лишь сделал замечания и поправки к переводу Жуковского. Точку зрения Дубенского и А. Майкова на объем «золотого слова» поддерживал проф. И. Порфирьев, судя по его пересказу содержания «Слова о полку Игореве» в его «Истории русской словесности», ч. 1, изд. 6-е, Казань, 1897, с. 427—428. В последнее время ее поддержал В. Ф. Ржица в статье «Композиция Слова о полку Игореве».



В 1875 году вышли в свет обширные «Замечания на Слово о полку Игореве» П. П. Вяземского, а через два года его же «Исследование о вариантах «Слова». В обеих своих работах Вяземский в тексте, который он относит к «золотому слову» Святослава, предлагает сделать существенные перестановки, находя этот текст спутанным. Он полагает, что, несмотря на то, что слово Святослава и было смешано со слезами, запутанность его речи произошла, вероятно, вследствие ветхости рукописи. Приведя слова: «О моя сыновчя, Игорю и Всеволоде, рано еста начала Половецкую землю мечи цвѣлити, а себѣ славы искати», он пишет: «Этими словами начинается воззвание Святослава, но где оно кончается, решить трудно. А. Н. Майков негодует на разделение возвания к князьям: на речь Святослава и на повествование самого певца» («Замечания», с. 281).

Слова «А уже не вижду власти сильного и богатаго и многовои брата моего Ярослава», кончая «звонячи въ прадѣдную славу», Вяземский считает стоящими логически не на месте. В одном случае («Замечания», с. 282 и 286) он полагает, что они должны были бы находиться непосредственно перед возванием к Всеволоду, в другом («Исследование о вариантах», с. 207) — думает, что «по смыслу и для грамматической связи это вставочное сетование должно было бы быть перенесено вслед за словами: «нѣ рекосте: мужаимѣся сами» и т. д. Впрочем, в обоих случаях он не настаивает на этой перестановке, допуская, что «подобная сбивчивость речи, может быть, свойственна престарелому и сильно огорченному Святославу» («Замечания», с. 282), и в своей реконструкции текста «Слова» оставляет упоминание о Ярославе на его обычном месте.

Далее, по Вяземскому, «золотое слово» Святослава продолжается возванием к Всеволоду III, Рюрику и Давыду и Ярославу Осмомыслу. Вслед за тем, что Вяземский считает дальнейшим развитием «золотого слова», он делает радикальные перестановки. За возванием к Ярославу Осмомыслу он почему-то предлагает поместить отрывок «Уже бо Сула не течеть стребреными струями», кончая «Трубы трубятъ городеньскіи», причем последняя фраза переносится к началу отрывка на том основании, что слова «Трубы трубятъ городеньскіи» якобы совершенно не уместны вслед за

---

ве» («Slavia», 1925, IV/1, с. 55—57). Это нашло отражение и в тексте «Слова», напечатанном под редакцией В. Ф. Ржиги и С. К. Шамбинаго в издании «Academia», 1934. Тут кавычки, открытые при начале «золотого слова», закрыты после слов «копѣя поють», то есть перед плачем Ярославны,

упоминанием о кончине Изяслава. Далее у Вяземского идет обращение к Роману и Мстиславу, но тут после слов «подъ тыи мечи харалужный» добавляются слова «непобѣдными жребіи себѣ власти расхытите», кончая «за раны Игоревы, буюго Святъславлича», следующие в мусин-пушкинском тексте за словами: «Олговичи храбрыи князи доспѣли на брань. Ингварь и Всеволодъ и вси три Мстиславичи, не худа гнѣзда шестокрылци». Делается это по тем соображениям, что якобы странно было бы упрекать тех князей, которые как раз поспели на защиту, но при этом не принимается во внимание, что слова «доспѣли на брань» относятся к Ольговичам, а не к Мстиславичам, которым и адресованы в данном случае упреки. После этого у Вяземского следуют слова: «Нѣ уже, княже, Игорю утрпѣ солнцю свѣтъ» кончая: «А Игорева храбраго пълку не крѣсити».

На этом, по Вяземскому, заканчивается «золотое слово» Святослава, после чего идет речь автора, начинающаяся словами: «Донѣ ти, княже, кличетъ и зоветъ князи на побѣду». «Речь Дона и исторические и баснословные воспоминания,— говорит Вяземский,— очевидно, не принадлежат к воззванию и в устах мудрого князя были бы неуместным пафосом... Слишком долгое продолжение воззвания Святослава нарушает внутреннее чувство читателя по несогласию своему с серьезным, строгим тоном всей песни» («Замечания», с. 300—301). Вновь говоря о перепутанности текста «золотого слова», Вяземский тут объясняет ее уже то намеренным искажением этого текста древними переписчиками или певцами из-за личных расчетов или чтобы не оскорбить слушателей («Замечания», с. 302), то перепутанностью листов рукописи («Замечания», с. 301; «Исследование о вариантах», с. 208—209).

В 1876 году вышло комментированное издание «Слова» О. Огоновского. Судя по тому, как Огоновский разделил «Слово» на части и как расставил кавычки в тексте «Слова» и в его переводе, «золотое слово», по его мнению, заканчивается словами «Туга и тоска сыну Глѣбову». Вслед за Вяземским он не везде в речи Святослава находит логическую связь и объясняет это тем, что старый князь в тяжелой печали не в состоянии был в правильной форме выразить свои мысли. Комментируя далее авторское, как утверждает Огоновский, обращение к князьям, он делает замечания, которые не вполне совпадают в определении объема «золотого слова» с тем, как оно выделено им в тексте и в переводе. Он пишет: «Упомянув о Владимире Глебовиче, поэт обращается с очень оживленным словом к Всеволоду III Юрьевичу, князю владимирскому (Глеб, отец Владимира,

был братом Всеволода)... Автор «Слова» как бы напоминает Всеволоду, что Переяславщина, вотчина князей владимирских, разорена теперь половцами и что князь ее под ранами»<sup>10</sup>.

Таким образом, судя по комментарию, «золотое слово», как и в тексте первых издателей, заканчивается, по Огоновскому, словами «на ниче ся години обратиша», а следующая фраза — «Се у Римъ кричатъ подъ саблями половецкими» и т. д. — произносится уже от лица автора.

В своей книге о «Слове о полку Игореве», вышедшей в 1878 году, А. А. Потебня, поделив текст «Слова» на девятнадцать частей, десятую часть целиком отводит «золотому слову», закрывая кавычки после слов «Туга и тоска сыну Глѣбову», то есть в согласии с текстом (но не комментарием) Огоновского. То, что слова «Се у Римъ» и т. д., по мнению Потебни, принадлежат Святославу, подчеркивается еще тем, что они отделены от предшествующих слов («на ниче ся години обратиша») двоеточием. Комментируя воззвание к князьям, Потебня говорит: «...нет никаких доказательств, что автор влагает это воззвание в уста Святослава, а не говорит безлично. Это только вероятность»<sup>11</sup>.

С Потебней в определении «золотого слова» сходится и П. В. Владимиров. Изложив содержание первой половины «Слова о полку Игореве», он продолжает: «Следует длинное золотое слово Великого (князя) Святослава с упреком к пораженным князьям, с воспоминанием о Ярославe Черниговском, как помощнике. И далее продолжается как будто речь в. кн. Святослава, с обращением к современным князьям, с призывом отомстить за раны Игоревы. Но в сущности это уже слова самого автора песни Игорю, потому что в конце, перед плачем Ярославны, вспоминается Боян с своей припевкой Всеславу Полоцкому. По всей вероятности, речь автора «Слова» начинается с обращения к великому князю Всеволоду»<sup>12</sup>.

Более обстоятельно аргументированные соображения о составе «золотого слова» в том его объеме, который установлен Потебней, и с использованием доводов Карамзина, мы находим у В. В. Каллаша. Он пишет: «Речь бояр закончена — они исполнили свою роль — разъяснили сон. Перед нами Святослав роняет «злато слово слезами смѣшено». Он

---

<sup>10</sup> Огоновский О. «Слово о полку Игореве». Пестичний пам'ятник руської письменності XII віку, Львов, 1876, с. 92.

<sup>11</sup> Потебня А. А. «Слово о полку Игореве». Текст и примечания. Воронеж, 1878, с. 108.

<sup>12</sup> Владимиров П. В. Древняя русская литература киевского периода XI—XIII веков. Киев, 1900, с. 302.

не надеется помолодеть, он мало рассчитывает на князей, которые, по словам летописи, часто отговаривались от походов усталостью и нежеланием воинов идти слишком далеко, вяло относились к самой идее отмщения и пр. «На ниче ся години обратиша!». Игорь в плену, «се у Римъ кричатъ подъ саблями половецкими, а Володимиръ подъ ранами. Туга и тоска сыну Глѣбову!». Всем надо помочь, а Святослав уже не видит «власти сильнаго и богатаго и многовога» брата своего Ярослава, князья же ему «не пособіе». Приходится отдавать гнездо свое в обиду! При виде изнемогающего и отчаивающегося князя у поэта невольно вырывается ряд восклицаний и обращений к князьям, на которых мог и должен был рассчитывать Святослав... Не думаем, чтобы старик и великий князь мог обращаться к другим князьям, большею частью молодым и подручным, со словом «господи», которое указывало на зависимость. Вряд ли Святослав мог приглашать Всеволода «поблюсти отня злата стола», т. е. Киев, из-за которого еще незадолго до этого кипела борьба между северными и южными князьями, и подчеркивать то, что Ярослав Галицкий открывает «Кіеву врата». Такие выражения могли только сорваться у увлекшегося своею симпатичною освободительною целью дружинника... Речи бояр и Святослава вполне закончены. Если бы обращения принадлежали кому-нибудь из них, автор «Слова» непременно дал бы в начале общее указание на говорящее лицо, что он делает во всех других местах. Речь бояр отделена от этих обращений «золотым словом» Святослава. Затем обращения незаметно переходят в несомненную речь самого поэта. Они, кроме того, тесно примыкают по идее к горькому напоминанию о «первых князьях», которые заставляет стонать русскую землю: в них поэт видит образец современных князей»<sup>13</sup>.

Так же, как Потебня, Владимиров и Каллаш, объем «золотого слова» представляет себе и В. Н. Перетц. Разделяя «Слово о полку Игореве» на части, «золотое слово» он заканчивает словами «Туга и тоска сыну Глѣбову»<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Каллаш В. В. Несколько догадок и соображений по поводу «Слова о полку Игореве». Юбилейный сборник в честь В. Ф. Маллера. М., 1900, с. 345—346.

<sup>14</sup> Перетц В. Н. «Слово о полку Игоревім». Пам'ятка феодальної України — Русі XII віку». Киев, 1926, с. 115, 273. Такое же представление об объеме «золотого слова» и в изданиях, переводах и исследованиях «Слова о полку Игореве» Петрушевича (1887), Щурата (1907), Бирчака (1910), Л. А. Мея (1850), М. С. Грушевского (1923), Янки Купалы (1938). См. также: Бугославский С. А. «Слово о полку Игореве», Историко-литературный очерк. М., 1938, с. 14.

Из числа исследователей, которые в обращении Святослава к князьям видели не только продолжение, но и основную по своему внутреннему значению часть его «золотого слова» и не усматривали «ничего особенного» в предшествующих укорах Святослава Игорю и Всеволоду и в его жалобах следует иметь в виду прежде всего высказывания в этом смысле Барсова, который находил, что эти укору и жалобы Святослава, как выражение его личного горя, «не делают еще его слово столь ценным, чтобы можно было достойно назвать его з о л о т ы м». «Гораздо выше по своему внутреннему значению,— пишет Барсов,— стоит дальнейший отдел, в котором содержится воззвание ко всем прочим князьям и призыв их вступить за землю Русскую, за раны Игоревы. Именно это-то обращение ко всем прочим князьям — соединиться воедино для отмщения обиды земли Русской, за раны одного из них, вполне достойно великого князя в Киеве на горах, и оно-то именно делает слово его словом з о л о т ы м. Тот и другой отделы внутренне связаны между собою и лишь в своем целом представляют Золотое Слово Святослава».

Ниже, возражая Карамзину, ограничивающему «золотое слово» лишь упреками Святослава Игорю и Всеволоду, Барсов говорит:

«Но в означенных упреках нет ни особенно золотых слов, ни золотых мыслей. Святослав не мог ограничиться одними горькими сожалениями о несчастьях Игоря и Киевской Руси и столь же горькими разочарованиями в собственной силе. Воззвание его к князьям о помощи имеет, говорим, такую внутреннюю связь с предыдущим, что лишь в нем сосредоточено и им завершается Золотое его слово. Художественный такт автора не мог назвать золотым словом одних упреков и разочарований в устах Святослава. Золотое слово, как и сон Святослава, есть только творческий литературный прием для выражения политических дум самого автора, и потому для него не представлялось надобности отделять воззвание к князьям о помощи от предыдущей речи Святослава».

По мнению Барсова, «золотое слово» Святослава оканчивается обращением к Ингварю, Всеволоду и всем трем Мстиславичам, сопровождаемым в третий раз повторенной концовкой «за землю Рускую, за раны Игоревы, буюго Святиславлича», то есть перед словами «Уже бо Сула не течет сребренными струями къ граду Переяславлю». «Здесь, на наш взгляд,— заключает Барсов,— оканчивается «золотое слово»,

вложенное в уста Святослава, и затем начинаются рассуждения автора от своего лица»<sup>15</sup>.

Еще до Барсова в таких же точно пределах мыслил себе «золотое слово» и М. А. Андриевский, если судить по расстановке им кавычек в соответствующей части текста «Слова о полку Игореве», приведенного им в его исследовании<sup>16</sup>. Впоследствии в определении объема «золотого слова» с Барсовым сошелся С. К. Шамбинаго, как это видно из его членения текста перевода «Слова о полку Игореве» и комментариев в редактированном им издании памятника<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> Барсов Е. В. «Слово о полку Игореве» как художественный памятник Киевской дружинной Руси. М., 1887, т. 2, с. 45, 47, 55. Разрядка всюду автора.

<sup>16</sup> Андриевский М. А. Исследование текста песни Игорю Святославичу. Екатеринослав, 1879, ч. 1, с. 93—96.

<sup>17</sup> «Слово о полку Игореве». Редакция, перевод и объяснения С. К. Шамбинаго. М., 1917, с. 36—93, 48, 64—66. См. еще статью С. К. Шамбинаго о «Слове» в «Истории русской литературы до XIX века» под редакцией А. Е. Грузинского. М., 1916, т. 1, с. 180, и его же статью в издании «Слова о полку Игореве» издательства «Academia», 1934, с. 190.

Также определяют объем «золотого слова» М. С. Возняк (Исторія української літератури. Львов, 1920, т. 1, с. 233—234), видимо, А. И. Лященко (Этюды о «Слове о полку Игореве», ИОРЯС, 1926, т. XXXI, с. 143, 145, 158) и новейшие переводчики «Слова» стихотворным размером — С. Басов-Верхоянцев и М. Тарловский (см. «Слово о полку Игореве», изд. «Советский писатель», 1938, с. 275—279 и 299—302). Также определял его объем и автор настоящей статьи в двух изданиях своего учебника и в трех изданиях хрестоматии по истории древней русской литературы, а также в некоторых других своих работах, посвященных «Слову». Считая теперь ошибочным, как показано будет ниже, такое определение, автор отдался от него в третьем издании учебника и в готовящемся четвертом издании хрестоматии.

Заметим кстати, что и у других авторов мы встречаем колебания по вопросу о том, что считать «золотым словом». Так, В. А. Келтуяла в своем «Кратком курсе истории русской литературы», ч. I, вып. 1, с. 258—259, излагая содержание «Слова», сопровождает это изложение, между прочим, такими рубриками: «Золотое слово Святослава» и «Воззвание автора к современным русским князьям». Под второй рубрикой у него сказано: «Изложив «золотое слово» Святослава, автор обращается к наиболее могучим из современных ему русских князей... прося их объединиться против половцев». В полном курсе, ч. I, кн. 1, изд. 2-е, 1913, Келтуяла, как и Барсов, воззвание к князьям считает речью Святослава. Здесь под рубрикой «Воззвание Святослава к князьям о помощи» читаем: «Сказав свое «золотое слово», Святослав обращается с воззванием к наиболее могучим из современных ему князей, прося их объединиться против половцев» (с. 738). Наконец, в своем комментированном издании текста «Слова о полку Игореве» (Дешевая библиотека классиков. Школьная серия, изд. 3-е, Госиздат, 1930) он «золотое слово» Святослава доводит вплоть до плача Ярославны, что явствует из расстановки кавычек в тексте «Слова» и его перевода и особенно из анализа композиции «Слова», где к «золотому слову» отнесено все, начиная от укоров Святослава

А. В. Лонгинов в своей работе о «Слове о полку Игореве» (1892) на долю «золотого слова» Святослава относит лишь текст, оканчивающийся словами «преднюю славу сами похитимъ, а заднюю ся сами подѣлимъ». Далее, по Лонгинову, певец уже от себя говорит Святославу, что старому князю не трудно помолодиться, когда грозит опасность его гнезду, а затем, согласно конъектуре Лонгинова, утешает князя словами: «Нъ се зло, княже, минѣ, пособие на ниче (ни к чему), ся години обратиша», после чего, вслед за упоминанием о Римове и о ранах Владимира Глебовича, идет обращение певца к князьям за помощью, напоминающее Лонгинову отчасти «сходные песенные призывы провансальских трубадуров к крестовым походам»<sup>18</sup>.

Игорю и Всеволоду, продолжая рассказом о полоцких князьях и кончая упоминанием о старом Владимире, которого нельзя было пригвоздить к киевским горам (с. 96—97).

Неясно также, как определяет состав «золотого слова» и А. С. Орлов. В его издании «Слова о полку Игореве» (Научно-популярная серия Академии наук СССР, 1938 и 1946 гг.) в тексте памятника кавычки, открывающиеся в начале «золотого слова», закрываются после слов «копѣа поют», и таким образом можно думать, что «золотое слово» доводится до плача Ярославны (в переводе кавычки не закрыты). Но во вступительной части книги после цитаты, кончающейся словами: «Нъ се зло, княже, ми непособие» сказано: «Здесь кончается беседа Святослава с боярами, его «золотое слово», включающее и скрытый упрек Ярославу черниговскому, не в полной мере участвовавшему в походе Игоря, и указание на бедствия города Римова и переяславского князя Владимира, испытавших нашествие половцев после поражения Игоря. Как бы из уст Святослава идут далее обращения во все стороны Руси со словами пламенного призыва князей «поблоти» золотой стол киевский, выступить за «обиду сего времени», «за землю Русскую, за раны Игоревы, буюго Святославлича» (с. 34). В книге того же автора «Древняя русская литература XI—XVII веков» (1945) после изложения «золотого слова» Святослава говорится: «Автор обращается с воззванием к разным князьям, зовя их защитить Русскую землю и отомстить «за раны Игоревы, буйного Святославлича» и далее: «Обращаясь к князьям полоцким, автор «Слова» осыпает их упреками за утрату славы их деда, Всеслава, и вспоминает подвиги самого Всеслава...» (с. 121).

<sup>18</sup> Лонгинов А. В. Историческое исследование сказания о походе северского князя Игоря Святославича на половцев в 1185 г. Одесса, 1892, с. 199—202. То же и в книге его «Слово о полку Игореве». Пособие для учителей. Одесса, 1911, с. 59—60. Судя по расстановке кавычек и по делению текста «Слова» на абзацы, словами «преднюю славу сами похитимъ, а заднюю ся сами подѣлимъ» «золотое слово» ограничивал и Тихонравов (см. оба его издания текста «Слова о полку Игореве», 1866 и 1868 годов). Заметим кстати, что и в переводе «Слова» XVIII века, сохранившемся в рукописи из архива кн. Белосельских-Белозерских, кавычками выделены как «золотое слово» лишь строки, оканчивающиеся в подлиннике словами «а заднюю ся сами подѣлимъ» (См. Ильинский Л. К. Перевод «Слова о полку Игореве» по рукописи XVIII века. Пам. древн. письмен. и иск., CLXXXIX, Пгр., 1920, с. 71—72).

Догадку Лонгинова в известной мере принял Д. В. Айналов. Слова «А чи диво ся, братіе... не дасть гнѣзда своего въ обиду» он относит к «золотому слову» Святослава, но идущие вслед затем слова считает ответом дружины князю, причем предлагает такую конъектуру: «Но се зло, княже, мнѣть по собѣ» (то есть само по себе). Видимо, продолжением «золотого слова» Святослава Айналов считал обращение к князьям, но слова «Нъ уже, княже, Игорю утрпѣ солнцю свѣтъ», очевидно, кончая «Олговичи, храбрыи князи, доспѣли на брань» — он также считал речью дружины<sup>19</sup>.

Г. П. Шторм «золотое слово» Святослава доводит до слов «На седьмомъ вѣцѣ Трояни врѣже Всеславъ жребій о дѣвицу себѣ любу», очевидно на том основании, что этим словам предшествует обращение к Ярославу и всем внукам Всеславовым, внутренне как бы связанное с обращением к другим князьям, которое Г. П. Шторм относит к «золотому слову». Но при этом он выделяет из «золотого слова» строки «Нъ уже, княже, Игорю утрпѣ солнцю свѣтъ... Олговичи, храбрыи князи, доспѣли на брань» и «Уже бо Сула не течетъ сребреными струями... Трубы трубятъ городеньскіи», полагая, что это два перебивающие «золотое слово» отступления певца<sup>20</sup>.

Основное положение исследования о «Слове о полку Игореве» Е. А. Ляцкого (вышло в 1934 году) состоит в том, что «Слово» было составлено своего рода художником-композитором, объединившим в одно целое отдельные песенные произведения, создававшиеся различными авторами и притом разновременно. По предположению Ляцкого, переписчики первоначальной редакции памятника, бывшие одновременно и новыми редакторами его текста, подвергали этот текст переработкам и переместили, а кое-где и перепутали его, нарушив тем самым первоначальную его историческую последовательность.

Это соображение дает Ляцкому основание самому делать в тексте исправления и перестановки, необходимые, с его точки зрения, для восстановления нарушенной исторической и логической последовательности в развитии повествования в «Слове». В определении крайних границ «золотого слова» Святослава Ляцкий сходится с Барсовым, то есть заканчи-

---

<sup>19</sup> Айналов Д. В. Сон Святослава в «Слове о полку Игореве». Известия по русскому языку и словесности Академии наук СССР, 1928, т. 1, с. 481—482.

<sup>20</sup> «Слово о полку Игореве». Вступительная статья, перевод и примечания Георгия Шторма (Школьная серия классиков). Детгиз, 1934, с. 86, 87. См. также примечания к его переводу «Слова» в изд. «Academia», с. 152.



вает его третьим рефреном — «за землю Рускую, за раны Игоревы, буего Святъславлича», но внутри этих границ делает перестановки и переносы из других частей «Слова» и в другие его части. Так, прежде всего, вслед за Вяземским, строки, относящиеся к Ярославу черниговскому («А уже не вижду власти сильнаго и богатаго и многовои брата моего Ярослава... звонячи въ прадѣдную славу»), он ставит непосредственно перед обращением к Всеволоду III, считая их вообще началом обращения Святослава к князьям. Мотивирует эту перестановку Ляцкий тем, что в контексте речи, всецело обращенной к новгород-северским князьям, совершенно непонятны укоры Ярославу черниговскому, не совершившему перед тем никакого преступного деяния, хотя из контекста явствует, что и в данном случае упрек обращен не столько к Ярославу, сколько к Игорю и Всеволоду, не сумевшим заручиться помощью Ярослава. Затем Ляцкий переставляет строки «Нъ рекосте: мужаимъ ся сами... сами подѣлимъ» и «Се ли створисте моей сребренией сѣдинѣ», так как, по характеру и смыслу укоризненной строфы, последние строки должны явиться «эффектным завершением, психологической и в то же время высоко художественной концовкой». Далее, вслед за Потемной, Ляцкий, считая предшествующие в подлиннике плачу Ярославны слова «О, стонати Руской земли... копіа поють» стоящими не на месте, переносит их в «золотое слово» и ставит после слов «Туга и тоска сыну Глѣбову», а на место их передвигает слова «Нъ уже, княже, Игорю утрпѣ солнцю свѣтъ... Олговичи, храбрыи князи, доспѣли на брань». «Эти стихи,— говорит Ляцкий,— представляют собой явную бессмыслицу на том месте, где мы их находим в тексте 1800 года; здесь они вклиниваются между строфами, заключающими в себе мольбу о помощи. Если их оставить на старом месте, то выходит, что автор, еще не закончив текста обращения, сообщает, что Ольговичи «уже доспели на брань». Смысл этих строк, по мнению Ляцкого, в том, что Дон, бывший свидетелем поражения, зовет теперь находящегося в плену Игоря на победу, потому что появились надежды на выступление Ольговичей, и пора было и Игорю принять участие в военных действиях, готовившихся Святославом против половцев<sup>21</sup>.

В определении крайних границ «золотого слова» сходится с Барсовым и И. А. Новиков в своем переводе «Слова о полку Игореве» и в комментарии к этому переводу. Но и он,

---

<sup>21</sup> Ляцкий Е. Слово о полку Игореве. Повесть о князьях Игоре, Святославе и исторических судьбах Русской земли. Прага, 1934, с. 61—65.

как и Потебня, Шторм и Ляцкий, полагает, что слова «Нъ уже, княже... доспѣли на брань» не принадлежат Святославу, однако, как и Шторм, не считает нужным передвигать их куда-либо. Он пишет: «Все это место выпадает из «злата слова» Святослава, и не только потому, что обращение это адресуется не к двум князьям, а уже к одному (как обычно думают, к Роману), а и по всему общему тону. Однако же и предположение, что эти строки попали при переписке «Слова» не на свое место, также излишне. Все стоит на месте. Мы полагаем, что это обращение бояр к Святославу. Они уже довольно были безмолвны и, наконец, подали реплику, продолжая следовать своему общему тону. Самое начало обоих выступлений однотипно: «Уже княже» и «Нъ уже, княже», и как прежде они говорили: «Два солнца померкли», так и теперь повторяют: «померкнул для Игоря солнечный свет». Дерево, роняющее листву «не по доброй воле своей», — образное выражение нового нашествия половцев, подобно тому, как в первой своей реплике, говоря о том же самом, они уподобляли половцев барсовой стае. Следуя за мыслью Святослава в начале его речи (он упоминал о разгроме русских у города Римова и о раненом князе Владимире Глебовиче), так же говорят и они о потере целого ряда русских городов, облетевших, как листва с дерева»<sup>22</sup>.

Как видим, в определении состава и границ «золотого слова» Святослава существует значительное количество разнообразных мнений. В отдельных случаях мы имеем дело не только с расширением или сужением традиционного первопечатного текста, мыслимого как «золотое слово», но и с перестановками внутри его, с исключениями из него отдельных строк и с добавлениями из других частей мусий-пушкинского текста «Слова о полку Игореве».

Прежде чем разобраться в высказанных на этот счет мнениях и прежде чем установить собственную точку зрения, следует коснуться вопроса о том, как нужно и можно трактовать самое выражение «золотое слово». И Майков, доведивший его до плача Ярославны, и Барсов, заканчивавший его воззванием ко всем трем Мстиславичам, сопровождаемым в третий раз повторенным рефреном «за землю Рускую, за раны Игоревы, буего Святъславлича», исходили из абстрактных соображений о том, каково должно было быть слово Святослава, чтобы его действительно можно было назвать золотым. В сущности, оба они руководствовались

---

<sup>22</sup> «Слово о полку Игореве». Перевод, предисловие и пояснения Ивана Новикова. М., 1938, с. 141—142. Его же. «Слово о полку Игореве» и его автор. М., 1938, с. 43, 59, 62.

при этом своими субъективными взглядами на то, что можно и чего нельзя сопроводить эпитетом «золотой», всерьез при этом навязывая свои оценки и той эпохе, к которой относится создание «Слова о полку Игореве». Едва ли нужно доказывать ошибочность и произвольность утверждения, что автор «Слова о полку Игореве» мог назвать слово Святослава «золотым» только в том случае, если оно по своему содержанию и объему было именно таким, каким представляли его себе Майков или Барсов, что в одних лишь упреках Святослава Игорю и Всеволоду нет, как думает Барсов, «ни особенно золотых слов, ни золотых мыслей». Такого рода вкусовые оценки, лишенные всякой историчности и основывающиеся на том, что простому стилевому украшению придается определенное смысловое значение, подсказанное взглядами на вещи человека нового времени,— явно несостоятельны.

Почему, спрашивается, слово Святослава, содержащее в себе только упреки Игорю и Всеволоду и вместе с тем указывающее основную причину бедствий Руси в княжеских несогласиях, не могло быть названо автором «золотым словом», раз оно действительно затрагивает самые животрепещущие и злободневные вопросы тогдашней политической современности? Не забудем, кроме того, что автор «Слова» вообще довольно щедр в употреблении эпитета «злат» и производных от него. Кроме «златого слова» в «Слове о полку Игореве» идет речь о златом столе (5 раз), о златом стремени (3 раза), златых шеломах (2 раза), златом седле, златом ожерелии, злаченных шеломах, злаченных стрелах, златоканном столе, златоверхом тереме. Все это, конечно, прежде всего украшающие эпитеты. Что же касается специально Святослава «злата слова», то сопровождение его этим эпитетом диктовалось, разумеется, в первую очередь общим апологетическим отношением автора к Святославу, которое и давало повод к тому, чтобы всякое слово князя, содержащее в себе обращение, называть золотым.

Переходя к вопросу об объеме «золотого слова», можно с полной уверенностью сказать, что оно никак не могло длиться до плача Ярославны, как полагали Шишков, Дубенский, А. Майков и некоторые другие позднейшие исследователи. Уже Шишков, говоря о речи Святослава, как он ее толковал, заметил, что она «несколько длинна». Конечно, не «несколько длинна», а слишком длинна и потому уже, если прибегать к вкусовым оценкам в духе Майкова и Барсова, не могла бы быть названа «золотым словом». Обширность такого слова, если бы оно сплошь принадлежало Святославу, ослабляла бы его эмоциональную действенность и

его лирический пафос. В «Слове» сказано, что Святослав «изрони злато слово». Глагол «изронить» предполагает, естественно, короткую речь, так как только ее, а не целый исторический экскурс, вмещающий в себе и воззвание к князьям и картину междукняжеских отношений в настоящем и в прошлом, можно «изронить», то есть произнести как бы мимоходом, в качестве реплики.

Совершенно уже очевидно, что все, что говорится в «Слове» о Всеславе полоцком (начиная от слов «На седьмомъ вѣцѣ Трояни», кончая «суда божіа не минути») не могло входить в «золотое слово» Святослава не только потому, что весь этот эпизод имеет сугубо повествовательный характер и совершенно не содержит в себе признаков обращения или возвания, что только и могло составлять «золотое слово», но и потому, что включает в себе, как на это уже обратил внимание П. В. Владимиров, припевку Бояна, которую мог привести автор, только говоря от себя.

Перенесение Ляцким, вслед за Потемней, отрывка «О, стонати Руской, земли... копіа поють», предшествующего плачу Ярославны, в «золотое слово» — чистейший произвол, не оправданный ни смысловыми требованиями, ни — тем более — текстологическими соображениями. Вообще тенденция к перестановкам и перетасовкам текста «Слова», как и любого другого художественного текста, должна быть всячески ограничена, и попытки в этом направлении, сделанные Вяземским, Потемней, Прозоровским, Ляцким и другими, должны быть безусловно осуждены. Отдельные перестановки в основном допустимы лишь в тех исключительных случаях, когда мы можем предполагать путаницу отдельных листов рукописи и когда переставляемые строки могут по нашим расчетам сплошь занять лист, случайно попавший не на свое место (такую именно убедительную перестановку в начале текста «Слова» предлагали А. И. Соболевский и В. Н. Перетц).

Непосредственно перед эпизодом о Всеславе полоцком идет обращение к Ярославу и всем внукам Всеславовым. По своему характеру оно могло бы составить часть «золотого слова» Святослава, если считать, что обращения к Всеволоду III, Рюрику и Давыду, Ярославу Осмомыслу и другим князьям также входят в состав «золотого слова». Но от предшествующего обращения ко всем трем Мстиславичам это обращение отделяется опять-таки чисто повествовательным экскурсом («Уже бо Сула не течеть сребреными струями... трубы трубятъ городеньскіи»), в котором говорится о полоцких князьях, внуках Всеслава. Мы уже видели, что Г. П. Шторм, доводящий «золотое слово» до упоминания о

Всеславе полоцком, выделяет этот экскурс из речи Святослава, считая его репликой певца, как и отрывок «Нъ уже, княже, Игорю утрпѣ солнцю свѣтъ... Олговичи, храбрыи князи, доспѣли на брань». Последний отрывок выделяет из «золотого слова», как реплику бояр, и И. А. Новиков.

Однако, нет никаких оснований в обоих случаях предполагать наличие в тексте «Слова» диалогической речи. Во-первых, рассказ о Всеславе полоцком продолжает рассказ о полоцких князьях, его внуках, рассказ, в котором обращение к Ярославу и всем внукам Всеславовым, понимаемое Штормом как возобновление «золотого слова» Святослава, органически слито со всем экскурсом о полоцких князьях, во-вторых, в тексте «Слова» автор во всех случаях, как правильно подметил Каллаш, прямо указывает на говорящие лица, а не просто чередует их реплики, предоставляя самому читателю или слушателю догадываться, кто говорит. В «Слове» читаем: «И рече Игорь къ дружинѣ своей», «Хочу бо,— рече» (Игорь), «И рече ему буй тур Всеволодъ», «Си ночь съ вечера одѣвахуть мя,— рече» (Святослав), «И ркоша бояре князю», «Тогда великій Святославъ изрони злато слово», «и схоти ю на кровать и рекъ» (Изяслав), «Тому вѣщей Боянъ и прѣвое припѣвку смысленый рече», «Ярославнынъ гласъ ся слышитъ», «Полечю,— рече (Ярославна),— зегзицею», «Ярославна рано плачетъ... а ркучи» (повторяется трижды), «Донецъ рече», «Игорь рече», «Не тако ли,— рече» (Игорь), «Млѣвить Гзакъ Кончакови», «Рекъ Боянъ и ходы».

Все эти пояснения автора не оставляют сомнения в том, что он каждый раз точно указывает, кому принадлежит та или иная речь или реплика; там же, где такого указания нет, естественно понимать, что автор говорит сам от себя.

Нам остается теперь решить вопрос, следует ли к «золотому слову» Святослава относить обращение к князьям, начиная от обращения к Всеволоду III и кончая обращением к Мстиславичам, сопровождаемым в третий раз повторенным рефреном «за землю Рускую, за раны Игоревы, буего Святославлича», как, впервые мотивируя свои соображения, предлагал это сделать Барсов.

Тут прежде всего остаются в силе сомнения Карамзина, поддержанные особенно Каллашом относительно того, мог ли киевский великий князь обращаться к другим русским князьям, именуя их господами. Нельзя — далее — не обратить внимания на замечание Каллаша, что вряд ли Святослав мог призывать Всеволода III «отня злата стола поблюсти», то есть поблюсти Киев, из-за которого еще незадолго до этого была борьба между северными и южными князьями, и что

едва ли киевский князь мог унизиться до того, чтобы подчеркнуть, что Ярослав галицкий открывает «Кіеву врата», то есть, как победитель, вторгается в Киев.

Далее, автор называет слово Святослава «золотым словом, со слезами смешанным». О слезах, разумеется, можно говорить только имея в виду упреки и сетования Святослава, обращенные к Игорю и Всеволоду, а никак не воззвание к князьям, в котором нет ничего похожего на слезную речь.

Едва ли Святослав, только что произносивший суровые укоры по адресу Игоря и Всеволода, мог вслед за этим призывать князей выступить не только за землю Русскую, но и за раны Игоря, буго Святославича.

Ближе всего к представлению о золотом слове, смешанном со слезами и притом не развернутом, а как раз «изроненным», как бы вырвавшемся из уст Святослава, относятся именно строки, содержащие в себе упреки Игорю и Всеволоду, но, разумеется, без тех перестановок и дополнений, которые предлагались Вяземским и Ляцким, и без тех урезок, которые делали Лонгинов и вслед за ним Айналов.

Если мы согласимся с тем, что вся та часть «Слова», которая начинается с воззвания к князьям и продолжается до плача Ярославны, должна быть понимаема как авторская речь, нам не нужно будет ни предполагать тут наличия диалогической речи, что делали Айналов, Шторм и Новиков, ни делать какие-либо перестановки, как предлагал это сделать Ляцкий.

Таким образом, на долю «золотого слова» мы отнесем только укоры Святослава Игорю и Всеволоду и его жалобы на то, что князья ему не в помощь и что впустую обернулись года, «на ниче ся години обратиша». Трудно при этом с полной определенностью сказать, относятся ли к «золотому слову» слова «Се у Римъ кричать подъ саблями половецкыми, а Володимиръ подъ ранами. Туга и тоска сыну Глѣбову», или с этих слов начинается уже авторская речь. Скорее, впрочем, следует предполагать последнее. Судя по содержанию сна Святослава, сам он в ту пору еще не мог знать об участии Владимира Глебовича. Кроме того, воззвание к Всеволоду III, открывающее собой воззвание к князьям, поставлено на первом месте, вероятно, потому, что Всеволод был родным дядей Владимира Глебовича, а раз обращение к Всеволоду, как и все вообще воззвание к князьям, мы признаем авторской речью, то такой же авторской речью следует признать и упоминание о Римове и о ранах Владимира Глебовича.

В повести о походе Игоря Святославича на половцев в 1185 году, вошедшей в Киевскую летопись, мы читаем

строки очень близкие по содержанию к «золотому слову» «Слова о полку Игореве». В них говорится о том, что Святослав, узнав о поражении Игоря, «Вельми вздохнувъ, утеръ слезъ своихъ и рече: «О люба моя братья и сыновѣ и мужѣ землѣ Рускоѣ! Далъ ми бы богъ притомити поганыя; но, не воздержавше уности, отвориша ворота на Русьскую землю. Воля господня да будетъ о всемъ; да како жаль ми бяшетъ на Игоря, тако нынѣ жалую болши по Игорѣ, братѣ моемъ». И далее продолжается: «Посемъ же Святославъ посла сына своего Олга и Володимера в Посемье: то бо слышавше, возмятошася городи посемьские... Посемъ же посла Святославъ ко Давыдови смоленску, река: «рекли бяхомъ пойти на половци и лѣтовати на Донъ; нынѣ же половци се побѣдили Игоря и брата его с сыномъ; а поѣди, брате, постережи землѣ Рускоѣ». Можно было бы в этих действиях Святослава по организации княжеских сил для отпора половцам видеть известную аналогию с воззванием к князьям в «Слове». Но в летописной повести идет речь об обращении Святослава лишь к Давыду смоленскому, фигурирующему и в воззвании к князьям в «Слове», где, кроме Давыда, названы и другие князья, притом более мощные и авторитетные в общерусском масштабе, о которых в летописи ничего не сказано и к помощи которых Святослав, судя по той же летописи, не обращался, да и вряд ли мог обратиться. Но к ним мог обратиться автор «Слова», стоявший на позиции общерусских интересов в деле защиты родной земли от половецких вторжений.

Отнесение воззвания к князьям к авторской речи оправдывается всем характером «Слова о полку Игореве», где выступления автора от своего лица, его прямые обращения занимают очень большое место. С самого начала он обращается к «братии», то есть к своим читателям или слушателям, с вопросом, как ему начать свою повесть. Затем он той же «братии» предлагает начать свою повесть от старого Владимира до нынешнего Игоря. Он обращается к Бояну с пожеланием, чтобы тот воспел Игоревы полки соловьиным щекотом, дважды — к Русской земле, оставшейся уже за холмами, к черному ворону — поганому половчину, для которого не было порождено в обиду Ольгово храброе гнездо, к ярому Туру Всеволоду, бьющемуся в обороне, к Ярославу и всем внукам Всеславовым с суровым упреком им за то, что они своими крамолами стали наводить поганых на землю Русскую, на достояние Всеславово.

Ему принадлежат и лирические восклицания: «Быти грому великому! Итти дождю стрѣлами съ Дону великаго. Ту ся копиемъ приламати, ту ся саблямъ потручяти о шеломи

половецкыя, на рѣцѣ на Каялѣ, у Дону великаго», «Кая рана, дорога, братіе, забывъ чти и живота и града, Чрънигова, отня злата стола и своя милья хоти, красныя Глѣбовны, свычая и обычая», «Что ми шумить, что ми звенить далече рано предъ зорями?», «Уже бо, братіе, не веселая година въстала», «О, далече зайде соколъ», птиць бяъ къ морю», «А Игорева храбраго плѣку не крѣсити», «О, стонати Руской земли, помянувшѣ прѣвую годину и прѣвыхъ князей!», «Пѣвшѣ пѣснь старымъ княземъ, а потомъ молодымъ пѣти».

Авторское вмешательство в события, оценка им этих событий и лиц, к ним причастных, в «Слове» встречаются очень часто. Автор выступает здесь в качестве оратора, от своего имени и по своему разумению рассуждающего о том, что его волнует как гражданина и страстного патриота, обращающегося с осуждением или с похвалой к тем, от кого так или иначе зависели судьбы Русской земли. В этом отношении он имел таких современников и предшественников, как митрополит Иларион с его «Словом о законе и благодати», как наш летописец, как автор черниговского «Слова о князех».

Вполне естественно поэтому предположить, что и страстный призыв к наиболее сильным русским князьям вступить за землю Русскую и за раны Игоря Святославича также исходит из уст автора. Пусть при этом несколько проиграет в своей эпической силе, говоря словами А. Майкова, «приамовский образ» киевского князя Святослава, но зато насколько — и притом по праву и по заслугам — выиграет образ автора «Слова», великого поэта и великого гражданина, все богатство своего художественного таланта и всю силу своего публицистического темперамента отдавшего на служение Русской земле!



## О ПЕРЕСТАНОВКЕ В НАЧАЛЕ ТЕКСТА «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

В практике конъектуральной критики первопечатного текста «Слова о полку Игореве» 1800 г. значительное место занимают перестановки, допускаемые отдельными исследователями в этом тексте. Перестановки эти различны по своему объему — от нескольких слов до совокупности целых строк и даже абзацев. Иногда они отличаются совершенной безудержностью и произволом и диктуются вкусовыми симпатиями мало критичных текстологов или склонностью их к неумеренному логизированию изложения отдельных событий и эпизодов «Слова» без опоры на палеографические соображения и доводы. Напомним хотя бы очень показательные в этом отношении операции над текстом «Слова» Андриевского или Прозоровского.

Совершенно очевидно, что в тексте «Слова о полку Игореве», как и в любом дошедшем до нас тексте, являющемся не оригиналом, а списком, всякого рода конъектуры, в том числе и перестановки, следует допускать с большой осторожностью, лишь в тех случаях, когда они вынуждаются явными ошибками текста и когда их можно обосновать достаточно вескими аргументами прежде всего палеографического характера, без чего даже на первый взгляд самые вероятные по своей логичности исправления текста не могут считаться убедительными.

Одной из самых приемлемых и самых оправданных перестановок в тексте «Слова» является перестановка в самом почти начале текста, предложенная еще в 1891 г. В. А. Яковлевым в его учебном издании «Слова». В предисловии к этому изданию он говорит: «Рассказ о солнечном затмении мы считаем более удобным поместить после речи Всеволода; посредством такой перестановки восстанавливается, по нашему мнению, последовательность изложения и единство вступления»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> «Слово о полку Игореве». Ред. и прим. В. А. Яковлева. СПб., 1891, с. IX.

Таким образом часть текста «Слова о полку Игореве», от слов «О Бояне, соловію стараго времени» и кончая словами «ищучи себе чти, а князю славѣ» помещается вслед за словами «наведе своя храбрія плѣкы на землю Половѣцкую за землю Рускую» и перед словами «Тогда Игорь възрѣ на свѣтлое солнце и видѣ отъ него тьмою вся своя воя прикрыты».

Позднее А. И. Соболевский предложил такую же перестановку в тексте «Слова», но не ссылаясь при этом на то, что она ранее уже предложена была Яковлевым, и заявив лишь, что давно уже пришел к убеждению в необходимости ее<sup>2</sup>. Для обоснования перестановки и для возможности ее допущения Соболевский стал на единственно правильный путь — палеографического анализа текста, идущего навстречу логическому его осмыслению.

Перестановка, по словам Соболевского, «дает, можно сказать, блестящий результат». Она, во-первых, удовлетворяет требованиям смысла, во-вторых, благодаря ей получается «последовательность в изложении», что теми же словами отметил и Яковлев. Нахождение в дошедшем до нас списке «Слова» переставляемой части текста не на том месте, где ему надлежит быть, объясняется, по предположению Соболевского тем, что один из прежних переписчиков перепутал листы своего оригинала, написанного на листках пергамента малого формата крупным уставом. Оригинал этот, как думает Соболевский, пострадал от времени — распился и расстрепался, и один листок, содержащий на лицевой и на оборотной своей стороне текст от слов «Тогда Игорь възрѣ на свѣтлое солнце» и кончая словами «а любо испити шеломомъ Дону», следовавший первоначально за двумя листками с текстом от слов «О Бояне, соловію стараго времени», кончая словами «ищучи себе чти, а князю славѣ», помещен был случайно впереди этих двух листков (Соболевский, очевидно по рассеянности, написал: «один листок был положен перед двумя листками, за ним первоначально следовавшими» вместо того, чтобы закончить фразу словами: «после которых он первоначально следовал»).

По подсчету Соболевского первый листок на лицевой и оборотной сторонах заключал в себе 9 строк применительно ко 2-му изданию «Слова» Тихонравова, а два другие листка — 18 строк — по счету их в том же издании. Не заметив путаницы листов, переписчик переписал их в том же порядке, в каком они лежали перед ним. В качестве примера

---

<sup>2</sup> См. его «Материалы и заметки по древнерусской литературе». ИОРЯС, 1916, т. XXI, кн. 2-я, с. 210—212.

аналогичной путаницы Соболевский приводит путаницу листов в списке «Бесед» папы Григория, добавляя при этом, что в тексте «Бесед» листы спутаны были еще в глубокой древности, и это наблюдается во всех ее списках, вплоть до погодинского списка XIII в.

Определив текстовой объем листов оригинала, с которого сделан был мусин-пушкинский список «Слова», рассчитав количество строк, предположительно заключающихся в каждом листке, Соболевский тем самым показал реальную возможность путаницы в тексте этого списка.

Перестановку, аргументированную Соболевским, принял П. Л. Маштаков, следуя за Соболевским в счете перепутанных листов в оригинале мусин-пушкинского списка и в исчислении строк, приходящихся на эти листы<sup>3</sup>.

Но, признавая перестановку в тексте «Слова», впервые предложенную Яковлевым, вполне рациональной, мы очень сомневаемся в правдоподобности сделанного Соболевским расчета строк на листах оригинала мусин-пушкинского списка. Едва ли даже пергаментная рукопись, притом во всяком случае не ранее конца XII в., хотя бы и малого формата, хотя бы и написанная крупным уставом, к тому же рукопись светского произведения могла содержать на листе, исписанном с обеих сторон, такое малое количество текста, какое предполагает Соболевский.

Значительно правдоподобнее представляется нам расчет акад. В. Н. Перетца, разделяющего мнение о необходимости указанной перестановки в начале текста «Слова» и примыкающего к предположению Соболевского о путанице листов в оригинале мусин-пушкинского списка как причине порчи текста в начальной части памятника, но убедительнее и проще, чем Соболевский, объясняющего, как произошла эта путаница. Перетц предполагает, что не позднее XV в. должен был существовать список «Слова», где переставлен был ряд строк, по его расчету — 36, поместившихся на обеих сторонах листа в восьмушку, сходного по размерам и по письму с листами Кириллобелозерского сборника 1470 г., в котором находится список «Задонщины»<sup>4</sup>.

Выпавший и затем переложенный не на свое место лист заключал в себе текст от слов «О Бояне, соловію старого времени», кончая словами «ищучи себе чти, а князю славѣ», вмещавший в себе, как и все листы списка XV в., как раз

<sup>3</sup> См. его заметку «К тексту «Слова о полку Игореве». ИОРЯС, 1918, т. XXIII, кн. 2-я, с. 74—76.

<sup>4</sup> Ср. фототипический снимок одного из листов «Задонщины» в этом сборнике в изд. П. К. Симони. «Памятники старинного русского языка и словесности XV—XVIII столетий», Пгр., вып. 3, 1922.

36 строк. С этого-то списка, в котором этот один лист попал не на свое место, в начале XVI в. и сделан был мусин-пушкинский список «Слова» переписчиком, автоматически воспроизведшим свой оригинал<sup>5</sup>.

В результате перестановки Яковлева — Соболевского — Перетца получается действительно логически последовательное и связанное чтение, нарушенное путаницей листов. Вслед за словами «Почнемъ же, братие, повѣсть сію отъ стараго Владимира до нынѣшняго Игоря, иже... наведе своя храбрыя плѣкы на землю Половѣцкую за землю Руськую» идут слова: «О Бояне, соловію стараго времени! Абы ты с и а плѣкы ущекоталь...» После того как автор высказывает предположение, как мог бы Боян воспеть Игоревы полки, речь идет о встрече Игоря с Всеволодом, при которой Всеволод предлагает брату седлать своих коней и характеризует свою дружину, а затем говорится о затмении солнца. Как бы в ответ на предложение Всеволода Игорю седлать коней, Игорь обращается к своей дружине со словами: «А всядемъ, братие, на свои бръзья комони...» Такая последовательность действий — сначала предложение Игорю седлать коней, а затем уже распоряжение Игоря, обращенное к дружине, — сесть на коней для похода на половцев, естественно, единственно возможная, в противоположность чтению мусин-пушкинского текста, где сначала Игорь велит дружине сесть на коней, а затем Всеволод предлагает Игорю седлать коней. После того как Игорь отдал распоряжение дружине сесть на коней, логически должен следовать рассказ о том, что Игорь вступил в стремя и двинулся в поход, как и получается в результате перестановки текста.

Однако эта перестановка, оправданная палеографическими соображениями, диктуется не только тем, что при помощи ее получается логическая последовательность событий, но и тем весьма существенным обстоятельством, что при ее применении время солнечного затмения в «Слове» и в летописных рассказах о походе Игоря совпадает, на что не обратили внимания те, кто предложил перестановку.

В самом деле, по летописи затмение застает Игореву войско тогда, когда Игорь уже углубился в степь. Киевская летопись, датирующая начало похода 23 апреля, не упоминает, какого числа произошло затмение, но указывает, что оно случилось тогда, когда Игорь подошел уже к Донцу, летопись же Суздальская точно датирует время затмения — 1 мая. В мусин-пушкинском тексте солнечное затмение пред-

---

<sup>5</sup> *Перетц В. Н.* «Слово о полку Игоревім». Пам'ятка феодальної України — Русі XII віку. Київ, 1926, с. 39—40.

шествует походу Игоря; при перестановке же, о которой идет речь, оно становится на свое место и, в согласии с летописью, застаёт Игоря уже в пути.

Не касаясь вопроса о взаимоотношении между «Словом о полку Игореве» и летописными рассказами, что в данном случае для нас не существенно, достаточно подчеркнуть, что, устраняя противоречие между «Словом» и летописью в определении того, где и когда застало Игоревое войско солнечное затмение, мы используем еще один очень веский аргумент в пользу перестановки в начальной части текста «Слова о полку Игореве».

Есть еще одно очень существенное соображение в пользу такой перестановки: если придерживаться последовательности мусин-пушкинского текста в начальных абзацах «Слова», то получится, что либо затмение непрерывно продолжалось несколько дней подряд, что противоестественно, либо оно на протяжении недели с небольшим повторилось дважды, на что мы не имеем указаний в летописи, да и не могли бы их иметь, так как это не согласовалось бы ни с какими астрономическими законами. В самом деле, если мы сохраним в неприкосновенности мусин-пушкинский текст, то окажется, что Игорь, готовясь к походу, видит солнечное затмение, затем проходит около девяти дней, когда он движется навстречу половцам, и его вновь настигает затмение: «Солнце ему тьмою путь заступаше», как и в самом начале похода.

Наконец, имеется и такой довод, поддерживающий перестановку, на который обратила внимание В. П. Адрианова-Перетц при изучении текстов «Задонщины»: оказывается, что во всех списках «Задонщины» последовательность эпизодов в начальной ее части как раз согласуется с той последовательностью, которая устанавливается в результате предлагаемой перестановки в «Слове», и отсюда следует, что в руках Софония-рязанца, автора «Задонщины», оказался список «Слова», содержащий логическое расположение эпизодов в начале текста, впоследствии, в рукописной традиции, нарушенное в мусин-пушкинском сборнике и в первом издании памятника<sup>6</sup>.

А. Брюкнер, возражая во вступительной статье к переводу на польский язык «Слова» поэта Юлиана Тувима против этой перестановки, писал: «Новейшие издатели переставляют два абзаца в начале «Слова», допуская, что отде-

---

<sup>6</sup> Адрианова-Перетц В. П. Задонщина (опыт реконструкции авторского текста). Тр. Отд. др.-русск. лит, Инст, лит, АН СССР, VI. М.—Л., 1948, с. 217—218.

дившиеся листы оригинала переписчик переписал в ошибочном порядке... Устраняя перебой в тексте, они помещают обращение к Бояну вслед за тем, как сказано было о том, что Игорь повел свои полки против половцев, а затмение солнца и замечание по этому поводу Игоря ставят после рассказа о встрече братьев и похвалы курянам. По Ипатьевской летописи, затмение случилось еще до встречи братьев, и в связи с ним Игорь обращается только к своей дружине, и так было и в «Слове»: затмение и тут произошло до встречи братьев. Иначе почему он должен был по случаю его обращаться к дружине, а не к брату? Итак, перестановка не только не нужна, но и в корне ошибочна»<sup>7</sup>.

Действительно, судя по Ипатьевской летописи, встреча братьев перед тем, как они углубились в степь, произошла после солнечного затмения: Игорь, говорится в летописи, перейдя вслед за затмением Донец, ждал два дня у Оскола Всеволода. Но, основываясь на тексте «Слова», нельзя утверждать, что обращение Всеволода к Игорю с предложением седлать коней, произошло именно во время этой встречи. В «Слове» читаем: «Игорь ждет мила брата Всеволода. И рече ему буй тур Всеволод...» Соединение этих двух предложений в смысловом отношении загадочно, так как ничего еще не сказано, что Всеволод пришел на соединение с Игорем: Игорь еще ждет брата, а тот уже обращается к нему с речью. Не нужно ли понимать так, что это обращение Всеволода к Игорю могло относиться ко времени их встречи перед самым походом в Новгороде-Северском, о которой говорится в самом начале рассказа о походе в Ипатьевской летописи, или в Переяславле, о чем идет речь в рассказе Лаврентьевской летописи? (Возможно, как думают некоторые исследователи, что Всеволод, встретившись с Игорем перед походом, затем отправился в Курск собирать войска и оттуда уже пошел самостоятельно в степь на соединение с Игорем). Не исключена возможность, что обращение Всеволода к Игорю сделано было не лично, а передано им через кого-либо из его посредников. Во всех этих случаях становится понятным, почему Всеволод говорит о том, что его кони готовы, будучи оседланы еще у Курска, и отзывается при этом о своих курянах как об отважных воинах. Так естественнее всего было говорить Всеволоду в пору приготовления к походу, чтобы воодушевить Игоря, а не тогда, когда уже пройден был большой путь в степь и когда поздно было думать о седлании коней, символически обозначавшем именно лишь приготовление к

<sup>7</sup> Biblioteka narodowa. Serija II, Kraków, 1928, с. XVI.

походу, а не его кульминационный момент. Очень может быть, что в оригинале «Слова» вместо «И рече» стояло какое-нибудь другое выражение, означавшее не настоящее, а прошедшее время.

Если согласиться с этими соображениями, то выходит, что и в «Слове», как и в летописи, затмение происходит до встречи братьев, о которой в «Слове» вообще прямо нигде не говорится. И тогда становится понятным, почему Игорь с призывом сесть на коней, чтобы посмотреть синий Дон, обращается не к Всеволоду, а к своей дружине<sup>8</sup>.

Но и независимо от того, убедительны или неубедительны эти соображения, целесообразность и оправданность перестановки не может подвергаться сомнению: мы не должны непременно искать полного совпадения даже в подробностях между летописными известиями о походе и тем, что о нем говорится в «Слове». Если бы даже существовало разноречие между «Словом» и летописью в определении последовательности солнечного затмения и встречи братьев, это еще несколько бы не говорило против перестановки, так как такие разноречия мы встречаем и в летописных известиях: в Ипатьевской летописи, например, говорится о том, что все князья отправились в поход против половцев из Новгорода-Северского, а в Лаврентьевской — из Переяславля; по Ипатьевской летописи в качестве участников похода — князей указываются Игорь, Всеволод, племянник их Святослав и сын Игоря Владимир, а по Лаврентьевской, кроме Игоря и Всеволода, — двое сыновей Игоря.

Перестановка, о которой идет речь, кроме издания В. Н. Перетца, принята в некоторых новейших публикациях

---

<sup>8</sup> Еще И. Н. Жданов обратил внимание на неясность того места в «Слове», где говорится об ожидании Игорем Всеволода и передаются слова Всеволода о курянах. Ошибочно, как нам представляется, полагая, что слова «Игорь ждеть мила брата Всеволода» не могут быть относимы к соединению князей у Оскола, Жданов тем не менее очень правдоподобно предполагал, что до встречи у Оскола братья встретились еще в другом месте, судя по Лаврентьевской летописи, — в Переяславле, на совещании князей о походе на половцев. Именно ко времени этой первой встречи, как думает Жданов и как это логически вытекает из текста обращения Всеволода в «Слове», и нужно относить это обращение с предложением Игорю седлать коней и похвалу Всеволода курянам. Жданов предполагал также, что между фразами «Игорь ждеть мила брата Всеволода» и «И рече ему буй тур Всеволод» нужно допустить пропуск: после упоминания об ожидании Игорем Всеволода должен был следовать рассказ о прибытии Всеволода, а затем передавалась речь Игоря, побуждавшая к походу, после чего и следовала речь Всеволода (Жданов И. Н. Литература «Слова о полку Игореве». Соч. СПб., 1904, т. 1, с. 435—438); *Перетц В. Н.* ук. соч., с. 152.

текста «Слова» (Л. А. Творогов. Примерный облик первоначального чтения «Слова о полку Игореве», Новосибирск, 1944, А. К. Югов (изд. «Советский писатель», 1945), Д. С. Лихачев («в малой серии «Библиотеки поэта», 1949), А. И. Белецкий (в «Хрестоматії давньої української літератури», Киев, 1949), а также в стихотворном переводе «Слова», принадлежащем Н. Заболоцкому (журн. «Октябрь», 1946, № 10—11).

Думается, после сказанного, что есть все основания закрепить эту перестановку в последующих научных и популярных изданиях «Слова о полку Игореве».



## ПО ПОВОДУ РЕВИЗИИ ПОДЛИННОСТИ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

### I

Профессор А. Мазон с 1938 г. на страницах редактируемого им журнала «Revue des études slaves» начал печатание обширного исследования, в котором поставил себе задачу доказать поддельность «Слова о полку Игореве», написанного, по мысли Мазона, в конце XVIII в. в подражание главным образом «Задонщине». В 1940 г. исследование это вышло в Париже отдельной книгой под заглавием «Le Slovo d'Igor».

Еще лет за пятнадцать до этого А. Мазон, преимущественно на страницах того же «Revue des études slaves» стал высказывать свои сомнения относительно подлинности «Слова», воскрешая тем самым давно сданные в архив домыслы наших отечественных скептиков — М. Т. Каченовского, И. И. Давыдова, О. И. Сенковского и др. По собственному признанию Мазона, сделанному в 1938 г.,<sup>1</sup> эти сомнения стали появляться у него еще около тридцати лет тому назад, и они находили поддержку у его слушателей в Страсбурге и в Париже, а также у его французских и иностранных коллег, из числа которых А. Мазон называет своего соредактора по журналу — Поля Буайе и польского ученого И. Кжижановского, высказавшего свое скептическое отношение к «Слову» в книге «Byliny. Studium z dziejów gosujskiej epiki ludowej», вышедшей в 1934 г., и затем в статьях, напечатанных в журнале «Balticoslavica» (II, 1936; III, 1938).

Следует, однако, отметить, что свой труд в отдельном издании Мазон посвятил «своим слушателям, оппонентам и сотрудникам по «College de France». Следовательно, даже в ближайшем окружении Мазона не все были его единомышленниками.

В той или иной мере к скептическому взгляду А. Мазона на подлинность «Слова» примкнул А. Вайян в статье

<sup>1</sup> RES, XVIII, 1—2, с. 8.

«Les chants épiques du Zud», напечатанной в «Revue des cours et conférences» в 1932 г., и косвенно Б. Унбегаун и М. Горлин в своих частных разысканиях, опубликованных на страницах «Revue des études slaves» за 1939 г. и использованных Мазоном для подкрепления своей гипотезы<sup>2</sup>.

Основоположный тезис Мазона — «Слово» написано под влиянием «Задонщины» — в виде догадки был заявлен еще в 1890 г. Луи Леже, на что и указывает Мазон. Леже, наивно отождествляя дату создания памятника с датой списка, между прочим писал о «Слове»: «Если рукопись не сфабрикована в конце XVIII в. под влиянием оссиановских поэм, то во всяком случае очевидно, что она не современна событиям, которые в ней прославляются. По мнению Колосова<sup>3</sup>, язык памятника не позволяет относить его ко времени ранее XIV или XV в. Но относится ли он к XVIII или к XV в., его нельзя рассматривать как поэму или как продукт народного творчества, а на него нужно смотреть как на произведение ратора, как на плод кабинетного творчества». Далее он говорит: «Я не уверен, что это произведение сфабриковано в конце XVIII в., но я охотно высказался бы за XIV или XV в. ... «Задонщина» рассматривается обычно как подражание «Слову о полку Игореве». Может быть, правильнее было бы перевернуть гипотезу и задать вопрос, не вдохновлялся ли певец Игоря «Задонщиной»? Приемы обоих авторов одни и те же, но «Задонщина», подлинность которой несомненна, менее злоупотребляет местным колоритом, чем повесть, которая, может быть, ею вызвана. Как и «Слово», она написана прозой и выдержана в пиндарической манере. Она вдохновлялась одновременно и священным писанием и образцами народной поэзии»<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> В 1939 г. во Львове вышла брошюра И. Свенцицкого «Русь і половці в староукраїнському письменстві». И. Свенцицкий в своем отношении к вопросу о подлинности дошедшего до нас текста «Слова» приближается к взглядам Мазона и, очевидно, находится под его прямым влиянием. Однако он предпочитает говорить о подделке не «Слова» вообще, а лишь дошедшего до нас его текста, который он считает позднейшей редакцией памятника, возникшей в конце XVIII в. Что же касается редакции первоначальной, то Свенцицкий склонен относить ее возникновение к концу XV в. Аргументация автора в защиту своих положений мало оригинальна, и нет нужды особо на ней останавливаться.

<sup>3</sup> Имеется в виду работа М. Колосова «Очерк истории звуков и форм русского языка с XI по XVI ст.» Варшава, 1872. (Н. Г.)

<sup>4</sup> *Leger Louis. Russes et slaves. Etudes politiques et littéraires.* Paris, 1890, с. 90, 93—94. Позднее, в 1900 г., Леже свое скептическое отношение к «Слову» высказал в «Славянской мифологии» (русский перевод — 1908 г.).

Эту мысль Лёже, высказанную в форме предположения, Мазон охотно подхватил и на протяжении всей своей работы пытается обосновать ее.

В связи с той ролью, которая отводится Мазоном «Задонщине» как основному источнику «Слова», Мазон посвящает ей особый этюд, предваряющий собой основные его разыскания о «Слове» как о подделке и характерно озаглавленный: «La Zadoňščina, Réhabilitation d'une oeuvre».<sup>5</sup>

В самом начале этого этюда, как бы с чувством обиды на историческую несправедливость, Мазон указывает на то, что, по общему мнению, «Задонщина» является только неискусным плагиатом «Слова о полку Игореве», и все ее значение сводится лишь к тому, что она удостоверяет почтенную древность этого шедевра, а между тем этот шедевр, как мы его знаем по изданию Мусина-Пушкина, заключает в себе очень много темных мест, всяческих странностей и нигде, кроме него, не встречающихся лексических образований. На протяжении семи веков ни один текст не может быть с ним сравниваем, кроме «Задонщины», — этого признанного всеми жалкого плагиата. «Киевская цивилизация, — пишет вслед затем с иронией Мазон, — способствовала расцвету оригинальной поэзии, которая могла выдержать сравнение с поэзией великих стран Запада — с провансальской, французской, немецкой. Но разразилось татарское нашествие, монастыри были сожжены, разграблены, литературные сокровища стали жертвой вандализма, чудом пощадившего лишь жития святых, летописи, проповеди, описания путешествий, деловые документы и погубившего поэтические произведения, из которых дошло до нас только одно «Слово» — к нашему счастью, но и к огорчению при мысли о стольких других поэмах, утраченных навсегда».<sup>6</sup>

Задача Мазона — «реабилитировать» «Задонщину», с одной стороны, и поставить «Слово» на свое место — с другой, рассматривая его как произведение новое, как подделку под древность (*pastiche*).

Для того чтобы установить тот тип текста «Задонщины», какой был под руками у автора «Слова»<sup>7</sup>, Мазон предварительно пытается разобраться во взаимоотношении дошедших до нас ее текстов. Путем сопоставления эпизодов в отдельных списках он приходит к выводу, что текст XV в. (Кирил-

<sup>5</sup> Mazon A. Le Slovo d'Igor. Paris, 1940, с. 5—40.

<sup>6</sup> Там же, с. 6.

<sup>7</sup> Как известно, «Задонщина» опубликована была впервые лишь в 1852 г., но Мазон предполагает, что один из неизвестных нам текстов ее был в распоряжении автора «Слова», который, очевидно, скрыл его от всех.

ло-Белозерский) и тексты XVI и XVII вв. не могут рассматриваться в одной плоскости, ни тем более составить сводный текст. Этот противоестественный сплав, по его мнению, до сих пор заслонял от нас подлинную «Задонщину». Необходимо выделить ее древнейшую версию из версий позднейших, столь явно осложненных переделками и амплификациями в духе требований эпохи, в которую они возникли. По взгляду Мазона, Кирилло-Белозерский список «Задонщины» очень близок к ее оригиналу. Кое-какие пропуски, ошибки и интерполяции этого списка не позволяют отождествлять его с самим оригиналом, но все же Кирилло-Белозерскому списку, утверждает Мазон, присущи незаурядные литературные качества. Этот так называемый плагиат, говорит Мазон, не имеет ни малейших следов каких бы то ни было швов (которые Мазон усматривает в «Слове»); все части его хорошо пригнаны друг к другу, в нем нет ничего привнесенного случайно извне. Вслед за Я. Фрчеком Мазон полагает, что Кирилло-Белозерский список, заканчивающийся плачем русских жен о своих погибших в битве мужьях и ничего не говорящий о последующем реванше со стороны русских, о чем говорят все остальные списки, является вполне законченным текстом, а не дефектным, без конца, как полагали до сих пор исследователи: подлинная, первоначальная «Задонщина», утверждает Мазон, не заключала в себе так называемой «похвалы» Дмитрию Ивановичу и Владимиру Андреевичу, являющейся второй частью произведения в позднейших списках: «похвала» создана была позже, когда битву 1380 г. «историческая легенда с течением веков превратила в блестящую победу, в то время как «Задонщина» XV в. трактует ее как роковую для москвичей сечу»<sup>8</sup>.

Мазон признает, что Кирилло-Белозерский текст «Задонщины», конечно, не шедевр, и он не чужд риторике; ему можно предпочесть такое произведение, как «Повесть о разорении Рязани Батыем», но все же «Задонщина» по Кирилло-Белозерскому списку — произведение ясное, открытое, вполне доброкачественное, достойное нашего уважения и не заслуживающее никакого подозрения. Оно из обвиняемого должно превратиться в истца, и Мазон становится самым усердным и предельно красноречивым адвокатом своего потерпевшего, для защиты которого, сопровождаемой встречным иском к «Слову», он затрачивает массу труда и изобретательности.

И заканчивая этуод о «Задонщине», Мазон еще раз под-

---

<sup>8</sup> Mazon A. Le Slovo d'Igor, с. 44.

черкивает свой основной тезис: «Задонщина» — главный источник «Слова о полку Игореве»<sup>9</sup>.

В последующей части своей работы Мазон, впрочем, ограничивает пределы влияния на «Слово» «Задонщины»; ей обязано «Слово» преимущественно описанием начала военного предприятия Игоря. Продолжение рассказа об этом предприятии и особенное выступление Святослава и его князей (?), бегство Игоря из плена и его возвращение на Русь являются, как думает Мазон, плодом авторского вдохновения или, скорее, результатом влияния той же «Задонщины» (но только в некоторых деталях), летописей, Библии, поэм Оссиана и, быть может, других источников, более неожиданных. К числу последних сам Мазон даже склонен относить, например, популярные в XVIII в. книги о морских пиратах и описания путешествий в Америку, о чем — ниже.

Что касается сюжета «Слова», то в основном он, как утверждает Мазон, заимствован из летописей: отправление Игоря в поход, солнечное затмение, предвещающее поражение, самое поражение и плен Игоря, жалобы и скорбь русских, укоры, адресованные Игорю Святославичу Святославом, и победоносный реванш последнего (?), бегство Игоря и возвращение его на Русь — все это, говорит Мазон, мы найдем в более или менее развитом виде в тексте Кенигсбергской летописи, изданном в 1767 г., во втором томе Никоновской летописи, изданной в 1768 г., в третьем томе «Истории российской» М. М. Щербатова (1771 г.) и особенно в третьем томе «Истории российской» Татищева (1774 г.). Мазон полагает, что «Историей» Татищева и еще несколькими публикациями третьей четверти XVIII в. в самом существенном покрываются и сюжет и план «Слова».

Но несколько тусклый материал летописей — полагает Мазон — автор «Слова», как опытный писатель, обновил, придав ему поэтический стиль и подав его в плане более архаическом, чем тот, который мы находим в летописях. Этот материал он отодвинул в пантеистическое прошлое, которое было чуждо Руси XII в., уже два века тому назад христианизированной. Его Игорь перед затмением — не христианский князь, каким он выступает у летописца. Это и не кающийся грешник после своего поражения, каким мы видим его в той же летописи. Это язычник-рыцарь, помышляющий о славе и не заботящийся вовсе о христианстве. Мазон обращает внимание на то, что поход Игоря совершается в Руси насквозь языческой, и это почти на пороге XIII столетия. Частое упоминание различных богов

---

<sup>9</sup> Там же, с. 40.

на протяжении всего текста, по мысли Мазона, сгущает эту атмосферу язычества, рядом с которой заключение христианское, вопреки ожиданию, детонирует настолько, что некоторые очень горячие почитатели «Слова» считают это заключение неискусной переделкой. Во всем этом Мазон видит первый признак противоречия и несогласованности «Слова» с тем, что дают нам исторические свидетельства об этом периоде русской истории.

«Задонщина», по сравнению с указанными источниками, обогатила автора «Слова» новыми темами, точнее — литературными мотивами, утверждает Мазон. Использование «Словом» «Задонщины», по его взгляду, было тем естественнее, что сама собой напрашивалась аналогия между гибельным походом Игоря против половцев и великой битвой 1380 г. русских с татарами. Этой аналогии было достаточно для того, чтобы вызвать появление одинаковых формул, в случае надобности — одинаковых эпизодов. Поход Игоря для поклонников русского прошлого, по взгляду Мазона, имел преимущество древности, и поэма, посвященная этому прошлому, знаменовала собой реванш (?), который радовал издателей 1800 г.: «Слово» свидетельствовало о том, что русской литературе издревле знаком был «дух Оссиана» и что «наши древние герои имели своих бардов». Подделка должна была возникнуть сама собой, и как раз те украшения, к которым прибегнул автор, изобличают ее: это — мифологическая старина, фантастичность которой смущает историка, исторические реминисценции некстати, псевдоклассические клише, черты и краски во вкусе преромантической эпохи.

Для определения зависимости «Слова» от «Задонщины» Мазон детально сопоставляет сходные места в обоих произведениях, используя при этом все дошедшие до нас списки «Задонщины» и к последовательно анализируемому тексту «Слова» подбирая параллели из различных ее частей, вне зависимости от естественного развития ее сюжета. При этом он обращает внимание на следующие, с его точки зрения, очевидные факты, сразу же бросающиеся в глаза при таком сопоставлении: 1) «Слово» наиболее близко к «Задонщине» не по списку XV в. (Кирилло-Белозерского монастыря), а по спискам позднейшим — Синодальному (XVII в.) и преимущественно Исторического музея 1 и 2 (XVI в.) и собрания Ундольского (XVII в.), и это обстоятельство Мазон особенно подчеркивает для доказательства своей мысли о зависимости «Слова» от «Задонщины», а не наоборот; 2) «Слово», по сравнению с «Задонщиной», — текст более развитой и часто украшенный в соответствии:

с новыми литературными вкусами; 3) в «Слове» композиция несвязанная, и швы, скрепляющие отдельные части произведения, обнаруживаются в нескольких местах: «поэтический беспорядок» здесь соответствует одновременно предписаниям Ломоносова и Державина в отношении оды и манере Оссиана; 4) наконец, в отличие от «Задонщины», в «Слове» немало темных мест, которых не знает вся русская средневековая литература, и эти темные места не говорят ни о чем другом, как лишь о неумении автора выражаться «старыми словесы» или о стремлении его к известному поэтическому туману.

В дальнейшем, при анализе отдельных дробных составных частей «Слова», Мазон отмечает ряд частных исторических, стилистических и лингвистических черт памятника, которые якобы свидетельствуют о том, что мы тут имеем дело с подделкой XVIII в.

Всего этого мы коснемся ниже, а пока постараемся разобраться в общих положениях, выставленных Мазоном для защиты своей гипотезы.

## II

Естественно, что читатель работы Мазона прежде всего испытывает изумление перед тем, как расценивает Мазон сравнительные поэтические достоинства «Слова» и «Задонщины». Нужно учинить насилие над своим эстетическим вкусом для того, чтобы не то что ставить рядом в художественном отношении оба эти памятника, но даже отдавать явное предпочтение «Задонщине» хотя бы по Кирилло-Белозерскому списку и, отказывая «Слову» в связности его композиции и в поэтической ясности, усматривать все это безоговорочно в «Задонщине». Как бы мы ни реабилитировали «Задонщину» как поэтическое произведение и какие бы положительные художественные частности в ней ни находили, невозможно было бы и отдаленно сравнивать ее со «Словом» с точки зрения ее художественной ценности. В «Слове» действительно имеется некоторое количество темных мест, но они, будучи результатом совершенно очевидной порчи текста, не нарушают ни в какой мере стройности композиции самого памятника и естественного развития его сюжета. Ничего этого нельзя сказать ни об одном из дошедших до нас текстов «Задонщины». Все они, как не раз уже отмечалось исследователями, не только отличаются неряшливостью, но и содержат в себе ряд чтений, лишенных смысла, даже независимо от возможной порчи отдельных мест памятника. Мы легко разбираемся в «За-

донщине» только потому, что читая ее, так сказать, накладываем ее текст на текст «Слова», но если бы «Слово» до нас не дошло, «Задонщина» для понимания была бы много труднее «Слова». Чтобы понять «Слово», нет никакой нужды читать «Задонщину», но для понимания «Задонщины» нужно знать «Слово».

Мы, конечно, имеем все основания предполагать существование некогда более исправного текста «Задонщины», не искаженного в такой мере переписчиками, как искажены дошедшие до нас его списки, но, во-первых, почему мы должны допускать, что подделыватель «Слова» был единственным счастливым обладателем такого неискаженного текста, который он, очевидно, должен был уничтожить, чтобы не выдать своей подделки? И почему до нас не дошел ни один список «Задонщины», хотя бы относительно исправный? И были ли вообще такие списки в природе? Во всей древней русской литературе мы не найдем ни одного памятника, который дошел бы до нас в таких исковерканных списках, в каких дошла до нас «Задонщина». Не свидетельствует ли это само по себе о том, что даже относительно удобочитаемого текста «Задонщины» никогда и не существовало? Не приходится ли заключать, как это и всегда делалось, что автором «Задонщины» «Слово», которому он подражал, было с трудом понимаемо и что он чисто механически перенимал систему его поэтических средств и потому искажал его? Затруднительно отнести на долю переписчиков все неполадки, наблюдаемые нами в списках «Задонщины», и естественнее предположить их наличие у самого автора памятника.

Указывая на то, что все те эпизоды «Слова», которые не покрываются «Задонщиной», отличаются наибольшими странностями, бессвязностью и невразумительностью стиля, Мазон заключает: «В связи со всем этим возникает наибольшее количество загадок, и в то же время это является показателем того, на что способен был автор «Слова», лишенный своего основного источника и предоставленный своим собственным силам»<sup>10</sup>. Но мы можем легко и с большим правдоподобием «перевернуть» гипотезу Мазона, предположив, что эти эпизоды не были использованы автором «Задонщины» как раз потому, что они оказались еще более трудными для его понимания, чем использованные им части «Слова».

Мазон настаивает на том, что «Слово» на фоне русской литературы XI—XII вв. представляется нам произведением

---

<sup>10</sup> Там же, с. 128.



совершенно одиноким, изолированным. Но разве не в меньшей мере то же можно сказать и о «Задонщине» на фоне русской литературы XIV—XV вв.? Разве ее поэтика, ее стиль имеют много общего с русскими литературными памятниками этой поры? Во всяком случае не больше — скорее значительно меньше, чем имеет «Слово» с современными ему памятниками.

В Кирилло-Белозерском списке «Задонщины», текст которого Мазон никак не связывает со «Словом», полагая, что оно подражало текстам, представленным списками позднейшими, — читаем: «...под трубами поють, под шеломы взелеяны, конец копия вскормлени», т. е. буквально тоже, что и в «Слове», за исключением испорченного «поють» вместо «повити». Не очевидно ли, что текст Кирилло-Белозерского списка здесь восходит непосредственно к «Слову», так как ни в одном из остальных списков «Задонщины» соответствующей параллели не находим? Не думаем, чтобы Мазон предполагал, что данная фраза «Слова» покрывается списком «Задонщины», до нас не дошедшим, но бывшим в руках автора «Слова». Если бы свои заключения можно было строить на таких предположениях, то всем таким заключениям, очевидно, была бы грош цена. Оперировав с абстрактно примышляемыми текстами «Задонщины», можно прийти к каким угодно выводам, но без каких бы то ни было претензий на их достоверность и убедительность.

В том же списке читаем явно бессмысленное выражение — «берези харалужныя». Как бы ни понимать слово «харалужный», совершенно очевидно, что оно представляет собой противоестественный эпитет к «берези» и без понимания попало сюда из «Слова», где идет речь о харалужных мечах.

Там же, в списке К-Б, читаем: «...воды возпиша, весть подаваша порожнымь землямь за Волгу, к Железнымь вратомь, к Риму, до черемисы, до чяхов, до ляхов, до Устюга поганых татар, за дыщущем моремь». Откуда в этой фразе, написанной под явным влиянием «Слова о погибели Русской земли» и «Послания новгородского архиепископа Василия о земном рае», взялся неожиданно Рим? Не из фразы ли «Слова» — «се у Рим кричат под саблями половецкими»? Тут же, вслед за этим, без всякой связи написано: «... того даже было нелепо стару помолодиться», что легко объясняется из стоящего на своем месте вопроса Святослава в «Слове»: «А чи диво ся, братие, стару помолодити?» Влиянием «Слова», разумеется, нужно объяснить и следующую затем фразу в Кирилло-Белозерском списке «Задонщины»: «Хоробрый Пересвет поскакивает на своемь вещемь сивце,

свистом поля перегороди». Эпитет «вещий» по отношению к коню неорганичен; легко можно осмыслить метафору — войско преграждает поля кликом или щитами, как в «Слове», но странно и искусственно выглядит метафора, в которой фигурирует всего один воин, своим свистом преграждающий поля.

В одном из списков «Задонщины» (У) упоминается однажды река Каяла, фигурирующая в «Слове» четыре раза. Мазон предполагает, что в «Задонщину» Каяла попала из летописной повести о походе Игоря на половцев по Ипатьевскому списку, где она вообще только и упоминается, не считая «Слова». Но, во-первых, какие мы имеем основания предположить знакомство автора «Задонщины» с Ипатьевской летописью; во-вторых, достаточно ли этого единственного совпадения летописного рассказа с «Задонщиной», чтобы утверждать очень мало вероятный факт обращения ее автора к рассказу летописи о событии, в пору создания «Задонщины» никого уже не интересовавшем? Не ясно ли, что «Каяла» попала в «Задонщину» из «Слова», как и из того же «Слова» она попала, очень вероятно, и в рассказ Ипатьевской летописи?

Мы не будем настаивать на том, что присутствующее во всех списках «Задонщины» «за Соломоном» является разительным примером того, как ее автор обесмыслил «за шеломенем» «Слова», на что обычно указывается, и признаем убедительными доводы Мазона и М. Горлина (в специальной статье последнего «*Salomon et Ptolémée*». *La légende de Volot Volotovič*», напечатанной в т. XVIII «*Revue des études slaves*») о том, что упоминание о Соломоне в «Задонщине» как о бывшем «владельце Русской землей» восходит к «Повести града Иерусалима», но в то же время мы не имеем никакого основания выводить «шеломя» «Слова» из «Соломона» «Задонщины» — по той причине, что «шеломя» неоднократно фигурирует в древнерусских памятниках.

Все соображения Мазона о характере подлинного текста «Задонщины», которые содержатся в специально посвященном ей этюде и которые нужны Мазону для дальнейшего обоснования его точки зрения на зависимость «Слова» от «Задонщины», — это цепь натяжек и произвольных толкований, сопровождаемых субъективными оценками и вытекающих из отвлеченных домыслов. Это относится в первую очередь ко всем его соображениям о Кирилло-Белозерском списке «Задонщины» и об его отношении к прочим спискам этого памятника. Нет прежде всего никаких оснований видеть в Кирилло-Белозерском списке законченный текст,

как утверждает Мазон. Даже не очень внимательное чтение его убеждает в том, что он написан наспех, почти так же небрежно, как и другие, и таким же мало квалифицированным переписчиком, как и переписчики прочих списков. В основном он, судя по этим спискам, сокращает текст оригинала на всем его протяжении. Особенно это обнаруживается в конце: текст прерывается без всякого стилистического закругления на эпизоде плача жен по убитым мужьям, после чего следует краткое перечисление событий и фактов, относящихся к ближайшим годам после Куликовской битвы. Это сухое, протокольное перечисление органически никак не связано с предшествующим изложением и является, совершенно очевидно, позднейшим добавлением. В заглавии списка стоит: «Задонщина великого князя господина Дмитрия Ивановича и брата его князя Володимера Андреевича», но об участии Владимира Андреевича в битве и об его роли в исходе ее в списке ничего не говорится.

Ни на чем не основано утверждение Мазона о том, что Куликовская битва современниками ее трактовалась не как победа, а как «роковая сеча» и что только позднейшие версии «Задонщины», в согласии с распространенным рассказом летописей, делят ее на два момента — первый, заканчивающийся отступлением, и второй, приведший к победе. Откуда эти голословные утверждения и какими историческими материалами они могут быть поддержаны? Ведь не только летописная повесть о Мамаевом побоище, но и «Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя Русского», возникшее в конце XIV или в начале XV в., говорят о конечной победе русского войска. И если Мазон утверждает то, что он утверждает, то лишь на том основании, что опирается на текст Кирилло-Белозерского списка, который он считает законченным произведением и в котором нет речи о победе Дмитрия Ивановича над Мамаем.

Совершенно очевидно, что и в основном тексте «Задонщины», в согласии с летописным рассказом, должно было говориться не только о поражении русских войск, но и о конечной их победе. Умолчание о реванше русских в русском литературном памятнике было бы противоестественным, и это обстоятельство также свидетельствует о том, что в Кирилло-Белозерском списке недостает конца.

Неубедительно и бездоказательно далее утверждение Мазона о том, что Кирилло-Белозерский список ближе всего воспроизводит оригинал, а остальные списки являются позднейшими переработками текста, лучше всего представленного списком Кирилло-Белозерским. Неопровержимым

остаётся заключение С. К. Шамбинаго, что все списки «Задонщины» через ряд промежуточных интерполированных списков восходят к одному оригиналу<sup>11</sup>. Знакомство с позднейшими списками «Задонщины» убеждает в том, что в них отдельные чтения в ряде случаев лучше передают оригинал, чем чтения Кирилло-Белозерского списка, искажения которого могут быть исправлены лишь путем привлечения этих позднейших списков. Так, например, неоконченная фраза Кирилло-Белозерского списка — «От тоя рати и до Мамаева побоища» может быть восполнена лишь при помощи списков Ундольского и Синодального, где читаем: «А от Калатские рати до Мамаева побоища 170 лет» и «От Колонныя рати лет 170 до Мамаева побоища».

В списке У Пересвет говорит Дмитрию Ивановичу: «Лутче бы нам потятым быть, нежели полоненым от поганых татар». В списке С этому соответствует: «Лучжши бы нам, господине, посеченым быти, нежли полоненым быти от поганых татар». А в списке К—Б читаем: «Лучши бы есмь сами на свои мечи наверхлися, нежели нам от поганых положеным пасти». Большая близость списков У и С, чем списка К—Б, к выражению «Слова». «Луце ж бы потяту быти, пеже полонену быти» объясняется, разумеется, не тем, что «Слово» воспользовалось текстом «Задонщины», близким к тексту списков У и С, а тем, что в списке К—Б мы имеем дело с испорченным текстом, что яснее всего обнаруживается в замене «полоненым» на «положеным». Очень вероятно, что чтение этого места в списке К—Б. зависит от чтения списка И—2, где мы имеем: «Луце бы нам посеченым пасти, а не полоняным вспети от поганых». Бессмысленность второй половины этой фразы, быть может, заставила писца списка К—Б заменить ее словами, читаемыми там в первой половине фразы.

Мазон, как сказано, обращает особенное внимание на то, что «Слово» ближе к тексту позднейших списков «Задонщины», чем к тексту Кирилло-Белозерскому, и считает это наблюдение особенно выигрышным для своей позиции. Это наблюдение частично принадлежит С. К. Шамбинаго, но он, естественно, не сделал из него тех методологически неоправданных выводов, какие сделал Мазон, потому, очевидно, что древность текста и древность списка — факты отнюдь не всегда совпадающие: список позднейший может сохранить лучше исконные чтения, чем список более ранний. Ведь сам же Мазон устанавливает, что «Слово» ближе

<sup>11</sup> Шамбинаго С. К. Повести о Мамаевом побоище.— СОРЯС. Спб., 1906, т. LXXXI, № 7, с. 102.

всего к спискам И—2 и У, т. е. к спискам XVI и XVII вв. Значит, список С XVII в. дальше отстоит от близкого ему по времени списка У, чем на сто лет ранее датируемый список И—2. Следовательно, соображения о хронологии списков не являются тут решающими, и для утверждения á priori, что текст в списке XV в. (К—Б) непременно старше текстов в списках XVI в. и даже XVII в.— без дополнительных соображений по существу,— нет никаких оснований, а есть все основания, наоборот, предполагать, что он, несмотря на старшинство списка, моложе своих собратьев.

Но нужно сказать, что в некоторых случаях «Слово» ближе к списку К—Б, чем к спискам позднейшим, чего не хочет замечать Мазон. Так, приведенное выше место из этого списка — «под трубами поють, под шеломы взлелеяны» и т. д. буквально сходно с соответствующим местом «Слова», если не считать явной порчи — «поють» вместо «повити», а между тем такого буквального совпадения между «Словом» и позднейшими списками «Задонщины» мы нигде не встречаем. Приведем еще примеры большей близости «Слова» к списку К—Б, чем к остальным. В соответствии с фразой «Слова» «а всядем, братие, на свои борзья комони» в списке К—Б читаем «сядем, брате, на свои борзи комони», в С — «и сами усядем на борзья кони», в списке У — «а сами сядем на добрые свои комони», в списке И—2 — «а сами сядем на борзья свои комони». В соответствии с «испити шеломомь Дону» «Слова» в К—Б — «испием шеломомь своимь воды быстрого Дону», в С — «сопием шеломом воды», в И—2 — «забьем шоломы мечи» (в У соответствия нет совсем). В соответствии «комони ржутъ за Сулою» «Слова» — в К—Б — «кони ржутъ на Москве», а С — «кони иржутъ на Москве», в И—2 и в У — «на Москве кони ржут». В соответствии «седлай, брате, свои борзьи комони, а мои ти готови, оседлани у Курьска напереди» «Слова» — в К—Б — «седлай, брате Ондрей, свои борзи комони, а мои готови напереди твоих оседлани», в С — «седлай, брате Ондрей, свои кони, а мои подеанн (?)», в И—2 — «седлай, брате Андрей, свои борзьи комони, а мой готов оседлан», а У — «седлай, брате Андрей, свой доброй конь, а мой готов оседлан». В соответствии «быти грому великому» «Слова» — в К—Б — «быти стуку и грому великому», в С — «быти стуку велику», в И—2 и У — «быти стуку великому». В соответствии «под копыты костью была посеяна, а кровию поляна» «Слова» — в К—Б — «костью насеяны, кровьюмь полнано», в С — «под костью татарскими носити кровю», в И—2 — «костью татарскими поле насеяша, кровью земля пролита», в У — «а костью татарскими

поля насеяна, а кровью их земля пролита бысть». В соответствии с «рыкают аки тури» «Слова» — в К—Б — «не тури возрыкають», в С «не турове рано возрули», в И—2 и У — «не тури возгремели». В соответствии с «ты пробил еси» «Слова» — в К—Б — «пробил еси», в С, И—1, И—2, У — «прорыла еси». Только в списке К—Б встречается слово «зогзица», как и в «Слове о полку Игореве» («зегзица»). Наконец, само имя Боян, не исковерканное, а в том его написании, какое мы имеем в «Слове», встречаем только в Кирилло-Белозерском списке.

Таким образом, утверждение Мазона об отсутствии связи между «Словом» и текстом, представленным Кирилло-Белозерским списком «Задонщины», падает само собой, как падает и утверждение о связях «Слова» исключительно лишь с поздними списками «Задонщины». Но, повторяем, если бы верно было это последнее утверждение, оно само по себе ровно ничего не говорило бы в пользу основного положения Мазона о влиянии «Задонщины» на «Слово», так как дата списка и дата текста далеко не всегда совпадают, и в поздних списках сплошь и рядом доходит до нас ранний текст.

Сопоставляя стилистические формулы и лексику «Слова» и «Задонщины», Мазон пользуется исключительно лишь списками самой «Задонщины», совершенно почти оставляя в стороне тексты «Сказания о Мамаевом побоище», в частности такие, в которых имеются общие места с «Задонщиной», и даже не упоминая о них, а между тем привлечение этих текстов очень существенно для уяснения взаимоотношения «Слова» и «Задонщины». Дело в том, что во всех редакциях «Сказания» мы находим такие параллели к «Слову», которые не покрываются существующими списками «Задонщины».

Приведем эти параллели, пользуясь выписками С. К. Шамбинаго из различных редакций «Сказания» и полными текстами трех его редакций, опубликованных Шамбинаго в приложении к его исследованию «Повести о Мамаевом побоище»<sup>12</sup>. «А русские удалцы сведоми» (ср. в «Слове» — «А мои ти куряни сведоми кмети»); «за твою обиду государя великого князя» (в «Слове» — «за обиду Олгову храбра и млада князя»); «Велми земля стонет... реки мутно пошли» (в «Слове» — «земля тутнет, реки мутно текуть»); «треснуша копия харалужная» (в «Слове» — «трещат копия харалужныя»); «Сынове же рускийи... порывающесея, аки знани на брак сладкого вина пити» (ср. в «Слове» сопоставление

<sup>12</sup> Там же, с. 107, 110, 111, 117; Приложения, с. 4, 11, 95, 116.

битвы с брачным пиром); «Уныша бо царие» (в «Слове» — «Уныша бо градом забрали»); «Уже возлияс хвала на хулу и вержеся диво на землю» (в «Слове» — «Уже снесеся хула на хвалу... уже вержеся Дивь на землю»); «а главы своя под русские мечи подклониша» (в «Слове» — «а главы своя подклониша под тыи мечи харалужны»); «обогатеем русским золотом» (в «Слове» — «звоня русским золотом»); «и побарают по христьянской вере» (в «Слове» — «побарая за христьяны»).

С. К. Шамбинаго не выделяет приведенных мест, имеющих в различных редакциях «Сказания», из совокупности тех отрывков, какие, по его мнению, «Сказание» заимствовало из «Задонщины», хотя ни один текст последней не заключает в себе приведенных образцов, так близко стоящих к «Слову». Конечно, можно предположить, что они имелись в каком-то не дошедшем до нас тексте «Задонщины», и мы не сомневаемся, что Мазон так именно и решил бы этот вопрос, если бы ему предложено было высказаться по поводу его. Но, пока нам такой текст неизвестен, гораздо правдоподобнее предположить факт непосредственного влияния «Слова» на «Сказание», и притом не только в приведенных случаях, но, может быть, и в ряде других случаев, где Шамбинаго предполагает непосредственное влияние на «Сказание» «Задонщины».

Что такое предположение является вполне вероятным, мне думается, подтверждается следующим любопытным примером.

В соответствии с выражением «Слова» «стязи глаголют» в списках «Задонщины» И—1, И—2 и У читаем «стязи ревут». Если бы согласиться с тем, что «стязи глаголют» означало «знамена говорят», то это было бы, по мнению Мазона, модернизмом не только для старинного текста, но даже и для текста XVIII в. Поэтому он толкует в данном случае «стязи» как войска, воины, ссылаясь на Срезневского, который, однако, в своих «Материалах» в данном случае толкует «стяг» как боевое знамя.

Соглашаясь с толкованием Срезневского, по которому это слово имеет еще другое значение (стяг — полк, строй, войско), толкованием самим по себе мало правдоподобным и не оправдываемым приведенными в «Материалах» цитатами, и толкуя «стязи ревут» позднейших списков «Задонщины» в смысле «войско ревет, воеет», Мазон объясняет замену в «Слове о полку Игореве» «ревут» на «глаголют» стремлением автора избежать слишком грубого слова, заменив его более изысканным. А между тем в текстах «Сказания» читаются такие фразы: «стязи ревут наволоченыя,

простирающаяся, аки облаци тихо трепещуща, хотят промолвити» и «стязи их золоченыя ревуть, просьтирающа, аки облаци, тихо трепещущи, хотять промолвити!»<sup>13</sup> Выходит, что именно о знаменах, а не о войске идет здесь речь, и ничего модернистического не только для XVIII в., но и для более старого времени нет в том, что знамена поэтически осмысляются как одушевленные существа, способные издавать звуки. Отпадает и заподозривание Мазоном автора «Слова» в стремлении к намеренной изысканности выражений, так как уже в «Сказании» о знаменах говорится, что они «хотят промолвити». Но важнее всего то, что обе приведенные из «Сказания» цитаты с несомненностью убеждают нас в своей зависимости от выражения «Слова» — «стязи глаголют». В «Сказании» лишь распространено то, что в «Слове» сказано предельно сжато.

Есть основание думать, что «Слово» повлияло не только на «Задонщину» и на «Сказание», но кое в чем и на распространенную летописную повесть о Мамаевом побоище. По крайней мере в тексте ее, вошедшем в Софийскую I летопись, в Новгородскую IV и Воскресенскую, встречаем такие выражения, совпадающие с текстом «Слова»: «невеселую ту годину», «земля тутняше», «не готовыми дорогами». Первое из них нигде более, кроме «Слова», не отмечалось; глагол «тутьнути» в соединении с существительным «земля» также не отмечен нигде, кроме «Слова» и летописной повести. Наконец, выражению «не готовыми дорогами» летописной повести в «Задонщине» соответствует все-таки не точно совпадающее с текстом «Слова» — «неуготованными дорогами» (И—1, И—2 и У) и далее — «нетолченными дорогами» (С). Но летописная повесть о Мамаевом побоище уже никак не могла быть известна автору «Слова». Откуда же он взял хотя бы эти три выражения?

### III

Сопоставляя последовательно отрывки «Слова» с различными соответствующими отрывками версий «Задонщины» и настойчиво подчеркивая при этом, что «Слово» ближе к позднейшим версиям «Задонщины», чем к версии списка К—Б, Мазон всюду все стилистически близкие параллели между обоими памятниками объясняет, конечно, влиянием «Задонщины» на «Слово», а не наоборот.

Мы не имеем возможности привести образцы всех соображений Мазона на этот счет. Остановимся подробнее на

<sup>13</sup> Там же, приложения, с. 23, 58.



его анализе первых строк «Слова» в сопоставлении их с «Задонщиной».

К начальным строкам «Слова» «Не лепо ли ны бяшетъ, братие», кончая «шизым орлом под облакы», Мазон приводит соответствующие параллели из списков «Задонщины»: «Скажи ми, брате, коли и мы словесы о похвальных сих о нынешних повестях [о] полку великого князя Дмитрия Ивановича и брата его... нача поведати по делом и былым, не поразился мысленными землями. Помянем первых лет времена, похвал[им] вещаг[о] горазда гудца» (С); «Рци: того лутче бо ес[ть], брате, нача поведати иными словесы о похвальных о нынешних повестех [о] полку князя Дмитрея Ивановича и брата его. Начаша поведати по делом по гыбелю, но потрезвимьс[я] мыслями и землями и помянем первых лет времена и похвалим вещь бойного гораздаг[о] г[удь]ца в Кieve» (И—2); «И рцем таково слово: лудчи бо нам, брате, начати поведати иными словесы от похвальных сих и о нынешних повестех похвалу великого князя Дмитрея Ивановича и брата его... Начаша ти поведати по делом и по былинам, не проразимся мыслию но землями и помянем первых лет времена, и похвалим вещьнаго боярина горазна гудьца в Кieve» (У).

Сравнив эти строки трех списков «Задонщины» со вступлением списка К—Б, где только слова «первее всех вшед восхвалим вещьнаго Бояна в городе в Кieve гораздогудца» имеют соответствие со списками С, И—2 и У, Мазон находит, что текст Кирилло-Белозерского списка прост и ясен, в то время как прочие версии «Задонщины» усложняют его. В них мы находим выраженное запутанно намерение отдать предпочтение фактам реальной действительности перед полетом воображения. В «Слове», по Мазону, мы имеем развитие этих позднейших версий «Задонщины», и особенно И—2 и У, но по списку более исправному, чем дошедшие до нас, и содержащему в себе, как и Кирилло-Белозерский, имя Боян, которое Мазон, очевидно вслед за Вайяном, считает принадлежавшим какому-нибудь югославянскому выходцу XIV—XV вв. Противопоставление фактов поэтическому измышлению, летописных известий — воображению находит себе изящно сконструированное выражение в использовании тройного ритма и в романтической приподнятости. Это прежде всего — мысль поэта, растекающаяся в листе дерева; это — затем — серый волк, пробегающий по земле, и сизый орел под облаками: два животных, которые появляются в этом «мнимом средневековом тексте» как привнесенные прямо из былин и сказок, каждое в сопровождении эпитета и поставленное по отношению друг к другу

в плане антитезы, в соответствии вкусам преромантической эпохи. Впрочем, «для очистки совести» Мазон считает нужным указать, что взлет мысли, сравниваемый с полетом орла, встречается в «Слове о житии» («летая мыслью под небесем, яко орел») и в «Молении Даниила Заточника» («бых паря мыслью своею, аки орел по воздуху»). Однако, очистив этим признанием свою совесть, Мазон считает себя свободным от логических выводов из своего признания и тут же пишет: «Стилистическое мастерство, которым щеголяет автор, ни в коем случае не должно вводить нас в заблуждение; рука эрудированного читателя какого-нибудь сборника типа Кирши Данилова дает себя здесь знать гораздо явственнее, чем рука забытого поэта XII века». «Нужно помнить, — продолжает Мазон, — что в эпоху Екатерины II были популярны былины, о чем свидетельствуют сборники Чулкова и Левшина и другие подобного рода многочисленные книжки, а также цитация былины о Владимировых богатырях в первом издании «Слова»<sup>14</sup>.

Указав затем на то, что для средневековой поэмы неестественна ее большая близость к позднейшим версиям «Задонщины», чем к версии древнейшей, Мазон далее замечает: «Но даже если мы пройдем мимо этой странности, не должны ли мы удивляться тому, что предполагаемый плагиатор (С, И—2, У) так неуклюже затемнил образец относительно ясный и что в нем нет, несмотря на разнообразие редакций, никаких особенностей, столь характерных для «Слова»: ни дерева, ни волка, ни орла, ни даже малейшего намека на чудодейственные способности великого певца?»<sup>15</sup>

Подделка выдает себя, по мнению Мазона, сразу уже тем, что автор задает вопрос — не начать ли ему петь о походе Игоря «старыми словесы», так как о «старых словесах» не мог говорить поэт ни конца XII, ни начала XIII в., а лишь поэт XVIII в. Мазон ссылается при этом на мнение митрополита Евг. Болховитинова, который полагал, что о «старых словесах» мог говорить в крайнем случае лишь человек XV в. Мазон мог бы привести и высказывание по этому поводу И. Беликова, который также находил неестественным в устах автора «Слова» упоминание о «старых словесах», о чем, как он полагает, могла бы идти речь разве лишь у писателя XV или XVI столетия<sup>16</sup>. То же приблизительно говорил и О. И. Сенковский.

<sup>14</sup> Мазон А. Le Slovo d'Igor, с. 49.

<sup>15</sup> Там же, с. 50.

<sup>16</sup> См.: Беликов Ив. Некоторые исследования «Слова о полку Игореве». — Учен. зап. Московского университета, ч. 5, 1834, с. 199.

Разберемся пока в только что приведенных аргументах Мазона, якобы убеждающих в подложности «Слова», и посмотрим, насколько они полновесны и убедительны.

На недоуменный вопрос Мазона, как могло случиться, что автор «Задонщины» во вступлении к ней затемнил свой достаточно ясный образец, ответ у нас очень простой: автор затемнил свой образец не только во вступлении, но и на всем протяжении своего текста. И потом — по законам логики — естественнее выводить темное и запутанное из ясно и стройного, чем наоборот. Что же касается вопроса, почему в «Задонщине» не оказалось ни дерева, ни волка, ни орла, ни упоминания о чудодейственных способностях певца, то мало ли что не опущено в «Задонщине» из того, что имеется в «Слове». Ведь сам же Мазон считает, что «Задонщина» — более трезвое и менее риторическое произведение, чем «Слово». Ведь совершенно ясно, что поэтический полет автора «Слова» автору «Задонщины» должен был казаться чрезмерным и не соответствующим стилю эпохи, и он умерял его, насколько мог. Почему, спрашивается, правдоподобнее предположение о поэтическом обогащении текста по сравнению с его оригиналом, чем предположение о его обеднении; другими словами — почему вероятнее думать, что автор «Слова» в данном случае художественно усложнил текст своего образца, чем согласиться с тем, что здесь, как и в других местах, автор «Задонщины» упростил поэтический стиль «Слова»?

Остановимся далее на выражении «Слова» «старыми словесы», противопоставляемом автором «былинам сего времени». Прежде всего о значении слова «старый» в древнерусском языке. Оно означало не только то, что означает сейчас, но соответствовало очень часто понятию «прежний»<sup>17</sup>, а также «давний». В таком именно смысле нужно понимать выражения «Слова» «старому Ярославу», «старога Владимира», что лучше всего иллюстрируется словами «от старога Владимира до ныняшнего Игоря» и тем, что в «Слове» Ярослав, названный сначала «старым», называется потом «давним». «Старыми словесы» значило, конечно, — в «прежнем, привычном стиле», в «традиционной манере» песенной речи Бояна, которая, очевидно, ощущалась уже как отживающая или, во всяком случае, не соответствовавшая новым поэтическим и идейным задачам, какие ставил перед собой автор «Слова». Боян, нужно думать, был самым ярким и талантливым выразителем того песенного стиля, который начал складываться еще задолго до него и который в конце

<sup>17</sup> Ср.: *Срезневский. Материалы*, т. III, стлб. 499.

XII в. с полным историческим основанием мог рассматриваться как подлежащий известному обновлению.

В дополнение к сказанному заметим, что сам Мазон, как бы он ни относился к мнимому поддельвателю «Слова», видимо, не может не считать его человеком достаточно предусмотрительным и сообразительным, во всяком случае настолько, чтобы опрометчиво не выдавать своей подделки. Неужели в таком случае ему не пришло бы в голову, что его противопоставление «старых словес» новым может дать повод заподозрить подлинность «Слова»?

Мазон вынужден предполагать существование более исправного, чем дошедшие до нас, списка «Задонщины», чтобы вывести из него все стилистические и художественные особенности в данном случае — вступления «Слова». И действительно, стройное и вполне ясное с художественной и стилистической точки зрения его вступление не выведешь из невразумительного вступления дошедших до нас списков «Задонщины». О смысле начальных строк «Задонщины» по спискам С, И—2 и У можно догадаться только в том случае, если мы сопоставим их с началом «Слова», ипаче они просто невразумительны. И это относится не только к начальным строкам всех дошедших до нас списков «Задонщины», но и ко всему вообще ее тексту в известных нам списках.

На всем протяжении своей работы Мазон, сопоставляя сходные места «Задонщины» и «Слова», поступает так же, как он поступает при сопоставлении начальных строк обоих памятников: он заявляет, что во всех таких случаях очевидно заимствование «Словом» из «Задонщины», а не наоборот.

Так, сопоставляя отрывок «Слова» «Помняшеть бо, рече, первых времен усобице», кончая: «они же сами князем славу рокотаху», с соответствующими отрывками «Задонщины» по спискам К—Б, С, И—2, У, в которых говорится о том, что вещей Боян возлагал свои «златыя персты на живыя струны», или «белыя руцы на златыя струны», или «гораздыя персты на живыя струны» и пел при этом славу первым русским князьям, Мазон пишет: «Непосредственная близость «Слова» к «Задонщине» обнаруживается в образе пальцев певца, возлагаемых на струны гуслей. Тут одинаковые глаголы, обозначающие жест певца («воскладаше»), и одинаковые эпитеты («вещие персты»). Но есть и два отличия. С одной стороны, автор говорит об усобицах первых времен, в то время как в «Задонщине» идет речь о «первых лет временах». С другой стороны, в соответствии с манерой певца, выражение простое и традиционное заме-

няется пышным образом, однако слабо пригнанным: пальцы-соколы опускаются на струны — на лебедей, как в «Задонщине» русские соколы на половецких лебедей (sic!), и каждая струна поет, в свою очередь, свою лебединую песнь, и все струны поют в честь русских князей»<sup>18</sup>.

Обращая внимание на перечисление князей в «Слове» и «Задонщине», Мазон указывает на то, что там и тут общим именем является лишь имя Ярослава Мудрого; в «Слове», в отличие от «Задонщины», не упоминается Рюрик, но зато упоминаются два тмутороканские князя вследствие пристрастия автора «Слова» к Тмуторокани, о причинах которого говорится ниже.

Степень доказательности соображений Мазона тут сама собой очевидна. Трудно оспаривать Мазона, когда, приведя обращение Игоря в «Слове» — «братие и дружино, лучше ж бы потяту быти, неже полонену быти» и рядом с этим сходное обращение чернеца Пересвета к князю Дмитрию Ивановичу в списках «Задонщины», он заявляет: «Слово» продолжает следовать за «Задонщиной»<sup>19</sup>. Вопрос, почему же не наоборот — излишен, потому что это противоречит концепции Мазона. Естественное соображение, что приведенная цитата уместнее в устах князя, предводителя войска, чем в устах воина-монаха, видимо, не может поколебать Мазона. Или вот еще: приведя цитату из «Слова» «Не буря соколы занесе чрез поля широкая, галици стады бежать к Дону великому» и рядом с ней цитаты из «Задонщины» — «Они бо взнялися, как соколы со земли рускыя на поля половец[к]ия (К—Б), «А чи, боре, соколом зонесет из земли залеское на поле половецкое?» (С), «Цег (Ци) буря соколы из земли залескыя в поле половецкое (полотское)» (И—2 и У), Мазон заявляет: «Автор «Слова» претендует на цитацию из Бояна, но он цитирует в действительности только «Задонщину» и, по своему обыкновению, по позднейшим версиям, обычно многословным и цветистым»<sup>20</sup>.

В «Слове» буй-тур Всеволод обращается к Игорю с предложением седлать своих коней, говоря при этом, что его кони уже оседланы у Курска, а затем характеризует своих курян как «сведомых кметей», под трубами повитых и т. д. И для этого стройного и вполне ясного обращения Мазон ищет источник все в той же «Задонщине», где сходные со «Словом» выражения разбросаны на протяжении всего текста, будучи механически, а не органически связаны

<sup>18</sup> Mazon A. Le Slovo d'Igor, с. 51—52.

<sup>19</sup> Там же, с. 56.

<sup>20</sup> Там же, с. 61.

с контекстом, что очевидно для всякого непредубежденного читателя.

Вслед за обращением Всеволода в «Слове» идет речь о том, что Игорь вступил в стремя и поехал по чистому полю. Природа сопровождает выступление Игоря недобрыми предзнаменованиями. И этот тоже очень стройный эпизод «Слова» также оказывается скомпонованным из двух разоб- щенных мест «Задонщины» в позднейших ее версиях — одного, в котором говорится о выступлении в поход Дмитрия Ивановича, и другого, где сказано о сокрушительном поражении татар.

Неизменно стремясь всюду доказать генетическую зависимость «Слова» от «Задонщины», Мазон сплошь и рядом возносит последнюю и дискредитирует первое. Так, в связи с обращением автора «Задонщины» к Бояну, соловью старого времени, Мазон указывает на то, что автор «Задонщины» по своей скромности, для того чтобы воспеть князей, прибегает к помощи двух птиц — жаворонка и соловья. Оба эти обращения дополняют одно другое, и оба они, на вкус Мазона, трогательны по своей простоте, написаны в манере простодушной, почти деревенской. Как же поступил автор «Слова»? Он пренебрег жаворонком и отказался от легкого стиля песни. Соловей теперь отождествился с самим поэтом Бояном. Получилась, по Мазону, риторическая, темная и претенциозная амплификация, псевдоклассическое клише, в противоположность свежей непосредственности источника, из которого заимствует «Слово». Тяготение его автора к искусственности совершенно очевидно, по мнению Мазона. Автор пишет во вкусе «преромантической моды», утверждает Мазон, и тут же вспоминает А. С. Шишкова, сравнивавшего данное место «Слова» с началом «Смерти Авеля» Геснера и в свое время одернутого за это Пушкиным.

В дальнейшем Мазон, для того чтобы объяснить присутствие в «Слове» Хорса, зачем-то выискивает его в «Истории» Леклерка, хотя тут же сам указывает, что Хорс упоминается в древней летописи.

Едва ли стоит останавливаться на вопросе о предпочтительности с художественной точки зрения образа жаворонка образу соловья. Что же касается неоднократных упреков Мазона по адресу «Слова» в риторичности, то, чтобы не возвращаться больше к этому, охотно согласимся с Мазоном, что «Слово» во многом риторическое произведение, но, во-первых, риторика присуща очень многим произведениям древней русской литературы, в частности литературы XI—XII вв. (вспомним риторичность митрополита Илариона, Кирилла Туровского, житийных произведений и даже летописи),

во-вторых, есть риторика и риторика. И как раз риторика «Слова» отличается высокими и неоспоримыми достоинствами.

#### IV

Ограничив систематическое влияние «Задонщины» на «Слово» приблизительно лишь первой третью его текста, кончая словами «Ничить трава жалощами, а древо с тугою к земли преклонилось», но за вычетом большей части рассказа об усобицах Олега Гориславича, Мазон считает, что дальше связь «Слова» с «Задонщиной» теряется и обнаруживается лишь в отдельных чертах, за исключением знаменитого плача Ярославны, где эта связь в последний раз станет несколько значительнее. «Автор «Слова», — говорит Мазон, — умножит теперь с помощью восклицаний и дешевых эффектов экскурсы в прошлое, введет отдельные эпизоды и общие места. Он оплачет вместе с летописцами раздоры князей и вызовет символические фигуры Обиды, Карны, Жли. Он возбудит Святослава и его союзников против половцев, внушит Святославу вещей сон, который бояре истолкуют по известному рецепту, и за толкованием последует речь в чисто классической манере — «золотое слово» Святослава. Наконец, он обратился к князьям с призывом, который сопровождается жалобами по поводу упадка Полоцкого княжества и воспоминаниями о князе-чарошее Всеславе. Плач Ярославны так красиво увенчает его подделку (*pastiche*), что бегство и возвращение на родину Игоря покажутся нам концовкой такой же банальной, как и счастливая развязка в произведениях нового времени. Таков окажется тот остаток, который дает нам «Слово», когда мы освободим его от всего того, чем оно обязано своему главному образцу. Чтобы определить этот остаток, нам следует лишь закончить выявление последних заимствований, как бы незначительны они ни были»<sup>21</sup>.

Эти устанавливаемые Мазоном «заимствования» «Слова» из «Задонщины» так же бездоказательны, как и те, которые отмечались им раньше. Например, фраза «Слова»: «Уже снесся хула на хвалу; уже тресну нужда на волю; уже вержеся Дивь на землю» выводится из фразы «Задонщины»: «Уже вержено диво на землю» (И—2) или «Уже бо вержено диво на земли» (У). Мазон находит, что три предложения, которые составляют фразу «Слова», образуют странное сочетание: два абстрактных понятия, сопровождаемые обра-

<sup>21</sup> Там же, с. 104—105,

зом, который возвращает нас к ночной птице, фигурирующей в начале «Слова» («Дивь кличет»). Это образ зловещей птицы, повергшейся на землю, но эта зловещая птица, по Мазону, не что иное, как персонификация слова «диво» в смысле «чудо», потому что фраза — прототип в «Задонщине» (в И—2 и У), которой предшествует прославление князя-победителя, означает: «Чудо совершилось на земле, чудесные события происходят здесь». Искусственность всего этого объяснения очевидна сама собой. Каким образом, прежде всего, диво могло быть «вержено» на землю, если его понимать так, как понимает Мазон, а потом как же можно согласиться с толкованием Мазоном слова «диво» в «Задонщине», если принять во внимание такие ее чтения, как «кликнула диво по всем землям русским» (С), «кликнуло диво в русской земли» (И—2), «кликнули быша дивы в русской земли» (У), «Диво кличет под саблями татарскими» (И—1, И—2)?

В «золотом слове» Святослав восклицает: «А чи диво ся, братие, стару помолодити?» И далее говорится о линяющем соколе, не дающем своего гнезда в обиду, и после этого о том, что соколу-князю прочие князья — «не пособие». В устах Святослава все это понятно и до сих пор не вызывало никаких недоумений. В списке К—Б «Задонщины» в соответствии с этим читается (приводим фразу в контексте): «...весть подаваша порожнымь землямь... за дышущем моремь. Того даже было нелепо стару помолодиться. Хоробрый Пересвет поскакивает на своемь вещемь сивце». В списке У эта фраза читается в таком контексте: «Тако бо Пересвет поскакивает на своем добре коне, а злаченым доспехом посвечивает, а иные лежат посечены у Дунаю великого на брезе; и в то время стару надо помолодеть, а удалым людям плечь своих попытать. И молвяще Ослабя чернец своему брату Пересвету...» Сходно — в И—2. И лишь в С читается более или менее вразумительно: «Той де Пересвет чернец поскакивает на своем борзым кони, золотым доспехом посвешаючи. А многая ная дружина лежит у великого Дону побита и постреляна, и рече: добре тут, брате, стару помолодети, а молодому чести добыти, плечи своих испытати».

И вот Мазон считает, что приведенная фраза Святослава восходит к эпизоду «Задонщины» о Пересвете и что эта фраза едва ли является единственным заимствованием «золотого слова» из «Задонщины» (Мазон правильно «золотое слово» Святослава ограничивает лишь его жалобой на Игоря и Всеволода). Фраза Святослава, по мнению Мазона, совершенно неожиданна в его устах (?), несмотря на то, что далее следует другая фраза, ее объясняющая: «коли сокол



в мьтэх бывает» и т. д. Здесь, по Мазону, очевиден шов; фраза вставлена неискусно и производит впечатление постороннего тела. И тут мы имеем дело с утверждением, вся неосновательность которого не может вызвать никаких сомнений.

Далее слова из обращения к Всеволоду Большое Гнездо: «Ты бо можеша Волгу веслы раскропити, а Дон шеломы выльяти» Мазон выводит из обращения русских жен к Дмитрию Ивановичу, которое в «Задонщине» звучит так: «Можеша ли реку Дон заградити и шеломы и [с] черпати, а реку Мечну трупы татарскими заградити» (С). По мнению Мазона, это обращение в «Задонщине» на месте и содействует усилению энергичной мольбы вдов; в «Слове» же этот образ оказывается, как утверждает Мазон, явно заимствованным, неискusstvenным придатком. Рассуждение по степени своей убедительности — такого же рода, как и предыдущее и как последующее, в котором толкуется фраза «Слова»: «Не ваю ли храбрая дружина рыкают, акы тури ранены саблями калеными, на поле незнаеме?» Этот вопрос, обращенный к князьям Рюрику и Давыду, Мазон возводит к словам «Задонщины»: «Не тури възрыкають (возрули, възгремели) на поле Куликове». «Нет нужды, — по словам Мазона, — доказывать искусственность этого вопроса, как и предшествующего ему: «не ваю ли злачеными шеломы по крови плаваша?». Второй вопрос, по Мазону, — цитата из «Задонщины», украшенная двумя дополнениями: одним обычным — «саблями калеными» и другим немного элегическим и преромантическим: «на поле незнаеме», близким к «велит послушати земли незнаеме» и «трещат копия харалужныя в поле незнаеме». Что же касается слов рефрена этого и двух других абзацев — «за раны Игоревы», то Мазон видит в них своего рода девиз, заимствованный из рыцарских романов де Трессана (французского писателя XVIII в.) или вообще из репертуара XVIII в., скорее чем из словесного воинского арсенала XII в.

В таком же точно роде еще несколько сближений этой части «Слова» с «Задонщиной», которых мы здесь не касаемся, чтобы без нужды не загромождать нашу статью. Позволительно лишь спросить, есть ли хоть какая-либо доля вероятия в том, чтобы и экскурсы автора «Слова» в прошлое, и скорбь его по поводу раздора князей, и сон Святослава, и его «золотое слово», и призыв русских князей к единению, и экскурс в историю Полоцкого княжества, — чтобы это все вместе взятое, представляющее органически спаянное и целостное единство, подчиненное идее борьбы за благо Русской земли, — было в основном подсказано случайными,

разрозненными, лишенными какой бы то ни было связи фразами «Задонщины»?

Переходим к плачу Ярославны. Выписав его целиком, Мазон в параллель к нему приводит плач русских жен по всем сохранившимся спискам «Задонщины». С самого начала своего разоблачительного анализа плача Ярославны он укоряет этот изумительный по силе художественного мастерства эпизод «Слова» в якобы присущих ему словесных дефектах: этот плач, как он читается в первом издании, может быть осмыслен, по словам Мазона, лишь при условии большого количества исправлений (как будто их не требуется в гораздо большей мере в «Задонщине». — *Н. Г.*), после чего он привлекает наше внимание тем, что у него есть общего с плачем жен в «Задонщине» — русские жены также «рано сплакашася (плакаша) на заборолех (забралах) в Москве». Ярославна обращается к Днепру: «Ты пробил еси каменные горы сквозе землю Половецкую; ты лелеял еси на себе Святослави насады до полку Кюбякова; взлелей, господине, мою ладу к мне, а бых не слала к нему слез на море рано». В «Задонщине» по списку К—Б жена Микулина Мария обращается к Дону: «Доне, Доне, быстрый Доне, прошел еси землю Половецкую, пробил еси берези харалужные, прилелей моего Микулу Васильевича». В С и других списках «берези харалужные» изменены на «каменные горы», как в «Слове». В И—1 и И—2 обращение уже вложено в уста двух жен разных мужей, но обе они просят Дон: «...прилелей господина моего ко мне, Микулу Васильевича». В списке У догадливый переписчик, заметив эту несообразность, добавил: «А Марья про своего господина тоже рекла».

Не нужно много задумываться для того, чтобы по крайней мере во втором примере понять, что из чего идет: вполне естественно говорить о «каменных горах» в применении к Днепру (здесь имеются в виду, конечно, днепровские пороги) и неестественно говорить о них применительно к Дону. Далее — просьба Ярославны к Днепру, чтобы он «взлелеял» ее ладу, сопровождается припоминанием о том, что Днепр ранее лелеял суда Святослава до полка Кюбякова (здесь вспоминается бывший за год до этого удачный поход Святослава на половцев), в «Задонщине» же соответствия этому припоминанию нет, так как автор «Задонщины» не мог указать, кого раньше лелеял Дон, и насколько в «Слове» просьба Ярославны мотивирована, настолько в «Задонщине» она лишена всякой мотивировки, потому что нет никакой логической связи между тем, что Дон пробил каменные горы, и тем, что он должен прилелеять любимого мужа.

Совсем уже непонятную параллель из «Задонщины» приводит Мазон к обращению Ярославны к солнцу. В «Задонщине» русские жены говорят: «Уже нам солнце померкло во славном граде Москве». И все. И Мазон так распространяется по этому поводу: «И последняя строфа (в «Слове». — *Н. Г.*) о солнце, как в «Задонщине» XVI—XVII вв., хотя в несходных значениях: в одном случае — солнце померкшее, т. е. умерший князь, в другом — солнце настоящее, которое жжет и вызывает мучительную жажду»<sup>22</sup>.

Ниже Мазон указывает источники к этой строфе плача Ярославны в народных песнях, в поэзии Оссиана, в древнерусских литературных плачах и в свидетельствах летописи. Об Оссиане сказано будет особо, что же касается летописных данных и параллелей из древнерусских литературных плачей, то, естественно, совпадение с ними «Слова» еще нисколько не говорит за то, что непременно в XVIII в. для «Слова» были использованы летописные подробности или книжные плачи.

Вот и все, чем, оказывается, обязан плач Ярославны «Задонщине».

Центральным мотивом этого плача Мазон считает обращение к реке, сопровождаемое красивой формулой: «приледей» — «взлелей». При этом свою подделку автор «Слова» выдает лишней раз будто бы тем, что плач «Задонщины» по умершим мужьям он превратил в плач по живому мужу. «Слыхано ли, — спрашивает Мазон, — чтобы мог быть похоронный плач без мертвеца, которого оплакивают?» Но почему считается, что плач Ярославны — похоронный плач? И неужели Мазон не знает о существовании народных плачей по живым, а также женских свадебных причетов?

Другое свое «добро», по Мазону, автор «Слова» заимствовал из других источников или сам создал его во вкусе эпохи XVIII в. Так, живописное изображение костюма Ярославны («бебрян рукав») и взывание к раненому князю, раны которого перевязывает его дама, по мысли Мазона, заставляет вспомнить рыцарские романы уже упомянутого Трессана, сдобренные эпитетами, якобы чуждыми (почему? — *Н. Г.*) средневековой («кровавые его раны», «на жестоцем его теле») <sup>23</sup>.

Заклинание Ярославны: «О Днепре Словутицю... ты лелеял еси на себе Святослави насады до полку Кобыкова»

<sup>22</sup> Там же, с. 116.

<sup>23</sup> Ср.: *Данилов Кириша*. Древние российские стихотворения. М.—Л., 1958, с. 58; «без той раны кровавая», с. 59; «а за ту рану кровавую»; *Миллер В. Ф.* Исторические песни русского народа XVI—XVII вв. Пгр., 1915, с. 252, 425; «рану кровавую».

дает, по Мазону, грациозную игру слов в соединении с фразой «взлелей, господине, мою ладу к мне»; и слова «а бых не слала к нему слез на море рано» — концовка в стиле ргёсиеух. Жалоба вдовы Марии кажется Мазону очень скромной по сравнению с этим красноречием. Но именно это красноречие, утверждает Мазон, является той основной нотой, при помощи которой автор подделки организовал свою оркестровку. Ибо плач Ярославны, по утверждению Мазона, разворачивается как оркестровая пьеса, следуя движению, периоды которого гармонически соединены: предварительное заклинание возлюбленному, потерпевшему поражение в битве, затем упреки ветру, обращение к реке, укоры солнцу — все эти три последние мотива предваряются формулой, трижды повторяющейся как горестный рефрен: «Ярославна рано плачет...» И каждый из этих мотивов имеет общие места с народной поэзией и с излюбленными романсами XVIII в.

Мы согласны с тем, что «Слово» очень многим обязано народной поэзии, и не возражаем, разумеется, против этого предположения Мазона, но возражаем против систематического сведения народнопоэтических элементов и плача Ярославны, и «Слова» в целом преимущественно к сборникам Чулкова, Левшина, Попова.

Что общего, например, имеет обращение Ярославны к солнцу со следующими строками, извлеченными из различных песен песенника Чулкова и приводимыми Мазоном:

Взойди скорее, солнце, ночь темная пройди...  
Ты взойди, взойди, над высокою,  
Над дубравушкой, над зеленою,  
Обогрей ты нас, добрых молодцев...  
Ах, ты солнце, ты солнце красное  
Ты к чему рано за лес катишься?

В таком же роде и другие его параллели к плачу Ярославны, извлеченные все из того же песенника Чулкова.

Мазон ищет источника ряда поэтических образов как для плача Ярославны, так и для «Слова» в целом и в поэзии Оссиана. В параллель к тем местам из плача Ярославны, в которых она обращается к ветру и солнцу, он приводит такие образы из Оссиана в переводе Кострова: «Духи летают на крилах ветренных», «О ветры... ваши криле...», «О солнце! Сын небес! коль страшна красота твоя, когда смерть таится в пламенных твоих кудрях, и стремишь ты пред собою на сонмы воинства горящие твои пары». Но, как отметил уже Д. В. Айналов, ветреные крылья много раз упоминаются в Псалтыри, фигурируют они и у Кирилла Туровского, например: «Ови (т. е. ангелы) облакы крылы

ветренными приносят на взятие от земли» или «взыде бо, рече, на херовим и лете на крылу ветреннюю»<sup>24</sup>.

В древнерусском Слове о пророке Симеоне по списку XIV в. также находим сближение крыльев с ветрами: «Ту Симеон поновився быстрый, быстрым желенья крилом, акы ветром подъемлем»<sup>25</sup>. Что же касается мотива палящего солнца, от которого изнемогают воины, то, во-первых, он в своем образном выражении в «Слове» имеет мало общего с приводимым Мазоном отрывком из Оссиана, во-вторых, он настолько здесь естествен, что нет никакой необходимости искать для него специальных литературных параллелей.

Приведем еще другие улики, которые выдвигает Мазон против «Слова» как произведения, будто бы испытавшего на себе влияние оссиановской поэзии.

Влияние Оссиана Мазон видит в упоминании гусельных струн, которые сами поют славу князьям. У Оссиана также арфа якобы сама издает звуки. Но, во-первых, как явствует из приведенного самим же Мазоном отрывка из Оссиана, она издает печальные звуки, предвещая смерть какого-нибудь выдающегося человека; во-вторых, звук раздается от прикосновения теней или колебания струн ветром. Мазон указывает на то, что арфа у Оссиана может издавать и радостные звуки, но из приводимого им отрывка не видно, повторяем, чтобы арфа сама издавала звуки без какого-либо прикосновения к ней. Наконец, нигде у Оссиана мы не находим примера, где бы струны пели кому-либо славу. Таким образом, и тут мы имеем самое отдаленное сходство между «Словом» и Оссианом.

Отзвук Оссиана Мазон усматривает и в Диве «Слова», кличущем на вершине дерева. Див, появляющийся «в ночной романтической обстановке», по Мазону, скорее оссиановский, чем русский, и соответствующие строки «Слова» напоминают строки из Оссиана: «Визгливая сова причитает на вершине дерева, которое находится около могилы мертвых». Но еще Барсов приводил олонеккое поверье о Диве, по которому он — «птица-укальница», сидящая на сухом дереве и кличущая, свищущая по-змеиному<sup>26</sup>. Просто на веру Мазон предлагает нам принять его утверждение, что выражение

<sup>24</sup> Айналов Д. В. Заметки к тексту «Слово о полку Игореве». — ТОДРЛ, т. IV, 1940, с. 145.

<sup>25</sup> Буслаев Ф. Историческая хрестоматия. М., 1861, стлб., 435.

<sup>26</sup> См.: Барсов Е. В. «Слово о полку Игореве» как художественный памятник Киевской дружинной Руси. М., 1887, т. I, с. 370; ср. т. III, М., 1889, с. 194.

«Долго ночь меркнет, заря свет зашла, мгла поля покрыла, щекот славий успе, говор галичь убуди» и последующий рефрен — «ищучи себе чти, а князю славы» — также обязаны Оссиану. Впрочем, «говор галичь убуди» можно и не выводить из Оссиана, так как, по счастью, в «Задонщине» читаем: «галицы своею речью говорят».

Как это ни странно, Мазон в одном случае готов даже видеть влияние на «Слово» одновременно и «Задонщины» и Оссиана. Так, комментируя следующее место «Слова»: «Унылы голоси, пониче веселие. Трубы трубят городеньскийи, он, с одной стороны, возводит его к выражениям «Задонщины» — «весилие мое пониче» и «трубы трубят в Серпухове», с другой стороны, усматривает здесь влияние манеры Оссиана. Оссианизмами, по Мазону, являются и такие чтения «Слова»: «Прысну море полунощи; идут сморци мъглами», слово «мъглами» в фразе «полете соколом под мъглами», «Девици поют на Дунаи, вьются голоси через море до Киева».

Приведенными образцами исчерпывается все, что Мазон может привести как признаки влияния Оссиана на «Слово». Но как ни ничтожны количественно и качественно сами по себе эти признаки, ничего неестественного не было бы в том, что в «Слове» и в подделке Макферсона могли бы оказаться черты известного сходства: ведь Макферсон в своей подделке все же исходил из материала народной поэзии, и хотя это была поэзия кельтская, она содержала в себе известные черты общности со всякой народной поэзией, в том числе и русской.

Мазон видит в стиле «Слова» преромантические и даже романтические черты, находит в его языке псевдоклассические клише и галлицизмы, что, по мнению Мазона, является отражением влияния западноевропейских литературных вкусов, приобретших широкое распространение в русской литературе конца XVIII в. Мы уже отчасти касались этого рода соображений Мазона. Приведем еще те, на которых мы не останавливались, и предоставим читателю судить самому, насколько они убедительны.

Преромантические черты стиля «Слова» сказываются, например, в восклицании «О руская земле, уже за шеломянемь еси!», которое представляется Мазону синтаксически несколько тяжелым для русского средневековья, и в выражении «красныя Глебовны свычая и обычая», которое «пришлось по вкусу читателю Парни и Буффлера», и в такой подробности, как похищение половецких дев, о котором Мазон пишет: «Что касается похищения красных девок половецких, то об этом нет упоминания ни в «Задонщине»,

ни в летописной повести, ни в «Сказании». Все это произведения серьезного характера, проникнутые патриотической и религиозной идеей. Ученый автор XVIII в., напротив, должен был произвольно добавить к своей подделке этот легкий романтический штрих: этого требовала эпоха». Если бы средневековый автор отметил этот факт, который был вообще в порядке вещей, то, думает Мазон, он употребил бы глагол не «помчаша», а более резкий, например «оскверниша». Да и самый глагол «помчаша» в том употреблении его, какое мы имеем в «Слове», представляется Мазону необычным для древнерусского языка, и он колеблется в определении его стилистического колорита, будучи склонен даже видеть здесь псевдоклассическое клише<sup>27</sup>.

Сентиментальный и почти романтический стиль обнаруживается, по Мазону, и в описании битвы, которая длится день, затем другой, оканчивается поражением русских на третий и расставанием двух братьев на берегу быстрой Каялы и сравнивается с пиром, на котором воины опьяняются кровью, как вином. Мазона даже не останавливает то, что последний образ — кровавого пира — присутствует и в «Задонщине»: «Нечто гораздо упилися на поле Куликове на траве ковыли».

Удивление вызывает рассуждение Мазона по поводу двух сходных фраз «Слова»: «Ничить трава жалощами, а древо с тугою к земли преклонилося» и «Уныша цветы жалобю, и древо с тугою к земли преклонило». Сопоставляя эти фразы с фразой «Задонщины» «Трава кровью пролита бысть, а дрeвеса тугою к земли приклонишася, и воспели бяше птицы жалостные песни», Мазон пишет: «Слово» здесь обнаруживает еще лишний раз свою исключительную связь с «Задонщиной» и позволяет нам, сверх того, вскрыть подделку автором своего образца. Первый мотив — деревья, склоняющихся от тоски, внушил образ почти романтический — тоски, разливающейся по земле, засеянной костями и орошенной кровью. Этот мотив перешел из «Задонщины»; второй — птицы, поющие свою жалобу, — внушает новый образ — травы, увядающей от жалости, и мы, таким образом, имеем симметрично уравновешенную фразу, в которой оба

---

<sup>27</sup> Совершенно неосновательны далее соображения Мазона о выражении «Слова» «красныя девкы половецкыя». Его смущает здесь слово «девкы», которое достаточно хорошо известно и в древнерусском языке и в устном творчестве, причем без того оттенка презрительности, который появился позднее (ср.: *Срезневский. Материалы*, т. I, стлб. 181; *Перетц В. Н. «Слово о полку Игоревім»*. Київ, 1926, с. 182—183).

образа гармонично соединены в стиле элегии XVIII в.»<sup>28</sup>. Такая же симметрично построенная фраза — «уныша бо градом забрали, а веселие пониче» — также, по Мазону, является признаком преромантического стиля. Мы могли бы привести, например, еще такую фразу «Слова» в том же «преромантическом» стиле: «Что ми шумить, что ми звенить далече<sup>89</sup> рано пред зорями?» Но тут опять мешает «Задонщина», которая ее использовала.

К числу псевдоклассических клише Мазон относит, помимо воззвания автора к Бояну — соловью старого времени, и выражения «помчаша», также формулы «Велесов внуче», «Стрибожи внуци», «Даждьбожьи внуци», восходящие якобы к псевдоклассическому штампу «сын Аполлона» (хотя естественно спросить, почему же сын заменен внуком), и выражение «трудных повестий», будто бы представляющее перевод слова «labores» классической эпопеи, о чем раньше Мазона приблизительно то же говорил и О. И. Сенковский. К категории «псевдоклассических клише» Мазон причисляет и такие выражения «Слова», как «мутен сон», «се ли створисте моей сребреней седине», «храбрая мысль носит ваш ум на дело», «непобедными жребии», «мыслию поля мерит», «темне брезе», «соловии веселыми песнями свет поведают». И все эти заявления не сопровождаются никакими аргументами и иллюстрациями, за исключением одной фразы: к выражению «мыслию поля мерит» в качестве параллели приводится строка из оды Державина «Бог»:

Измерить океан глубокий...  
Хотя и мог бы ум высокий...

Это сопоставление — характерный показатель убедительности аргументации Мазона на этот раз в данном конкретном случае. Что же говорить о других образцах якобы «псевдоклассических клише» «Слова»?

К галлицизмам «Слова» Мазон причисляет прежде всего такие выражения, как «копие приломити конец поля Половецкаго», «крычат телеги», «ему след правит», «свивая славы». В первом выражении усматривали галлицизм, как известно, еще М. Т. Каченовский и И. Беликов. Мазон, вслед за Каченовским, видит тут рыцарскую фразу, как, впрочем, и в выражении «главу свою приложити», но послед-

---

<sup>28</sup> *Mazon A. Le Slovo d'Igor*, с. 104—105. Заметим кстати, что А. Мазон противоречит сам себе, когда об одном и том же образе пишет, что он «романтический» и в то же время отмечает его присутствие и в «Задонщине» — памятнике конца XIV в.

<sup>29</sup> Мазон упорно читает по первому изданию — «давеча» и отмечает, что древнерусскому языку это слово чуждо.



нее он оставляет в покое, так как оно, оказывается, имеет параллель в средневековой русской литературе, первое же, как и Каченовский и Беликов, отождествляет с французским «*tomber une lance*». В. Н. Перетц в своем комментарии к «Слову» приводит к «копие приломити» близкие параллели из Ипатьевской и Лаврентьевской летописей — «изломи копье» и «копье свое изломи», но Мазон отвергает эти параллели, так как, по его мнению, «приломити» не то же, что «изломити», как во французском языке «*tomber une lance*» и «*briser une lance*» — не одно и то же. Пусть так. Но спрашивается — неужели в древнерусском языке не могло самостоятельно возникнуть выражение «копие приломити», раз существовало «изломити копье»?

«Крычат телеги» еще О. И. Сенковский причислял к галлицизмам, сближая это выражение одновременно со сходным у Овидия, и говорил о том, что телеги думают по-латыни, а кричат по-французски<sup>30</sup>. Но мы уже видели, что к галлицизмам Мазон относит и выражение «копия поют», на самом деле встречающееся еще в «Сказании о Мамаевом побоище». Почему же рядом с «копия поют» не могло быть «крычат телеги» без помощи французского языка? «Ему след править», по Мазону, — перевод французского «*fait suite*». Хотя этот оборот нигде, кроме «Слова», и не засвидетельствован в древнерусском языке, но это не значит, что он противоречит духу старинного русского языка. Дело в том, что дательный падеж, обозначающий направление движения, сохранился и в современном русском языке (вслед кому), но имеет здесь оттенок устаревшего. Также нельзя признать галлицизмом и выражение «Слова» «На следу Игоре ве ездить Гзак с Кончаком», которое Мазон также относит к галлицизмам.

Наконец, неизвестно, почему галлицизмы усматривает Мазон и в чтениях первого издания «свивая славы», понимая «славы» как множественное число (франц. *louanges*), «закладаше уши», «лелеют месть Шароканю».

Столь же необоснованно Мазон относит к числу «модернизмов» и следующие чтения «Слова»: «ни тебе, черный ворон, поганый половчине», «прыщени на вои стрелами», «снопы стелют головами... на тоце живот кладут, веют душу от тела», «кровави брезе», «Игорь спит, Игорь бдит, Игорь мыслию поля мерит», «на поганья полки», а также разговор Игоря с Донцом и некоторые другие места «Слова».

Можно представить себе, как искусно прикрепил бы Мазон к литературным вкусам конца XVIII в. такой, па-

<sup>30</sup> Библиотека для чтения, 1854, т. 124, с. 18.

пример, оборот, как «под трубами повити, под шеломи взлеяны, конець копия вскормлени», если бы этот оборот не был узурпирован все той же «Задонщиной».

Мы упоминали уже выше о том, что Мазон считает «Слово» кое в чем обязанным даже романам XVIII в. о морских разбойниках и описаниям путешествий в Америку. Именно оттуда будто бы идет эпитет — «буй-тур», сопровождающий в «Слове» имя Всеволода<sup>31</sup>. Мазон пишет: «Эпитет, присвоенный Всеволоду, — вроде индейского прозвища. Он является, вероятно, одним из наиболее странных изобретений автора «Слова»... Следует отметить, что «Слово» обильно употребляет выражение «буй». И нужно признать, что «буй-тур» и «яр-тур» — пововедения, звучащие фальшиво. Присутствие их меньше нас удивило бы в описаниях путешествия в Америку, чем в средневековой русской поэме. Придирчивый изыскатель мог бы напомнить с этой точки зрения, что эти имена на манер индейских могли возникнуть в результате влияния двух литературных течений, бывших в моде в XVIII в.: это, во-первых, книги о морском разбое и морских разбойниках, с одной стороны, и описания путешествий в Америку — с другой. В этом веке очень интересуются пиратами, как, например, Александром, прозванным «Железная рука», и дикарями Нового света. У Дидро, Вольтера, аббата Прево мы находим достаточно отголосков этого интереса»<sup>32</sup>.

Мазон далее указывает на то, что в Америке каждое племя носит имена животных (медведь, козуля, волк, черепаха) и что в старых русских текстах отсутствуют подобного рода клички, хотя сам же он вспоминает воеводу по прозвищу «Волчий хвост» в Ипатьевской летописи. Но достаточно заглянуть в общеизвестный «Словарь» Тупикова, чтобы найти там большое количество древнерусских личных имен, заимствованных из мира животных («Ворон», «Волк», «Собака», «Воробей», «Бык» и т. д.). А. И. Соболевский правильно указывает на то, что «употребление названий животных разного рода в качестве личных имен свойственно едва ли не всему человечеству» и приводит такие имена из древнерусских памятников, начиная с XI в.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> О половецкой параллели к этому эпитету см. в статье Д. С. Лихачева «Изучение «Слова о полку Игореве» и вопрос о его подлинности». — В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М. — Л., 1962, с. 34.

<sup>32</sup> Мазон А. Le Slovo d'Igor, с. 66—67.

<sup>33</sup> Соболевский А. И. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. Спб., 1910, с. 235—236.

В поисках источников отдельных формул и лексических особенностей «Слова» Мазон обращается даже к тому материалу, который соседил со «Словом» в погибшем мусин-пушкинском сборнике. Так, обращение Всеволода к Игорю — «один свет светлый ты, Игорю», которое Мазон почему-то считает нововведением, так же как и обращение Ярославны к солнцу — «светлое и тресветлое солнце», — он склонен выводить из «Девгениева деяния», где читаем: «свете светозарны, о прекрасное солнце». Оттуда же он готов выводить и слово «кмети». «Автор «Слова», который позаботился о том, чтобы поместить свое произведение в качестве финальной статьи Хронографа, в соединении с произведением более древними, чем его собственное, не вдохновлялся ли, в частности, — спрашивает Мазон, — как раз одним из них, по крайней мере?»<sup>34</sup>

Мы не возражаем против того, что автор «Слова» мог кое-что заимствовать и из «Девгениева деяния» и из повести об Акире Премудром, как полагает Мазон, но не видим оснований думать, что это сделал автор XVIII, а не XII в.

## V

Много внимания уделяет Мазон некоторым лексическим и грамматическим особенностям «Слова», свидетельствующим, с его точки зрения, о неумении автора подделаться под старый язык и избобличающим его в ложных архаизмах.

К числу таких особенностей относятся прежде всего так называемые гапаксы, т. е. такие слова, которые встречаются только в одном памятнике, в данном случае в «Слове», и не засвидетельствованы никакими другими древнерусскими

---

<sup>34</sup> *Mazon A. Le Slovo d'Igor, c. 68—69.* Заметим, что на самом деле «Слово о полку Игореве» не было ни «финальной статьей» Хронографа, ни последним текстом того сборника, в котором оно находилось. Из сохранившихся сведений о составе рукописного сборника, в котором читалось «Слово о полку Игореве», — из предисловия к первому изданию «Слова» и из письма А. И. Мусина-Пушкина к К. Ф. Калайдовичу о рукописи «Слова», — явствует, что в сборнике со «Словом» после Хронографа шло три произведения древнерусской литературы, а уже затем «Слово о полку Игореве», а после «Слова» читалось еще три текста. Вот как описывается состав сборника со «Словом о полку Игореве» в первом издании: «Книга же сия содержит следующие, по их оглавлениям, материи: 1) «Книга глаголемая Гранаграф (Хронограф)...», 2) «Временник, еже нарицается...». 3) «Сказание о Индии богатой», 4) «Синагрип царь Адоров...», 5) «Слово о плъку Игореве...», 6) «Деяние прежних времен храбрых человек...», 7) «Сказание о Филипате, и о Максиме...», 8) «Аще думно есть слышати о свадьбе Девгееве...» (Первое издание «Слова о полку Игореве», с. VII).

памятниками. Такого рода гапаксами «Слова» считаются, например, «русичи», «дотечаще», «рокотаху», «ушекотал», «яруга», «всрожат», «потручатися», «прыщеши», «кикахуть», «уедие», «пизый», «лада», «иноходець» и некоторые другие. Слово «тропа», как указывает Мазон, по памятникам не засвидетельствовано ранее XVI в.; неестественной представляется Мазону форма множественного числа «пороси», как и форма «Словутить», вместо «Словутин».

Что, спрашивается, следует из того, что слово «тропа» не засвидетельствовано (словарем Срезневского) ранее XVI в.? Какие основания имеются для того, чтобы считать это слово позднейшим образованием, не свойственным русскому языку более ранней поры?

Из числа слов, которые Мазон считает гапаксами в «Слове о полку Игореве», мы можем устранить несколько, засвидетельствованных, правда, пока лишь памятниками не ранее XVI в., но тем не менее не имеющих оснований быть непременно заподозренными в своей древности. Таковы слова «дотечаще», «лада», «прищеши», «яруга»: «...ни умь человекъи не дотечет, ни язык известовати тоя красоты не можеть» («Слово похвальное инока Фомы», список XVI в.); «Глагола к нему: дотеку, владыко, к архиереови» (Великие Минеи — Четвы, декабрь, 6—17, стлб. 735, XVI в.); «Дали вы мне ладо поноровное и не дали вы мне с нею пожить от младости и до старости» («Сказание про храброго витязя Бову королевича», список XVII в.); «Сожещи соли до тех мест, доколе престанет прыскати» («Чин мастерству», рукопись XVII в.); «7 трубок, чем прыщут в раны» («Материалы для истории медицины в России», вып. 4, 1885, стлб. 1186, 1679 г.); «А власти, яко пестрыя козы, разширив хвост, прыскать на меня стали» (Житие протопопа Аввакума. РИБ, т. 39, стлб. 121, XVII в.); «А о воре Голом прысьльные казаки сказывають, что есть у них об нем веденье, будто он матаецца по яругам и с ним человек около 20-ти» (Булавинское восстание. М., 1935, стр. 358, 1708 г.); «А от вышеписанных же соловарных колодезей вверх по речке Жеребцу с сенных покосов многое число и леса с яругами, и в тех яругах Изюмского полку казаков розных городов пасеки» (Булавинское восстание, стр. 101, 1704 г.)<sup>35</sup>.

Главным источником, которым пользуется Мазон для определения гапаксов «Слова», является словарь Срезневского. Но не говоря уже о том, что труд этот, начатый сто лет

---

<sup>35</sup> Этими справками, извлеченными из материалов Картотеки древнерусского словаря Института русского языка АН СССР, я обязан С. Л. Чернявской.

назад, как теперь хорошо известно, далеко не исчерпывает лексического богатства древнерусского языка<sup>36</sup>, да и никакой труд не мог бы его исчерпать, потому что далеко не все слова живого русского языка нашли себе отражение в древнерусских письменных памятниках (а в «Слове» присутствие в большой мере живой, не книжной речи, несомненно), — мы встретим в словаре Срезневского сколько угодно слов, засвидетельствованных только одним каким-либо памятником; другими словами, в любом древнерусском памятнике мы сталкиваемся с гапаксами. ими изобилует, например, перевод Хроники Георгия Амартола. Так, в словаре Срезневского отмечено 110 слов, засвидетельствованных только Хроникой Георгия Амартола<sup>37</sup>. И, думается, прав был Истрин, не придававший этому обстоятельству существенного значения при решении вопроса о том, не был ли сделан перевод Хроники непосредственно с греческого на русский язык.

По Мазону — «ущекотал» в «Слове» — гапакс, но и соответствующее в «Задонщине» «выщекотал» — ведь тоже гапакс, потому что это слово нигде, кроме как в «Задонщине», не засвидетельствовано, по крайней мере если судить по словарю Срезневского.

Форма множественного числа «русичи» и «русичи» представляется Мазону, с точки зрения истории русского языка, противоестественной: «русичь», указывает он, отсутствует в указателях к летописям и в «Словаре» Тупикова. Свое утверждение Мазон подкрепляет ссылкой на заметку Б. Унбегауна «Les Rusiči (Rusici) du Slovo d'Igor», напечатанную в том же «Revue»<sup>38</sup>.

В этой заметке Унбегаун указывает на то, что для обозначения русского народа в древности существовало лишь слово «русь» и что форма множественного числа на «ичи» могла появиться только в XVII в. Нельзя, по Унбегауну, отождествлять форму «русичи» с формой, например, «кривич», потому что единственное от «кривичи» в древнерусском языке будет «кривитин», форма же «руситин» нам неизвестна. В качестве возражения и Мазону и Унбегауну

---

<sup>36</sup> В. М. Истрин отмечает свыше 800 слов из славяно-русского перевода Хроники Георгия Амартола, не вошедших ни в словарь Срезневского («Материалы»), ни в «Словарь» Миклошича. Кроме того, в словарь Срезневского не попало до 350 слов из «Хроники», вошедших в «Словарь» Миклошича (см.: *Истрин В. М.* Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе, т. II. Пгр., 1922, с. 220—222, 230—239).

<sup>37</sup> Там же, с. 220.

<sup>38</sup> RÉS, XVIII, 1—2, с. 79—80.

можно было бы указать прежде всего на то, что язык «Слова» — поэтический; он мог отклоняться и на самом деле отклонялся от общепринятого языка, и нет ничего неестественного в том, что в XII в., по аналогии с «кривичи», «радимичи», «вятичи», могла быть образована форма множественного «русичи». Ссылка же Мазона на «Словарь» Тупикова не совсем точна: у Тупикова мы встречаем фамилию (отчество) «Рушич» (с. 731)<sup>39</sup>, несомненно одного корня с «русич», как встречаем и фамилию (отчество) «Кривич» (с. 600). Совсем уже непонятно звучит утверждение Мазона о противоестественности формы «Словутичь» (как и «русичи») от «Словута» (вместо якобы законной формы «Словутин»), если принять во внимание, что по летописям начиная с 1043 г. засвидетельствована форма «Вышатичь» (от «Вышата») и что в «Словаре» Тупикова встречаются фамилии и «Славутыч»<sup>40</sup>, и «Путятичь», и «Истомичь».

Требованиями поэтического языка вполне объяснима и форма множественного «пороси», которая к тому же вызывалась требованиями ритма и аллитерации («пороси поля прикрывают»). «Яруга», как указал в свое время П. М. Мелиоранский<sup>41</sup>, — тюркского происхождения и стоит в ряду других тюркизмов «Слова», также засвидетельствованных только одним этим памятником.

Противоестественным считает Мазон и упоминание в «Слове» аварских шлемов: авары, утверждает Мазон, в пору битвы русских с половцами, в XII в., был народ почти забытый; в древнерусском языке он называется только «обрами», и «оварьский» «Слова» — форма чужестранная и книжная, пришедшая к нам с Запада; она фигурирует в XVIII ст. в «Русских сказках» Левшина. Но не нужно забывать, что в пору написания «Слова», как и позже, остатки аваров жили в пределах Дагестана, и нет ничего невероятного в том, что при обилии в «Слове» следов между-

---

<sup>39</sup> По вопросу об образовании формы «русичи» см.: Булаховский Л. А. «Слово о полку Игореве» как памятник древнерусского языка. — Сб. «Слово о полку Игореве», исследования и статьи, с. 143—144.

<sup>40</sup> Неверно указание Мазона, со ссылкой на «Словарь» Тупикова, на то, что в старом русском языке засвидетельствована только форма «Словута», без отчества (Mazon A. Le Slovo d'Igor, с. 122). Мазон очевидно, заглянул лишь в ту часть словаря, где приведены имена и куда заглядывать было незачем. Естественно, что он там нашел только «Славуту», но если бы он заглянул в отдел «Словаря», отведенный отчествам, то он там на с. 751 нашел бы «Славутыч Каспар Матвеевич, 1601».

<sup>41</sup> См.: Мелиоранский П. Турецкие элементы в языке «Слова о полку Игореве», — ИОРЯС, т. VII, кн. 2, 1902, с. 301—302.

народных связей, кавказские авары могли быть известны автору «Слова». Неверно утверждение Мазона, что само слово «авары» пришло к нам с Запада: оно встречается, например, в сербском списке XIII—XIV в. жития Панкратия («все аварескы языкъ зело сквьрьльнь», «мы аваревьска чедь есмы») <sup>42</sup> и в русском списке XV в. «Откровения Мефодия Патарского» («и обладающе бысть Василоньское царство... аварми и египтяны», «царство варварское, еже суть турци и авары...») <sup>43</sup>, а также в списке XVI в.: «Весь некоа есть от славных в пределах Аварских и Асийских, Лоплиани нарицаема» <sup>44</sup>.

Что же касается прочих ганаков «Слова», то, повторяем, заподозривать на основании их подлинность «Слова» по высказанным нами выше соображениям было бы совершенно неправильно, даже если бы мы обладали исчерпывающим словарем древнерусского языка.

Мы можем указать в «Слове о полку Игореве» значительное количество слов, отсутствующих в «Задонщине» и находящихся в древнерусских памятниках, ставших известными лишь после издания «Слова», например «замышление», «оксамиты», «поскепати», «хоть» (супруга, супруг), «наполома», «смага», «синочь», «буесть», «кощей», «резаца», «чага», «ногата», «цвелити», «утерпети», «обеситися», «жестокый» (в смысле «могучий»), «преторгнути», «стругы». Откуда же заимствовал их «подделыватель» «Слова»? Мы должны предположить совершенно невероятную начитанность «подделывателя» в неизданных древнерусских памятниках и, кроме того, знание тюркских языков. Это был бы настоящий феномен в области лингвистики.

Очень показательно, что даже в тех случаях, когда то или иное редкое слово, кроме «Слова о полку Игореве», засвидетельствовано и другими древнерусскими памятниками, Мазон стремится объяснить нахождение этого слова в нашем памятнике воздействием не древней, а новой традиции. Так, например, несмотря на то, что форма множественного «жалощами» присутствует уже в древнерусском переводе «Иудейской войны» Иосифа Флавия, Мазон предпочитает выводить ее из современной живой украинской речи. Также, несмотря на то, что форма «Велес» вместо обычной русской «Волос» встречается в древних русских списках «Хождения богородицы по мукам» и «Жития Авраамия

<sup>42</sup> См.: *Веселовский А. Н.* Из истории романа и повести, вып. 1. Спб., 1886, с. 90.

<sup>43</sup> См.: *Тихомиров Н. С.* Памятники отреченной русской литературы, т. II. М., 1863, с. 232, 237.

<sup>44</sup> Великие Минеи-Четьи Макария, декабрь 18—23, стлб. 1207.

Смоленского», Мазон полагает, что автор «Слова» мог познакомиться с ней по Прологу или Четным-Минеям, напечатанным в XVII в., или, скорее, по мифологическим штудиям XVIII в.— М. В. Попова, М. Д. Чулкова, Леклерка, И. Н. Болтина.

Последнее соображение Мазона стоит в связи с его общим взглядом на искусственность мифологии «Слова». Но мы намеренно не станем касаться этого сложного вопроса, который потребовал бы самостоятельного большого экскурса, так как в системе рассуждений самого Мазона не этот вопрос является главным в решении проблемы подлинности памятника, не говоря уже о том, что в обширной литературе вопроса достаточно убедительно выяснена полная органичность мифологической системы «Слова».

Недоверие в нескольких случаях вызывает у Мазона и синтаксис «Слова». Так, он считает псевдоархаизмами случаи управления глагола родительным падежом типа «начяти трудных повестий» и «поостри сердца своего». Но здесь мы имеем дело с формой так называемого родительного неполного охвата, обычной в древнерусском языке, например «посети винограда своего», «добывше полона», «наволочивше леса», «носа урезаша» и т. д. в Синодальном списке I Новгородской летописи<sup>45</sup> или «смотриши всякого запаса», «всякой порядни... дозировать» («Домострой»), «тех меж дозрити и по тем межам им и граней досмотрити» («Межевой обыск», 1606 г.) и т. д.<sup>46</sup>. Впрочем, сам же Мазон, видимо не замечая этого, блестяще опровергает свой домысел, когда очень уклончиво пытается объяснить выражение «Слова» «позрим синего Дону». «Употребление «позрим» с дополнением в родительном падеже («синего Дону»),— пишет он, насколько я знаю, ждет еще себе параллели в древнерусском языке, но оно легко объясняется как подражание формуле, которая послужила для него моделью: «посмотрим быстрого Дону» (Синод., Ист.—2, Унд.). И это и без того уже ослабленное заподозривание сопровождается примечанием, в котором Мазон отказывается от своего основного тезиса: «Нормальна была бы конструкция с предлогом на с винительным падежом, но, действительно, глагол «зреть» в старославянском и в древнерусском управляет родительным падежом»<sup>47</sup>. Это своего рода образец спора с самим собой, выносимого

<sup>45</sup> См.: *Истрина Е. С.* Синтаксические явления. Синодального списка 1-й Новгородской летописи.— ИОРЯС, 1919, т. XXIV, кн. 2, с. 159.

<sup>46</sup> См.: *Булазовский Л. А.* Исторический комментарий к литературному языку. Изд. 3-е. Киев, 1950, с. 247—248,

<sup>47</sup> *Мазон А.* Le Slovo d'Igor, с. 58,



на суд читателя и притом тогда, когда сам же автор торопится аннулировать свое необоснованное подозрение!

«Несколько чуждым» древнерусскому языку считает Мазон и распространение главной фразы придаточным предложением с четырьмя глаголами: «... иже истягну умъ крепостию своею и поостри сердца своего мужеством, наполнив ратнаго духа, наведе своя храбрыя полкы на землю Половецкую за землю Рускую». Но это чисто вкусовое ощущение, с которым едва ли приходится считаться.

Сколько-нибудь полный морфологический и синтаксический анализ «Слова» наглядно доказал бы всем сомневающимся абсолютную неосновательность всех их рассуждений о «Слове» как о подделке. Научное исследование древнерусского языка в конце XVIII в. еще и не начиналось. Знания морфологии и синтаксической системы древнерусского языка ни у кого не могло быть. Могли быть лишь начитанные знатоки, чувствовавшие этот язык, более или менее проникшие в его дух, и только. Между тем язык «Слова», несмотря на некоторые грамматические дефекты, которые естественнее всего отнести на долю переписчиков, в течение более трех веков искажавших оригинал, поражает исключительной стройностью своей системы (например, в употреблении надежных и предложных конструкций, форм двойственного числа, времен и видов глагола и т. д.). Представить себе, что «подделыватель» мог интуитивно постичь грамматические формы древнерусского языка, значило бы верить в чудо <sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> С. П. Шевырев в свое время писал: «Подлоги древних произведений бывают во времена процветания филологии: они роскошь науки. Так было в Италии XVI столетия. Таковы подделки Чаттертоновы в Англии... В то время, когда образуются искусники филологических подлогов, готовы бывают, с другой стороны, и строгие им обличители... Взгляните на издание Грамматина: изменения в тексте «Слова о полку Игореве», им сделанные, обличают человека, совершенно далекого в филологии. Он считает то ошибкою против языка, что есть признак его древности. Между тем Грамматин в свое время первенствовал перед другими в изучении памятников древнего слова. Так было в 1823 году. Лучше ли во время самих скептиков? Они своими замечаниями о пардужьем гнезде и другими подобными сами обличили скудную начитанность в древних памятниках. Если так в наше время, чего же ожидать от конца прошлого столетия, когда еще не существовала Грамматика Добровского?» К этому Шевырев добавляет: «Говорить ли о том, что мнимый поддельщик непременно был поэтом, потому что нельзя же отнять поэтических красот у «Слова», признанных не только лучшими нашими поэтами, но и мнением всей ученой Европы; а между тем мы знаем, что никто из участников в первом издании не обнаружил никакого поэтического дарования» (*Шевырев С. П. История русской словесности, преимущественно древней*, вып. 2. М., 1846, с. 261—262).

Как бы то ни было, впрочем, сам по себе факт возможности рецидивов в заподозривании языка «Слова» ставит перед историками русского языка задачу вплотную подойти к изучению языкового строя «Слова», в особенности его лексики и синтаксиса. С. П. Обнорский совершенно справедливо указал на странное равнодушие наших лингвистов к изучению языка «Слова», и он же первый заложил основы такого изучения<sup>49</sup>. Само собой разумеется при этом, что при изучении языка «Слова» необходимо принимать в расчет не только дату самого памятника, но и время написания рукописи, в которой дошло до нас «Слово», о чем Мазон совсем не задумывается.

## VI

Какова же была, по мнению Мазона, та литературная среда, в которой создано «Слово»? Он обращает прежде всего внимание на якобы упорное пристрастие автора «Слова» к Тмуторокани. В дальнейшем он связывает Тмутороканский камень и его надпись с судьбой «Слова» и «тмутороканского болвана» «Слова» отождествляет с этим камнем (*sic!*)<sup>50</sup>, который вместе с надписью на нем определяет без попытки собственной аргументации как несомненную фальсификацию. Он напоминает далее, что в 1794 г. Мусин-Пушкин напечатал «Историческое исследование о местоположении древнего российского Тмутороканского княжения», изданное по высочайшему повелению, и в этом исследовании, по утверждению Мазона, Тмутороканский камень является краеугольным камнем.

Характеризуя труд Мусина-Пушкина, Мазон указывает на то, что это работа больше патриота и придворного человека, чем ученого. Мусин-Пушкин, указывает Мазон, помещает Тмуторокань на Тамани, которая недавно (при Екатерине II) была завоевана русскими. Эта книга по существу ставит себе задачу восхваления политики Екатерины, при которой к России было присоединено княжество, в древние времена отторгнутое от нее из-за княжеских междоусобий. При Екатерине же, как это подчеркивает Мусин-Пушкин, открыт был и Тмутороканский камень, рассматривавшийся как драгоценнейший памятник древности.

---

<sup>49</sup> Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М.—Л., 1946, с. 132—198.

<sup>50</sup> Это отождествление выглядит не только неправдоподобно, но и комично. Трудно представить себе здравомыслящего автора XVIII в., который решился бы на такую шутку, далеко притом не остроумную.

И в заключение Мазон пишет: «Завоевательная политика Екатерины на Черном море создала ту атмосферу, в которой могла осуществиться археологическая находка Тмутороканского камня, точно так же как и литературная находка «Слова о полку Игореве», и обе эти изумительные находки представляются связанными друг с другом. Мы имеем здесь случай, когда история и литература в подходящее время доставляют свои свидетельства. Мы можем определить и среду, которая дорожила этими свидетельствами: это небольшая группа аристократов и эрудитов, наиболее типичным представителем которых был Мусин-Пушкин, любитель, коллекционер и меценат. Не достаточно ли этого настойчивого упоминания Тмуторокани, чтобы позволить нам видеть в «Слове» с этой точки зрения не более, чем поэтический придаток к трактату Мусина-Пушкина?»<sup>51</sup> Здесь все покрыто туманом и все полно загадок. Оставляя в стороне вопрос о подлинности надписи на Тмутороканском камне, как не имеющий здесь существенного значения, хотя никем, в том числе и Мазоном, подделка не доказана, нельзя не задать недоуменного вопроса, в чем конкретно можно усмотреть связь между книгой Мусина-Пушкина и «Словом»?

О Тмуторокани в «Слове» упомянуто четыре раза: «тмутороканьский болван», «Олег... ступает в злат стремя в граде Тмуторокане», «поискати града Тмутороканя» и «до кур Тмутороканя». Кроме того, упомянуты два князя — Мстислав и Роман, княжившие в Тмуторокани, но без упоминания самой Тмуторокани<sup>52</sup>. В чем же здесь видит Мазон особенное тмутороканское пристрастие автора «Слова»? С гораздо большим основанием можно усматривать

<sup>51</sup> *Mazon A. Le Slovo d'Igor, c. 76—77.*

<sup>52</sup> Мазон насчитывает до десяти случаев упоминания в мусин-пушкинском издании «Слова» Тмуторокани, считая и примечания к тексту. Действительно, в примечаниях к мусин-пушкинскому изданию «Слова» о Тмуторокани говорится шесть раз, но, во-первых, это вызывалось самим текстом «Слова», во-вторых, осведомленностью Мусина-Пушкина в истории Тмуторокани. И все же «тмутороканский болван» и «до кур Тмутороканя» не пояснены в примечаниях. Очень показательно, что о княжении Всеслава Полоцкого в Тмуторокани мы узнаем только из «Слова о полку Игореве». В летописи сообщается о том, что Всеслав бежал из Киева в 1069 г., и далее мы встречаем его в Полоцке лишь в 1071 г. «Слово» дает нам указание на то, что эти два года Всеслав пробыл в Тмуторокани. (См.: *Мавродин В. В. Славяно-русское население нижнего Дона и северного Кавказа в X—XIV веках. — Ученые записки ЛГПИИ, т. XI, Л., 1938, с. 28*). Откуда же мнимый поддельватель «Слова» мог узнать такую историческую подробность, не отмеченную даже в летописи? Любопытно, что Мусин-Пушкин в своем исследовании о местоположении Тмутороканского княжества ничего не говорит об отношении Всеслава к Тмуторокани,

пристрастие автора к другим многочисленным местностям, упоминаемым в «Слове» хотя и реже, но с большей эмоциональной выразительностью. Мудрено понять, какая идейная переключка была между книгой Мусина-Пушкина и упоминаниями в «Слове» Тмуторокани, в какой мере эти упоминания были созвучны политической тенденции этой книги? Очевидно, ни в какой, хотя бы потому, что в «Слове» попытка северских князей «поискати града Тмутороканя» не встречает одобрения. С другой стороны, есть все основания думать, что северские князья действительно стремились завладеть древним их достоянием — Тмутороканью, о чем достаточно красноречиво свидетельствует заключение похвалы северских князей в рассказе, вошедшем в Лаврентьевскую летопись: «... а ноне поидем на них (т. е. половцев.— Н. Г.) за Дон и до конца избьем их, оже ны будеть ту победа, идем по них в луку моря, где же не ходили ни деди наши, а возьмем до конца свою славу и честь».

Но тенденция «Слова» в духе политических идей конца XVIII в. не ограничивается, по мысли Мазона, только лишь экскурсами в область истории Тмуторокани. В «Слове» о Всеславе Полоцком сказано, что он «скочи волком до Немиги с Дудуток». Немига — приток реки Свислочь, Дудutki — городок южнее Минска, на реке Птич. Упоминание в «Слове» Немиги и Дудutki наводит Мазона на следующие размышления. В 1792 г. Екатерина II завершила свои завоевания на Черном море, и в этом же году, кстати, был открыт Тмутороканский камень. Тогда же, в мае месяце, Россия предприняла военные действия против Польши. Русскими войсками заняты были город Минск и долины Свислочи и Птича, а также, без сомнения, и долина Немиги. В связи с этим Мазон умозаключает: «Поразительное совпадение: Тмуторокань и Дудutki. Тут два полюса русского империализма в осмыслении автора «Слова». Это два символических выражения патриотизма этого автора и в то же время — объяснение того, почему он ввел в свое произведение эти два добавочных эпизода». «Эти оба географические названия, — говорит далее Мазон, — дают нам два ключа для постижения тайны «Слова». Мы, правда, не обладаем в полной мере вторым из этих ключей, но мы догадываемся, что он подходит к замку. Если бы мы в окружении Мусина-Пушкина нашли старого воина, принимавшего участие в битве 1792 г., или упоминание Дудutki в известиях об этой кампании, или имя одного из владельцев Дудutki в его связях с Мусиным-Пушкиным, — дверь открылась бы»<sup>53</sup>. Тут же

<sup>53</sup> Mazon A. Le Slovo d'Igor, с. 162.

предлагается почему-то вспомнить о полонизмах (sic!) «Слова» и о «замечательном» (sic!) труде Сенковского.

Мы затрудняемся тут понять Мазона. Скажем лишь, что заявлять свою патриотическую тенденцию путем упоминания Тмуторокани и Дудуток — это значило бы со стороны предполагаемого Мазоном автора «Слова» превращать свое произведение в своеобразную криптограмму, смысл которой заведомо не в силах были бы разгадать ни современники автора, ни его потомки. И выходит, что пришлось дожидаться появления работы Мазона, чтобы, наконец, найти таинственный ключ к «Слову».

Попытку пайти этот ключ Мазон делает в статье «L'Auteur probable du Poème d'Igor»<sup>54</sup>. Однако, как увидим ниже, ключ к замку подобран не совсем тот, какой первоначально предполагался, и он не имеет никакого отношения ни к владениям искомого «старого воина» в Дудуках, ни к его гипотетическому участию в кампании 1792 г.

Какими признаками должен был, по мнению Мазона, отличаться автор «Слова», судя по его произведению? Это должен был быть ученый, знавший старинную печатную литературу и владевший несколькими древними рукописями, особенно текстом «Задонщины». Он должен был знать достаточно основательно славяно-русский язык, а также достаточно свободно писать на этом «искусственном» языке. Он должен был знать и любить народную словесность, охотно смешивая ее, как это делало большинство его современников, с древней литературой. Этими качествами мог обладать, по Мазону, человек церковный, но бьющее в глаза отсутствие религиозного чувства, «языческая аффектация», сопровождаемая обмолвками в христианском духе и даже весьма ортодоксальной концовкой, неспособность выразить на славяно-русском языке такие идеи, которые не находили себе выражения в старинных текстах, присутствие псевдоклассических клише и галлицизмов, наконец, реминисценции из Оссиана — все это такие признаки, которые заставляют нас ориентироваться на светского автора, литератора или ученого. Это семинарист, но семинарист эмансипированный. И язык текста «Слова», уснащенный, как утверждает Мазон, украинизмами, полонизмами и вообще юго-западными языковыми особенностями, позволяет нам добавить: семинарист, пропешдший школу скорее Киевской академии, чем академии центра или севера России.

---

<sup>54</sup> Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et des Belles-Lettres, année 1944, 2-me trimestre,

Этот ученый — автор «Слова» — должен был быть патриотом, которому были близки централистические и завоевательные тенденции эпохи Екатерины, ознаменованной недавними победами над турками с Тмутороканью и над поляками с Полоцком. Его настойчивое упоминание Тмуторокани — это лесть по отношению к Мусину-Пушкину — обер-прокурору святейшего Синода, опубликовавшему в 1794 г. свое пресловутое сочинение, в котором он поместил этот призрачный город на восточном берегу Азовского моря (имеется в виду книга Мусина-Пушкина «Историческое исследование о местоположении древнего российского Тьмутараканского княжества»). Он знал также будущего собственника своего труда или по крайней мере знал о пристрастии его к русской истории, и он старается угодить Мусину-Пушкину, который должен был в 1795 г. купить рукопись, «открытую» одним из его комиссионеров. Мы должны, следовательно, искать этого автора в окружении Мусина-Пушкина.

Таковы основные признаки, которыми, по мнению Мазона, должен был характеризоваться предполагаемый им поддельщик «Слова». Перебирая ряд имен, с которыми можно было бы связать подделку, Мазон отводит имена Чулкова, Михаила Попова, Левшина, Кострова, молодого Карамзина и Болтина, умершего в 1792 г., как не обладавших теми признаками, какими должен был обладать автор воображаемой Мазоном подделки. В итоге такого исключения остаются имена Мусина-Пушкина и его сотрудников по изданию и комментированию текста «Слова» — А. Ф. Малиновского и Н. Н. Бантыша-Каменского. «Не был ли один из трех автором подделки?» — спрашивает Мазон.

Но Мусин-Пушкин не был настолько эрудирован в древних текстах, чтобы сочинять подделку. Этот аристократ-патриот, увлеченный, по словам Мазона, крупными победами в царствование Екатерины, был скорее благородной жертвой обмана, чем мистификатором. Самое большое — его можно рассматривать как бессознательного вдохновителя мистификации и потому несущего за нее главную ответственность. Дважды подогретый «мнимыми» находками, как продолжает думать Мазон, он дважды поддержал эти находки. «Это в нем, — пишет Мазон, — нашло себе покровителя открытие фальшивой надписи на Тьмутараканском камне в 1792 году, которую он явил ученому миру в 1794 году; это ему в 1795 году досталась рукопись «Слова о полку Игореве», где упоминание о Тьмутаракани, несколько раз повторенное, как это imponировало патристическим чувствам владельца рукописи. Хитрый казак, гетман Головатый, первый, в 1795 году, дал новый толчок для такого вооду-

шевления, и «Слово о полку Игореве» намного обогнало по своей смелости Тьмутараканскую надпись»<sup>55</sup>.

Нельзя утверждать, по мысли Мазона, что неизвестный автор «Слова» с самого начала хотел мистифицировать своих читателей. Намерение воспеть своего героя «старыми словами», о чем он говорит во вступлении к поэме, скорее склоняет нас к предположению, что он писал свое произведение бесхитростно, больше как эрудит, принявшийся за игру в подражание, чем как мистификатор, решившийся на подлог. Мазон полагает, что энтузиазм именитых читателей «Слова» — Мусина-Пушкина, Карамзина и их друзей — был причиной того, что автор, не совсем по своей охоте, из подражателя превратился в обманщика, принужденного хранить при себе секрет своего обмана, а Мусин-Пушкин в этом случае как бы символизировал коллективную ответственность за обман.

Менее благородной, чем Мусин-Пушкин, жертвой обмана, но все же жертвой, выглядит, по Мазону, Малиновский, плохой поэт и посредственный ученый, как его характеризует Мазон. Подозрение Мазона в авторстве «Слова» падает, естественно, на Бантыша-Каменского, пожилого архивиста, наиболее деятельного издателя исторических документов, солидного историка и главу большого архивного учреждения. Мазон рисует такую картину: молодой человек Малиновский, стремившийся выдвинуться, взял дело в свои руки; роль Мусина-Пушкина была чисто почетной, старый же архивист Бантыш-Каменский скромно отошел в тень и, когда завязалась полемика о подлинности «Слова», хранил молчание, так же как и его сын Дмитрий Николаевич, который в сочиненном им жизнеописании отца не упоминает о публикации «Слова».

Далее в статье Мазона следует характеристика Бантыша старшего как человека и ученого, подходящая, с точки зрения Мазона, для того, чтобы с его именем связать авторство «Слова».

Этот, как говорит Мазон, «монах-мирянин», «светский священник» (?) был крайним консерватором, «вращавшимся среди царей, духовенства, вельмож и послов», и особенно пылким патриотом, тем более пылким, что одиночество, на которое он был обречен из-за своей глухоты, все более возрастало с усилением его болезни. Его друг Мусин-Пушкин содействовал тому, что Екатерина поручила ему в 1794 г. написать сочинение на тему, связанную с ближайшими интересами России на ее западных границах,—

---

<sup>55</sup> *Mazon A. L'Auteur probable du Poème d'Igor, c. 217.*

«Историческое известие о возникшей в Польше унии», которое должно было решить спор между православными и униатами на русско-польской границе и как раз в районе Полоцка (sic!). Этот факт представляется Мазону тем более заслуживающим внимания, что он связан с биографией Бантыша-Каменского, и это усиливает подозрения. Бантыш-Каменский учился первоначально в нежишском греческом училище, где он изучил новогреческий язык, затем в Киевской духовной академии, потом в Московской. Он был эллинист, латинист, знал французский, польский языки и немного еврейский. Русский язык, который он слышал вокруг себя до 17 лет, был язык юго-западных районов России, и наиболее значительные публикации, которые он посвятил в ранний (?) период своей деятельности Польше, помогли ему овладеть польским и белорусским языками. С юности он имел в своем распоряжении богатые коллекции старопечатных книг и рукописей. Судя по его трудам, он был опытен в чтении на славяно-русском языке, и мы можем допустить, что он также был способен в подходящих случаях кое-что сочинять на этом языке, разумеется, не так успешно, как человек церковный, вроде Дмитрия Ростовского, но тем не менее с легкостью, впрочем, не всегда одинаковой, и со срывами, которые должны были характеризовать эмансипированного семинариста Киевской академии и которые можно усмотреть в «Слове».

Это он, по свидетельству Мусина-Пушкина, был вдохновителем публикации «Слова». Образование Бантыша объясняет нам одновременно и академическое красноречие «Слова», его латинизмы, галлицизмы, его юго-западный колорит, и греческие и восточные слова, встречающиеся в нем. Происхождение Бантыша, равно как и его дружеские связи с Мусиным-Пушкиным, утверждает Мазон, обусловили присутствие в «Слове» Тмуторокани и Полоцка — этих символов империалистических настроений южноруса.

Таковы соображения Мазона, которыми он пытается подкрепить свою гипотезу о Бантыше-Каменском как об авторе «Слова».

Нет нужды здесь оспаривать утверждение Мазона, сделанное им в его книге о «Слове» и повторенное в статье «L'Auteur probable du Poème d'Igor» о наличии в тексте «Слова» псевдоклассических клише, галлицизмов, реминисценций из Оссиана. Это сделано нами выше. Заявление Мазона об украинизмах и полонизмах в «Слове» голословно. Оно воскрешает давно устаревшие и давно опровергнутые взгляды на особенности языкового строя «Слова». Мазон не привел ни одного конкретного примера, подтверждающе-



го присутствие в памятнике украинизмов или полонизмов, как не привел образцов грецизмов или латинизмов. Мазон не мог привести данных, убеждающих нас в том, что Бантыш-Каменский был знаком с восточными языками. Откуда же в таком случае взялись восточные слова в тексте «Слова?» Не станем здесь спорить с Мазоном и по вопросу о мнимой подложности надписи на Тмутороканском камне и о Тмуторокани и Полоцке, толкуемых Мазоном и в его книге, и в статье об авторе «Слова» как о символах империалистической экспансии эпохи Екатерины II: мы уже также сделали это.

В поисках автора «Слова» Мазон обращается к выученику Киевской духовной академии, каковым был Бантыш-Каменский, считая, что языковые особенности «Слова» больше соответствуют традициям Киевской академии, чем Московской, в которой, кстати сказать, также учился Бантыш-Каменский. Но если отбросить, как бездоказательные, соображения Мазона об украинизмах и полонизмах «Слова», то почему тут нужно отдавать предпочтение Киевской академии перед Московской? Усвоение «славяно-русского» языка в Московской академии было обеспечено, во всяком случае, не меньше, чем в Киевской, где латино-польская традиция в преподавании была преобладающей. Впрочем, вопрос этот не существен, потому что, как сказано, Бантыш-Каменский учился в обеих академиях, о чем известно и Мазону. В дополнение к Киевской академии Мазону приходится на помощь обыгрывание Полоцка, упоминаемого в «Слове» и связываемого Мазоном с работой Бантыша-Каменского по истории унии. Но эта забавная игра с Полоцком способна в лучшем случае вызвать лишь недоумение по поводу столь странных сопоставлений, смахивающих на шутку.

Откуда, спросим мы, у сугубо кабинетного архивиста, вечно заваленного текущей большой архивной работой, взялись такая словесная резвость и такой досуг, чтобы отвлекаться на «игру в подражание», что, по Мазону, явилось первоначальным импульсом Бантыша-Каменского, когда он принялся за работу над «Словом»? Откуда мы знаем, что Бантыш-Каменский любил народную словесность и в каких известных нам его трудах обнаружилась эта любовь? И откуда взялась «языческая аффектация» у преданного сына церкви, каким мы вправе считать Бантыша-Каменского? Почему его можно именовать «монахом-мирянином» или «светским священником», как это делает Мазон? Как примирить одновременные утверждения Мазона, что Бантыш-Каменский, с одной стороны, был обречен в старости,

вследствие своей глухоты, на одиночество, и это почему-то должно было возбуждать его патриотические чувства, с другой — что он вращался среди царей, вельмож и т. д.? Как согласовать предположение о том, что Бантыш-Каменский, затеявший писание «Слова» как игру, решился без особенной охоты на подлог, подогретый энтузиазмом Мусипа-Пушкина, Карамзина и их друзей, с утверждением, что как раз он явился вдохновителем издания памятника?

В качестве лишнего аргумента для изобличения Бантыша-Каменского в подлоге Мазон указывает на то, что тот хранил молчание, когда завязалась полемика о подлинности «Слова», и что сын Бантыша в составленном им жизнеописании отца не упоминает об его участии в издании памятника. Но Мазон ведь знает, что Бантыш-Каменский умер в январе 1814 г. и что к этому времени полемика только зарождалась и протекала в устной форме. Единственное робкое сомнение в подлинности «Слова» в печати до смерти Бантыша заявлено было лишь М. Т. Каченовским — в 1812 г. («...ежели песнь сия в самом деле суть остаток отдаленной древности») <sup>56</sup>. Что же касается отсутствия упоминания об участии Бантыша-Каменского в издании «Слова» в его жизнеописании, составленном его сыном, то нужно сказать, что в этом жизнеописании не упомянуты и некоторые самостоятельные труды Бантыша-Каменского, а не то, что труды, в которых он принимал участие лишь в качестве сотрудника. Однако в биографии А. И. Мусипа-Пушкина, составленной Бантышом-Каменским младшим, читаем: «Мусип-Пушкин обогатил нашу словесность обнаруженною любопытною ироническою песнию о походе на половцев удельного князя Новгорода-Северского Игоря Святославича. Она найдена им в одном белорусском сборнике и известна также под названием: Слово о полку Игоря. В переводе этой древней поэмы трудились вместе с ним Николай Николаевич Бантыш-Каменский и Алексей Федорович Малиновский» <sup>57</sup>.

Мимоходом, для подкрепления мысли о подложности «Слова», Мазон указывает на то, что икона Пирогощей богородицы, упоминаемая в «Слове» как находившаяся в Киеве в 1185 г., на самом деле еще в 1160 г. перенесена была во Владимир. Но уже Карамзин разъяснил, что во

---

<sup>56</sup> Труды общества любителей российской словесности при Московском университете, ч. I, 1812, с. 20.

<sup>57</sup> Словарь достопамятных людей Русской земли, составленный Бантышом-Каменским, ч. 2. Спб., 1847, с. 458.

Владимир перенесена была не эта икона, а икона, написанная, по преданию, евангелистом Лукой.

После всего сказанного степень убедительности суждений Мазона о Бантыше-Каменском как о возможном авторе «Слова» как будто достаточно ясна. Но в самом конце статьи, потратив столько усилий для выдвижения кандидатуры Бантыша-Каменского в авторы «Слова», Мазон неожиданно отказывается от поддержки этой кандидатуры как единственно возможной. Он пишет: «Слово о полку Игореве» как раз таково, каким его мог создать архивист, перегруженный историческим чтением, окруженный в своем кабинете литературным хламом ученого конца XVIII века, в такой же мере псевдоклассической ветошью, как и оссианическими новинками, но, к счастью, державший окно открытым для притока свежего воздуха народной поэзии. Это могло быть произведение еще какого-то неизвестного, но равного по своей культуре Бантышу-Каменскому, с его научной основательностью и с его пробелами, притом уроженца южной России. Эта гипотеза напрашивается сама собой, и мы первые ее готовы поддержать, уверенные в том, что этот неизвестный, если это не был сам Бантыш-Каменский, был эрудит такого же рода, очень с ним сходный. Важнее решение вопроса о происхождении произведения, чем об его авторе... «Слово о полку Игореве» — гибрид литературного образования, которое получали еще студенты Киевской академии во вторую половину XVIII века»<sup>58</sup>.

Кто же этот таинственный неизвестный, которому под силу было создать «Слово»? Кого еще можно было бы предположительно назвать в качестве его автора после того, как Мазон перебрал всех возможных претендентов на авторство во главе с Мусиным-Пушкиным? Мазон не знает, и мы не знаем. Пушкин, говоря о том, что подлинность «Слова» «доказывается духом древности, под который невозможно подделаться», и не допуская, чтобы его могли сочинить даже Карамзин и Державин, писал: «Прочие не имели все вместе столько поэзии, сколь находится опой в плаче Ярославны, в описании битвы и бегства». Но Мазон всячески принижает «Слово» как художественное произведение и потому автора его ищет не среди поэтов, а среди ученых эрудитов. Но кто из эрудитов XVIII в. мог с таким искусством подделаться под старинный русский язык в эпоху, когда грубые подделки Сулакадзева вызывали к себе внимание, а иногда и доверие крупнейших литературных деятелей, в том числе и Державина?

---

<sup>58</sup> Mazon A. L'Auteur probable du Poème d'Igor, с. 220.

Что касается общих рассуждений о «Слове», в частности по вопросу об авторстве его, то тут Мазон во многом сходится с Сенковским, высказывания которого давно сданы в архив истории, но имя которого Мазон в своей книге упоминает с уважением. Сенковский писал: «Неизвестный сочинитель «Слова о полку Игореве» был человек, напитанный Горацием, Вергилием и Цицероном, думал по-латыни и писал на славяно-русском школьном, риторическом наречии, выражениями, оборотами и формулами латинской поэзии XVI и XVII вв., которая была верным ее сколком». И далее у Сенковского читаем: «Слово о полку Игореве» очень хорошее в своем роде произведение питомца Львовской академии из русских или питомца Киевской академии из галичан на тему, заданную по части риторики и пиитики, и я не могу никак понять, чтобы оно было древнее времени Петра Великого. Гораздо скорее отнес бы я его к началу царствования Станислава-Августа в Польше, т. е. к той эпохе, когда страсть к славянской мифологии, к славянским исследованиям была сильно возбуждена в той стране и породила множество мелких произведений в этом направлении, в том числе и подделок». Как и Мазон, Сенковский считает автора «Слова» «ритором», везде ищущим «словесных цветков», горячим патриотом, пламенно любившим старую Русь. Он «закошелый классик», но только всюду заменяющий греческую мифологию славянской, используя для этого различные археологические изыскания, и его мифологическая ученость совершенно в пору отличнейшему классику времен Расина и Вольтера.

«Во всех своих исторических понятиях и суждениях он,— пишет Сенковский,— русский прошедшего столетия. человек, уже занимающийся отечественною историей ученым образом. Как литератор, он вовсе не чужд вкуса, но вкус его, как и его мысль, его язык, его слог, его чувства — совершенно новейшие, недавние, ничем не отличающиеся от наших собственных... Он — наш, нашего десятка, и, мне кажется, он между прочим знает Шлецера. Явственно, воспитан он в семинарии или в духовной академии»<sup>59</sup>.

Мы не касаемся ряда подробностей в исследовании Мазона, особенно в последней части книги, где идет речь преимущественно об источниках «Слова», которые Мазон считает добавочными по отношению к основному его источнику — «Задонщине». Во-первых, это большей частью не имеет прямого отношения к вопросу о подлинности «Слова»,

---

<sup>59</sup> См. рецензию Сенковского на перевод «Слова», сделанный Гербеком: БЧ, 1854, март, т. 124, отд. 6, с. 4, 11, 19—22.

так как в значительной степени указанные Мазоном источники в такой же мере могли быть использованы автором XII в., как и автором XVIII в. Во-вторых, если стать на точку зрения Мазона, по которой «Слово» — подделка конца XVIII в., трудно представить себе процесс работы этого воображаемого поддельвателя, который должен был обложить себя большим количеством самой разнородной по содержанию и по стилю литературы — русской и иностранной, черпая из нее без особого разбора отдельные детали и фактические подробности, и должен был достаточно хорошо быть осведомленным в памятниках народного творчества, к тому же опубликованных не только в XVIII в., но и позднее.

Мазон с большим усердием отмечает все «темные места» «Слова», все грамматические дефекты его списка и недоверчиво относится к конъектуральной критике комментаторов памятника, забывая, что большое количество старинных памятников европейской литературы, в частности античной, дошли до нас в таком виде, что понимание их невозможно без конъектурных поправок, иногда многочисленных. «Задонщина», как сказано было выше, содержит в себе испорченных мест значительно больше, чем «Слово», но Мазон, видимо, готов охотно простить «Задонщине» то, чего он не прощает «Слову».

Анализируя эпизод «Слова», повествующий об упадке Полоцка («Уже бо Сула не течет сребреными струями... которое бо бяше насилие от земли Половецкыи»), Мазон, помимо ряда трудных для понимания мест в этом эпизоде, отмечает в нем и наличие таких исторических реалий, которые не находят себе соответствия в летописях, и на этом основании заключает, что «в целом этот эпизод — один из худших в произведении и один из тех, которые очевиднее всего свидетельствуют о подделке». Оставляя в стороне вопрос о темных местах «Слова», как ничего не говорящих о подделке, а скорее, наоборот, как раз свидетельствующих о подлинности памятника (см. ниже), мы не должны забывать того, что «Слово» — литературный памятник прежде всего, а не исторический документ, и требовать от него полного соответствия показаниям летописи — значило бы предъявлять претензии не по адресу, не говоря уже о том, что у нас не может быть уверенности, что абсолютно все исторические факты отмечены летописью. К сказанному нужно добавить, что не в интересах поддельвателя было бы вводить в свое произведение вымышленные исторические факты (в данном случае — княжение в Полоцке Изяслава, сына Василька, и его гибель в битве с литовца-

ми), ибо он подвергался в таком случае риску быть уличенным эрудированным в истории читателем.

Для всех, кто не предубежденно относился и относится к «Слову», неоспоримым доказательством его подлинности, помимо существования «Задонщины», является известная приписка к псковскому Апостолу 1307 г., в которой читаем: «При сих князех сеяшется и ростяше усобицами, гыняше жизнь наша, в князех которы, и веци скоротишася человеком».

Эта приписка, естественно, рассматривается как слегка перефразированная цитата следующей фразы «Слова»: «Тогда при Ользе Гориславличи сеяшется и растяшеть усобицами; погибашеть жизнь Даждьбожа внука, в княжих крамолах веци человекомъ скратишась». Слова «Даждьбожа внука», само собой разумеется, были неуместны в богослужебной христианской книге, и потому они выпали из цитаты.

Читатель, понятно, с интересом ждет, как Мазон выйдет из затруднения, которое создается для него наличием этой «досадной» приписки псковского Апостола. И какое же мы находим у Мазона объяснение этой очевидной текстуальной близости приписки Апостола и фразы из «Слова»? Без всяких доказательств он утверждает, что выражения «сеяшется и ростяше усобицами», «гыняше жизнь наша», «веци скоротишася человеком» — все это очевидные клише, лишенные всякой оригинальности, общие места. Мало того, и само соединение этих «клише» не свидетельствует якобы о заимствовании. Но если все приведенные Мазоном фразы — общие места, то почему же он не привел в доказательство своего утверждения хотя бы несколько параллелей к ним из русских памятников? Но для всякого непредубежденного рассуждающего исследователя очевидно, что если бы даже это и были общие места, само по себе сочетание их в одно целое, характеризующееся той же последовательностью отдельных фраз в этом сочетании, какую мы имеем в «Слове», не может быть результатом простого совпадения и свидетельствует о несомненной и прямой зависимости приписки псковского Апостола от соответствующего чтения «Слова».

Очевидно, сам сознавая шаткость своих рассуждений. Мазон в добавление к ним ссылается на отношение к приписке Апостола наших старых скептиков — митрополита Евгения Болховитинова, который считал наличие этой приписки еще недостаточным аргументом в пользу признания подлинности «Слова», а также Каченовского и Сенковского, которых открытие Калайдовичем приписки псковско-

го Апостола вовсе не смутило. Мы уже не касаемся таких отзвуков «Слова», как описание битвы под Оршею 1514 г. в I Псковской летописи или цитаты из «Моления Даниила Заточника» по списку, теперь утраченному и некогда принадлежавшему Срезневскому<sup>60</sup>.

Помимо всего сказанного, мы ждали бы от Мазона ответа на вопрос, почему «фальсификатор» XVIII в. избрал такой третьестепенный для человека XVIII в. и такой мало импонирующий эпизод из русской истории, каким был поход Игоря против половцев. Неужели в век героических эпопей, век «Россияды» и «Владимира», не нашлось бы в русской истории никакого более подходящего для подделки сюжета, чем рассказ о неудачном походе второстепенного русского князя, походе, к тому же окончившемся бесславным поражением?

«Кому пришло бы в голову взять в предмет песни темный поход неизвестного князя?» — спросим мы словами Пушкина.

Автору XII в. естественно было сделать его темой своей патриотической поэмы, потому что он стремился преподать урок политической мудрости князьям, раздорами и междоусобиями губившим Русскую землю. А какую серьезную задачу мог преследовать автор XVIII в., избирая для своего произведения такую тему?

Какое затем объяснение Мазон найдет для таких наивных ошибок в мусин-пушкинском тексте «Слова», как «к мети», «сице и», «му жа имеся» и других, которые никак не могут быть обусловлены произволом автора и всецело объясняются неумением читать старые рукописи?

Зачем понадобилась пятилетняя работа над чтением рукописи «Слова», ее переводами и комментариями, если это была подделка? Откуда такое количество темных мест в «Слове» и явно ошибочных написаний, вроде «встазби», «подобию», «не Шеломянем» и т. д., если это была заведомая подделка?

А. Брюкнер в своей заметке «Die Echtheit des Igorliedes», направленной преимущественно против скептических домыслов о «Слове» Кякыжановского, совершенно правильно замечает: «Как раз потому, что «Слово о полку Игоре» подлинное произведение, оно заключает в себе так много темных мест». И далее: «Как раз непонятность «Сло-

---

<sup>60</sup> Об отражении «Слова» в старинной русской литературе см. в кн.: *Перегу В. М.* «Слово о полку Игоревом», с. 34—41.

ва» во многих местах свидетельствует о его подлинности, потому что подделыватели избегали бы вносить в текст неясности. В целом Ганка не допускает темных мест, что является неестественным для памятника XVIII в.»<sup>61</sup>

Так обстоит дело с «темными местами» в «Слове о полку Игореве». Что же касается темных мест в концепции А. Мазопа, то они могут быть устранены только при одном условии — безусловном отказе от этой концепции и признании подлинности «Слова». Тогда все станет на свое место.

---

<sup>61</sup> «Zeitschrift für slavische Philologie», 1937, XIV, с. 52.



## ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ

Из числа деятелей в области литературы и культуры в Петровскую эпоху самую выдающуюся роль играл Феофан Прокопович. Родился он в семье мелкого торговца в Киеве в 1681 г.; светское имя его было Елеазар. Рано лишившись отца, он был взят на воспитание своим дядей — наместником Киевского братского монастыря и ректором Киево-Могилянской академии — Феофаном Прокоповичем, который, однако, скоро умер, и мальчик перешел на попечение одного киевлянина. С большим успехом окончив киевскую академию, Прокопович поступил в одну из польских униатских школ, для чего ему самому пришлось принять унию. Став учителем, он скоро после этого принимает монашество с именем Елисея, а затем направляется в Рим, в коллегию св. Афанасия, учрежденную для греков и славян с целью их окатоличения. Блестящие способности Прокоповича сразу же выделили его среди других воспитанников коллегии. Он получил возможность работать в Ватиканской библиотеке, начальник коллегии давал ему частные уроки, стараясь при этом — но безуспешно — склонить его к поступлению в иезуитский орден. Свое пребывание в Риме Прокопович использовал для серьезного изучения патристики, философии и произведений римских и греческих классиков. Одновременно он обнаружил большой интерес к старинным и новым памятникам римской архитектуры и живописи. Около 1704 г. он возвратился в Киев, по пути заведя знакомство с рядом заграничных ученых, вернулся в православие и с именем Феофана вновь постригся уже в православное монашество. 23 лет он был определен учителем поэзии в академии.

Пройдя через католическую схоластическую школу, Прокопович, однако, не только не поддался влиянию схоластики и католической догмы, но на всю жизнь остался непримиримым их врагом, едко, с юмором, порой с сарказмом высмеивая все, что соприкасалось с католической теорией и практикой. Дух здоровой критики и тяга к философскому

реализму и рационалистическим системам мировоззрения характеризовали собой весь его жизненный и писательский путь. Если для католичества наука и философия были лишь служанками богословия, то Феофан Прокопович без колебания богословскую догму и церковную практику стремился подчинить светским интересам. В борьбе двух сил — церкви и государства, соперничавших в современной ему России, — он безоговорочно стал на сторону государства. По складу своего мировоззрения, по своей натуре и по своим симпатиям он был выразителем у нас идей Ренессанса и реформации.

Уже в своем курсе пиитики, читанном им в киевской академии и составленном преимущественно на основе руководства Я. Понтана, он старался умерить те крайности схоластической науки о поэзии, которые превращали эту науку в собрание чисто формальных предписаний для версификаторских упражнений и экспериментов, лишенных живого содержания, а часто и смысла. Он возражает против злоупотреблений символами и аллегориями и очень неодобрительно относится ко всякого рода стихотворным ухищрениям, говоря о них как о пустяках и ребяческих побрякушках. Он рекомендует искусству поэзии учиться в первую очередь на образцах классической литературы — на произведениях Гомера, Вергилия, Горация, Овидия, Катулла, Сенеки, Плавта, Теренция и некоторых других. Не будучи в своем изложении курса новатором, Прокопович, однако, в большей мере, чем его учителя, ставит себе целью ориентировать поэзию на здравый смысл и естественность. Это сказалось уже в его первом литературном выступлении — в трагедокомедии «Владимир», написанной им в 1705 г. по обязанности учителя поэзии и разыгранной студентами киевской академии.

В 1706 г. Феофан стал преподавателем риторики и написал ее учебник, так же как и учебник поэтики, на латинском языке. В новом своем курсе, служившем главным образом руководством к произнесению проповедей, он гораздо решительнее, чем в курсе поэтики, порывает с установившейся католической традицией церковного красноречия. Здесь он заявляет себя энергичным ее противником. «Весьма ложное обуюло нас мнение, — говорит он, — ибо мы нелепейшим образом думаем, что если не пойдем в польские школы, то есть в фабрики испорченного красноречия, то будто бы не можем изучить ораторского искусства». Он сурово порицает искусственность и вычурность католической проповеди и ратует за простоту и содержательность. «Самый обыкновенный недуг нашего времени, — пишет он, — есть тот,

который мы можем назвать курьезным слогом, потому что в числе других средств для приобретения ученой знаменитости ученые хвастуны усвоили себе манеру выражаться как можно удивительнее и необыкновеннее». Не ограничивая ораторского искусства одними лишь потребностями церкви, Феофан Прокопович обстоятельно говорит и о красноречии судебном и историческом. Предвосхищая Ломоносова, он, взамен целого ряда дробных подразделений слога, устанавливает лишь три его вида — высокий, средний и низкий, тем ослабляя обязательную регламентацию ораторской речи и предоставляя ей большую свободу.

Свои теоретические взгляды на искусство красноречия Прокопович применял и в собственной проповеднической практике, в частности в речи, обращенной им в Киево-Софийском соборе в 1706 г. к Петру I, которого он тогда увидел впервые. В этой речи не было ни обычных для того времени витиеватых ухищрений, ни искусственного панегирического парения. В торжественных и в то же время простых выражениях Феофан прославлял Петра за его воинские подвиги, за ревность к просвещению, за заботу о правосудии, за его трудолюбие и простоту, за то, что он возвышает своих подданных в меру их личных заслуг, а не по признаку их родовитости или богатства. Эта речь понравилась Петру и заставила его обратить внимание на Прокоповича.

В 1708 г. Прокопович стал преподавать философию и одновременно физику, арифметику и геометрию — науки, до тех пор отсутствовавшие в академической программе. Одновременно на него были возложены обязанности префекта киевских училищ.

В 1709 г., через две недели после Полтавской битвы, Петр проезжал через Киев, и Феофан в его честь и в его присутствии произнес похвальное слово, насквозь проникнутое публицистическим пафосом и в то же время чуждое риторической шумихи, характерной, например, для трех слов Стефана Яворского, произнесенных по поводу той же Полтавской победы. С негодованием говорит Феофан об измеле Мазепы: «Пси не угрызают господий своих, звери свирепые питателей своих не вредят; лютейший же всех зверей раб пожела угрызти руку, ею же на толь высокое достоинство вознесен... лжет бо, сыном себе российскийм нарицаая, враг сый и телолубец»<sup>1</sup>. В речи дается очень высокая полити-

<sup>1</sup> Не только в бытность Феофана Прокоповича в Киеве, но и позднее он писал с украинизмами и, в частности,  $\psi$  произносил как  $\psi$ , что явствует совершенно определенно из многочисленных у Феофана случаев рифмовки типа мира — вѣра. Это своеобразие письма Феофана Прокоповича не воспроизводится.

ческая оценка победы и выражается радостью по поводу близкого искоренения «проклятой унии». О необходимости уничтожить унию и покорить турок речь идет и в стихотворении Прокоповича, заключающем собой его слово и написанном на русском, польском и латинском языках.

Вскоре Прокопович произнес похвальное слово и приветственную речь Меншикову. В них Меншиков возвеличивается как полководец и как участливый к людям человек, как «истинное изображение» самого Петра. И Меншикову Прокопович ставит в заслугу его намерение искоренить «треклятую» унию.

В 1710 г., во время турецкого похода, Петр вызвал к себе Прокоповича и назначил его игуменом Киевского братского монастыря и ректором академии, в которой он со следующего года начал преподавать богословие и преподавал его в течение четырех лет. Курс его, далеко, впрочем, не законченный, издан был впервые на латинском языке лишь в 70-х годах XVIII в. По своему содержанию этот курс, как и другие одновременно написанные богословские сочинения Феофана, резко отличается от систем католического схоластического богословия, представленных преимущественно трактатами Беллармина, Фомы Аквината и Дунса Скотта. Со столпами католицизма Феофан полемизирует очень решительно, иногда запальчиво, называя их «стадом ослов», «докторишками», глупцами, хвастунишками и т. д. Прокопович — враг всех положений богословской науки, которые основываются на абстрактных силлогизмах. Единственным достоверным и авторитетным материалом для богословских заключений он считает лишь «священное писание». И от своих учеников он требует свободного критического отношения к его собственным высказываниям. Не будучи в состоянии в полной мере отрешиться от традиций средневекового богословия, Прокопович все же в ряде случаев пользуется трудами протестантских богословов, особенно в своей полемике с католицизмом. В частности, вслед за протестантскими богословами, он защищает практику изложения «священного писания» на разговорном языке и настаивает на праве мирян самим читать «священные» книги. Феофан изобличает католическое духовенство в фабрикации различных священных реликвий, мощей и чудес. Говоря о системе Коперника, он не видит в ней противоречия текстам «священного писания». Во всем этом Прокопович поклонник и почитатель Бэкона и Декарта, обнаруживает себя человеком нового, передового для своего времени и для своей среды образа мыслей. Еще в киевский период своей

деятельности он создал себе у своих врагов репутацию человека, зараженного «лютерской» и «кальвинской» ересями. Уже в 1713 г., написав сочинение «О неудобноносимом законном иге», он вызвал со стороны тогдашнего ректора Московской духовной академии Феофилакта Лопатинского пространное и энергичное опровержение своих мнений в книге «Иго господне благо и бремя его легко», где взгляды Феофана характеризовались «как мудрования реформатские, доселе в церкви православной неслыханные».

Образ мыслей Прокоповича был хорошо известен Петру, и Петр прекрасно понимал, что в лице киевского ученого монаха, рационалиста по складу своего мировоззрения и горячего противника застойных церковных традиций, он найдет себе помощника и союзника в деле реформы русской церковной жизни и подчинения русского духовенства, в первую очередь его верхов, светской власти. В 1715 г. Прокопович был вызван Петром в Петербург, но — по болезни — он приехал туда только осенью 1716 г. с предчувствием той напряженной и тяжелой борьбы, в которую он должен будет вступить с защитниками церковной старины и в первую очередь с местоблюстителем патриаршего престола Стефаном Яворским, возглавлявшим церковную реакцию. Петр был за границей, и Феофан занялся произнесением проповедей и выполнением поручений по церковным делам в Пскове, Нарве и других городах. Уже во второй своей проповеди, произнесенной вскоре после прибытия в Петербург, он выступает в качестве публициста, убежденного апологета дела Петра и его реформы. Начав проповедь с защиты идеи наследственной монархии, Феофан переходит затем к прославлению Петра как создателя новой России. Проповедник с увлечением говорит о новом грандиозном строительстве Петра, который «деревянную обрете Россию, а сотвори златую», о новом законодательстве, о новых «искусствах», введенных у нас, — «арифметических, геометрических и прочих философских», о напечатании политических книг, о построении воинского флота, об «оруженосных ковчегах», этих «крылатых и бег пространный любящих палатах». Он указывает на то, что «державе Российской подобало простреться за пределы земные и на широкие моря пронести область свою». И все это было добыто Петром «не серебром купеческим, но Марсовым железом». И если бы ничего другого Петр не сделал, то «один флот был бы доволен к бессмертной славе его царского величества». Прокоповича восхищает красота новой столицы — Петербурга, его радует безмерно возросший при Петре международный авторитет России.

В таком же духе были и другие проповеди, произнесенные Феофаном в эпоху Петра I.

В первый же год своего пребывания в Петербурге Феофан составил родословную таблицу русских государей, стоившую ему, по его позднему признанию, большого труда. Она была напечатана тотчас по окончании — в 1717 г.

В октябре 1717 г. Петр вернулся в Петербург. В присутствии царя и в похвалу ему Прокопович произнес несколько проповедей. Одну из своих проповедей того времени на тему «крепка яко смерть любви» он посвятил царице Екатерине в день ее именин. В этой проповеди любопытно живое и едкое изображение льстеца: «Льстец хвалит все, что либо у (ложно) любимого видит, аще и воспоминания, не точно похвалы не есть достойное: хвалит и природная и случаемая: как изрядный ход (как пригожее платие) найдет, чаю, как бы похвалити и кашель господский; а хвалит с таковым намерением, каковое было у одной лисицы Есоповой, когда врана, брашно во устах держащего вида, похваляла от красоты лица и просила, дабы испустил сладчайший еще глас свой, си есть дабы тако ей спедь оную уронил».

6 апреля 1718 г. Прокопович произнес свое знаменитое «Слово о власти и чести царской», имевшее ближайшее отношение к суду над царевичем Алексеем и поставившее себе задачей доказать законность и необходимость самодержавной, ничем не ограниченной царской власти, доказать, что она «от бога устроена и мечом вооружена есть и яко противитися оной есть грех на самого бога». В качестве наиболее упорных противников царского самодержавия Феофаном выставляются «богословы», духовную власть считающие выше светской. Их он сравнивает с саранчой, имеющей «чревище великое, а крыльца малые и не по мере тела» и потому тотчас падающей на землю, как только взлетит на воздух. И упорные защитники старины, как будто они крылаты, пытаются богословствовать, как бы летать, но по грубости своего мозга оказываются «буесловцами», ничего не разумеющими. Явно намекая на Стефана Яворского, Прокопович очень образно и метко рисует людей его типа — все видящих в мрачном свете, зложелательных, ханжески настроенных, всем недовольных и все порицающих: «Суть нецыи... или тайным бесом льстимии или меланхолиею помрачаеми, которыи такового некоего в мысли своей имеют урода, что все им грешно и скверно мнится быти, что либо увидят чудно, весело, велико и славно, аще и праведно, и правильно, и не богопротивно». Такие люди «лучше любят день ненастливый, нежели ведро, лучше радуются ведо-

мостьями скорбными, нежели добрыми; самого счастья не любят... аще кого видят здрава и в добром поведении, то, конечно, не свят; хотели бы всем человеком быть злообразным, горбатым, темным, неблагополучным, и разве в таком состоянии любили бы их». О таких людях, по словам Феофана, древние греки говорили, что они «мисантропии, сиесть человеконенавидцы». Стремясь дискредитировать своих врагов, Прокопович упрекал их в том, что они «всяку власть мирскую не точию не за дело божие имеют, но и в мерзость вменяют», другими словами — обвинял их в политическом преступлении. По его взгляду, духовенство — это толькo один из «чинов» в народе, но отнюдь не особое государство в государстве. В заключение он сурово осуждает всех единомышленников и пособников царица Алексея.

Позиции Феофана Прокоповича этой речью были заявлены очень четко и вполне определенно. В борьбе двух лагерей — приверженцев реформы и защитников старины — он безоговорочно стал на сторону первого и в глазах старозаветных церковников, не мирившихся с подчинением духовной власти власти светской, сделался ненавистной и опасной фигурой.

2 июня 1718 г. Прокопович был посвящен в епископы, назначен на псковскую кафедру и стал ближайшим сотрудником Петра не только в делах церковного управления. Помимо большого количества церковно-богословских трактатов и проповедей, он пишет публицистические статьи, учебники, редактирует переводы иностранных книг, снабжая эти переводы своими толкованиями, пишет предисловие к морскому уставу, сопровождаемое обстоятельными историческими справками, и «Слово похвальное о флоте российском», в котором он со страстью, с большой силой аргументации и с большой осведомленностью, без всяких мифологических прикрас, трезвыми словами перечисляет те выгоды, которые получит Россия от заведения морского флота. «Понеже не к единому морю прилежит пределами своими сия монархия, то как не бесчестно ей не иметь флота?» — спрашивает он в этом слове и далее наглядно поясняет значение для России флота: «Не сыщем ни единой на свете деревни, которая над рекою или озером положена не имела бы лодок, а столь славной и сильной монархии, полуденная и полуночная моря обдержажай, не имети бы кораблей, хотя бы ни единой к тому не было нужды, однако же было бы то бесчестно и укорительно. Стоим над водою и смотрим, как гости к нам приходят, а сами того не умеем. Слово в слово так, как в стихотворных фабулах некий Тантал стоит в воде да жаждет. И потому и наше море не наше».

Уже в конце 1718 г. Петр I в письме к Стефану Яворскому сообщил о своем намерении взамен упраздненного патриаршества учредить для управления русской церковью «духовную коллегию», которая, пополнив собой ранее организованные чисто светские коллегии — будущие министерства, должна была ввести церковные дела в общую систему государственного управления, сполна подчинив церковь светской власти. Окончательная организация «духовной коллегии», получившей название Синода, была осуществлена в феврале 1721 г., и Прокопович стал в Синоде влиятельнейшим членом. Еще в начале 1720 г. Прокоповичем был написан для Синода устав, получивший название «Духовного регламента». Целесообразность коллегиального управления русской церковью взамен единоличного патриаршего управления подсказана была Петру практикой протестантской церкви, его стремлением уничтожить в русской церкви «папешский дух», привитый ей патриаршим институтом. В «Духовном регламенте» это стремление выражено с полной определенностью: «Велико и сие, что от соборного правления не опасатися отечеству мятежей и смущения, яковые происходят от единого собственного правителя духовного. Ибо простой народ не ведает, яко разствуует власть духовная от самодержавной, но, великою высочайшею пастыря честию и славою удивляемый, помышляет, что таковой правитель есть то вторый государь, самодержцу равносильный, или больши его, и что духовный чин есть другое и лучшее государство».

Помимо устройства церковных дел, «Духовный регламент» ставит себе задачей борьбу с многочисленными суевериями, бытовавшими в русском народе, для чего особенно настаивает на необходимости просвещения. «Когда нет света учения,— говорится в нем,— нельзя быть доброму поведению церкви и нельзя не быть настроению и многим смеха достойным суевериям, еще же и раздорам и пребезумным ересям... И если посмотрим чрез истории, аки чрез зрительные трубки, на мимошедшие века, увидим все худшее в темных, нежели в светлых учением временах». Пропагандируя учение, «Духовный регламент» рекомендует не только богословскую, но и светскую науку: «А то видим,— читаем в нем,— что и учились все древние наши учителя не токмо священного писания, но и внешней философии, и кроме многих иных славнейшие столпы церковные поборствуют и о внешнем учении». Таким образом назначение «Духовного регламента» выходило за пределы узкоцерковных вопросов и распространялось на существеннейшие стороны



русской жизни, подвергавшиеся пересмотру в плане общих идей петровской реформы.

Вскоре после написания «Духовного регламента» Прокопович, для обоснования не только светской власти государей, но и духовной, пишет «Розыск исторический», в котором он ссылками на Овидия, Цицерона, Тацита, Плиния, Тита Ливия, Плутарха и др. доказывает, что римский император носил титул понтифекса, т. е. первосвященника, и потому христианские государи могут называться не только епископами, но и епископами епископов. Дальше идти в утверждении первенства светской власти над церковной, очевидно, было уже некуда.

В царствование Петра Прокоповичем были еще написаны «Первое учение отроком» — букварь в соединении с церковно-поучительным материалом, «Христовы о блаженствах проповеди толкование», направленное главным образом против ханжества и лицемерия, рассуждения о браках с иноверцами, об обряде крещения, трактат «Правда воли монаршей», оправдывавший суд над царевичем Алексеем и защищавший право государя самому назначать себе наследника, и др.

В «Правде воли монаршей» Прокопович лишней раз обличает ревнителей старины вообще, которые отрицают новизну только потому, что она новизна: «Не оный ли безумный упрямым и безответным обычным ответ: дело новое? — спрашивает он.— О скудного и окаянного суесловия! Аще бы и новое се дело, что же самая новость вредит?.. Зло — и старое зло есть; добро — и новое добро есть. Разве бы еще сказал кто, что дело сие у нас не бывало. Хотя бы и не бывало — что противно?.. Первое явилось огненное оружие у прочих народов, нежели у нас; но если бы и к нам оное доселе не пришло, — что бы было и где бы уже была Россия? Тоже разумеи и о книжной типографии, о архитектуре, о прочих честных учениях. Разумный есть и человек и народ, который не стыдится перенимать доброе от других и чуждых; безумный же и смеха достойный, который своего и худого отстать, чужого же и доброго принять не хочет».

28 января 1725 г. скончался Петр I. В связи с его кончиной Феофан произнес две проповеди — одну в день погребения императора, другую — в день Петра и Павла. Особенное значение имеет вторая проповедь, в которой Феофан с большой глубиной и с большим мастерством обрисовал личность Петра и разъяснил историческое значение его деятельности.

Своим восшествием на престол Екатерина I была много обязана содействию Прокоповича, и потому он сохранил свое

влияние на церковные и светские дела и в ее недолгое царствование, часто пользуясь этим влиянием для нещадной расправы со своими врагами. Вскоре он был назначен новгородским архиепископом. В царствование Петра II, когда ощутительно стала сказываться реакция, направленная против петровских преобразований, Прокопович чувствовал, что почва под его ногами колеблется и что его враги готовы свести с ним свои счеты. Своих противников Феофан ненавидел и презирал; он писал о них, что они «прекословцы, буесловцы, пружи (саранча), безумные раскасчики», «не понимающие писания и сражающиеся с собственными мечтами и сновидениями», называл их «школяриками, латиною губы примаравшими», «сумасбродами и неуками», не знающими даже «самого того ремеслишка, которым хвалятся». В борьбе с врагами Прокопович должен был опираться на воспитателя молодого царя — Остермана, по поручению которого он составил для царя учебные планы и руководства. Чтобы угодить новому императору и его воспитателю, он пишет в честь царя латинскую оду, произносит по его адресу приветственные речи, принимает участие в торжестве его коронации, давая даже советы и указания по части устройства «эмблемы на фейерверк».

В 1728 г. напечатан был «Камень веры» Стефана Яворского, и это было явным признаком резкого поворота в церковной политике, направленного к дискредитации «лютерских» позиций Прокоповича и поддерживавшего позиции староцерковной партии, вдохновлявшиеся духом католической церковной практики. Феофан не замедлил отреагировать на выход «Камня веры». Он сообщил в выдержках содержание его протестантскому богослову Буддею, который в 1729 г. выпустил книгу под заглавием «Апология лютеранской церкви против клевет и наветов Стефана Яворского». Эта «апология» изложена была в форме письма к «другу, живущему в Москве», т. е. к Феофану Прокоповичу, который вместе с двором в то время жил действительно в Москве.

Положение Прокоповича значительно укрепилось при восшествии на престол Анны Ивановны. В ее борьбе с верховниками он всецело стал на ее сторону. В приветственных стихах и речах, обращенных к новой императрице, Феофан — едва ли искренне — наделяет ее всевозможными совершенствами, ставя ее рядом с Петром и до небес превознося благодаяния, якобы оказанные ею России. Слепленный жаждой дать реванш своим врагам, замыслившим подорвать его авторитет в царствование Петра II, Прокопович теперь

без удержу мстил им, усердно выискивая, где еще «того гнезда сверщки сидят в щелях и посвистывают». Не щадит Феофан и бывших друзей, теперь попавших в опалу. Так, он издевается над бывшим своим милостивцем Меншиковым, перед которым некогда, в пору его могущества, заискивал. Он ладит с деспотическим режимом Бирона и не только ладит, но и всячески приукрашает его. Очень трудная и очень напряженная ситуация, создавшаяся для князя церкви, защищавшего идеи светской реформы и прогресса в атмосфере упорной вражды и противодействия со стороны чуть ли не всей церковной иерархии, заставила Феофана не пренебрегать средствами для достижения той основной цели, которую он поставил себе, будучи еще безвестным киевским монахом. Целью этой было обновление России на началах европейского прогресса, и в стремлении добиться этого Прокопович действовал без оглядки назад, ибо он был убежден в том, «что от жития нашего прошло, все то умерло, и как не сыти есмы прошлогодскою пищею, так не живем мимошедшими временами».

Будучи теперь первенствующим членом Синода, Прокопович снова принимает непосредственное участие в правительственных мероприятиях, начиная от редактирования различных оригинальных и переводных сочинений и кончая разработкой проектов фейерверков и иллюминаций.

8 сентября 1736 г., на 56-м году жизни, Феофан Прокопович умер.

Для истории литературы наибольший интерес представляет собой деятельность Феофана Прокоповича как драматурга и как стихотворца.

В 1705 г., как мы знаем, разыграна была в Киеве студентами академии его трагедокомедия, полное заглавие которой следующее: «Владимир, славенороссийских стран князь и повелитель, от неверия тмы в свет евангельский приведенный духом святым от рождества Христова 988, ныне же от православной академии Могилянской Киевской на позор российскому роду от благородных российских сынов, добре zde воспитуемых, действием, еже от пиит нарицается трагедокомедия лета 1705, июля 3 дня показаний». Сюжет пьесы — водворение христианства на Руси и сопутствующая этому борьба князя с врагами новой веры — языческими жрецами и одновременно с самим собой, с неизжитыми еще страстями и приманками языческой жизни. Пьеса представляла собой одновременно апологию Владимира как реформатора, которому Русь обязана своим просвещением, и осмеяние

упрямых и своекорыстных поборников псевдешественной старины. Отсюда и ее жанровое наименование, идущее еще от Плавта и утвержденное поэтикой Понтана — «трагедокомедия», т. е. такой род драматических произведений, в котором, по определению Прокоповича, «вещи смешные и забавные перемешиваются с серьезными и печальными и лица низкие — с знаменитыми».

Обращенная в далекое прошлое, пьеса Прокоповича, кстати сказать, тесно связанная по содержанию с незадолго перед тем произнесенной им проповедью в день Владимира, живо перекликалась с современностью, и реформаторская деятельность Владимира, протекавшая в борьбе с врагами новой веры, исторически ассоциировалась с преобразовательной деятельностью Петра I и с его борьбой с защитниками старины, преимущественно с консервативным духовенством. Трагедокомедия, таким образом, как и все почти, что писал Прокопович, была насквозь публицистична и дидактична. Публицистика дает себя знать не только в основной части пьесы, но и в ее эпилоге.

Пьеса построена в соответствии с теми теоретическими положениями, которые даны Прокоповичем в его курсе поэтики. Она состоит из пяти актов, предваряется прологом и заканчивается эпилогом. Пролог является обычным предисловием. Вслед за ним идет «протазис», обнимающий первый акт и заключающий в себе главное содержание пьесы, самую ее сущность. Появляется посланная адом тень убитого Владимиром его брата Ярополка, сообщающая верховному жрецу Перуна Жериволу, орудию адских сил, о намерении Владимира переменить веру и упразднить языческих богов. Жеривол и сам уже успел подметить охлаждение Владимира к богам. Раньше он приносил им обильные жертвы, от которых вдоволь сыты были и жрецы, вчера же он дал лишь одного козла:

Тако престарелого, тако бестелесна,  
Тако изнуряного, иссохша, бесчестна,  
Тонка, лиха, немощна, бескровна, бесплотна,  
Еще ножа не приях, а смерть самохотна  
Постиге его.

Вслед за этим Ярополк рассказывает о своей предсмертной борьбе с Владимиром, пользуясь приемом уподобления, который Феофан рекомендовал как существенное украшение эпоса и трагедии:

Един со двоими  
Всуе брахся (боролся), весь люти на мечех  
носимый.  
Яко медведь, емуже в перси ловец силний

Вонзет рожен, мечется все и бездильный  
Гнев ярит и оливо борется крепчае,  
Толико в онь железо входит глубочае,  
Сице аз бедный брахся.

«Протазис» заканчивается тем, что Жеривол высказывает намерение вступить в борьбу с Владимиром.

Во втором акте — «эпитазисе» — начинается развитие самого действия. Жрецу Курояду, собирающему народ на праздник Перуна, жрец Пияр говорит о том, что он в пустынном лесу встретил бегущего Жеривола, простоволового, со страшным воплем созывающего адские силы для отпора христову закону, который Владимир хочет утвердить на Руси. Вслед за тем приходит и сам Жеривол, творящий заклинания. По его зову появляются бес мира, бес плоти и бес хулы. Каждый из них обещает помешать Владимиру принять христианство. Бес мира надеется на то, что Владимир не преклонит свою выю перед распятым нищим Христом. Бес хулы поносит Христа как злодея, а бес тела, уязвивший уже Владимира тремястами любовными стрелами, напоенными ядом, и в дальнейшем рассчитывает удержать его в своей власти любовью к тремстам женам. Жрецы радуются и вместе с идолами начинают петь и плясать.

Третий акт — «катастазис» — должен заключать в себе изображение препятствий и замешательств (*perturbationes*). Действительно, здесь Владимир, уже испытывающий отвращение к языческим богам, еще полон колебаний и нерешительности, как ему отнестись к словам греческого философа. Он обращается за советом к своим сыновьям Борису и Глебу, и Глеб предлагает отцу еще раз внимательно выслушать греческого философа. В это время приходит Жеривол с жалобой на то, что боги умирают с голода, но Владимир смеется над его словами. Между философом и жрецом происходит спор. Жеривол бранится и издевается над философом и задает ему бессмысленные вопросы, так что философ, обращаясь к Владимиру, говорит: «Се ли мудрецы ваши? Аз овчому стаду не дал бы сицевого вождя». Удаляясь, Жеривол грозит «смирить хульника делом». Философ — в духе богословских воззрений Прокоповича — разъясняет Владимиру основные догмы христианского учения и окончательно располагает его к себе и к христианской вере.

В четвертом акте — продолжение «катастазиса» и приступ к развязке. В душе Владимира происходит сложная душевная борьба, которая передается в его монологе, занимающем почти весь акт, притом в выражениях, часто совпадающих с тем, что говорится в проповеди Прокоповича на день Владимира. Владимира искушают вызванные Жериво-

лом бесы, и он готов поддаться им, забыв проповедь философа. Бес мира смущает его тем, что принятие христианства «породит укоризну его славе». Он говорит:

...не повергу ли греческим под ножи  
Царем венца моего? И их же на мнози  
Усмирих победами, тем сам подчиненный буду,  
Буду не оружием,— одним побежденный  
Словом философим!

Обычно побежденный принимает закон победителя. Весь мир знает, что у него достаточно силы, чтобы сидеть рядом с римским царем. Его могут заподозрить в том, что он принял новую веру не ради веры, но из страха перед греками. Наконец, ему поздно становится учеником. Но, в конце концов, он побеждает свою гордыню:

Дым есть токмо — людская хула и слава!  
А яко стар учуся — то ли будет бидно:  
Учитися доброго во всяком не стыдно  
Есть времени: «до смерти (обще гласит слово)  
Всяк человек учится».

Но на смену искушения гордости Владимира одолевает искушение плоти. Как быть ему с тремястами женами? Неужели пренебречь ими?

Увы мни! Весь тлею  
Жегом огнем сердечним, весь внутр изгараю;  
Пламень внииде в утробу. О горе! не чаю  
Жив быти, аще прийму закон нелюбимий,  
Иго тяжкое, ярем неудоб носимий! —

произносит он и высказывает сомнение в божественности учения Христа и в пригодности этого учения для людей:

Отсюду мнится неподобно  
Учение христово: учит утоляти  
Похоть плотскую. Како ее есть — уязвляти  
Естество? Естеству се наносится нужда.  
Кого убо он есть бог? Воля его чужда  
Есть смотрения, богу отнюдь не свойственна:  
Аще он есть создатель мира вещественна,  
То почто созданию своему противный  
Закон вносит? Аще же ин кто мир сей дивный  
Произведе в бытие, ни убо кто мира  
Начало есть, убо есть о нем ложна вира.

Но, в конце концов, вновь вдумываясь в речь философа, Владимир понимает, что он стал жертвой бесовского наваждения. Он выходит победителем из своей внутренней борьбы и окончательно решает принять христианство. Вслед

удаляющемуся Владимиру раздаётся пение хора. «Прелесть», олицетворяющая триста жен, поет ему песню, напоминающую ему о его былых утехах:

Познай любезне,  
Кто зовет слезне.  
Кого любиши?  
Камо бежиши?  
В кие идешь страны?  
Откуда гнев на ны?  
Плач тя не утолит,  
Глас мой не умолит;  
Тако еси твердый,  
Тако жестосердый!  
Любве ми едина!  
Кая се измина?

В пятом акте дается развязка, или катастрофа. Жрецы приходят в отчаяние: князь запретил им жертвоприношения, и они умирают с голода. Идолов Владимир приказал всюду сокрушать, они отданы на поругание:

Дети студнии, кумир рассекше подробну  
Во главу, аки в сосуд, испраздняют стомах.

Вожди Мечислав и Храбрый заставляют самих жрецов низвергать своих богов. Жрецы грозят всякими бедствиями, если будет сокрушен Перун, но вождей это не пугает, и они низвергают всех идолов. Затем Храбрый сообщает Мечиславу подробности крещения Владимира. В последнем явлении приходит вестник с грамотой от князя, принявшего в крещении имя Василия. В грамоте сказано о том, что князь

Оставляше кумпры  
Бездушниа, восприя истинниа виры  
Истинный закон христов.

Заключается пьеса Прокоповича хором апостола Андрея с ангелами. Апостол Андрей, считавшийся патроном православной церкви, предрекает будущую судьбу Кисва и затем изображает процветание города в позднейшую пору, современную Прокоповичу, а также произносит панегирик гетману Ивану Мазепе, киевскому митрополиту Варлааму Ясинскому, Стефану Яворскому и др. Особенно прославляется Мазепа за его покровительство Киево-Печерской лавре и академии.

Когда пьеса Прокоповича разыгрывалась студентами киевской академии, Мазепа, по распоряжению Петра, шел на соединение с польским королем Августом II для совместных действий против Швеции. В эпилоге трагедокомедии

это событие нашло себе живой отклик. Прокопович так говорит о предстоящей схватке Карла XII с Мазепой:

Но некий лев ярится и на мужа сильна  
Ногти острит. Но ярость твоя есть бездильна,  
Звере гордый! Поспешно, о вожду великий,  
Поспешно иди: будет свирепий и дикий  
Хищник раздран от тебе и издшет вскори,  
Ты же наречешься от всих Сампсон вторий.

Хор заканчивается благопожеланием Петру и Мазепе.

Свою трагедокомедию, которую Прокопович называет «недозрелым плодом трудов своих», он написал в соответствии с теми правилами, которые сам излагал в своем курсе поэтики. Этот курс, как сказано, находился в большой зависимости от руководства иезуитского теоретика Понтапа «*Institutiones Poeticae!*» В согласии с учением Понтапа находятся и выбор исторического сюжета для пьесы и единство действия и времени. Последнее правило обязывало к тому, что в пьесе изображалась не вся жизнь какого-либо лица, а лишь одно какое-либо важное событие из нее и притом такое, которое могло бы совершиться в промежуток от одного до трех дней. Если же действие, изображенное в пьесе, обуславливалось какими-либо предшествовавшими действиями, то о них должно было сообщаться в рассказе, вложенном в уста какому-либо из действующих лиц. К этому необходимо присоединить и требование единства места, предписывающее, чтобы действие происходило на одной определенной территории, например в одном городе, хотя бы в разных частях его.

Все эти правила, как нетрудно видеть, соблюдены в пьесе Прокоповича. Состоя из пяти актов, будучи написана на исторический сюжет, она изображает лишь один эпизод из жизни Владимира — принятие им христианства. Действие происходит в небольшой период времени, не превышающий положенных сроков, и в одном месте — в Киеве. Действия и события, предшествующие основному действию, передаются в речах Ярополка, жрецов, вождей Мечислава и Храброго.

Что касается элементов историзма в пьесе Прокоповича, то они, разумеется, весьма относительны. Под руками у него были очень скудные исторические источники, вроде «Синописа» Иннокентия Гизеля, которые не могли дать писателю сколько-нибудь солидного материала. Впрочем, Феофан и не считал обязательным для драматического произведения точное соответствие историческим фактам. Следуя в известной степени за Аристотелем, он полагает, что драматург, излагая какое-либо событие, не старается точно определить, как



оно произошло, но изображает его так, как оно могло бы совершиться. Он вымышляет различные душевные состояния действующих лиц и физические проявления этих состояний. Драматург и поэт вообще должны изображать типические черты своих персонажей, находящиеся в соответствии с их саном, положением, происхождением. Ссылаясь на Аристотеля, Прокопович говорит о том, что «поэзия есть нечто более превосходное и более философское, чем историческое», и далее: «Поэт не имеет намерения, подобно историку, передавать события памяти потомства, но имеет в виду научать людей, какими они должны быть в том или другом роде жизни».

В согласии с этими основными положениями Прокопович изображает Владимира, наделяя его теми чертами, которые должны приличествовать князю-реформатору. В пьесе показана внутренняя борьба Владимира, вытекающая из столкновения всего предшествующего его жизненного опыта с новым его сознанием и с тем душевным кризисом, который в нем созрел. Эта борьба обуславливает собой драматизм пьесы.

Оправдывая свое наименование — трагедокомедии, пьеса Прокоповича рядом с серьезными моментами, присущими трагедии, содержит в себе и моменты комические, притом поданные в остро-сатирическом плане.

Соединение серьезного и комического, чуждое драматургической практике московской академии, не было совершенной новостью, если иметь в виду практику иезуитской драматургии в ее лучших образцах и отчасти некоторые драматические опыты киевской академии, как, например, пьесу «Алексей, человек божий» или «Рождественскую драму» Димитрия Ростовского. Но, во-первых, в огромном большинстве этих пьес комическое не переходит в сатиру, во-вторых, комическому элементу в них уделено все же сравнительно скромное место. Если в обеих указанных киевских пьесах мы и встречаем комические пассажи (но не сатирические), то они все-таки сосредоточены в одной лишь части этих пьес, а не проникают всю пьесу насквозь, на всем протяжении, как это мы имеем в трагедокомедии Прокоповича. Что же касается сатирической и обличительной силы, которая достигается Прокоповичем путем изображения комических персонажей — Жеривола, Курояда и Пияра, то она, несомненно, превосходит собой все то, что мы имеем в предшествовавшей и современной Прокоповичу школьной драматургии. Главный жрец — Жеривол — обжора, лгун, ханжа, трус, лицемер и распутник. К тому же он — воплощение крайнего невежества, притом очень самоинтересного. Курояд говорит о нем;

Аз дивную вещь видех: когда напитанный  
 Многими жертвами, он лежаще в охлади,  
 А чрево его бяше превеликой клади  
 Подобное; обаче в ситости толикой  
 Знамение бысть глада и алчбы великой:  
 Скрежеташе зубами на многи без мери,  
 Движа уста п гортань!..  
 И во сне жрет Жеривол.

Только перед смертью потеряв аппетит, он «едного токмо пожирает быка на день». Он старается уверить, что не ему нужны жертвы,— он может сам купить мяса,— а богам, у которых нет денег и которые могут умереть с голода. Чтобы убедить князя не отступать от языческой веры, он лжет ему, говоря о чудесном явлении жрецу отощавшего Купалы, угрожавшего мезтью виновникам оскудения жертв богам. У Жеривола, по его собственному признанию, «все уды, все утробы полны сладких язв беса тела». Самознательное невежество его в полной мере обнаруживается во время его состязания с греческим философом. Именно это крайнее невежество защитников старого порядка заставляет Владимира так объяснить приверженность русских к грубому язычеству:

Род наш, жесток и бессловный  
 И письмен ненавидяй, есть сему виновный.

В сходных чертах предстают перед нами и два другие жреца — Курояд и Пияр. Нет никакого сомнения в том, что Прокопович своей колкой сатирой метил в современное ему католическое и русское православное духовенство, в массе своей страдавшее теми же пороками, что и выведенные в пьесе языческие жрецы. В своей риторике, осуждая обжорство и пьянство католических монахов, он называл их «свиньями эпикурова стада», а враг Прокоповича Маркелл Родышевский в доносе на Прокоповича, поданном после смерти Петра I, писал о том, что Феофан «архиереев, иереев православных жрецами и фарисеями называет... Священников российских называет Жерпволами, лицемерами, идольскими жрецами», да и сам Прокопович в «Духовном регламенте», говоря о разъездах архиереев по своим епархиям, характеризует их поведение близко к тому, что говорится в трагедокомедии о поведении языческих жрецов.

Характерной особенностью пьесы Прокоповича является очень умеренное введение в нее аллегорического и символического элементов и олицетворений. Правда, уже иезуитская школьная драма в своих лучших образцах стремилась ограничить пользование аллегориями и олицетворениями, но в

киевской и московской школьной драматургической практике они занимали очень большое место. В сущности, Прокопович вводит в свою пьесу не голые аллегии и олицетворения, а образы бесов-искусителей, наделенных чисто человеческими свойствами,— прием, использованный и в позднейшей европейской драматургии, в частности в Гетевском «Фаусте». Введение в пьесу тени Ярополка могло быть подсказано Прокоповичу и практикой иезуитской драмы, хотя уже в трагедии Сенеки «Тиэс» фигурирует тень Тантала.

Трагедокомедия Прокоповича в основном написана 13-сложным силлабическим стихом, но песни Курояда и Пияра написаны 8-сложным стихом, а хор Премести — стихами с различным количеством слогов — от пяти до тринадцати. В 13-сложном размере, применяемом Прокоповичем в его пьесе, обычны переносы, крайне редкие в школьных пьесах его предшественников. В своей поэтике Прокопович следующим образом оправдывает этот прием применительно к трагедии: «Если трагедия пишется на славянском или польском языке, то самым приличным для нее размером представляется тринадцатисложный стих, с соблюдением, однако, правила, чтобы редко вместе со стихом оканчивался смысл, но чтобы почти всегда смысл переносился из одного стиха в другой, иначе упустится многое из трагической важности».

Новостью в трагедокомедии Прокоповича явилось и такое рассечение тринадцатисложника, когда начало его заключает речь одного персонажа, а конец начинает речь другого персонажа, например:

Курояд

Се аз ходих на село курей куповати.  
И когда сие бяше?

Пияр

Горшее слышати  
Вижду ты не случися, что глаголют мнози.

К числу драматических опытов Прокоповича в известной мере могут быть отнесены и два его «Разговора», написанные около 1716 г., весьма вероятно — в подражание Лукиану Самосатскому, которого Феофан довольно часто цитировал в своей риторике. В обоих «Разговорах» берется под защиту просвещение и осуждается невежество. В первом из них — «Разговоре гражданина с селянином да невцом или дьячком церковным» — селянин с дьячком, направляясь в питейный дом, встречаются с гражданином и задевают его грубым вопросом. Завязывается перебранка, переходящая затем в спор на тему о пользе просвещения в религиозных де-

лах. Селянин упорно защищает косность и невежество: он не хочет знать ничего, чего не знали его отцы и деды, и не желает учиться грамоте, потому что, и не умея читать, ест хлеб, а философы «звезд не снимают». В духе кантемировского Сильвана он заявляет: «отцы де наши не умели письма, но хлеб довольный ели, и хлеб тогда лучший родил бог, нежели ныне, когда письмении и латинии умножилися». Невежество селянина оказывается настолько разительным, что смущает даже его приятеля дьячка, который переходит на сторону гражданина. В ответ на сомнения дьячка, угодны ли богу латинское учение и занятие философией, гражданин разъясняет, что философия сама по себе несколько не осуждается религией и что не всякое латинское учение не угодно богу, а лишь такое, в котором схватываются верхушки знания. О невежественных латинниках он говорит: «Между ними есть еще многоречивые невежды, которые егда кто от правомудрствующих обличает их суеверие или неправое исповедание, ничто же сильнее, к разумению истины близкое глаголют в ответ, но отходя далече от вещи, о ней же есть беседа, красноречием мнение свое утверждают, истину же самую всячески закрывают и слышащих в другую сторону от нее отводят».

Таким образом и здесь Прокопович лишний раз посчитался с ненавистными ему приверженцами католического богословия.

Во втором разговоре, носящем заглавие «Разглагольствие тектона, си есть древодела, с купцом», Прокопович стремился доказать, что нет никакого греха в том, чтобы заимствовать богословские знания у иноземцев, особенно у немцев, потому что бога нужно искать во всякой земле, а не только в Русской. Сам купец свою богословскую мудрость приобрел в Немецкой земле, во время своей полугодовой болезни, когда он читал Библию и беседовал с врачом, который способен был исцелять недуги не только физические, но и духовные. Однако древодел не поддается убеждениям купца, полагая, что немцы, а вместе с ними и купец, — еретики. Купец же настаивает на том, что немцы не еретики, а лишь иноверцы, а подлинными еретики те, которые учились в Польше.

На протяжении почти всей своей литературной деятельности Феофан Прокопович писал стихи на латинском, польском и русском языках. Латинские стихи его, написанные большей частью элегическими двустопиями, отличаются совершенством формы и иной раз немалыми поэтическими достоинствами. Так, еще в Киеве он написал стихотворение, обращенное к папе, в защиту Галилея:

Cur naturae agilem vexas, papa impia, mystam?  
 Quid tale meruit, dire tyranne, senex?  
 Papa, furis! non iste tacos inquit in orbes,  
 Nec ruit in sacros insidiosus agros,  
 Styx ubi defunctos expurgat torrida manes,  
 Aut ubi sunt artis dique dealque tuae.  
 Haec tellus vera est, tua falsa, nec exstitit unquam,  
 Ista deus fixit sidera, vestra dolus<sup>2</sup>  
 etc.

В первые годы пребывания в Киеве написана Прокоповичем по-латыни «Elegia Alexii» на тему о бегстве Алексея, человека божия, из родительского дома. Она представляет собой в основном подражание 3-й и 4-й элегиям «Триствий» Овидия, в которых рассказывается об изгнании Овидия из Рима. Частично в стихотворении Прокоповича сказалось влияние латинского жития Алексея, а также мистерии об Алексее. «Elegia Alexii» вошла в поэтику Прокоповича в качестве образца христианской переработки классического материала.

Среди других латинских стихотворений Прокоповича должны быть отмечены стихи в похвалу монашеской жизни на тему о непорочности жизни, в похвалу Киева, а также стихи в честь Петра I, Екатерины I и Петра II. Особенно удачной нужно признать оду в честь Петра II, написанную одним из любимых метров Горация. О ней в своем 1-м издании «Рассуждения о оде вообще» (1734) Тредиаковский дал восторженный отзыв. По его словам, в этой оде «Феофан, как другий Гораций, толь благородно и высоко, славно и великолепно вознесся... что Гораций, бы сам, посмотрев оную, в удивление пришел, и тужь бы его преосвященству справедливость похвалы учинил, которую я ему теперь отдаю». Читая стихотворение Прокоповича, Тредиаковский, по его признанию, «не мог удержаться, чтобы с дважды или с трижды не вскричать: боже мой, как эта ода хорошо и мастерски сделана!»

В ряде случаев, как увидим ниже, некоторые свои латинские стихи Прокопович тут же сам переводил на русский язык.

Русские стихи Прокоповича разнообразны по своим темам, по жанрам и размерам. Наиболее традиционными явля-

<sup>2</sup> «Зачем ты мучишь, о нечестивый папа, усердного служителя природы? Чем, о, жестокий тиран, заслужил этот старец такую участь? Папа, ты безумствуешь! Ведь он не трогает твоих миров и не вторгается со злым умыслом в твои священные области, где пламенный Стикс очищает души усопших или где обитают боги и богини, тобой изобретенные. Его земля истинная, твоя же ложная, его звезды создал бог, а твои — обман» и т. д.

ются стихи, связанные с прославлением влиятельных особ или выдающихся исторических событий. В период своего пребывания в Киеве Феофан написал три стихотворения, посвященные памяти киевского митрополита Варлаама Ясинского, стихотворение, написанное на тему об обращении Владимира в христианство, «Епиникион» на Полтавскую победу (на латинском, русском и польском языках) и стихи по случаю поражения русских турками в 1711 г. на берегу Прута. Все эти стихотворения, кроме последнего, написаны, обычным 13-сложным силлабическим стихом. По своей тематике и по своим образным средствам они немногим отличаются от обычных силлабических виршей. В стихотворениях, посвященных Варлааму Ясинскому, нужно лишь отметить искусное использование музыкальных созвучий, например:

В мире аки в море видов люти волни  
Варлаам сотворился нищий произвольный.

Молчит золото под млатом, разнствуя от меду.

Светлость свечи, проходя сквози сосуд склянний,  
Множится и большие осязает станни.

«Епиникион» в основном повторяет то, что сказано было Феофаном в его торжественном слове на Полтавскую победу, произнесенном в 1709 г. в Киеве, и подчеркивает возмущение со стороны приверженных Москве украинцев изменой Мазепы.

Последнее стихотворение, описывающее сражение при Пруте, заканчивается сожалением о том, что не суждено еще было христианство освободить от «поганства», и тут же высказывается уверенность в конечной победе христианства. Состоит оно из строф, заключающих в себе по три восьми-сложных стиха, замыкающихся одинаковой рифмой. Большинство строк может быть сведено к хореическому размеру, как показывает уже само начало стихотворения:

За могилую Рябою  
Над рекою Прутовою  
Было войско в страшном бою.  
В день недельный от полудни  
Стался час нам вельми трудный —  
Пришел турчин многолюдный.

Ряд хвалебных стихотворений посвятил Прокопович императрице Анне. В стихотворении «На день 25 февраля» он приветствует ее по случаю уничтожения ею «кондиций», предложенных ей верховниками:

В сей день Августа наша свергла долг свой ложный,  
Растерзавши на себе хирограф подложный,  
И выняла скиптр свой от гражданского ада,  
И тем стала Россия весела и рада.

По случаю переезда Анны в новый летний дом на берегу  
Яузы Феофан пишет стихи, которые заканчивает словами:

Но не вмещает в себе Аннинных дел славы  
Ни дом сей, ниже область Анниной державы.

Императрица затем посетила Феофана на его даче,  
в селе Владыкине, и по этому поводу Феофан написал стихи  
короткими строчками разной длины:

Прочь уступай, прочь,  
Печальная ночь.  
Солнце восходит,  
Свет возводит,  
Радость родит.  
Прочь уступай, прочь,  
Печальная ночь.  
Колпий у нас мрак был и ужас!  
Солнце Анна воссияла —  
Светлый нам день даровала.  
Богом венчанна  
Августа Анна!  
Ты наш ясный свет,  
Ты красный цвет.  
Ты красота,  
Ты веселие  
Велле  
и т. д.

Тогда же он написал латинские стихи в честь Анны, пе-  
реведенные им на русский язык октавами с 11-сложными  
стихами. Здесь о ней говорится, что она «внешнего прича-  
стница света», «телом и духом прекрасна», что, когда она  
вступила на престол, то «стала нам солнцем, греющим лу-  
чами... всероссийский вертоград широкий».

Октавами же и 11-сложными стихами написал Прокопо-  
вич и стихотворение на завершение строительства при Анне,  
в 1732 г., Ладожского канала. Оно было первоначально на-  
писано также на латинском языке, а затем переведено на  
русский. В нем говорится о тех материальных выгодах, ко-  
торые получила Россия в результате прорытия канала.

Наконец, Прокопович посвятил Анне стихи по случаю  
посещения его царицей в 1734 г. на приморской мызе под  
Петергофом, переведенные им на русский язык опять-таки  
с первоначального латинского оригинала.

В 1729 г. Кантемир написал первую свою сатиру «К уму  
своему». Прокопович сатиру очень одобрил и послал стихо-

творное обращение к ее автору, состоящее из трех октав. В первой из них читаем:

Не знаю, кто ты, пророче рогатый,  
Знаю, коликой достоин ты славы.  
Да почто ж было имя укрывать?  
Знать, тебе страшны сильных глупцов нравы.  
Плюнь на их грозы. Ты блажен трикраты.  
Благо, что бог дал ум тебе здравый.  
Пусть весь мир будет на тебя голосливый.  
Ты и без счастья довольно счастливый.

Далее Прокопович призывает Кантемира продолжать борьбу пером с врагами «ученой дружины» в уверенности, что «дураков злость язык свой прикусит».

Послание Прокоповича и по содержанию и по форме является незаурядным произведением. В нем он с большим поэтическим подъемом выразил свое накипевшее возмущение против тех реакционных сил, которые после смерти Петра I противодействовали всему тому, что связано было с делом реформы и с чем так крепко был связан Прокопович. Как известно, Кантемир в ответ на обращение Прокоповича повсвятил ему свою III сатиру, начинающуюся и оканчивающуюся самими уважительными отзывами о деятельности Феофана.

Вскоре Прокопович написал второе стихотворное обращение к Кантемиру в связи с теми гонениями, которым Прокопович подвергся со стороны своего упорного врага Георгия Дашкова. Это известное стихотворение «Плачет пастушок в долгом ненастии»:

Коли дождусь я весела ведра  
И дней красных?  
Коли явится милость прещедра  
Небес ясных? —

спрашивает Феофан и скорбит о том, что ниоткуда «света не видно», вокруг «все ненастье», и нет надежды, чтобы когда-либо стало лучше. Себя он представляет в образе пастуха, дрожащего в непогоду под дубом и видящего, как у него с голоду «овцы тают». И так длится уже пять лет, и нет «отмены» «вод дождевных» и нет конца «воплей плачевных и кручины». Одно, что еще остается, — верить в божью помощь, обращаться к которой учили деды.

И это стихотворение вызвало живой поэтический отклик Кантемира, ободряющего своего друга в его печали. Оно, как и написанные им религиозные гимны и переложения псалмов, было положено на музыку и распевалось питомцами школы Прокоповича.



Прокоповичу принадлежит и несколько философских стихотворений на тему о бренности жизни. Таковы «Что слава Станислава», стихотворение на польском языке «*Czemu, dusze moja tak teskni mysl twoja?*» и, в особенности, «О суетный человек, рабе неключимый». Прокопович перевел также эпиграмму Скалигера «О труде в сочинении лексикон» и эпиграмму Марциала, направленную против атеизма.

В стихотворении «Запорожец кающийся» Прокопович изображает бедственное положение запорожца, приставшего к войскам Мазепы, раскаявшегося в этом и ожидающего суровой расплаты за измену русскому царю.

Что мне делать, я не знаю,  
А безвестно погибаю;  
Забрел в леса непроходны,  
В страны гладны и безводны,—

воскликает он и проклинает атаманов и гетманов, виновников его несчастья.

В стихотворении «К лихорадке в лихорадке», написанном с употреблением перекрестных рифм, Прокопович жалуется на изнурительные приступы болезни, которую древние народы благоговейно чтили богиней и которая всего его терзает, паводя на него то холод, то несносный жар.

Наконец, Прокопович написал несколько шуточных стихотворений. Такова его шуточная эпитафия по-латыни и по-русски умершему в 1743 г. иеродиакону Адаму, помощнику Феофана по домовому хозяйству и по школьным делам и его единомышленнику, человеку, видимо, наделенному большим чувством юмора. Адам при жизни смеялся над ничтожеством окружающих их людей и над их мелкими страстями, но, «позванный в небесные горы», он стал еще больше смеяться над человеческими слабостями. Оставшиеся в живых его друзья неутешно плачут по нем, но и на это он отвечает шуткой, и плакавшие перестают плакать. Эконому архиерейского дома, Герасиму, прославившемуся искусным приготовлением пива, Прокопович посвятил шесть шуточных стихотворений. В них способному пивовару воздается благодарность от шести лиц, в том числе и от самого Прокоповича, который так отзывается о напитке Герасима:

Бежит прочь жажда, бежит и печальный голод,  
Где твой, отче эконом, находится солод.  
Да и чудо он творит дивным своим вкусом:  
Пьян я, хоть обмочусь одним только усом.

Как видим, диапазон Прокоповича-стихотворца был очень широк — от торжественных од до шуточных стихов. В ряде своих стихотворений он обнаруживает подлинный та-

лант и поэтический темперамент. Это нужно сказать особенно о двух его стихотворениях, обращенных к Кантемиру. Но и в других своих вещах Прокопович выступает как незаурядный по тому времени мастер, умеющий разнообразить стихотворную строку и рифму, придать стиху музыкальное звучание. Он первый вводит у нас такую трудную строфу, как октава. Почти все стихи Прокоповича по своим темам примыкают к прочим его сочинениям, в которых он является убежденным борцом за дело культуры и прогресса. Рядом с Кантемиром он, человек многосторонне одаренный, был и лучшим поэтом в первые три десятилетия XVIII в.

Все, что было в стране живого, передового и деятельного, все это тянулось к Прокоповичу как средоточию огромной учености, как к выдающемуся уму и яркой индивидуальности. Этот человек, носивший монашескую рясу и фактически заправлявший всеми делами русской церкви, был самым энергичным и самым страстным апологетом светской культуры при самом ее рождении на русской почве. Везде, где мог, Прокопович расчищал для нее дорогу, вступая в тяжелое и утомительное единоборство с теми, кто стремился повернуть вспять преобразовательное дело Петра. О нем хорошо сказал В. И. Майков в своей надписи к его изображению:

Великого Петра дел славных проповедник,  
Витийством Златоуст, муз чистых собеседник,  
Историк, богослов, мудрец Российских стран —  
Таков был пастырь стад словесных Феофан.

Лучшие люди эпохи — поэт Кантемир и историк Татищев — были друзьями Прокоповича и тянулись к нему как к источнику многообразных знаний и политической мудрости. Все трое они были членами той «ученой дружины», которой приходилось выдерживать натиск со стороны реакции в эпоху Петра II.

Феофан был не только пропагандистом культуры, но и ее организатором. Он принимал деятельное участие в основании у нас Академии наук и вступал в непосредственные сношения с иностранцами, приглашаемыми в Академию для научной работы. Он жил и действовал, весь поглощенный заботой о том, чтобы дело Петра пустило глубокие корни во всех сферах русской жизни, и вся его литературная работа была осуществлением этой постоянной и в самом существе своем бескорыстной заботы.

## УКРАЇНСЬКІ ІНТЕРМЕДІЇ XVII—XVIII ст.

В українській драматургії XVII—VIII ст. значне місце займають короткі одноактні комічні п'єси — так звані інтермедії, або інтерлюдії. Назва «інтерлюдія», чи «інтермедія» (від лат. *inter* — між, *ludus* — гра, *medium* — те, що знаходиться посередині), походить від того, що ці п'єси вставлялися між окремими частинами основної, серйозної драми. В ряді випадків зміст інтермедій був зв'язаний з темами, що розвивалися в основних п'єсах, здебільшого ж вони були незалежні від цих п'єс. Головне призначення інтерлюдії полягало в тому, щоб дати відпочинок і розвагу глядачеві, стомленому серйозною дією, яка розігрувалася в основній п'єсі. Теми основної дії були переважно релігійні або історичні, хоч інтермедії включалися іноді і в п'єси з світською тематикою.

Дійовими особами інтермедії були, як правило, персонажі з простоліду, що розмовляли кожний своєю народною мовою: українець — українською, росіянин — російською, білорус — білоруською, в той час як основні, серйозні п'єси писалися своєрідною книжною мовою.

Українські інтермедії як драматургічний жанр виникли в зв'язку з розвитком інтермедій у стародавній польській драматургії, де в свою чергу позначився вплив побутової західноєвропейської драми, створеної на комічні і сатиричні сюжети, — французьких фарсів, німецьких фастнахтшпілів, англійських інтерлюдій, італійської комедія дель арте. Але за своїм змістом українська інтермедія є насамперед породженням тогочасного життя; вона широко використовувала мотиви і сюжети української народної поетичної творчості, а також матеріал популярної книжної анекдотичної і сатиричної літератури.

У польській рукописній поетиці 1648 р., озаглавленій «Poetica practica» і написаній латинською мовою, суть інтермедії визначається так: «Інтермедія є коротка дія, вигадана або справжня, що розігрується між актами комедії і

трагедії. Вона складається з слів, предметів і осіб забавних, що освіжають увагу слухачів, і не належить до актів і сцен п'єси; ця дія зветься інтермедією тому, що завжди виконується між актами комедії і трагедії.

Немає потреби ставити інтермедії в зв'язок із змістом сюжету або дії комедії: вони можуть мати в собі дію зовсім окрему від дії комедії або трагедії. Однак добре класти в основу інтермедії зміст сюжету самої п'єси або ставити інтермедію в зв'язок з п'єсою. Деякі драматурги обходяться зовсім без інтермедії, але в саму обробку сюжету п'єси вносять сцени, рівносильні інтермедіям. В інтермедіях розробляються забавні і жартівливі історії, оповідання, анекдоти, витівки слуг, придворних, бідняків, лестунів та ін.; найкращими для інтермедій особами є сільські мужики, кухарі, кучери, що мріють про ученість, про політичну діяльність, майстерно і спритно обдурюють один одного або інших, — одним словом, все забавне, що помітиш навіть в окремих людях, можна показувати в інтермедіях, в образі інших, однак, осіб, додержуючи пристойності. Особи інтермедій не мають відношення до дії самої п'єси, іноді, однак, вони можуть бути взяті з числа осіб, що належать до п'єси. Інтермедій у комедії може бути одна або кілька, навіть після кожного акту, крім останнього. Ці кілька інтермедій можуть або служити продовженням одна одної, тобто виконуються протягом всієї п'єси одними й тими ж особами, розвиваючи один і той же сюжет, або ж можуть не мати між собою ніякого зв'язку, виконуватися після різних актів різними особами, обробляти різні сюжети...

Одні з інтермедій викликають сміх тільки словами, наприклад, коли виводяться наші сільські мужики, в уста яких вкладається латинська мова або які добирають вислови, що звучать подібно до латинської мови, або коли ці мужики намагаються наслідувати манери чи мову освічених людей, придворних, або навіть коли вони стараються висловлюватися чистою польською мовою; також коли ці мужики забавно описують що-небудь, наприклад, який-небудь одяг і т. п., сніданок і т. п. В основі цих інтермедій лежать дії, що викликають сміх; такими є тонкі обмани, спритні викрадення, що їх роблять грабіжники, слуги тощо. В інших інтермедіях відіграють роль і забавні слова і дії; такими є сцени, де виступають лестунці, придворні, хитруни та ін.»<sup>1</sup>.

Цю характеристику суті інтермедії в основному можна застосувати і до української інтермедії.

<sup>1</sup> *Резанов В. И.* К истории русской драмы. Экскурс в область театра иезуитов. Нежин, 1910, с. 349—352.

У латинському курсі піітики 1731 р. «*Idea artis poeticae*», що викладався в Твері і залежав від курсів, читаних у Києво-Могилянській академії, дається таке визначення суті інтермедії: «Комічний зміст інтермедії може з успіхом черпатися з життя ринку і трактирів, харчевень, і в зв'язку з цим актори можуть зображати шинкарів, кухарів, ковбасників, п'яниць, дурнів, божевільних, глухих, сліпих, шахраїв, підлабузників, або лестунів і до того ж губатих, патлатих, головатих, потвор, які вже самим своїм виглядом викликають сміх»<sup>2</sup>. Дуже коротке, побіжне визначення інтермедій є в курсі поезики 1736—1737 рр. викладача Києво-Могилянської академії Митрофана Довгалевського, який писав про те, що в комедії, під якою він у даному разі розумів інтермедії, виступають персонажі незначні — голова родини, литвин (білорус), циган, козак, єврей, поляк і вихідці з інших народів<sup>3</sup>.

До нас дійшла значна кількість українських інтермедій. З них інтермедіями у власному розумінні слова слід вважати такі: 1—2) дві інтермедії до польської драми Якуба Гаватовича «*Tragedia, albo wizerunk śmierci preswiętego Jana Chrzciiciela, przesłańca bożiego*», поставлені разом з драмою на ярмарку в Кам'янці Струмилової (Галичина) в 1619 р. і тоді ж у додатку до драми надруковані, як і драма, польським алфавітом; 3—11) дев'ять інтермедій з рукописного Дернівського збірника кінця XVII — початку XVIII ст. (від дев'ятої інтермедії зберігся тільки початок); 12) «Играение свадьбы» — з драми про Олексія, чоловіка божого; 13) «Интермедия на три персоцъ: баба, дѣд и чорт», що йшла за декламацією 1719 р. на великдень; 14) уривок інтермедії до великодньої драми — з того ж рукопису; 15—19) п'ять інтермедій до різдвяної драми Митрофана Довгалевського «*Комическое дѣйствие*», поставленої в Києво-Могилянській академії 1736 р.; 20—24) п'ять інтермедій до його ж великодньої драми «*Властотворній образ челоувколюбия божія*», поставленої там же в 1737 р. — всі інтермедії за списком першої половини XVIII ст.; 25—28) чотири інтермедії (з загальної кількості восьми) до драми «*Стефанотокос*», XVIII ст.; 29) інтермедія до триумфального акту «*Синопис, или краткое видѣние декламации*», поставленого в Тверській духовній семінарії, — за списком XVIII ст.; 30—34) п'ять інтермедій до великодньої драми

<sup>2</sup> *Перегц В. Н.* Из начального периода жизни русского театра, ИОРЯС, 1907, т. XII, кн. 3, с. 138.

<sup>3</sup> *Див. Резанов В. И.* Из истории русской драмы. Школьные действия XVII—XVIII вв. и театр иезуитов. М., 1910, с. 44.

Георгія Кониського «Воскресеніе мертвых», поставленої в 1747 р. у Києво-Могилянській академії,— за списком XVIII ст.; 35) «Интермеდიум жид из русином», найпевніше всього до різдвяної драми,— за списком XVIII ст.; 36) «Интермедія на три персони: смерть, воин и хлопец» — за списком другої половини XVIII ст.; 37—39) три уривки інтермедій з рукопису Київського історичного музею — за списком другої половини XVIII ст.; 40) інтермедія «Воскресенские стихи» — за пізнішою копією кінця XIX ст.; 41) інтермедія «Rozmowa między polakiem i kowalem» — за списком XIX ст.

Не дійшли до нас три інтермедії до драми Лаврентія Горки «Йосиф патриарха», згадка про яких є в кінці 1-ї, 3-ї і 4-ї дій<sup>4</sup>, і чотири інтермедії до драми М. Козачинського «Благодутробіє Марка Аврелия»<sup>5</sup>. У драмі «Алексій, человек божій» після другої яви другої дії відзначено: «Ту игралище», але воно відсутнє. Можливо, воно й не було написане, і тут, очевидно, передбачалося вставити яку-небудь з інтермедій, що існували в репертуарі театру. Слідом за великодньою п'єскою, виданою І. Франком і В. М. Петретцом, йде позначка: «Intermedia wychodyt»<sup>6</sup>, але текст її відсутній. В драмі «Ужасная измѣна сластолюбивого житія с прискорбным и тщетным», поставленій на московській сцені, що дійшла до нас в російському списку, який, очевидно, сягає до українського тексту<sup>7</sup>, відзначені дві інтермедії, що також у тексті драми відсутні.

Деякі п'єси, що їх окремі дослідники вважають інтермедіями, до таких у точному розумінні слова віднести не можна. Немає підстав вважати інтермедіями комічні сцени українською мовою (дійшли до нас не повністю), які містяться в польській драмі «Comunia duchowna ss. Bogusa u Nieba», як це зробив перший її публікатор в журналі «Киевская старина» (1894 р., № 7) М. Марковський і як слідом за ним вважають І. Стешенко<sup>8</sup>, М. Возняк<sup>9</sup>,

<sup>4</sup> Див. *Тихомиров Н.* Русские драматические произведения 1672—1725 годов, т. II. Спб., 1874, с. 365—394, 413.

<sup>5</sup> Див. *Петров Н. И.* Очерки из истории украинской литературы XVII и XVIII веков. К., 1911, с. 357.

<sup>6</sup> Див. *Франко В. Я.* Нові матеріали до історії українського вертепа. Записки Наукового товариства ім. Шевченка, 1908, т. XXXII, с. 34; *Перець В. Н.* К історії польського и руского народного театра, ИОРЯС, 1909, т. XIV, кн. 1, с. 153.

<sup>7</sup> Див. *Фрванко В. І.* Драма українська, вип. VI, 1929, с. 25—27.

<sup>8</sup> Див. *Стешенко І.* Історія української драми, т. 1, К., 1908, с. 187—188.

<sup>9</sup> Див. *Возняк М.* Початки української комедії (1619—1819). Львів, 1919, с. 39—44.

Я. Гординський<sup>10</sup>. Ці комічні сцени тісно сплетені з серйозними сценами даної драми на історичний сюжет, сплетені так, що в сукупності вони становлять композиційно і тематично єдине ціле. Вже через те, що сама драма починається з комічного епізоду (з втраченим початком; втрачений і кінець п'єси), комічні епізоди тут не можна вважати інтермедіями. Ще в середні віки у серйозну п'єсу навіть на релігійні теми вклинювались комічні, побутові мотиви, сцени з участю простаків — простолюдинів, ненажер, п'яниць<sup>11</sup>. Такі ж комічні сцени є, як відомо, і в трагедокомедії Феофана Прокоповича «Владимир», однак їх не можна відносити до інтермедій.

У зв'язку з сказаним може виникнути питання, чи слід відносити до інтермедії сцену «Играение свадьбы» в п'єсі «Алексій, чоловік божий», як це роблять, наприклад, М. І. Петров, П. О. Морозов, О. І. Білецький. В. І. Резанов не схильний вважати її інтермедією, говорячи, що вона лише побудована «на зразок інтермедій», але по суті тісно зв'язана з ходом п'єси, «запроваджено її художньо до речі, бо як контраст ця втішна сцена підготує тим яскравіше враження дальших сцен, пройнятих зовсім іншими настроями та емоціями»<sup>12</sup>. Не вважає її інтермедією, очевидно, і М. С. Возняк, судячи принаймні з того, що він її не згадує в своєму аналізі українських інтермедій.

Однак сцену «Играение свадьбы» за всіма її особливостями слід розглядати як інтермедію. По-перше, вона виділена в п'єсі окремим заголовком і в кінці її є позначка «Конец игрищу первому», чого ми не бачимо в інших п'єсах, до яких входить побутовий елемент. Крім того, у другій дії п'єси, як вище сказано, мала бути друга побутова сцена інтермедійного характеру, судячи з позначки після другої яви: «Ту игрище». З цього можна зробити висновок, що в обох випадках ми маємо справу з вставними сценами. По-друге, «Играение свадьбы» супроводиться музикою, танцями і завершується суперечкою і бійкою селян. Така дія характерна саме для інтермедійного жанру. По-третє, сцена закінчується зверненням найменш п'яного

---

<sup>10</sup> Див. *Гординський Я.* З української драматичної літератури XVII—XVIII ст. Пам'ятки української мови і літератури, вид. Археологічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка, т. VIII. Львів, с. 90. А втім, за Гординським, це — «дві інтермедії чи радше ряд сцен, що їх можна злучити в дві інтермедії».

<sup>11</sup> Див. *Резанов В. И.* Из истории русской драмы. Школьные действия XVII—XVIII вв. и театр иезуитов, с. 261—622; його ж. Драма українська, вип. III. К., 1926, с. 40—250 і вип. V. К., 1928, с. 24.

<sup>12</sup> *Резанов В. И.* Драма українська, вид. V, с. 24.

селянина до глядачів, яких він просить вибачити за негідну поведінку своїх товаришів по чарці. Нарешті, перший слуга Бвфїміана, словами якого відкривається сцена, запрошує на весілля знатних панів, після нього виступає другий слуга, що запрошує на весілля селян. Але на запрошення відгукуються тільки селяни, а про участь у весільному бенкеті панів нема ніяких згадок. Це ще раз, ми гадаємо, свідчить про вставний характер сцени.

Віддалене відношення до українських інтермедій має інтермедія, озаглавлена «Tatarzyn роума піємса», яка написана польським алфавітом і долучена до польської п'єси «Wladyslaw Jagello»<sup>13</sup>. У ній татарин говорить ламаною українсько-білоруською мовою, а німець — ламаною польською з домішкою німецької. М. С. Возняк згадує про неї в огляді українських інтермедій<sup>14</sup>, хоч і не досить ясно застерігає: «До інтермедій, які для нашого огляду не мають ніякого значення, належить інтермедія «Татарин зловив німця» (очевидно, М. С. Возняк має тут на увазі літературну якість цієї інтермедії). Я. Гординський вважає, що до частково українських творів можна віднести інтермедію «Tatarzyn роума піємса»<sup>15</sup>. Але інтермедія ця, мабуть, більше відноситься не до українського, а до польського театру, і сам видавець цієї п'єси — В. М. Перетц відносить її до польських інтермедій.

Не може бути названа інтермедією п'єса на популярний у старовинній літературі сюжет про багача і Лазаря, опублікована І. Франком та В. М. Перетцом<sup>16</sup>. У ній відсутній звичайний в інтермедіях комічно-побутовий елемент, п'єса пройнята серйозним змістом. Незвичайні для інтермедії такі її дійові особи, як Ангел, Душа багача, Музика. Перед нами скоріше драматичний діалог, який, очевидно, призначався для декламації, а не для сценічного виконання. До інтермедій вперше причислили п'єсу про багача і Лазаря В. М. Перетц<sup>17</sup> і М. І. Петров<sup>18</sup>, потім, слідом за ними,

<sup>13</sup> Її видав В. М. Перетц («К истории польского и русского народного театра», ИОРЯС, т. X, кн. 1, 1905, с. 90—93).

<sup>14</sup> Див. *Возняк М.*, зазн. тв., с. 34—35.

<sup>15</sup> Див. *Гординський Я.*, зазн. тв., с. 90—181.

<sup>16</sup> Див. *Франко І. Я.* Нові матеріали до історії українського вертепа. Записки Наукового товариства ім. Шевченка, т. XXXII, 1908, с. 36—40; *Перетц В. Н.* К истории польского и русского народного театра, ИОРЯС, т. XIV, кн. 1, 1909, с. 153—158.

<sup>17</sup> Див. *Перетц В. Н.* К истории польского и русского народного театра, ИОРЯС, 1909, т. XIV, кн. 1, с. 149.

<sup>18</sup> Див. *Петров М. І.*, зазн. тв., с. 433—436. В рецензіях на книгу Петрова М. І. Резанов дивується, чому автор цю п'єсу назвав інтермедією. Див. «Новая книга о старой украинской драме» («Русский филологический вестник», 1912, № 3—4, с. 253).



хоч і не досить вневнено,— М. Возняк<sup>19</sup> і Я. Гординський<sup>20</sup>.

Неправильно залучати до інтермедії також уривок діалогу «Разговор пастырей», який був вперше виданий за рукописом XVIII ст. В. М. Перетцом<sup>21</sup>. (До інтермедій відносить його Я. Гординський<sup>22</sup>.) В. І. Резанов цілком правильно зазначив, що тут ми маємо справу з обробкою частини одного з епізодів різдвяної драми, схожого зі сценою пастухів у різдвяній драмі Дмитрія Ростовського<sup>23</sup>.

Не можна вважати інтермедіями і сатиричні діалоги священика Некрашевича «Ярмарок», «Исповѣдь» и «Замысл на попа»<sup>24</sup>: діалоги ці призначались не для виставляння на сцені, а лише для читання. Ніяких ремарок, що вказували б на сценічне виконання, у цих діалогах нема. Можна навіть заперечувати проти залучення цих діалогів до драматичних творів у власному розумінні слова<sup>25</sup>.

В. М. Перетц опублікував також «Интермедий на рождество Христово»<sup>26</sup>, але ця п'єса, записана в XVIII ст. дяком Іваном Даниловичем, безперечно відноситься до репертуару вертепної драми, що посередньо відзначає і сам її видавець, говорячи про її «помітний зв'язок з різдвяною вертепною виставою»<sup>27</sup>.

\* \* \*

Найстарішими українськими інтермедіями, що дійшли до нас, є дві інтермедії 1619 р. до польської п'яти-актної драми Якуба Гаватовича про смерть Іоанна Хрестителя. Перша з них призначалась для постановки після другої дії трагедії, друга — після третьої. В обох інтермедіях

---

<sup>19</sup> Див. *Возняк М.*, зазн. тв., с. 46—49. Возняк пише, що ця п'єса «також має форму інтермедії».

<sup>20</sup> Див. *Гординський Я.*, зазн. тв., с. 90—91. Про неї Гординський говорить, що її «можна признати родом інтермедій».

<sup>21</sup> Див. *Перетц В. Н.* К истории польского и русского народного театра, ИОРЯС, 1905, т. X, кн. 1, с. 63—64.

<sup>22</sup> Див. *Гординський Я.*, зазн. тв., с. 92.

<sup>23</sup> *Резанов В. І.* Драма українська, вип. IV. К., 1927, с. 77—78.

<sup>24</sup> Див. *Гординський Я.*, зазн. тв., с. 92.

<sup>25</sup> Див. *Возняк М.* Стара українська драма і новіші досліди над нею. Записки Наукового товариства ім. Шевченка, 1912, т. СХП, с. 189; *Рулін П.* Студії з історії українського театру, 1917—1924, Записки історично-філологічного відділу ВУАН, 1925, т. V, с. 215.

<sup>26</sup> Див. *Перетц В. Н.* К истории польского и русского народного театра, ИОРЯС, 1905, т. X, кн. 1, с. 63—67.

<sup>27</sup> Див. ще *Франко І. Я.* До історії українського вертепа XVIII ст., Записки Наукового товариства ім. Шевченка, 1906, т. LXXII, с. 67—70.

дійовими особами є селяни — одні з них простакуваті, легковажні, інші — хитрі, спритні, розумні, які легко обманюють перших. В першій інтермедії жертвою спритного бідняка Кліма є недалекий багач Стецько. Він хвалиться своїм багатством і обіцяє облагодіяти свого співбесідника, коли той, ставши його наймитом, справді виявиться таким здібним звіроловом, яким себе рекомендує. Климко не тільки дістає обманом гроші у багача Стецька, продавши йому в мішку kota замість лисиці, але й підмовляє його розбити власні горшки. Климко вкрив ці горшки одежою і травою, сказавши Стецькові, що там лежить його ворог. Коли Стецько побив горшки, Климко знущається з нього і йде далі, шукаючи, кого б ще обдурити. Як і в багатьох інших жартівливих творах, що вийшли з демократичного середовища, спритний, тямущий і меткий бідняк хитро вигаданими штуками бере верх над дурнуватим і наївним багачем.

У другій інтермедії до драми Гаватовича єдиний пиріг, знайдений двома голодними селянами, до яких в дорозі пристав третій, повинен дістатися за умовою тому, хто, заснувши, побачить кращий сон. Один селянин бачить себе в раю, де його вдосталь нагодували. Другий бачить себе в пеклі, де він мучиться серед інших грішників і звідки уже не повернеться на землю. А третій, почувши про сні перших двох селян, говорить, що ангел підняв його за чуба на небо, потім підвів до пекла, і обидва його супутники звеліли йому з'їсти пирога, бо їжа більше їм не потрібна. Обидва обдурені і розгнівані селяни проганяють свого випадкового супутника-шахрая.

Сюжети обох інтермедій, як вказано було Драгомановим<sup>28</sup>, мають паралелі у творах книжної літератури (історія про Уленшпігеля для першої інтермедії, повість з «Римських діянь» для другої; обидві були перекладені польською мовою не пізніше початку XVII ст.). Існує й запис української казки на сюжет другої інтермедії. Взагалі обидві інтермедії до драми Гаватовича, особливо друга, написані на сюжет, дуже поширений в стародавній світовій літературі. Однак справа не в сюжеті, використанні якого не позбавляє творця художньої самостійності, а в національному його трактуванні, в зображенні побуту певного народу, характерів. Обидві інтермедії до драми Гаватовича відзначаються всіма рисами української національної своєрідності і самостійності в зображенні дійових осіб, їх поведінки, в самій побудові сюжету, художніх деталях, що супроводять дію.

<sup>28</sup> Див. Найстарші руські драматичні сцени. Розвідки Михайла Драгоманова. Львів, 1899, т. 1, с. 185—216.

У першій інтермедії привертає увагу насамперед жвавість діалогу, гострота його побудови, велика динамічність дії, реалізм у зображенні побутових подробиць (перелік страв, що їх збирається варити Стецько, показ того, як торгується Стецько з Климком під час купування мішка, в якому повинна бути лисиця). Добре змальовані характери обох селян, вдало відтворена їх мовна характеристика. Комізм інтермедії виявляється і у витівках Климка, і в розгубленості та прикращах обманутого Стецька, і в удаваному співчутті його горю з боку Климка.

Друга інтермедія, сюжетний кістяк якої близький до сюжетної схеми повісті з «Римських діянь», має чимало таких реальних подробиць українського бенкетного столу в небесних володіннях і таких описів мук різних мешканців пекла, які ми не знайдемо ні в книжках, ні в фольклорних паралелях до інтермедій.

У зв'язку з сказаним слід зауважити, що Драгоманов, надаючи першорядного значення сюжетній схемі обох інтермедій і не звернувши уваги на оригінальну, суто українську творчу розробку цієї схеми, значно применшив властивий їм національний елемент.

Чи був Гаватович, автор драми про смерть Іоанна Хрестителя, також і автором доданих до неї двох інтермедій? Драгоманов, який вперше їх опублікував, не сумнівався в цьому, вважаючи до того ж, що Гаватович був людиною західної культури, найпевніше католик, тобто поляк. Міркування Драгоманова щодо належності інтермедій Гаватовичу повторив і О. Огоновський<sup>29</sup>. Гаватовича вважав автором інтермедій і Франко<sup>30</sup>. Не сумнівався в цьому також М. Павлик, який здійснив критичне видання інтермедій і подав виклад біографії Гаватовича та літературної його діяльності<sup>31</sup>. Після розвідки Павлика не лишається ніяких сумнівів у тому, що Гаватович був поляк і до того ж католицький священик, яким він став незабаром після написання своєї драми. Він закінчив Ягеллонську академію в Кракові з ступенем бакалавра і був типовим представником польської культури. Під час написання своєї драми він працював народним учителем в Кам'янці Струмиловії. Тут,

---

<sup>29</sup> Див. *Огоновський О.* Історія літератури рускої, часть 1. Львів, 1887, с. 355—358.

<sup>30</sup> Див. *Франко І. Я.* Русько-український театр. Твори. К., 1955, т. 16, с. 214, 218; його ж. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. Львів, 1910, с. 64.

<sup>31</sup> Див. *Павлик М.* Якуб Гаватович (Гават), автор перших руських інтермедій з 1619 р. Записки Наукового товариства ім. Шевченка, тт. XXXV—XXXVI, 1900, с. 1—44.

як і в інших місцях, де він жив, Гаватович мав можливість спостерігати життя українського населення. В написаних ним, як гадає Павлик, інтермедіях народна українська мова має чимало полонізмів і трохи елементів тогочасної актової української мови з домішкою білорусизмів. В сані священника Гаватович написав ряд церковно-богословських творів польською мовою, за винятком одного, написаного по-латині.

Звернення Гаватовича до української мови Павлик пояснює тим, що Гаватович виховувався на традиціях польської літературної культури, яка подібно до всієї західноєвропейської літературної культури, починаючи з часів Відродження, не цуралась простонародної мови. Цю обставину, що зачинателем світської української драматургії був не українець, а поляк, та ще в часи тодішніх релігійних і національних сутичок між поляками і українцями, Павлик пояснює тим, що українські літературні діячі тоді зайняті були обороною православ'я і до того ж вдавалися до церковної мови. А Гаватовичу тим легше було користуватися простонародною українською мовою, що він, як католик і поляк, не був прихильним до тодішньої церковної і літературної української мови. Західноєвропейська освіта і добре знання місцевих умов дали, на думку Павлика, змогу Гаватовичу створити яскраві зразки тогочасної мови, побуту і поглядів українських селян.

Коли погодитися з наведеними міркуваннями Павлика, то, всупереч його остаточним висновкам, інтермедії до драми Гаватовича про смерть Іоанна Хрестителя, логічно кажучи, довелося б віднести не до української, а до польської літератури<sup>32</sup>.

В авторстві Гаватовича як творця інтермедії при трагедії про смерть Іоанна Хрестителя не сумнівався і П. Г. Жук-

---

<sup>32</sup> Цієї ж думки спершу дотримувався і О. І. Білецький, який визнає Гаватовича автором і драми і інтермедій, що відносяться до неї. «Історія нашого театру,— писав він,— вважають найстаровиннішими драматичними творами України дві інтермедії, вставлені в «трагедію» на день смерті Іоанна Хрестителя, поставленої в Кам'янці в 1619 р. Справді, ці інтермедії написані українською мовою, та все ж вони, як і сама трагедія, не становлять продукту української ініціативи, і говорити про них як про пам'ятки української драми навряд чи можливо» (див. *Білецький А.* Старинный театр в России. М., 1923, с. 49, 87). Пізніше, однак, О. І. Білецький інтермедії до драми Гаватовича пов'язував з українською літературою (див. «Історія української літератури». К., 1954, т. 1, с. 77—78; див. також упорядковану ним «Хрестоматію давньої української літератури», вид. 2. К., 1952, с. 168. Тут упорядник, проте, відзначає: «Чи був автором цих вставних сцен сам Гаватович, чи хто інший,— встановити важко»).

тецький, який вважав однак, що Гаватович був галицьким українцем (русином). «Гаватович, русин походженням,— пише він,— був учителем не в братській православної школі, а в одній із католицьких польських шкіл, в яких уже у другій половині XVI ст. писалися інтермедії на теми з народного життя, з дійовими особами з простолюду, простонародною мовою мазурською, русинською і т. п. Можна думати через те, що інтермедії Гаватовича були плодом шкільної теорії, яка панувала в польських школах, а не того національного руху, який спонукав малоруських письменників користуватися цією теорією для своїх цілей»<sup>33</sup>. І тут же Житецький вказує номери трьох рукописів Петербурзької публічної бібліотеки з драматичними творами латинською і польською мовами, з вставками комічного змісту білоруською мовою, а також посилається на згадану нами вище польську драму «Comunia duchowna ss. Borusa u Heba», в якій «побутові сцени, очевидно, південно-руською мовою, ідуть через усю драму, не виділяючися з неї».

Усе сказане Житецьким відносно інтермедій до драми Гаватовича примушує думати, що Житецький в усякому разі не схильний був безперечно відносити інтермедії, що їх він приписував Гаватовичу, до творів української літератури.

Але ще в 1883 р. при першому виданні інтермедій до драми Гаватовича в журналі «Киевская старина» редакція, ставлячи питання про те, хто був їх автором і до якої національності він належав, висловилися в тому розумінні, що драма, очевидно, була написана польською мовою іншим автором, а інтермедії були долучені до трагедії у відповідності з смаками народу<sup>34</sup>.

Торкаючись цих самих інтермедій і вказуючи, що деякі дослідники, «незважаючи на те, що ці п'єси походять з польської школи, бачать у них зразки південно-руської драматичної літератури», П. О. Морозов вважав, що «цьому поглядіві не можна зовсім відмовити в обґрунтованості»<sup>35</sup>. За словами Морозова, польська і українська літератури перебували в стані якнайбільшої взаємодії, зумовленої історичною долею польського і українського народів і тим, що в південній Русі не тільки в XVII, але й навіть у XVIII ст. польська мова поряд з латинською панувала в школах і в

<sup>33</sup> Житецький П. «Енеида» Котляревского и древнейший список ее в связи с обзором малорусской литературы XVIII века. К., 1900, с. 92—93.

<sup>34</sup> Див. «Киевская старина», 1883, № 12, с. 653.

<sup>35</sup> Морозов П. О. История русского театра до половины XVIII ст. СПб., 1889, с. 62.

учбовій літературі, що південноруська літературна мова в той час являла собою суміш польської мови з українською або білоруською народною мовою. Зарахування інтермедій типу тих, які додані до трагедії Гаватовича, до української драматичної літератури виправдовується, на думку Морозова, тим, що авторами їх могли бути українські учні польських шкіл, які прекрасно знали народну мову, та й зміст таких інтермедій взятий не з польського, а з українського життя.

Слідом за Житецьким І. Степенко вважав, що автором інтермедій до трагедії Гаватовича був русин, тобто галицький українець, про що свідчить мова інтермедій, якою рідко хто міг володіти, крім українця. Але немає підстав, з погляду Степенка, гадати, що автор їх був неодмінно учителем у польській школі і одночасно з інтермедіями написав і польську трагедію: перші, як цілком самостійні, могли бути додані до другої, також цілком самостійної<sup>36</sup>.

Українцем, але таким, що пройшов польську школу, вважав, автора інтермедії при трагедії Гаватовича і В. І. Резанов<sup>37</sup>.

Таким чином, поставлене було питання, чи не є Гаватович автором тільки драми про смерть Іоанна Хрестителя і чи не належать інтермедії при ній іншій особі, притому українцю за походженням. Найбільш певно розв'язує це питання М. С. Возняк<sup>38</sup>. Він звертає увагу насамперед на те, що в заголовку видання 1619 р. драми та інтермедій під прізвищем Гаватовича подається лише драма, а щодо інтермедій сказано тільки, що вони «przydane», тобто додані до драми, без певної вказівки їхнього авторства. Крім того, після першої і четвертої дій драми ідуть сцени, в яких виступають чорти. Ці сцени позначені словами «miasto intermedium», тоді як українські інтермедії вміщені після тексту драми, а не після другої і третьої дій, де вони мають розігруватись. Судячи з окремих написань у тексті інтермедій, Возняк гадав, що цей текст записаний був спершу кириличним алфавітом і потім транскрибований Гаватовичем — при його драмі — латинським. Факти свідчать, що діалоги не були новиною в українських школах, починаючи з віршів Памва Беринди 1616 р., які декламувалися учнями львівської школи Ставропігійського братства.

<sup>36</sup> Див. *Степенко І.*, зазн. тв., с. 183.

<sup>37</sup> Див. *Резанов В. И.* Древнерусские мистерияльные «действия» и школьная драма XVII—XVIII вв. История русского театра под редакцией В. В. Калаша и Н. Е. Эфроса. М., 1914, т. 1, с. 48; його ж, *Драма українська*, вип. 1. К., 1926, с. 38.

<sup>38</sup> Див. *Возняк М.* Початки української комедії, с. 31—33.

Возняк вважає найбільш правдоподібним, що з інтермедіями, доданими до драми Гаватовича, справа стоїть так само, як і з піснюю про козака і Кулину, доданою до брошури «*Seum walnego artykulów sześć*» Яна Давонковського (1625 р.). Як пісня вона співалася раніше, ніж потрапила до друку. Так же само, на думку Возняка, інтермедії, додані до драми Гаватовича, могли бути відомі ще до публікації. Автором їх, як припускає Возняк, міг бути один з студентів Ягеллонської академії або якої-небудь іншої польської школи, українець, що мав літературний талант.

Нарешті, питання про авторство Гаватовича щодо інтермедії торкнувся Я. Гординський<sup>39</sup>. Вказавши, що, за припущенням дослідників, вони навряд чи належать перу Гаватовича,— про це свідчить не тільки помилкова де-не-де транскрипція українських слів латинською, але й не зовсім однорідна мова обох інтермедій,— Гординський, однак, вважає дуже можливим приписати ці інтермедії Гаватовичу, оскільки друга інтермедія переповнена полонізмами, неможливими в устах українця.

Але чому ж один і той же автор в одному випадку пересипав свою інтермедію полонізмами, а в другому — не зробив цього в такій же мірі? Само собою напрошується при цьому припущення, що інтермедії належать двом авторам. Справді; в другій інтермедії полонізмів більше, ніж у першій, але своїм характером вони в основному подібні в обох інтермедіях. Твердження, що занадто полонізована мова неможлива в устах українця, не досить переконливе; беручи до уваги виникнення обох інтермедій на території Західної України, де вплив польської мови на українську був особливо великий, не доводиться дивуватись, що воно відбилося на мові українця, притому такого, що пройшов польську школу.

Ми маємо, таким чином, досить підстав для того, щоб приписувати інтермедії, додані до драми Гаватовича, не йому, а кому-небудь з українських авторів, і тим самим відносити їх не до польської, а до української літератури. Не може бути сумніву в тому, що далеко не завжди автор основної драми був у той же час і автором інтермедії, що відносяться до неї. Істотне значення має й те, що авторитетні дослідники польського театру і польської драматургії, за винятком О. Брюкнера<sup>40</sup>, не включали інтерме-

<sup>39</sup> Див. *Гординський Я.*, зазн. тв., с. 96.

<sup>40</sup> Див. *Brückner A.* Polnisch-russische Intermedien des XVII Jahrhunderts.— *Archiv für Slavische Philologie*, B. XIII, 1891, с. 224.

дій до драми Гаватовича в репертуар стародавнього польського театру<sup>41</sup>.

Інтермедії до драми Гаватовича заслуговують на особливу увагу не тільки тому, що вони є хронологічно першими українськими інтермедіями, але й тому, що вони своїми літературними якостями перевищують деякі пізніші інтермедії.

Близькі за часом свого виникнення до найраніших інтермедій є інтермедії з Дернівського збірника. Очевидно, створені вони в тій самій місцевості, можливо, в тій самій Кам'янці Струмиловій, що й інтермедії до драми Гаватовича, роки через п'ятдесят після них. Більшість цих інтермедій має анекдотичний характер; типи, введені в них, дещо шаблонніші і менше відбивають специфічні особливості українського побуту та психічного складу українців, ніж інтермедії до драми Гаватовича. Дійові особи інтермедій Дернівського збірника — українські селяни, цигани, євреї, студенти.

Проте ці інтермедії відзначаються дуже жвавою, хоч і грубуватою дією і, безперечно, викликали великий інтерес у тогочасного глядача. Дія цих інтермедій будувалася здебільшого на забавних «qui pro quo», звичайною розв'язкою яких була бійка персонажів. В деяких інтермедіях Дернівського збірника ми знаходимо ситуації, подібні до тих, які є в інтермедіях польських. Така, наприклад, друга інтермедія на сюжет про селянського сина, якого батько віддає в науку<sup>42</sup>, або інтермедія восьма, де одним з епізодів є примусовий продаж русином палиці (кия) єврею<sup>43</sup>.

Не тільки в інтермедіях Дернівського збірника, а і в інших українських інтермедіях, як і в деяких польських і російських, виступає фігура єврея. Однак єврей тут є не стільки представником своєї національності, скільки представником експлуататорського прошарку: він постійно виступає або орендарем, або шинкарем. Буває, що цей класовий антагонізм між простим селянином і євреем-шинка-

---

<sup>41</sup> Див. відповідні розділи в книгах: *Windakiewicz St. Teatr ludowy w dawnej Polsce*. Kraków, 1902, с. 168—206; *Budzyk Kaz. Szkice i materialy do dziejów literatury staropolskiej*. Państwowy instytut wydawniczy, 1955, с. 290—295; *Lewanński J. Studia nad dramatem polskiego Odrodzenia*. Wrocław, 1956, с. 186—192, 235—254.

Говорячи про інтермедії до драми Гаватовича, Леванський, очевидно, не визнає, що вони належать Гаватовичу, судячи з того, що він згадує «dwa ukraińskie intermedia ze sztuki Gawatowicza» (с. 252).

<sup>42</sup> Див. «Komedia o Wawrzyku do szkoły y ze szkoły». *Vadecki K. Polska komedia rybałtowska*. Lwów, 1931, с. 235—246.

<sup>43</sup> Див. «Intermedium. Skoczyłs Żydowi kij przedaje» до комедії Петра Барика «Z chłopa król», там же, с. 613—616.



рем набуває релігійного забарвлення,— про такий релігійний вияв класової боротьби в давні часи писав Енгельс,— і виливається в форму, наприклад, суперечки про те, чия віра краща, що супроводиться взаємним вириванням волосся з бороди під час перерахування своїх свят свреєм і українцем. Торжествує при цьому українець, бо у нього свят виявляється набагато більше, ніж у єврея. В даному разі ми маємо справу з досить поширеним у європейських літературах мотивом суперечки про перевагу однієї віри над іншою. Тут слід підкреслити, що в інтермедіях часто зустрічаються слова жид, лях, мужик. У давні часи вони не мали ніякого образливого відтінку і просто вживалися у значенні єврей, поляк, селянин.

У Дернівському збірнику виділяються третя і четверта інтермедії, в одній з яких фігурують німець і хлоп, а в другій — козак, поляк і німець.

У третій інтермедії нахабний і хвалькуватий німець, що говорить ламаною польською мовою з невеликою домішкою німецьких слів, зустрівшись з українським селянином, хоче пожитися всякими українськими ласощами — маслом, білим хлібом. Але їх нема в господарстві селянина, що живе на сухому хлібі і холодній воді. Німець обурений тим, що хлоп пропонує йому їсти сухий хліб і, лаючись, загрожує побити його нагаєм і шпагою. Хлоп спокійно і з гідністю вислуховує погрози німця і, в свою чергу, обіцяє побити його ціпом, яким молотять хліб. Німець хвастає уявними перемогами своїх співвітчизників над татарами під Кам'янцем-Подільським, але хлоп викриває його хвастощі. Він нагадує йому, як німці злякалися зустрічі з татарами, що насправді перемогли німців, б'є його ціпом, але, по своїй добродушності, потім підіймає німця, пропонує йому помиритись і, взявши його за руку, виводить.

У цій інтермедії теж досить чітко дає себе знати соціально-політичний і національний момент: бідний український селянин протестує проти чужоземного засилля, проти знахабнілих недругів своєї батьківщини.

Як догадується Я. Гординський, четверта інтермедія Дернівського збірника належить тому самому авторові, що й попередня. У ній козак, що навчився латини, з самою лише палицею в руках виступає в суперечці зі своїми як слід озброєними політичними ворогами — паном-поляком і паном-німцем. У взаємних суперечках і сварках козак відзначається особливим завзяттям і бере верх над своїми противниками. У сценічному виконанні тут відбувалася жвава битва, де селянин схрестив свою палицю із шляхет-

ською шпагою. Ця інтермедія теж досконала. Її, безперечно, дивилися з неослабною увагою. Інтермедія закінчується поздоровленням з світлим святом, з чого слід зробити висновок, що вона, як і деякі інші інтермедії цього збірника, приурочувалась до великодня.

Персонажі інтермедій Дернівського збірника говорять українською, польською мовою, іноді з домішкою дуже перекрученої німецької, псевдоциганської, а один раз пускається в хід і латинь. Євреї говорять українською мовою, іноді з домішкою полонізмів, незмінно при цьому шепеляючи. Комізм у цих інтермедіях, як і в ряді інших, досягається, між іншим, тим, що персонажі перекручують слова.

До числа українських інтермедій, як сказано вище, належить і «Играње свадьбы», включене в п'єсу «Алексій, человек божій», яка була поставлена в Києво-Могилянській академії в 1674 р. на честь царя Олексія Михайловича, в день його іменин — 17 березня. В інтермедії виступає батько Олексія Євфіміан і слуги, що діють і в основній п'єсі, а також селяни, запрошені від імені Євфіміана на весільний бенкет. Селяни повідомляють один одного, що їх запросили на весілля. Один з них дуже похвально говорить про Євфіміана, який, коли з'являються селяни, вітає їх, розпоряджається бенкетом, музикантами. Селяни приносять йому подарунки — курку, хліб, качку, яблука і п'ють вино, вітаючи свого господаря — Євфіміана і один одного. Вони танцюють під музику, папиваються, галасують, сваряться і б'ються один з одним, поки їх не спиняє один з селян, що впився менше за інших, і просить у глядачів вибачення за поведінку своїх односельчан.

Інтермедія відзначається реалістичним стилем, природністю і правдоподібністю розмов і поведження селян, жвавістю і невимушеністю діалогу, динамічністю. Не може бути сумніву, що «Играње свадьбы» написано тим самим автором, що і вся п'єса «Алексій, человек божій».

Інтермедія «Баба, дід і чорт», що йде в рукопису за діалогом, озаглавленим «Пролог на Воскресеніє Христово» і написаним 1719 р., — це моторошний передсмертний танок п'яних діда і баби, очевидно, беззубих, бо вони говорять шамкаючи. Призвідницею п'янства є баба, яка частує діда горілкою. Обоє вони шукають музиканта або співця, під музику чи спів якого могли б танцювати. З'являється чорт. Він пропонує свої послуги і попереджає, що тим, хто танцює під його музику, уготоване пекло. Однак це не лякає діда й бабу. Обоє завзято танцюють під музику чорта і його пісню, що знову відус танцюючим пекло.

Але пекла старі не бояться; обіцяючи чортові добре заплатити за його гру, вони говорять, що люблять тепло і запитують, чи будуть в пеклі горілка й пиво. Пиво там, за словами чорта, як смола, багато сірки і всього вдосталь. Чорт жене діда й бабу в пекло після того, як сам дід пропонує чортові провести їх туди.

У цій інтермедії нема чітко окреслених характерів. Інша річ — інтермедія до великодньої драми, яка дійшла до нас лише в невеликому уривку в тому самому рукопису, що й інтермедія про бабу, діда і чорта. Інтермедія яскраво передає суперечку п'яного чоловіка з його дружиною. Чоловік повертається додому без паски, за якою, очевидно, послала його жінка. Це роздратовує жінку, бо вона до того ще й ревнує його до якоїсь Каски (Катерини). Чоловік загрожує їй «києм лоскотати». Жінка дає чоловікові суворого відкоша і сама загрожує побити його кием. Чоловік виходить, а жінка скаржить на сусідам на те, що всі чоловіки отак звикли робити: якщо хто їх розгніває, вопи пощаються дружині; нап'ється в корчмі, а на бідну жінку нападає; не встигне сісти, повернувшись звідти, зразу ж накидається на жінку, щоб дала йому їсти. Хоч який короткий цей уривок, в ньому уловлюються типові риси персонажів і риси побутової обстановки. Згадаймо в цьому зв'язку, наприклад, численні народні пісні про «мужанняка», і ми побачимо, що і фольклор і інтермедії в багатьох випадках близькі за своєю образною системою, типами, образами. Першопричина цієї близькості — спільне джерело творчості — реальне життя.

Інтенсивний розвиток української інтермедії зв'язаний з розвитком шкільної драми. Учитель піітики Києво-Могилянської академії ієромонах Митрофан Довгалевський написав різдвяну драму «Комическое дѣйствие» і великодню драму «Властотворній образ челоувѣколюбія божія». До кожної з цих одноактних п'єс приурочено по п'ять інтермедій, що перегукуються з окремими явами обох п'єс.

Більша частина з десяти інтермедій до драм Довгалевського являє собою побутові сценки. Комізм інтермедій досягається самими образами персонажів і тими ситуаціями, в які вони потрапляють, а також часто їх ламаним різномовним каліченням української, білоруської, російської, польської, циганської, румунської мов, лайкою і перекрученням окремих слів, які незрозумілі тим, до кого вони звернені. Цікавість цих, як і взагалі всіх інтермедій, вплив їх на глядачів у значній мірі зумовлювались їх зовнішньою динамічністю, частою зміною епізодів.

В інтермедіях до драм Довгалевського виступають персонажі різних національностей і різних соціальних верств та майнового стану. Поряд з українцями (селяни, козаки, студенти-пиворізи) тут є литвини (білоруси), цигани, поляки (зубожілі шляхтичі, поміщики, ксьондзи), євреї (орендарі, шинкарі, торгаші), «москаль», румун, грек. В одній з інтермедій фігурує чорт. Незмінно в позитивному світлі виступають козак і «москаль», так само незмінно негативні — шляхтич-поляк, єврей-торгаш, шинкар і орендар, шахраюватий циган.

Ось перед нами у першій різдвяній інтермедії польський шляхтич-астролог. Своє шляхетство він успадкував від матері, що народила його в дівочтві. Від неї він, за його власними словами, одержав розум Катона і хоробрість Гектора. У нього мудра голова, він знає, що діється і на небі і в пеклі, але нема у нього щасливої долі; він бідний, погано одягнутий; єдине його майно — підзорна труба. Двоє селян-українців, білорус (литвин), циган, знущаючись над ним, перекручують його слова, ображають його, підозрюючи в корисливих намірах, а потім віднімають у нього підзорну трубу і проганяють. Не випадково висміюваний астролог виявляється поляком-шляхтичем; тут відбилосся вороже ставлення до польської шляхти з боку експлуатованого нею простолюду України.

У четвертій різдвяній інтермедії на ярмарку з'являється український селянин з орендарем. Спочатку селянин лає орендаря, потім доручає йому купити на ярмарку різний крам. Без усякого зв'язку з попередньою сценою приходять три ксьондзи, що належать до трьох католицьких орденів. Єврей-орендар пропонує їм горілку. Один з ксьондзів платить за неї дрібною монетою і говорить при цьому, що вони не такий народ, як «схизма проклята» (тобто православні). З'являється «москаль», що зневажливо поводить з ксьондзами, перекручує їхні польські слова, а потім запрягає їх у віз і наказує, щоб вони везли його до Броварів або до Полтави, де відпустить їх пастись на хорошій отаві. Ця інтермедія нижча в історико-літературному відношенні — тут мало історично-побутового матеріалу, важко зрозуміти причини такої чи іншої поведінки персонажів.

Друга інтермедія до різдвяної драми Довгалевського починається з оповідання про загадковий сон простодушного, забобонного селянина. Йому приснився янгол з рогами, що просить подивитись, яке чудо діється на небі. Селянин бачить там, як величезна зірка б'ється з Місяцем. Місяць не пускає її, а вона претяється на мужика, той лякається, хреститься, молиться богу, лізе до порога. Його хапає за руку

свиня і кидає додолу, з правої ноги його спадає постіл. Навколо грім, блискавка, вся хата трясеться. Селянин обіцяє віддати свою останню корову тому, хто відгадає цей сон. Він звертається по допомогу до сусідів-селян, але ті неспроможні це зробити. Вони кличуть бабу, яка тлумачить сон в хороший для селянина бік: сон віщує урожай, народження дітей, які будуть підпорою в старості. З'являється циганка, що підслухала оповідання селянина про його сон, і розповідає цей сон, ніби сама вгадала, а тим часом витягає з-за пазухи селянина хустку. Селяни хочуть побити її, повести на суд до війта і забити в колодки, але шахрайку визволяє її чоловік-циган.

У п'ятій різдвяній інтермедії виступає простодушний єврей-орендар, у якого вкрали кобилу. З допомогою грека йому вдається купити у молдаванина-волоха свою кобилу, але її у нього віднімає шахрай-циган, який з лайкою нападає на єврея, загрожує побити його і заявляє, що ця кобила належить йому, циганові, і в нього вкрадена. Грек говорить то ламаною українською мовою, то макаронічною грецькою, волох — ламаною румунською.

У першій інтермедії до великодньої драми Довгалевського перед нами двоє селян-звіроловів, які шукають, де б їм поставити в лісі тенета. Один з них засмучений тим, що ліс став тепер бідніший на звірину, ніж був раніше. Життя його нещасливе. Жінка лає, діти кричать. Якщо так буде і далі, він кине жінку й дітей і сам піде світ за очі. Очевидно, для пожвавлення дії між обома селянами починається сварка, яка ось-ось перейде в бійку. Їх мирить третій селянин. Тенета поставлені, і в них потрапляє литвин (білорус), що йшов мимо. Думаючи, що в тенета попав звір, селяни убивають литвина, але два його сини, що приходять в цей час, оживляють батька з допомогою жаби. Воскреслий литвин розповідає, що він бачив на тому світі. Серед іншого він побачив там святих, які молотять на току, і апостолів Петра і Павла, які носять снопи. На сцену виходить ксьондз. Він запитує, як живеться на небі їхньому папі. Литвин відповідає, що папа не на небі, а в пеклі, де він носить дрова, а біля нього скакають і граються чорти, підганяючи його дубцями.

Як бачимо, окремі епізоди інтермедії мають випадковий зв'язок. Весь розрахунок автора зводиться тут до того, щоб показати цікаве і комічне, на його думку, видовище, не турбуючись про яку-небудь внутрішню його єдність. Як і в інших інтермедіях, комічний прийом полягає, між іншим, у тому, що в репліці одного персонажа перекручуються слова другого. На запитання ксьондза: «Kiedy żes był na nie-

be, znow, co się tam dzieie?» литвин відповідає: «Брешеш ти! там всю святцѣ, то в пекле зладзіє!»

Інтермедія ця привертає увагу різким антипапським спрямуванням. Папу, якого католики вважали намісником самого бога на землі, автор інтермедії відправляє після смерті не в рай, а в пекло. Це був живий відгомін полемічно-релігійної боротьби, що точилася на землях України в XVI—XVIII ст.

Друга великодня інтермедія, в якій фігурують чорт, єврей і циган, стоїть на такому ж рівні, як і четверта різдвяна інтермедія. Чорт, що говорить церковнослов'янською мовою, несе на плечах єврея і наказує у всьому слухатись його. Єврей просить чорта дати писаний наказ, що йому робити, і обіцяє коритись. Чорт дозволяє йому їсти все, що захоче, крім хліба. Єврей дуже засмучений цією забороною, але чорт заспокоює його і потім виходить. Після цього єврей говорить, що він не стане служити чортові. Він буде орендувати — продавати горілку, мед і пиво або їздити по ярмарках і все буде їсти, крім свинини. З'являється циган. Він дивується, як це люди вміють шахраювати, а він, боронь боже, цього цурається. Що тільки заробить своїми руками, тим і ситий буває з жінкою й дітьми. Він цікавиться, чи не міняє єврей коней, але єврей говорить, що коней він не міняє, а лише торгує паноями. На запитання, чи не торгує єврей ковбасою або салом, той відповідає, що не хоче і слухати про скоромне. Циган його проганяє.

Значно цінніша третя інтермедія. У ній досить реалістично зображаються фігури селян — батька й сина, які їдуть на базар. Батько залишає сина разом з возом на шляху, а сам іде в місто за покупками. Син нагадує батькові, що треба купити в місті, і поважно попереджає його, щоб він не запиячив, як це було напередодні, коли він так ударив сина, що ще й досі у нього болить губа. Батько ласкаво, ніби конфузячись, обіцяє не пити: не такої тепер час, а він сам, коли буває п'яний, не знає, чи б'є він, чи тільки лає. Але хай його синочок не боїться, не нап'ється він, тільки б для хати дещо купити. А синові він дорукає берегти залишені на возі мішки з пирогами. З'являються яриги (російські солдати), які говорять по-російськи і лякають хлопчика тим, що хочуть зняти роги у вола. Хлопчик, повіривши маневру яриг, не помітив, як вони викрали мішки. Повернувшись до воза і виявивши крадіжку, батько лає сина і позбавляє його подарунка — шапки, яку хотів подарувати йому до свята. Знову з'являється ярига, що просить купити у нього шапку. Батько, забувши свій гнів на

сина, вирішує зробити покупку, але не сходиться з яригою в ціні. Між ними відбувається взаємна сварка, що кінчається бійкою.

Реалізм і психологічна зарисовка діючих у цій сцені персонажів роблять її однією з найбільш вдалих побутових інтермедій, зв'язаних з драмою Довгалевського.

Те саме треба сказати і про четверту великодню інтермедію, в якій виступають одчайдушні студенти-пиворізи, що шукають легкого заробітку, промишляючи малярством. Вони розмальовують обличчя селянина, за що той разом з війтом і титарем (церковним старостою) проганяють їх, і пиворізи скаржаться на свою незавидну долю.

Але серед усіх інтермедій до драм Довгалевського особливо виділяються силою свого соціального протесту третя різдвяна і п'ята великодня інтермедії.

У першій з них козак, лірично звертаючись до матері, скаржить на свою тяжку долю. Був він під гнітом і турків і татар. Тепер бог визволив його, а він не знайде собі місця: «Ліси, поля спустошені, луги, сіна покошені, порозпускав діти». Одна йому лишається дорога: піде він знову на Січ-мати, піде шукати там козацьку долю, послужить він своєю силою «москалеві», може, вдасться йому піймати лишицю або бобра. Піде він воювати з турками, мечем славу здобувати. От коли б знову забуяла козацька слава! Коли б ляхів піймати і козацьким кисм ударити їх по ребрах! Тут з'являється поляк-шляхтич, що вийшов полювати на перепілок. Поляк має одного яструба, але він хоче одержати від своїх «підданих» ще одного, сильнішого, щоб полювання було вдалим. Приходять три литвини, приносять йому сокола, уклібно вітають його, але бундючий і зарозумілий пан з гнівом накидається на них, велить своєму хлопцеві побити литвинів. Знахабнілий шляхтич підозріває, що його хлопці сподіваються на допомогу козака або «москаля». Він загрожує спустошити всю Україну, вигнати з неї козаків, знову обрати королем Лещинського, воювати до самої Полтави, щоб повернути колишню славу Польщі. Його підтримує другий поляк. Натхнений цією підтримкою, перший поляк закликає шляхтичів не боятися козаків, якщо вони будуть нападати на них: поляки заженуть козаків у ліс. Хвастощі і зловорожість шляхтичів виводять, нарешті, козака з терпіння. Він кличе на допомогу земляка («земку») москаля, який пропонує козакові разом з ним прогнати знахабнілих панів-поляків і показати їм кордони, про які говорив перший шляхтич, на їх силах. Козак схвалює цю пораду: нехай інші запам'ятають це і розкажуть своїм дітям.

Подібна до цієї і п'ята інтермедія з великодньої драми Довгалевського. Тут поляк-поміщик везе в клітці на продаж українського селянина (він хоче продати всіх своїх селян). Йому не шкода православної крові, бо селяни бунтують проти своїх господарів і разом з козаками виступають проти польського панування. Приходить єврей-орендар, який пропонує віддати йому селян в оренду, на що шляхтич дає змогу. Посадженого в клітку селянина єврей радить зв'язати по руках і ногах, щоб він не втік. Селянин просить змилюватися над ним. З'являється козак, який обурюється насильством шляхтичів над українськими селянами. Поляк, злякавшись погроз козака, просить пощадити його. Про те ж саме просить і єврей, але козак неблаганний: він падає на обох ярмо, кажучи, що обидва вони підуть пасти у нього овець.

У всій стародавній українській драматургії ці дві інтермедії є найсильнішим й найсміливішим виразом протесту українського народу проти національного і соціального гніту. Перша з них особливо виділяється і в художньому відношенні, зокрема в початковій своїй частині, де подається пісня козака, написана під значним впливом народної творчості.

Чи був Довгалевський автором інтермедій, включених до його драми? Тут немає повної ясності. М. І. Петров, вперше знайомлячи читачів з драматургією Довгалевського, не мав сумніву в тому, що ці інтермедії належать саме йому<sup>44</sup>. Слідом за Петровим Довгалевському приписував інтермедії і Морозов<sup>45</sup>. Але пізніше Петров визнав за можливе, що інтермедії до обох драм створені не самим Довгалевським, а його учнем Савою Лебединським, якого Довгалевський характеризував як учителя комедії. Можливо, як гадає Петров, що інтермедії належали і кільком учням<sup>46</sup>.

Журнал «Киевская старина», вперше в 1897 р. публікуючи інтермедії до драм Довгалевського і повідомляючи про сумніви М. І. Петрова щодо належності їх авторові драм, не визнав міркування Петрова цілком переконливими і залишив питання відкритим<sup>47</sup>. Непереконливими, очевидно, міркування Петрова здались і П. Г. Житецькому та

<sup>44</sup> Див. *Петров Н. И.* Мистерии и комедии учителя поэтики в Киевской академии перомонаха Митрофана Довгалевского. Труды Киевской духовной академии, 1865, лютий, с. 315—316.

<sup>45</sup> *Морозов П. О.*, запис. тв., с. 383—389.

<sup>46</sup> *Петров Н. И.* Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве, вып. II. М., 1896, с. 240; його ж. Очерки из истории украинской литературы XVII и XVIII веков, с. 297.

<sup>47</sup> Див. Інтерлюдии Митрофана Довгалевского XVIII в., «Киевская старина», 1897, серпень. Додаток, с. 90.



І. Франкові, які й далі автором інтермедій вважали Довгалевського<sup>48</sup>.

Міркування на користь Довгалевського як автора інтермедій висловив і М. Возняк<sup>49</sup>. М. І. Петров звернув увагу на те, що до одноактної різдвяної драми Довгалевського, поділеної тільки на чотири яви, написано п'ять інтермедій. Але така невідповідність кількості яв та інтермедій, на думку Возняка, ще нічого не говорить проти авторства Довгалевського, що назвав драму «Комическое дѣйствие», а в своїй поетиці викладав теорію комедії, яка не мала нічого спільного з його розумінням драми серйозного змісту. Не заперечуючи того, що студенти академії могли брати участь у написанні інтермедій, Возняк, проте, не бачить підстав для того, щоб відмовити Довгалевському в їх авторстві. На користь цього говорить те, що вони в повному складі перебувають у підручнику поетики, складеному Довгалевським, в той час як інші поетичні твори наведені там в уривках, а також і те, що між окремими сценами обох драм і інтермедіями спостерігається своєрідний паралелізм, і навіть більше — інтермедії іноді зв'язуються з драмами змістом. Тому Возняк схильний приєднатися до першого припущення Петрова, що автором інтермедій був Довгалевський.

В. І. Резанов не висловився чітко в питанні про належність інтермедій Довгалевському. Спершу він їх беззастережно приписав йому<sup>50</sup>, а незабаром після цього завагався, торкаючись різдвяних інтермедій, що їх, «мабуть, склав і не цілком він сам»<sup>51</sup>.

Я. Гординський, наводячи думку Петрова відносно авторства інтермедій до драм Довгалевського, зауважив при цьому: «Може бути, що ті інтермедії написав таки сам Довгалевський, коли зважити, що вони зладжені спеціально для його поважних драм»<sup>52</sup>.

Нарешті, О. І. Білецький, ведучи мову про інтермедії до драм Довгалевського і драми Г. Кониського «Воскресеніє мертвых», гадає, що авторами інтермедій могли бути і Довгалевський і Кониський, хоч не виключає можливості, що їх могли написати і їхні учні — студенти<sup>53</sup>.

<sup>48</sup> Див. *Житецкий П.* Мысли о народных малорусских думах. К., 1893, с. 48—51, 104—112; його ж. «Енеида» Котляревского., с. 98—100; *Франко І. Я.* Русько-український театр, с. 217; його ж. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р., с. 66.

<sup>49</sup> Див. *Возняк М.* Початки української комедії, с. 69—70.

<sup>50</sup> Див. *Резанов В. І.* Драма українська, вип. III, с. 62.

<sup>51</sup> Там же, вип. IV, с. 69.

<sup>52</sup> *Гординський Я.*, зазв. ть., с. 96.

<sup>53</sup> Див. Хрестоматія давньої української літератури, вид 2, с. 359.

На нашу думку, приписувати цілком авторство інтермедій до обох драм Довгалевського самому Довгалевському навряд чи є підстава. Найбільше, що можна припустити, — це його керівництво роботою над інтермедіями, що виконувалися в основному його учнями. Справді, важко уявити, щоб православний монах міг віддати перевагу щодо обсягу комічним, забавним сценкам перед основними своїми серйозними драматичними творами. Навряд чи можна погодитися з М. Возняком у тому, що назва різдвяної драми Довгалевського «Комическое дѣйствие» обумовлювалась не самою цією п'єсою, а включеними в неї інтермедіями<sup>54</sup>. Та й мова всіх десяти інтермедій різна, що і змушує прийняти припущення Петрова про участь кількох авторів у створенні інтермедій до драм Довгалевського. Таке припущення відповідає і різним літературним рівням цих інтермедій.

Як би там не було, інтермедії до драм Довгалевського вплинули на дальший розвиток української інтермедії, яка часом повторює окремі її ситуації і характеристики деяких персонажів, в значній мірі однорідних з персонажами включених до драм Довгалевського інтермедій. Поставлені в стінах Києво-Могилянської академії, вони, безперечно, запам'ятались її студентам і взагалі тим, хто їх дивився, стимулювали творчість інших авторів у подібному напрямі.

У 1742 р. в Новгородській семінарії в присутності імператриці Єлизавети Петрівни і на честь її прибуття в Новгород семінаристи виконали драму «Стефанотокос», написану префектом семінарії ієромонахом Інокентієм Одровож-Мигалевичем, який до 1740 р. був учителем у нижчих класах Києво-Могилянської академії. До драми в окремих її списках було додано від семи до восьми інтермедій, однак безпосередньо не зв'язаних з текстом драми. Чи були ці інтермедії поставлені разом з драмою, яка виставлялася в 1742 р. в присутності Єлизавети Петрівни, ми не знаємо. З них чотири (остання, очевидно, з загубленим кінцем) слід віднести до українських інтермедій. Порівняно з інтермедіями до драм Довгалевського вони не дають чого-небудь особливо нового чи оригінального в літературному відношенні, варіюючи іноді мотиви цих останніх, хоч і не повторюючи епізодів і ситуацій, що зустрічаються в них. За своїм

---

<sup>54</sup> Зауважимо, що в одному з списків драма Г. Кониського «Воскресеніє мертвых», далека від яких-небудь комічних елементів, названа «комедія, яка трактуєть о обыдах». Див. *Резанов В. І.* Драма українська, вип. VI, с. 181.

змістом це легкі, прості сценки, позбавлені якої-небудь значної ідеї, яку ми знаходимо, наприклад, у третій різдвяній і п'ятій великодній інтермедіях до драми Довгалевського. У всіх них фігурує циган, що промишляє шахрайством і крадіжкою, як і вся його сім'я, та проте він завжди голодний, завжди шукає, де б поживитися йому ковбасою й салом, бо він їх бачить тільки вві сні; литвин, що вміє ворожити; німець-лікар, який приймає голодного цигана (який жде, що в його губи покладуть їжу) за хворого на зуби і вириває у нього здорового зуба; слуга лікаря, що допомагає йому в операції з вириванням зуба і потім вступає з лікарем у бійку; грек — торговець дрібним крамом, що стає жертвою шахрайства баришника і цигана, які відбирають у нього купленого ним через баришника коня; безтолковий розкольник, який приймає сврея за старовіра і веде з ним гарячу суперечку про те, яка є стара віра.

Інтермедії до «Стефанотокоса» характеризуються такою ж різноманітністю, як і інтермедії до драм Довгалевського: циган і свреї розмовляють ламаною українською мовою, грек спотворює українсько-російську мову, лікар перекручує латинь, слуга лікаря, баришник, розкольник розмовляють по-російськи.

Авторами інтермедій до «Стефанотокоса» були, треба гадати, учителі Новгородської семінарії і учні їх, що переїхали до Новгорода з Києва. Можливо, що за кілька років перед цим вони були глядачами поставлених у Києві інтермедій до драм Довгалевського. Може, який-небудь стосунок до інтермедії з «Стефанотокоса» мав і сам Одровоник-Мигалевич. Але досить сумнівно, щоб він брав участь у їх написанні (як сумнівна її участь Довгалевського у написанні інтермедій до його драм) насамперед тому, що, ставлячи урочистий спектакль на честь імператриці Єлизавети Петрівни, Одровоник-Мигалевич навряд чи міг розбавляти його сценками, які іноді містять вирази, непристойні для високоіменитого жіночого слуху.

Ремінісценції з історії сврейського пароду маємо в коротенькій інтермедії до тріумфального акту «Синопис, или краткое видѣніе декламации», в якій виступає сврей і скаржиться на те, що всі переслідують їх, що «Авраамлі сини» приречені на поневірання. Він хоче організувати велике військо, дійти до Царгорода, зібрати звідусюди свреїв, сісти царшувати в Єрусалимі і перестати платити данину туркам. Він вихваляється своєю силою і розумом. В ремарці до цього виступу сврея сказано, що виходить єврейське військо і танцює, але потім вибігає ярига з дубиною і розганяє всіх.

В 1747 р. у стінах Києво-Могилянської академії була поставлена драма викладача спочатку піітики, потім філософії в цій академії ієромонаха Георгія Кониського «Воскресеніє мертвых». Драма ця супроводилася п'ятьма інтермедіями, зміст яких, як і інтермедій до драм Довгалевського, перекликався з окремими діями драми.

У першій інтермедії мужик милується своїм полем, чекає від нього доброго врожаю. Він покладається в цих сподіваннях не на мудреців, що ворожать по зорях, а на свій практичний господарський досвід. Тут від сина (в іншому списку від синів) він дізнається, що в його житті сиділа баба і робила чаклунські «закрутки», які мали зашкодити урожаю. Баба виправдується, кажучи, що вона не чаклувала, а збирала в полі зілля. Та бабі не вірять і з нею круто розправляються — в одному списку ярига і «москаль», в другому — один тільки ярига («москаль» тут взагалі відсутній). І ярига і «москаль» говорять по-російськи.

В другій інтермедії єврей скаржиться на утиски з боку жорстокого польського пана Підстолія, від якого, будиши його орендарем, він витерпів стільки гіркого лиха, скільки не витерпів би від татарського хана: пан відняв у нього всю худобу, геть чисто його пограбував, хотів закувати в кайдани, і він утік від нього ледве чи не голий, залишивши жінку і дітей. Він шукає тепер іншого пана, у якого міг би взяти оренду. Назустріч йому виходить пан Бандолій, що просить єврея стати у нього орендарем, обіцяючи йому вигоду від оренди набагато більшу, ніж він мав у Підстолія. Єврей згоджується, аби тільки йому не попасти в руки колишнього пана. Тут з'являється Підстолій, б'є єврея, починає сваритися за нього з Бандолієм і велить своєму слугі — селянинові розрубати єврея навпіл, щоб він не дістався ні йому, ні Бандолієві. Слуга відмовляється це робити, бо не хоче «поганити» християнську сокиру об єврея, і здійсмає крик, сподіваючись, що краще за все йому міг би допомогти «москаль»:

Ой коли б тут муй земко, и мы бы щось знали,  
То таких чортув не раз в чизмаки (чоботи) вбєрали!

Зачувши пісню «москаля», що надходив сюди, селянин говорить: «Слава ж богу, щось гуде, немов би то наши!»

З'являється «москаль», що виручає селянина. Селянин збирається запрягти панів у віз, але незагнуздані пани звільняються від запрягу. «Москаль» усіх проганяє.

Третя інтермедія зображує голодного цигана, який не знає, де б йому знайти поїсти. З'являється циганка — його дружина, теж голодна. Вона радить чоловікові лягти

спати, обіцяючи, що сон його нагодує. Уві сні циган бачить ковбасу і сало, але, прокинувшись, їсть лише зварений циганкою борщ, що схожий на ракову юшку. Циганка радить чоловікові змастити кістки і, облутавши його ноги сіткою, б'є його за те, що він ледар, не хоче працювати. Виплутавшись з сітки, циган — за одним списком — проганяє циганку, за другим — б'є її.

Четверта інтермедія починається з того, що литвин білоруською мовою хвалить попа своєї церкви і особливо дяка за те, що той добрий і тихий, поважає всіх людей, дбає день і ніч про церкву, нічого не п'є, крім води, співає, як соловей, добре вчить дітей у школі. Але тут вбігає схвилювана шинкарка і говорить литвинові, що в шинку лях убив дяка і втік невідомо куди. Селяни приносять мертвого дяка, сумуючи, що їм уже не знайти більше такого. Один з них іде за шинкаркою, яка перед цим вибігла, щоб вона пояснила, як сталося вбивство. З'ясувалось, що перелякана шинкарка втекла в іншу кімнату, коли лях накинувся на дяка з шаблею. А тепер їй ніколи розмовляти: треба горілку видавати, їй «ніколи і носа втерти». Литвин розставляє тенета, куди диявол жене ляха. Попавши в тенета, переляканий лях каже, що краще йому сто літ терпіти муки в чистилищі, ніж потрапити в руки селян. Лях признається, що вбивство дяка — його гріх. Але коли литвин на запитання селян, що робити з ляхом, відповідає: «Нехай голова за голову ляже», лях говорить, що не годиться убивати шляхтича за дяка, і радить відкупитися за вбитого грошовою пенею. Селяни обурені тим, що він дешево цінить дорогого їм дяка, якого не варті і двадцять таких, як цей шляхтич, і топлять його в болоті.

Така відданість селян дякові за те, що той визначився своїми моральними якостями і голосом, відображає реальну дійсність: дяк відігравав велику роль у церковній парафії. Церква могла мати двох, іноді трьох священників, але дяк був завжди один, і знайти дяка, який би мав хорший голос і добре знав церковну службу, було не легко. Його обирала громада, яка дуже дорожила ним<sup>55</sup>.

П'ята інтермедія за змістом є продовженням попередньої. Брат утопленого в болоті ляха всюди шукає його, але ніяк не може знайти. Назустріч іде ксьондз, якому цей шляхтич говорить, що загубив брата на полюванні. Ксьондз здогадується, що утоплений лежить десь у болоті, зламавши собі шию через надмірне захоплення полюванням. Така

<sup>55</sup> Див. *Жигецький П.* Мисли о народных малорусских думах, с. 39—40.

доля чекає всіх тих, хто без поваги ставиться до костюлу, хто пиячить і веде розгульне життя. Хай і він схаменеться і покається, щоб не стати жертвою диявола. Шляхтич просить ксьондза гаряче молитися за душу брата, щоб він благополучно попав у чистилище. Ксьондз розповідає, що напередодні на дорозі вночі він почув голос людини, що кричала в болоті і каялася у своїх гріхах — пияцтві, гуляннях і бивстві дяка, за що селяни кинули його в болото. Ксьондз догадується, що це й був брат шляхтича. Шляхтич умовляє ксьондза своїми молитвами визволити брата з болота і послати в чистилище. Обидва навколішках моляться богу. Шляхтич виходить з болота, дякує ксьондзові за молитви і просить провести його в чистилище. З'являється селянин, який загрожує утопленому шляхтичеві, що він з ксьондзом знову буде на тому ж місці, тобто в болоті, але ксьондз заспокоює шляхтича, впевнений, що його «священна особа» злякає мужиків, і радить йому держатися за нього, «як воша кожуха». Але мужики говорять, що вони давно вже підстерігають утопленого ляха; вони всім селом чують, як бродить злий дух і робить шкоду не тільки людям, а й худобі. На заперечення ксьондза і брата утопленого, що мертвий — без душі і ніколи не ходить, мужики не звертають уваги і, побивши всіх трьох, проганяють їх.

Як бачимо, в інтермедіях до драми Кониського фігурують ті самі в основному персонажі, що і в інтермедіях до драм Довгалевського: селянин-українець, литвин, циган, єврей, ярига, «москаль», польський шляхтич, ксьондз. Поряд з українською мовою фігурує польська (її дуже багато у другій інтермедії, а в п'ятій вона майже суцільна); литвин говорить по-білоруському, «москаль» і ярига по-російськи. Інтермедії на побутові теми стоять приблизно на рівні відповідних інтермедій до драм Довгалевського, а ті, в яких розвивається тема соціальна (друга, четверта і п'ята інтермедії), дещо поступаються своїм соціальним звучанням перед інтермедіями до драм Довгалевського.

Якщо зважити, що п'єса Кониського «Воскресеніє мертвих» написана в суворо викривальному тоні і під покровом вигаданих грецьких персонажів мітить у сучасну письменникові українську дійсність, в якій стало звичайним неправосуддя, утиск сильними і властью імущими слабих і безправних, якщо врахувати при цьому, що і в своїх проповідях Кониський палко виступав проти всіляких зловживань з боку тих, кому сприяв закон, гостро картаючи поміщиків, які немилосердно експлуатували своїх кріпаків, — то й тут може виникнути сумнів, чи був Кониський автором інтермедій, зв'язаних з його драмою. Слід ще звернути увагу на

те, що мова єдиного персонажа в драмі Гониського — земляноба, що говорить по-українськи, не схожа на українську мову, якою говорять інші персонажі в інтермедіях до цієї драми: в ній зовсім відсутні діалектизми, які дуже часті в інтермедіях.

Деякі дослідники вважали, що автором цих інтермедій був Таанський, «славний вірнопісець», що писав дотепні вірші на зразок поезії римського сатирика Плавта. Але це питання залишилося відкритим, бо достовірних даних про авторство Таанського нема.

На сюжет суперечки про те, чия віра краща, відомий нам вже з Дєрнівського збірника, написана сценка, озглавлена «Интермедіум жид из русином», точне хронологічне визначення якої дуже важке, як важко і приурочити її до якої-небудь серйозної п'єси. Під час суперечки русина з євреєм про віру той, хто називає своє свято, вириває у противника волосину з бороди. Кількість свят у русина, як і в інтермедії Дєрнівського збірника, виявляється більшою, ніж у єврея, а коли русин називає свято всіх святих, то вириває у єврея всю бороду.

На поширений сюжет написана українська «Интермедія на три персони: смерть, воин и хлопец». Тема її — суперечка людини зі смертю — була дуже популярною в середньовічній європейській літературі, зокрема в німецьких масляничних виставах-фастнахтшпілях. Вона розроблена в перекладній німецькій пам'ятці «Прєние живота и смерти», відомій в російських списках починаючи з XVI ст. і в українських — з XVII ст. Цей твір відбився в пам'ятках російської і української книжної літератури і в російському та українському фольклорі<sup>56</sup>. «Интермедія на три персони» зображує спір і посидинок відважного та самовпевненого воїна з невблаганною смертю, що закінчується поразкою і загибеллю воїна. Можливо, ця інтермедія з'явилася під впливом «Прєния», хоч тема зустрічі воїна з смертю розроблялася і в багатьох інших старовинних пам'ятках різних літератур, але, як гадав не без підстави І. М. Жданов, «Интермедія на три персони» деякими своїми подробицями вплинула на пізніші українські тексти «Прєния»<sup>57</sup>.

Три уривки інтермедій за рукописом Київського історичного музею дійшли до нас неповністю, причому, очевидно, з помилками, і їх не скрізь можна зрозуміти. Уривок

<sup>56</sup> Див. Гудзий Н. К. «Прєние живота и смерти» и новый украинский его список. Русский филологический вестник, 1910, № 3—4, с. 317—336.

<sup>57</sup> Див. Жданов И. И. К литературной истории русской былевой поэзии. Соч. СПб., 1904, т. I, с. 522.

перший зберігся в настільки незначній частині (всього кілька рядків), що не піддається поясненню. В другому уривку (озаглавленому «Мужик з дочкою на торг иде»), що не має кінця, в центрі — сватання дочки селянина, яку батько перед тим лає за її легковажність. Старостам, що прийшли сватати дочку, батько спершу відмовляє. Дочка протестує проти батькового рішення, скаржачись на те, що інші дівчата з її села повиходили вже заміж, а вона дівує. Батько, очевидно, зворушений благанням дочки, згоджується по-сватати дочку і питає у старостів, чи не може з'явитися сюди жених. Один із старостів так рекомендує жениха:

Парубочок гожий, буде хлѣба згубу (?)  
Подушок не треба — спати ходит в грубу.

У відповідь на це батько говорить:

Да и наша-таки, пане свату, дѣвочка пригожа,  
Постѣлка в ей гречна — мѣшок да рогожа.

У такому ж роді ще в двох рядках дається характеристика старостою жениха, після чого інтермедія уривається.

Наступна інтермедія з того ж рукопису позначена словами: «Литѣвин пришов, аж мужик плуг лагодить». Уривок, що зберігся, майже цілком зайнятий промовами литвина, що говорить по-білоруськи. Обидва співбесідники винуватять Адама, який з'їв у раю заборонене яблуко і тим прирік людей на важку працю. Литвин скаржиться, що бджоли, які до гріхопадіння Адама були завбільшки з вівцю, тепер стали як мухи, високо літають, а коли їх ловлять, боляче кусають, мало меду приносять, так що користі з них небагато.

У пізнішій копії кінця XIX ст. з списка середини XVIII ст. збереглася інтермедія, озаглавлена «Воскресенські стихи». В. М. Перетц, який досліджував і опублікував цю копію, тепер загублену, зробив висновок, що «стан тексту, який дійшов до нас, — далеко не блискучий», що деякі місця були неправильно прочитані<sup>58</sup>.

Інтермедія починається з розмови двох селян, яким прикро, що піст такий довгий і тяжкий. Обидва вони з іронією хвалять своїх жінок за те, як ті готують страви. Похвала ця супроводиться натуралістичними подробицями. Тут же співбесідники осуджують свого парафіяльного священика, який примушує парафіян строго додержувати постів, і протиставляють йому покійного попередника, який ні в чому не обмежував свою паству і навіть сповідав парафіян гуртом. Несподівано вбігає син одного з співбесідників, який пас

<sup>58</sup> *Перетц В. Н.* К истории польского и русского народного театра, ИОРЯС, 1910, т. XVI, кн. 4, с. 176.



овець, і розповідає, про те, що він бачив різних потвор, а за ними їде волами у пишному наряді, супроводжуваний янголом, красивий вершник, обвішаний яйцями. В руках у нього червона короґва, і ковбасою він поганяє волів. Слідом за ним їде стара бабуся, яка поясноє хлопчикові, що це сам «великдень» їде в гості. Селяни вирішують розговлятися, але виявляється, що жінка одного з них, яка повинна була приготувати великодню страву, всю її зіпсувала. Чоловік ласє її, вона відлаюється, але їх мирить другий селянин, який радить їм на той рік краще господарювати.

П'єска не позбавлена живих побутових деталей, в ній пемало гумору, і своїми реалістичними образами вона яскраво відтворює деякі сторони селянського життя XVIII ст.

Збережена в пізнішій копії XIX ст. інтермедія «Rozmowa między polakiem i kowalem» зображує зустріч хвалькуватого і самовпевненого гуляки-поляка з поважним і серйозним ковалем, до якого поляк звертається з проханням обкувати колеса в його возі. Коваль відмовляється це зробити, бо полякові нема чим платити за роботу. Поляк протестує проти цього твердження, але «грумада», що перебуває тут же, підтверджує слова коваля. Поляк упрощує його виконати просьбу, обіцяючи завжди поїти вином, але коваль і тут відмовляється, третируючи поляка, за що той докоряє ковалеві, називаючи його мову «не кавалерською». І надалі коваль продовжує викривати і ображати брехуна-поляка, який принижено просить свого викривача, щоб він не соромив його. Репліки поляка буквально повторюються кілька разів, як і звернення до «грумади» за підтвердженням образливих характеристик поляка, що їх дає коваль. Кілька разів повторюються в інтермедії і пісеньки. Співає деякі свої репліки і поляк. Зрештою, під загрозами коваля вискубити йому чуба, поляк зникає.

Інтермедія ця відзначається великою жвавистію діалогу, гостротою сатири, дотепним гумором. Постаць хвалькуватого поляка добре вимальовується і його власними словами, і тими викривальними характеристиками його, які йдуть від коваля. Пісеньки, включені в п'єску, надають їй невимушеної веселості.

Авторами українських інтермедій, як сказано вище, були здебільшого студенти українських шкіл, переважно Києво-Могилянської академії. Походили ці студенти в основній масі із бідного духовенства і селянства. В академії вони не мали жодних засобів до існування і змушені були займатися систематичним, «узаконеним» жебракуванням.

Під час канікул вони ходили по селах і містах, по ярмарках, завдяки чому дуже добре знали життя народу, його побут, народні звичаї, прагнення і сподівання. В своїх інтермедіях вони відображали це життя в найрізноманітніших проявах, інтерпретуючи його в комедійному плані, як цього й вимагала теорія драми. Численні інтермедії насичені яскравими українськими фразеологізмами, приказками і прислів'ями, а ряд віршів написано так дотепно і афористично, що вони самі схожі на приказки; автори використовували українські пісні та пісні інших народів. Поряд з цим джерелами окремих інтермедій чи інтермедійних мотивів були твори книжної анекдотичної і сатиричної літератури.

Популяризаторами і поширювачами інтермедій серед широких верств населення були головним чином ті ж такі нужденні студенти, школярі, які здобували собі «днівное пропитаніє» під час канікул, між іншим, влаштуванням інтермедійних вистав. Вистави ці не обважнювались сусідством серйозних п'єс, якими не могла цікавитись широка демократична аудиторія, зокрема сільська, і ставились самі по собі.

Шкільна братія, що кочувала з однієї місцевості до іншої, виступаючи як виконавці і режисери інтермедій, часто не відзначалася тверезим поведженням, мала пристрась до горілки, тому й дістала назву «пиворізів». За ознакою мандрування по селах і містах їх називали «мандрованими дяками», а також «миркачами» — від слова «мир», яким починається пісня, що її вони співають («Мир Христов да водворяется в домах ваших»). Достатнє уявлення про звичаї і характери «пиворізів» дає четверта інтермедія до великодньої драми Довгалевського<sup>59</sup>.

Як видно з сказаного вище, літературна вартість українських інтермедій, як загалом інтермедій інших народів, в тому числі польських і російських, була не однакою. Деяка частина їх стояла на посередньому художньому і ідейному рівні.

Але існувало, як ми бачили, багато таких інтермедій, у яких автори зуміли передати реальні побутові риси життя, головним чином українського селянства; деякі з них пройняті гострою сатирою і здоровим гумором. У двох інтермедіях до драм Довгалевського, як сказано вище, найбільш голосно звучить тема соціального і національного гноблення українського народу з боку польської шляхти і боротьби народних мас проти цього гніту. Реалістичні і соціальні мотиви кращих українських інтермедій відобразилися в укра-

---

<sup>59</sup> Яскраву характеристику «пиворізів» див. у книзі П. Житецького «Мысли о народных малорусских думах», с. 39—56.

їнському вертепі і в творах українських письменників XIX ст.

Під великим впливом старої поезики інтермедій написаний водевіль І. Котляревського «Москаль-чарівник». Інтермедійні образи дяків-пиво́різів та різного «волочащогося» люду перейшли у драматургію Василя Гоголя. Ці образи використали Т. Шевченко у п'єсі «Назар Стодоля» і М. В. Гоголь у своїх численних творах на українську тематику. Колоритних дяків-пиво́різів вивів Карпенко-Карий у драмі «Чумаки». Персонажі з пароду, що зображалися в інтермедіях XVII — XVIII ст., пізніше значно яскравіше, хоч і в дусі давньої комедії, зображені в історичних драмах Старицького, Кропивницького та інших авторів.

## «ЭНЕИДА» И. П. КОТЛЯРЕВСКОГО И РУССКАЯ ТРАВЕСТИРОВАННАЯ ПОЭМА XVIII в.

Выход в свет первых трех частей «Энеиды» Котляревского в 1798 г. явился крупнейшим событием в истории украинской литературы. Это было первое произведение украинского художественного слова, появившееся в печати отдельным изданием. В один год с «Энеидой» вышло первое печатное произведение Сковороды «Наркис, или познай себя», но, во-первых, это было не литературное, а философско-богословское произведение, во-вторых, язык Сковороды был книжный, гораздо более приближавшийся к русскому, чем к украинскому.

Первое издание «Энеиды», осуществленное украинским меценатом Максимом Парпурой при содействии О. К. Камеицкого<sup>1</sup>, так же, как и второе — 1808 г., напечатанное в типографии И. Глазунова, видимо, на его средства, вышло с титульным листом, написанным по-русски («Энеида, на малороссийский язык перелицованная И. Котляревским»), с подробным словарем, в котором украинские слова были объяснены также по-русски, и с русским посвящением «любителям малороссийского слова». Третье издание поэмы, осуществленное самим Котляревским, значительно исправленное, с присоединением четвертой ее части, как и оба предыдущие издания, снабжено титульным листом также на русском языке («Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И. Котляревским, вновь исправленная и дополненная противу прежних изданий») и авторским посвящением, написанным по-русски, С. М. К...ю (то есть князю Семену Михайловичу Кочубею). В издании Котляревского воспроизведен и словарь, объясняющий русское значение украинских слов и впервые приложенный к изданию Парпуры. По-русски же написано и «Уведомление» от автора, излагающего историю печатания поэмы. Все три издания вышли в Петербурге.

<sup>1</sup> См. *Лященко А. И.* И. П. Котляревский. Письма к Н. И. Гнедичу. «Литературные портфели», 1, Пб., 1923, с. 40—41.

Все это свидетельствует о том, что «Энеида» Котляревского предназначалась не только для украинского, но и для русского читателя, знакомство которого с поэмой должно было облегчаться приложенным к ней словарем. Насколько сам Котляревский был озабочен тем, чтобы его «Энеида» была вполне доступна русскому читателю, явствует из того, что старейший список «Энеиды» 1794 г., так называемый Болховитиновский, содержит в себе множество подстрочных примечаний на русском языке к украинскому тексту, в которых разъяснялись отдельные слова и выражения поэмы, вполне понятные для украинца и чуждые русскому читателю<sup>2</sup>.

Во второй половине XVII в., в течение всего XVIII в. и особенно во вторую его половину, а также в первые десятилетия XIX в. украинский язык, украинская песня, религиозная поэзия (канты и псалмы) привлекали широкое внимание русского читателя и были хорошо ему известны по многочисленным рукописным и печатным русским песенникам, заключавшим в себе немало украинского материала, а также по русским журналам. Украинская песня пользовалась популярностью в различных слоях русского общества, вплоть до придворных. Проникла на русскую почву и украинская вертепная драма<sup>3</sup>.

Все это заставляет нас придти к заключению, что «Энеида» Котляревского не могла быть чужда литературным интересам и русского читателя, в чем мы убедимся из последующего изложения.

Сомнительно, чтобы Котляревский с самого начала предназначал свою «Энеиду» к печати. По всему нужно думать, что он писал ее как любитель, стремившийся развлечь и самого себя и близкий круг своих друзей и почитателей его таланта. Да и трудно себе представить, каким образом скромный украинский провинциал, живший вдали от литературных центров, какими в ту пору были только Петербург и Москва, не имевший никаких литературных и иных связей, мог мечтать пробраться на широкую литературную дорогу и напечатать свое произведение, да еще на украинском языке. Другое дело — писатели великорусские — Майков, Чулков, Осипов, Котельницкий, Люценко,

---

<sup>2</sup> См. *Дашкевич Н. П.* Старейший список малорусской Энеиды. «Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца», кн. XV, вып. 1. 1904, с. 41.

<sup>3</sup> Подробнее см. *Перетц В. Н.* Историко-литературные исследования и материалы, т. I. Спб., 1900, с. 124—334, и *Трубицын Н.* О народной поэзии в общественном и литературном обиходе первой трети XIX века. Спб., 1912, с. 53—56, 103—109.

писавшие в том же жанре, что и Котляревский, пусть значительно уступавшие ему в таланте, но творившие в условиях широко уже развитой художественной печатной традиции и пользовавшиеся солидной поддержкой всякого рода литературных покровителей и вообще влиятельных людей.

Однако судьба сама пошла навстречу Котляревскому и послала в руки «любителей малороссийского слова» — Парпуры и Каменецкого — один из ходивших, видимо, по рукам список «Энеиды», который и был опубликован Парпурой, вероятно, как и Каменецким, даже не знавшим лично Котляревского. Это явствует, между прочим, из «Уведомления», предпосланного изданию поэмы 1809 г., в котором Котляревский заявлял, что оба предыдущие издания были напечатаны без его ведома и согласия. Парпура, связанный службой с Петербургом и прочно там обосновавшийся, сам занимался литературной деятельностью, печатался (разумеется, на русском языке) и имел нужные связи, облегчившие ему опубликование поэмы Котляревского. Сделал он это, очевидно, совершенно бескорыстно, вопреки убеждению самого Котляревского, заподозрившего Парпуру в том, что он, нарушив восьмую заповедь, «кривив душею для прибутку», и поместившего его — в третьей части своего издания «Энеиды» — в аду, под именем «мацапуры».

Импульсом для Котляревского в его работе над «Энеидой» послужило появление в 1791—1794 гг. первых трех частей поэмы Н. П. Осипова «Вергилиева Енеида, вывороченная паизнанку», в подражание которым Котляревский в 1794—1795 гг. написал три части своей «Энеиды». Когда появилась в свет, в 1796 г., четвертая часть «Энеиды» Осипова, Котляревский продолжил свою работу и написал четвертую часть поэмы, опубликовав ее, как сказано, вместе с первыми тремя частями, в 1809 г. Таким образом, прошло около четырнадцати лет после окончания половины всей работы Котляревского над «Энеидой», прежде чем он решил сам напечатать свое произведение, и одиннадцать лет после первой ее публикации и издания Парпуры. Такая медлительность говорит уже сама за себя и свидетельствует о том, что Котляревский пришел к мысли о напечатании «Энеиды» лишь после того, как второе ее издание — 1808 г., отдаленное от первого на десять лет, убедило его в несомненном успехе его поэмы среди читателей, успехе, на который он едва ли рассчитывал. Можно думать, что Котляревский вначале не помышлял о напечатании «Энеиды» прежде всего потому, что, подражая Осипову, опасался упреков в явном заимствовании чужого образца, но после того как его поэма, выдержав два издания, не только не вызвала таких упреков, но и

получила признание у читателей, он уже без всяких опасений сам решил быть ее издателем.

Вопрос о несомненной зависимости первых четырех частей «Энеиды» Котляревского от четырех частей незаконченной «Энеиды» Осипова, написанной, в свою очередь, в подражание трагестированной «Энеиде» Блюмауера, теперь может считаться окончательно решенным. Если в 50-х годах XIX в. проф. А. А. Котляревский колебался в вопросе о том, кто на кого повлиял — Осипов на Котляревского или Котляревский на Осипова<sup>4</sup>, и если позднее Н. П. Дашкевич высказал предположение о независимости Котляревского от Осипова<sup>5</sup>, то тот же Дашкевич, после того как он познакомился со старейшим списком «Энеиды» Котляревского, озаглавленным: «Перецыганенная Энеида с русского языка на малороссийский 1794 года, октября 11 дня», писал: «Приходится отказаться от мнения, на котором я настаивал раньше, — о более или менее самобытном происхождении Энеиды И. П. Котляревского. Сам автор смотрел на нее как на составленную преимущественно по русскому оригиналу: он ведь называл ее «перецыганенною с русского языка на малороссийский»<sup>6</sup>. Поэтому совершенно беспочвенна попытка некоторых позднейших украинских критиков, особенно М. Марковского<sup>7</sup>, доказать приоритет Котляревского перед Осиповым в перелицовке вергилиевой «Энеиды». Полная несостоятельность искусственных и педантических «доводов» Марковского была признана почти всеми критиками его книги. Если бы даже допустить, что заглавие старейшего списка «Энеиды» не принадлежит самому Котляревскому, как делает это, для спасения положения, Марковский, нельзя предположить, чтобы оно поставлено было кем-либо посторонним без достаточных оснований. Если бы это сделало действительно постороннее лицо, то и тогда это значило бы, что уже сейчас же после написания Котляревским первых трех частей «Энеиды» русский источник ее не вызывал сомнений. Не говорим уже о том, что как неоднократно указывалось, хронологические соображения, относящиеся к выходу в свет «Энеиды» Осипова и ко времени работы Котля-

<sup>4</sup> См. «Московские ведомости», 1856, №№ 51 и 56.

<sup>5</sup> См. Дашкевич Н. П. Отзыв о сочинении г. Петрова «Очерки истории украинской литературы XIX столетия». Отчет о двадцать девятом присуждении награды графа Уварова. Спб., 1888, с. 65—68; его же. «Малорусская и другие бурлескные (шутливые) «Энеиды». «Киевская старина», 1898, № 9, с. 148 и сл.

<sup>6</sup> Дашкевич Н. П. Старейший список малорусской Энеиды, ук. изд., с. 40.

<sup>7</sup> См. Марковский М. Найдавніший список «Енеїди» І. П. Котляревського і деякі думки про генезу цього твору. К., 1927,

ревского над его «Энеидой», не позволяют нам допускать авторское первенство Котляревского.

В последнее время точку зрения Марковского на независимость Котляревского от Осипова поддержал Л. Коваленко<sup>8</sup>, который, насилуя самоочевидные факты, связывает поэму Котляревского с трагедиями Скаррона и польского поэта Кохановского, очевидно, лишь затем, чтобы не связывать ее с произведением русского писателя.

Совпадения буквальные или почти буквальные в обеих «Энеидах» многочисленны. Они в большинстве достаточно подробно указаны исследователями, и нам нет нужды сколько-нибудь обстоятельно останавливаться на них. Ограничимся поэтому лишь несколькими примерами. Прежде всего обращает на себя внимание то, что Котляревский заимствовал у Осипова самый размер поэмы — четырехстопный ямб, а также форму строфы в десять стихов с расположением рифм по схеме абабсдеед, причем порядок женских и мужских рифм у Котляревского также совпадают с порядком их у Осипова.

Уже самое начало «Энеиды» Котляревского представляет собой перефразировку начала поэмы Осипова:

Еней був парубок моторний  
І хлопець хоть куди козак...  
Но греки, як спаливши Трою,  
Зробили з неї скирту гною  
Він, взявши торбу, тягу дав...  
*(Котляревский)*

Еней был удалой детина  
И самый хватский молодец...  
Но после свального как бою  
Сожгли обманом греки Трою,  
Он, взяв котомку, ну бежать...  
*(Осипов)*

Очень характерно, что вслед за Осиповым, начавшим четвертую часть своей «Энеиды» словесной тарабарщиной, занимающей две строфы и имитирующей речь Сивиллы, Котляревский начал первые две строфы своей четвертой части «Энеиды» такой же тарабарщиной:

Борців як три не поденькуєш,  
На моторошні засердчить,  
І зараз тяглом закишкусш,  
І в буркоті закендюшить...  
и т. д.  
*(Котляревский)*

<sup>8</sup> См. статью Л. Коваленко. Поет, новатор патріот. «Вітчизна», 1946, № 6, с. 52.



Как едки трои не постучишь,  
Так на тошне заживотит;  
На всем нытье ты зажелудчишь  
И на ворчале забрюшнит...  
и т. д.

(Осипов)

Энергично работал Котляревский только над тремя первыми частями, соответствующими первым шести песням «Энеиды» Вергилия и Осипова. Эти три части были написаны в течение трех лет. Значительно медленнее работал он над четвертой частью. Когда же у него иссяк основной источник, то есть первые семь песен «Энеиды» Осипова, соединенных также в четыре части, работа, очевидно, надолго прервалась, а затем подвигалась вперед чрезвычайно медленно. Не законченную Осиповым «Энеиду» закончил А. Котельницкий и издал пятую и шестую ее части (8—12 песни) в 1802 и 1808 гг., следуя в основном за Вергилием, лишь в очень небольшой степени за Скарроном и еще в меньшей — за Блюмауером. Если для первых четырех частей «Энеиды» Котляревского основным источником была «Энеида» Осипова и лишь отчасти «Энеида» самого Вергилия, то для двух последних ее частей таким основным источником было окончание осиповской «Энеиды», сделанное Котельницким, и опять-таки отчасти «Энеида» Вергилия. Эти две последние части «Энеиды» Котляревского вместе с четырьмя предыдущими впервые были напечатаны (в Харькове) лишь в 1842 г., через четыре года после смерти поэта. Только отдельные отрывки из пятой части были напечатаны в «Соревнователе просвящения и благотворения» за 1822 г. и из шестой части — в харьковской «Утренней звезде» за 1833 г.

Особенная медлительность Котляревского в работе над пятой и шестой частями «Энеиды», а также значительный перерыв в работе над четвертой и пятой частями объясняется, быть может, тем, что окончание «Энеиды» Котельницкого дошло до Котляревского со значительным запозданием, а скорее — тем, что, с увлечением работая над первыми тремя частями поэмы и, видимо, остыв к ней уже в процессе написания четвертой части, Котляревский без особого подъема работал над последними двумя частями. У самого Вергилия последние песни его «Энеиды» были слабее предшествовавших. Окончание «Энеиды» Котельницкого, положенное Котляревским в основу его работы над двумя последними частями поэмы, также отличалось вялостью, однообразием и часто художественной беспомощностью даже по сравнению с текстом Осипова.

«Елисей» Майкова нравился читателям, в том числе

Пушкину, больше «Энеиды» Осипова и Котельницкого, нужно думать, не только потому, что Майков был талантливее двух последних, но и потому, что поэма его была значительно короче, чем творение Осипова и Котельницкого, потому, что чувство меры Майкову присуще было в большей степени, чем его русским собратьям-перелицовщикам «Энеиды». Кроме того, в поэме Майкова и сюжет и персонажи не зависели от поэмы Вергилия и представляли самостоятельный интерес.

Чувство меры свойственно было и Котляревскому гораздо больше, чем Осипову и Котельницкому, и потому он значительно сжал свою поэму сравнительно с образцами, выбрасывая в своем переложении целые песни, но и при всем этом «Энеида» Котляревского в последних своих частях уже способна была утомить читателя и, видимо, утомила и самого автора. Котляревский писал 27 декабря 1821 г. к Н. И. Гнедичу, посылая ему отрывок из пятой части «Энеиды» для напечатания в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения»: «Прилагая при сем еще отрывок из 5-й части, признаюсь перед вами, что 5-я часть очень слаба и натянута. В ней случилась сухая материя, которую надобно было чем-нибудь размачивать; я как кончил ее, то перекрестился». Котляревский надеялся, что шестая часть «Энеиды» будет удачнее пятой. «Что же касается до 6-й,— добавляет он,— то будет чем полюбоваться.» Тут же он сообщает, что работал над поэмой двадцать шесть лет<sup>9</sup>. Несколько лет ушло у него затем написание шестой части, так что в общей сложности Котляревский работал над «Энеидой» не менее тридцати лет<sup>10</sup>.

При таком сверхдлительном сроке работы над поэмой время, естественно, обгоняло ее. Возникали новые литературные вкусы, новые литературные интересы и художественные потребности, навстречу которым «Энеида» Котляревского не могла идти.

Травестированные поэмы В. Майкова, Осипова, Котельницкого и других русских авторов закономерно выросли на русской почве и связаны были с судьбами русского классицизма. В предшествовавшей же Котляревскому украинской литературе классицизм существовал лишь в рудиментарной форме, он был только реминисценцией литературной античности, и поэма Котляревского должна быть связывае-

<sup>9</sup> См. «Литературные портфели», 1, с. 37.

<sup>10</sup> См. *Оксман Ю.* К истории опубликования «Энеиды» И. П. Котляревского. «Атеней». Историко-литературный временник, книга третья. Л., 1926, с. 152—154.

ма не с этими зачаточными проявлениями украинского классицизма, а с процессами, характеризовавшими развитие классицизма русского. И если «Энеида» Котляревского, не в пример русским травестиям, все же прожила длительную литературную жизнь и живет и в наше время, то это объясняется тем же, чем объясняется литературная живучесть любого талантливого произведения, хотя и отслужившего свою историческую службу, но продолжающего воздействовать на читателя своими незаурядными художественными качествами.

## II

Русская травестированная «Энеида» вышла из-под пера третьестепенных русских стихотворцев, какими были Осипов и Котельницкий. Никаких серьезных, злободневных идейных задач оба они перед собой не ставили, да и не могли ставить ввиду отсутствия и у того и у другого сколько-нибудь серьезного идейного кругозора. Сомнительно, чтобы и Осипов и Котельницкий преследовали задачу борьбы с высокой классической поэмой, особенно принимая во внимание, что травестированная поэма была узаконена классицистической поэтикой, а Сумароков санкционировал не только героико-комическую поэму в духе «Налоя» Буало, но и бурлеск типа «Энеиды» Скаррона. И Осипов и Котельницкий стремились лишь к тому, чтобы позабавить читателя веселым смехом. Осипов смотрел на свою поэму прежде всего как на «веселую сказку», «шуточно маранье», за которое он взялся.

Чтоб как-нибудь хотя немножко  
В парнасско вгнездиться лукошко.

Однако в свое время поэма Осипова была заметным литературным явлением и пользовалась популярностью, о чем свидетельствуют хотя бы три ее издания, вышедшие на протяжении нескольких лет. В рецензии на первые две ее части Карамзин писал: «По справедливости можно сказать, что в пашей, вывороченной наизнанку, Энеиде есть много хороших и даже в своем роде прекрасных мест». И далее Карамзин цитирует некоторые из этих мест, которые приводят его к такому заключению: «Если бы вся Энеида была так травестирована, то я поздравил бы русскую литературу с хорошим и весьма хорошим комическим произведением; но, к сожалению, много и слабого, растянутого, слишком низкого; много также нечистых или противных ушам стихов»<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> «Московский журнал», ч. VI, 1792, май, с. 205—208.

Несмотря на оговорки, Карамзин, как видим, расценивал поэму Осипова положительно. Е. Люценко и А. Котельницкий в предисловии к сочиненной ими шуточной поэме «Похищение Прозерпины» (два издания — 1795 и 1805 гг.) писали: «Известно всякому, с какою благодарностью принята была публикою «Энеида» г. Осипова». Авторы характеризуют осиповскую поэму как «превосходное в своем роде творение, какого ожидать было можно»<sup>12</sup>. В 1823 г. Бестужев в статье «Взгляд на старую и новую словесность в России», противопоставляя В. Майкову Осипова и отдавая преимущество второму, писал, что он «в «Энеиде» наизнанку» довольно забавен и оригинален». Это суждение Бестужева, как известно, вызвало возражение со стороны Пушкина, который, вступаясь за Майкова, спрашивал Бестужева: «Зачем хвалить холодного и однообразного Осипова, а обижать Майкова? Елисей истинно смешон»<sup>13</sup>. В оценке Пушкиным Осипова, как видим, не содержится похвалы, но нет в ней и резкого его порицания. Как бы то ни было, показательно, что еще в 20-е годы XIX столетия Осипова помнили даже в литературных верхах и спорили там о достоинстве его поэмы.

Котельницкий был эпигоном Осипова и лишь продолжателем его работы, лишенной даже тех немногих литературных качеств, какими обладал Осипов.

Все отмечавшие зависимость Котляревского от Осипова и Котельницкого в то же время единогласно сходились в признании, что Котляревский значительно превзошел имевшиеся образцы, что как поэт он был неизмеримо талантливее обоих своих русских предшественников. Живая, образная речь, незаурядное остроумие и юмор, мастерство в изображении характеров и быта, реалистические тенденции в изображении действительности — все эти качества Котляревского значительно возвышают его над теми, кому он подражал.

У Котляревского в его работе над «Энеидой» был тот живительный источник, питавший его труд, которому поэма обязана лучшими своими местами и к которому в гораздо меньшей степени прибегал Осипов, а тем более — Котельницкий. Этот источник — народное творчество, хорошо и разносторонне знакомое Котляревскому. Учительствуя в семьях помещиков, он, по свидетельству его приятеля и первого биографа С. Стеблина-Каминского, «бывал на сходбищах и играх народных и сам, переодетый, участвовал в

<sup>12</sup> «Ирон-комическая поэма». Редакция и примечания В. Томашевского («Библиотека поэта»). Л., 1933, с. 574.

<sup>13</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений. 1937, т. 13, с. 64.

них; прилежно вслушивался в народный говор, записывал песни и слова, изучал язык, нравы, обычаи, обряды, поверья, предания украинцев»<sup>14</sup>. Все это помогло Котляревскому одеть своих персонажей в плоть и кровь, наделив их такими чертами, которые отражают особенности украинского народного быта и украинского характера.

Помимо украинской народной поэзии и украинских народных поверий, Котляревский, несомненно, знаком был и с произведениями книжной украинской литературы, заключавшими в себе черты народного творчества и быта, живой украинской речи и проникнутыми элементами реализма и юмора. Вертепная драма, украинские интерлюдии, рождественские и пасхальные вирши, вирши сатирические — все это не могло не быть знакомо Котляревскому еще в пору учения его в семинарии и не могло не сыграть своей роли в создании «Энеиды», отразившись на особенностях ее поэтического стиля.

Очень связанный своими русскими образцами — поэмой Осипова и ее окончанием, сделанным Котельницким, не только придерживаясь их в развитии сюжета, в трактовке и характеристике основных персонажей своей поэмы, но и также используя, часто буквально, отдельные стихи русской «Энеиды», уснащая поэму, в ряде случаев с потерей чувства меры, излишне грубыми, вульгарными, натуралистическими подробностями<sup>15</sup> и не очень отличаясь в этом отношении ни от Осипова, ни от Котельницкого, Котляревский в то же время во многом с избытком вознаграждает своего читателя тем, что было присуще лишь ему одному и что с успехом перекрывало его подражательность и переимчивость.

---

<sup>14</sup> Стеблин-Каминский С. Воспоминания об И. П. Котляревском (из записок старожила). Полтава, 1869, с. 5.

<sup>15</sup> Сам Котляревский сознавал эти недостатки своей поэмы. В цитированном выше письме его к Н. И. Гнедичу он пишет: «Я сам чувствую, что есть много нескромности или вольности в Энеиде, но сему причиною с-петербургская цензура, не удержавшая меня на первых порах и пропустившая напечатать в 4-х частях довольно ощутительнейшую соль...» Это письмо — ответ на недошедшее до нас письмо к Котляревскому Гнедича, в котором последний, очевидно, делился со своим адресатом соображениями относительно некоторых мест «Энеиды», казавшихся ему нескромными, а может быть, передавал ему толки на этот счет, слышанные им от других. Так можно думать, судя по не совсем ясной фразе письма, являющейся продолжением только что приведенных из него строк: «впрочем нет, кажется, ничего открытого, а предоставляется догадке и толкам, что уже не моя беда» («Литературные портфели», 1, с. 16). Большая серьезность и сдержанность последних двух частей «Энеиды» Котляревского объясняется, нужно думать, также и стремлением автора избежать тех самых «нескромности и вольности», которые, как видим, не по душе были теперь и самому Котляревскому.

### III

Каков же был идейно-политический кругозор Котляревского и в какой мере унаследовал он передовые тенденции предшествовавшей и современной ему русской литературы и русской общественной мысли?

Общественные и политические взгляды Котляревского не дают нам оснований заподозрить его в свободомыслии, в частности, в отношении к судьбам украинского народа. Для таких подозрений не дают оснований ни «Энеида», ни «Ода до князя Куракина». Судя по сочинениям Котляревского и по воспоминаниям современников, это был человек, несомненно, гуманный, добрый, благожелательный к людям, сочувственно относившийся к «меньшому брату», каким в ту пору было особенно закрепощенное крестьянство, сознававший, что

Мужича правда єсть колюча,  
А панська на всі боки гнуча,

но в то же время не позволявший себе вольномыслия в отношении царя и порицавший

...розумних філософов,  
що в світі вчились мудровать,

повинних в сочувствии французской революции. Правда, он был членом полтавской масонской ложи «Любовь к истине» и пользовался расположением возглавлявшего эту ложу правителя канцелярии малороссийского губернатора М. Н. Новикова, но само по себе участие в масонской ложе ничего еще не говорит о том, в какой мере Котляревский и Новиков серьезно проникнуты были масонскими идеями. Масоны были разные, и степень их идейности тоже была разная, что мы хорошо знаем хотя бы по «Войне и миру» Толстого. Нам известно, что в пожилом возрасте Котляревский подвержен был религиозным настроениям и последние пятнадцать лет своей жизни занимался переводом сочинения французского аббата Дюкена «Размышления о Евангелии», но это свидетельствует лишь о религиозных, а не об общественных интересах Котляревского.

Следует подчеркнуть демократизм Котляревского, но нет оснований преувеличивать этот демократизм. Правда, в очень колоритной и широко развернутой картине адских мучений, написанной Котляревским почти совершенно независимо от Осипова, не без влияния, очевидно, древнего апокрифа «Хождение богородицы по мукам» и пасхальных вирш, на первом месте фигурируют пань, которых мучают, поджаривая их со всех сторон за то,

Що людям льготи не давали  
і ставили їх за скотів.

Достойную муку терпят тут и

...всякії цехмістри,  
І ратмани, і бургомістри,  
Судді, підсудки, писарі,  
Які по правді не судили  
Та тільки грошики лупили  
І одбирали хабарі.

Встречаются Энею в аду и

Ченці, попи і кругопопи,  
Мирян щоб знали научать,  
Щоб не ганялись за гривнями,  
Щоб не возились з попадьми  
Та знали церков щоб одну.

Были тут и

...купчики проворні,  
Що їздили по ярмаркам  
І на аршипець на підборний  
Поганий продавали крам.

Но, соблюдая беспристрастие и объективность, Котляревский заставляет претерпевать адские муки не только сильных мира сего, не только тех, кто были хозяевами жизни, но и тех, кто были ее пасынками, без различия положения, звания и состояния: в аду вместе с гайдамаками и ремесленниками различных цехов

Були папи і мужики,  
Була тут шляхта і міщани,  
І молоді і старики;  
Були багаті і убогі,  
Прямі були і кривоногі,  
Були видючі і сліпі,  
Були і штатські і воєнні,  
Були і панські і казенні,  
Були миряни і попи.

Счень подробно и образно рисует Котляревский и «жіночу муку», осудительно выставляя напоказ женское легкомыслие во всех слоях общества, в разнообразных проявлениях, и беспощадно карая «женскую злобу», притом, пожалуй, менее снисходительно, чем это делал апокриф, повествовавший о хождении богородицы по адским мукам.

В плутонов рай, где праведники услаждают себя полным бездельем, куря люльки, попивая горилку, закусывая ее пшеничными варениками и всякими другими яствами и запивая все это «пивцем», Котляревский помещает тех, кому райское блаженство предназначалось и евангельской про-

поведью: это нищие, хромые, слепорожденные, бедные, беспомощные вдовы, честные, непорочные девы, сироты, бессеребренники. Но тут же, в раю, пребывала и «старшина правдива», потому что:

Бувають всякіі пани...  
Бувають військові, запчкові,  
І сотники, і бунчукові,  
Які правдиву жизнь вєли.

Одним словом,

Тут люди всякого завіту  
По білому єсть кілька світу,  
Которі праведно жили.

Еще П. Житецкий, ставя себе задачей определить мировоззрение и убеждения Котляревского, излишне приукрашивал поэта в духе позднейшей националистической критики, выдавая за исповедание политической и общественной веры Котляревского то, что на самом деле явилось в значительной степени лишь следованием тому основному русскому источнику, на который опирался Котляревский в своей «Энениде».

Чтобы решить вопрос о том, как Котляревский относился к утрате Украиной ее былых автономных учреждений, Житецкий обращает внимание на сочувственное изображение Котляревским троянцев, за которыми, как полагал еще Данкевич, скрываются запорожские казаки, бродившие по свету после разрушения Сечи. Он указывает на то, что в изображении Котляревского троянцы не только «гольтіпанки», «ланьці», искатели веселых приключений, но и рыцари, среди которых имеются такие отважные и благородные люди, как Низ и Эвриал, готовые пожертвовать и действительно жертвующие жизнью за отчизну, за общее благо. Житецкий приводит слова Эвриала, обращенные к Низу, старающемуся умерить воинский пыл своего друга, у которого жива старуха-мать:

Де общее добро в упадку,  
Забудь отця, забудь і матку,  
Лєти повинність ісправлять,

а также рассуждения самого поэта:

Любов к отчизні де героїть,  
Там сила вража не устоїть,  
Там грудь сильніша од гармат,  
Там жизнь — алтин, а смерть — копійка

и после этого спрашивает: «Любопытно знать, о какой отчизне здесь речь идет, когда троянцы потеряли свою давнюю отчизну и теперь искали новой? Без сомнения, идею отчизны



они вынесли еще из погибшей Трои, но никогда не умирала у них эта идея, являясь перед ними в виде войскового «товариства», которое, согласно с предсказанием, данным Энею свыше,

Всім світом буде управляти,  
По всіх усюдах воювати,  
Підверне всіх собі під спід  
І римській поставить стіни,  
В них буде жити, як в раю»<sup>16</sup>.

Но дело в том, что Низ и Эвриал в качестве отважных воинов, преисполненных чувств товарищества и крепкой взаимной дружбы, выступают не только у Вергилия, но и у Котельницкого. Правда, у Котельницкого в изображении обоих героев присутствует элемент неуместного балагурства, почти совсем отсутствующий у Котляревского, но все же нет оснований полагать, как это делает Житецкий, что идею отчизны оба героя вынесли еще из Трои и что эта идея ассоциировалась у них с представлением о войсковом «товаристве». Нет оснований для такого предположения прежде всего потому, что и Низ и Эвриал — не троянцы, и, как говорит Котляревский, в них текла кровь «якась чужая-басурманська». Поэтому и не совсем подходит тут упоминание Котляревского об «отчизне» в связи с подвигами этих двух храбрецов. Говоря об отчизне, Котляревский представлял, нужно думать, отчизну российскую, защита которой была столь важна во время Отечественной войны 1812 г. Отчизна была особенно близка ему, организатору конного украинского полка в пору нашествия на Россию Наполеона и автору патристической кантаты в честь Александра I. Не царскую ли присягу подразумевал Котляревский, когда в уста Эвриала он влагал слова:

Як ми Енею присягали,  
Для його служби жизнь оддали,  
Теперь не вільна в житні мать

или когда уже от себя говорил о том, что Низ и Эвриал проливали кровь «за честь і к князю за любов»?

Что же касается последней, приведенной Житецким, цитаты из третьей части «Энеиды» Котляревского, то она восходит к следующим строкам той же третьей части «Энеиды» Осипова:

Всем светом будет обладать  
Твое из Латии потомство  
И молодецкое геройство  
Везде по всем земли углам.

<sup>16</sup> Житецкий П. «Энеида» Котляревского и древнейший список ее в связи с обзором малорусской литературы XVIII века. Киев, 1900, с. 151—152.

Покажет сильною рукою;  
Все попленил везде собою  
И забурлит по всем местам.

Обращая далее внимание на то, что враждебные троянцам «латинцы» сравниваются Котляревским с казацкими полками старой Гетманщины — Лубенским, Гадяцким и Полтавским, Житецкий думает, что «красота казацкого войска и его сила, видимо, захватывает мысль и чувство поэта». И тут же он замечает, что далее «с каждым новым стихом изменяется настроение поэта, одна за другою появляются шуточные ноты, которые переходят, наконец, в сплошное глумление над латинцами»<sup>17</sup>. И задав себе вопрос, откуда же этот издевательский тон в отношении латинцев, когда несколькими строфами выше Котляревский в хвалебных выражениях сближает латинское войско с казацким, Житецкий пытается объяснить это кажущееся ему противоречие отчасти самой природой юмористического смеха, в котором всегда присутствует некоторая доля сомнения и иронии в отношении к тому, во что люди верят и к чему относятся положительно. Житецкому представляется, что в основе такого мировоззрения лежит скорбная мысль о тщете всего земного, о ничтожестве человека перед враждебными силами судьбы, постоянно грозящими ему неисчислимыми бедствиями. Он думает, что у Котляревского это был пессимизм не только поэтический, но и сознательно исторический. Котляревский, утверждает Житецкий, был проникнут глубокой симпатией к своей родине и к ее героическому прошлому, хотя в его поэме нет об этом прошлом выразительных и ярких стихов: о Сагайдачном, Дорошенке, Железняке он говорит лишь мимоходом и мельком, а о Богдане Хмельницком и вовсе не упоминает. Объяснение этому Житецкий находит в том, что «Котляревского, как и других современников его, подхватила новая волна жизни, которая далеко унесла их из сферы политических стремлений, одушевлявших старую Малороссию, и поставила лицом к лицу с новыми задачами жизни»<sup>18</sup>. Котляревский, думает Житецкий, не мог не сознавать печального конца истории Украины с кровопролитными войнами, причинявшими немало зла народу. Всем этим, по мнению Житецкого, объясняется та сложная гамма чувств, которая звучит у Котляревского в изображении латинцев.

Из всех этих соображений Житецкого бесспорно лишь одно — именно то, что Котляревский далеко отошел от сфе-

<sup>17</sup> Там же, с. 152—153.

<sup>18</sup> Там же, с. 154.

ры тех политических стремлений, которые одушевляли старую Украину, и стал лицом к лицу с новыми задачами жизни, то есть с теми задачами, которые вытекали из полного политического и общекультурного слияния Украины с Россией. Но нет никаких данных для того, чтобы утверждать, что Котляревский изобразил войско латинцев в издевательском тоне якобы из-за овладевшего им исторического пессимизма и что он идеализировал историческое прошлое Украины. Дело объясняется гораздо проще: так же смехотворно и карикатурно, как и у Котляревского, изображаются латинцы у Осипова, от которого Котляревский и почерпнул все то, что он говорит о латинцах и об отрицательном отношении к войне самого царя Латина, отличающегося большим миролюбием. Тут Котляревскому принадлежит собственно лишь прекрасный, монументальный образ войны:

Війна в кривавих ризах тут,  
За нею рани, смерть, увіччя,  
Безбожність і безчоловіччя  
Хвіст магії її несуть.

Что же касается упоминания Котляревским казачьих полков, которые он сравнивает с полками латинцев, то трудно усмотреть тут какое-либо любование Котляревского запорожским казачеством. Весь контекст, и предшествующий этому упоминанию и следующий за ним, исключает такое предположение: тут просто шуточная, слегка пророческая картина гетманского военного уклада, несколько не дисгармонирующая с контекстом, в который она поставлена.

Было бы, разумеется, совершенно неправомерно связать Котляревского с русской литературой ограничивая зависимость его «Энеиды» от «Энеиды» Осипова и Котельницкого или даже от традиции русской трагедийной поэмы вообще. Эта связь была гораздо глубже и внутренне органичнее. Само по себе обращение Котляревского к Осипову и Котельницкому, а не к Вергилию непосредственно или к Скаррону, которого он, несомненно, знал, но оставил в стороне, говорит о том, что русская литература была ему всего ближе, притом именно та литература, которая прокладывала пути к реализму. Не только «Энеида», но и пьесы Котляревского и «Ода до князя Куракина», теснейшим образом связанные с русской литературной традицией, свидетельствуют об этом. Мы знаем, что Котляревский писал и на русском языке. Это — перевод оды Сафо, кантата, посвященная Александру I, перевод «Размышлений о Евангелии» Дюкена. На русском языке писал Котляревский и записки, относящиеся к его военной службе.

И, тем не менее, в поисках влияния русской литературы на Котляревского не следует доходить до таких преувеличений и натяжек, к каким прибегает П. К. Волынский в статье «І. П. Котляревський і російська література» («Радянська школа», 1946, № 6, а также «Наукові записки Київського державного педагогічного інститута ім. А. М. Горького, філологічна серія, № 2, 1948).

Считая «Энеиду» Котляревского сатирой на современное ему панство и тем самым бесосновательно радикализируя ее, П. К. Волынский бездоказательно связывает ее с сатирическими журналами Новикова, Чулкова и Крылова и (в первой редакции статьи) с «Беседующим гражданином» и даже с «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева, хотя и не утверждает, что Котляревский испытал непосредственное влияние Радищева, а ограничивается лишь замечанием, что кое-какие места в «Энеиде» напоминают кое-какие места в «Путешествии». Мы, во-первых, не имеем никаких данных для того, чтобы допускать или поддерживать такие утверждения, исходя из текста самой «Энеиды», или из биографии Котляревского: во-вторых, если бы мы согласились с П. К. Волынским в определении идейного генезиса «Энеиды», ставя ее в родственную связь с сатирическими журналами Новикова и Крылова и даже с произведениями Радищева, мы слишком переоценили бы ее идейное содержание.

Самый интерес Котляревского к народу и его творчеству П. К. Волынский объясняет в первую очередь не непосредственным знакомством Котляревского с украинской народной стихией, а знакомством его с теми же журналами Чулкова и с его сочинениями, в которых содержались русские народные пословицы, поговорки, описания обычаев, обрядов, праздников. Не забыты, разумеется, П. К. Волынским и «Песенник» Чулкова и все русские песенники, вышедшие в конце XVIII в.

Разрешать таким образом проблему влияния русской литературы на украинского писателя — значит, с одной стороны, отделяться общими фразами и вульгаризировать самое проблему, с другой — сводить к минимуму литературную самостоятельность писателя, который по праву занял выдающееся место в истории украинской литературы.

Котляревский по своему общественному миросозерцанию все же не может быть поставлен в один ряд с передовыми русскими писателями второй половины XVIII в., такими, как Новиков, Крылов и особенно Радищев. Его критика существующих социальных порядков была значительно умереннее и значительно компромисснее, чем у них. С русской литературой роднит Котляревского прежде всего его тяга к

художественному реализму, лучшие образцы которого он мог найти в русской литературе второй половины XVIII в. Одним из проявлений такого реализма в русской литературе была как раз травестированная поэма, пародировавшая античную героическую поэму. В украинской литературе такого рода травестий не существовало. Нужно при этом сказать, что ошибочно было бы приписывать травестированной поэме ограниченное назначение — дать литературную пищу для средних и низших читательских слоев, как об этом обычно приято думать: она рассчитана была на самый широкий круг читателей, в том числе и, пожалуй, больше всего — на круг читателей литературно квалифицированных, которым она прививала вкус к реализму. Для того чтобы понять и оценить пародию на античную героическую поэму, в частности, на поэму Вергилия, нужно было знать эту поэму и быть знакомым с античной историей и мифологией, чего нельзя было предполагать у читателя из средних культурных слоев, а тем более у читателя низового. Травестированная поэма по степени своей доходчивости — это не то, что «Бова», «Английский милорд», «Ванька-Каин». Она требовала значительно большего уровня литературного и общекультурного развития, чем указанные произведения, рассчитанные на вкусы низового читателя.

Но травестия на русской почве была лишь результатом того общего движения русской литературы по пути к реализму, которое наблюдается во второй половине XVIII в. И именно в этом плане следует рассматривать влияние русской литературы на Котляревского, усвоившего от нее наиболее значительные ее достижения в области реалистического стиля, но не достигшего той степени идейного наполнения своей поэмы, какая была достигнута русской литературой XVIII в. в ее лучших образцах. Котляревский не мог этого сделать, потому что травестия, будучи в условиях развития украинской и русской литератур не главным, а лишь боковым путем в формировании реалистического искусства, не могла по самой своей природе откликнуться на те живые запросы современности, на которые могли откликнуться прозаическая или стихотворная сатира, повесть, роман или комедия. Идейные возможности травести были тут ограничены, и то, что Котляревский сделал «Энеиду» литературным спутником почти всего своего писательского пути, само по себе свидетельствует о незаинтересованности его в том, чтобы вложить в свою поэму значительное и злободневное идейное содержание. Реализм Котляревского, как он сказался в «Энеиде». — реализм преимущественно этнографический, и тут Котляревский достиг большого совершен-

ства, которое объясняется не только талантом поэта, но и тем, что он прекрасно знал народную жизнь, черпая свои знания не из литературных источников, а из непосредственного наблюдения самой жизни украинского народа.

#### IV

Начиная уже с первых десятилетий XIX ст. поэма Котляревского стала пользоваться популярностью не только в украинского, но и у русского читателя. В 1816 г. Полтаву посетил великий князь Николай Павлович, будущий император, который, по словам одного современника, «многих удостоил обещаний высокого покровительства своего, особливо известного дарованиями своими автора Вергилиевой Энеиды наизнанку на малороссийском языке капитана Котляревского, и изъявил желание иметь у себя два экземпляра оной»<sup>19</sup>. Писатель Н. А. Мельгунов, побывавший в 1827 г. в Полтаве и навестивший там Котляревского, тогда же в письме к М. П. Погодину, говоря о желании Котляревского продать московским книгопродавцам его «Энеиду», писал о большом успехе «Энеиды» на Украине, полагая, что «и всякий просвещенный россиянин не останется равнодушным» к ней. «Издание этой поэмы, и издание рачительное, классическое, — добавлял он, — было бы благим делом и потому, по моему мнению, стоило бы хлопот и стараний»<sup>20</sup>. В «Северных цветах» за 1828 г. читаем: «Из всех прежних Энеид, Язонов и Прозерпины наизнанку уцелела только малороссийская пародия, Энеида Котляревского, потому что сочинитель ее умел приправить свою поэму малороссийской солью и живо представить в ней вместо троянцев, карфагенян и латинян земляков своих малороссию с их домашним бытом, привычками и поговорками»<sup>21</sup>. Через полгода после смерти Котляревского в «Отечественных записках» было сказано: «Коренные русские, читавшие «Энеиду» Котляревского, хоть и вполонину понимали ее, однакож дивились и чудному языку ее и остроумию автора, между тем как переделка «Энеиды» на великорусское наречие Осипова, совершенно им доступная, наводила глубокий сон. Такова сила таланта»<sup>22</sup>. Григорович в «Проселочных дорогах» говорит о русском помещике Николае Степановиче Окатове, что тот «любил... иной раз прочесть во всеуслышание басню

<sup>19</sup> «Украинский вестник», 1816, № 7, с. 93.

<sup>20</sup> «Атеней», книга третья. Л., 1926, с. 153—154.

<sup>21</sup> «Северные цветы», 1828, с. 53.

<sup>22</sup> «Отечественные записки», 1839, с. 134.

Измайлова или страничку из «Энеиды» Котляревского, которую считал первым сочинением в мире»<sup>23</sup>.

При жизни Котляревского о нем и об его творчестве печаталось очень мало, но смерть его в 1838 г. вызвала, хотя и с некоторым запозданием, ряд очень сочувственных откликов. Первыми в начале 1839 г. отозвались на смерть украинского поэта «Литературные прибавления к Русскому инвалиду». Вскоре после этого «Отечественные записки» в цитированной выше статье писали: «Скоро уже полгода, как умер этот замечательный человек, и о смерти его и о делах его никто ни слова, как будто умер какой-нибудь незначительный, мелкий человек... Одни лишь «Литературные прибавления» с горестью известили о его смерти — и только». Автор статьи считает, что Котляревский «был поэт остроумный, оригинальный, юморист великий. Он умел подметить в малороссийском языке неподражаемую самобытность и первый решился выразить на нем свои мысли и чувства». Это тем более важно, «что это было в начале XIX столетия, когда еще так мало толковали у нас о народности, когда еще жили люди закоренелые в предрассудках прошедшего века, века галломании»<sup>24</sup>.

Как бы в ответ на упрек «Отечественных записок» в невнимании к памяти Котляревского «Северная пчела» в том же 1839 г. напечатала биографию поэта, написанную Стеблиным-Каминским, в которой было сказано: «Комизм его «Энеиды» неподражаем, — везде дышит самая неприпужденная сатира, блестящая неподдельною веселостью и островами наблюдательного ума. Вся Украина читала «Энеиду» с восхищением. Легкость рассказа, верность красок, тонкие шутки были в полной мере новы, очаровательны. Спisyвая с природы, автор нигде не погрешил против истины; народность отражается в поэме, как в зеркале»<sup>25</sup>. Биографический очерк Стеблина-Каминского в сокращении в том же году перепечатан был в «Журнале министерства народного просвещения». В 1839 г. и «Сын Отечества» писал о том, что «имя Котляревского известно всем по его перелицованной «Энеиде», в Украине оно народное имя, паравне с именем Климовского и философа-дииника Сквороды»<sup>26</sup>.

Через два года, в 1841 г., В. Пассек в «Москвитяине» напечатал новый биографический очерк о Котляревском, в котором писал: «Энеида» была принята в Малороссии с

<sup>23</sup> Григорович Л. В. Полн. собр. соч., т. 3. Спб., 1896, с. 191.

<sup>24</sup> «Отечественные записки», 1839, № 3, с. 132—133.

<sup>25</sup> «Северная пчела», 1839, № 146.

<sup>26</sup> «Сын отечества», 1839, т. IX, с. 139

восторгом, все сословия читали ее, от грамотного крестьянина до богатого пана». Говоря затем о предполагаемом издании всей «Энеиды» харьковским издателем Волохиным, Пассек выражает желание, «чтобы были экземпляры и для столиц, в которых много ценителей прекрасного дарования г. Котляревского»<sup>27</sup>. В том же году отзыв Пассека о Котляревском был повторен в «Журнале министерства народного просвещения».

Диссонансом с приведенными отзывами русской периодической печати об «Энеиде» Котляревского прозвучала статья Сенковского, напечатанная в 1843 г. в «Библиотеке для чтения», в связи с выходом в свет в Харькове в 1842 г. полного текста поэмы. Считая, что «книга эта вовсе не принадлежит нашей литературе, и нельзя догадаться, зачем к сочинению, совершенно не русскому, в этом новом издании приставлено русское заглавие», и полагая, что остроумие ее неприятно русскому читателю, Сенковский обрушивается на «Энеиду» за ее натуралистические излишества.

И при всем том Сенковский находит, что поэма Котляревского «в состоянии восхитить многими прекрасными местами и силою таланта, который, при таком огромном объеме книги, до конца выдержал свой особенный юмор, и своего рода занимательностью»<sup>28</sup>.

Выпады Сенковского против «Энеиды» Котляревского очень сходны с его выпадами против Гоголя, произведения которого он тоже упрекал за их «грязь» и юмор которого считал сродни юмору Котляревского. Говоря о «Вечерах на хуторе близ Диканьки», он писал: «Эти анекдоты, рассказы или повести понравились. В них пробивался, возле приятного дарования, особенный провинциальный юмор, малороссийское жартование, которого тип и идеал — малороссийская Энеида. Выше этого знаменитого творения, с таким наслаждением перечитываемого земляками поэта, украинский юмор не создал ничего»<sup>29</sup>.

Не касаясь других отзывов русской критики первой половины 40-х гг. XIX столетия об «Энеиде» Котляревского и не приводя последующих критических оценок ее русскими критиками, упомянем лишь отзыв о Котляревском, данный Белинским в 1844 г. в его рецензии на «Молодик на 1844 год». Здесь он называет Котляревского «умным и талантливym малороссиянином»<sup>30</sup>.

<sup>27</sup> «Москвитянин», 1841, ч. 2—3, с. 567.

<sup>28</sup> «Библиотека для чтения», т. 56, кн. 2, отд. VI, 1843, с. 46—49.

<sup>29</sup> Там же, т. 57, кн. 3, отд. VI, 1843, с. 21.

<sup>30</sup> *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. / под редакцией В. С. Спиридонова. М.—Л., 1926, т. XI, с. 421.



Наконец, для учета популярности сочинений Котляревского в русской читательской среде, следует указать на то, что в прошлом столетии они неоднократно печатались русскими издательствами. В частности, «Энеида» вышла тремя изданиями в серии «Дешевая библиотека» Суворина.

«Энеида» Котляревского оказала влияние на творчество русских писателей, украинцев по происхождению, — Нарского и Гоголя. Оба они во многом обязаны Котляревскому теми своими произведениями, в которых выступает бытовой колорит, украинский народный юмор, жанровые сценки, колоритная речевая стихия. Известно, что эпиграфами из «Энеиды» сопровождаются три главы гоголевской «Сорочинской ярмарки». В свою «Книгу всякой всячины» Гоголь записал двадцать один эпиграф из «Энеиды», из которых восемнадцать им не использованы, но, очевидно, были заготовлены для не осуществленных Гоголем сюжетов, родственных сюжетам «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Отзвуки «Энеиды» можно найти и в «Вечере накануне Ивана Купала», и в «Пропавшей грамоте»<sup>31</sup>.

Подведем итоги.

Опираясь на традиции русской литературы XVIII в. с ее реалистическими тенденциями, используя и украинскую рукописную юмористическую литературу XVIII в. и украинское народное творчество, Котляревский своей «Энеидой» не только показал всем «любителям малороссийского слова» — из украинской и русской среды — богатые возможности украинской речи, но показал и возможность художественного отображения украинского быта без сентиментальной идеализации, характерной для русских «чувствительных» путешественников начала XIX в. — типа В. Измайлова или П. Шаликова.

Великий поэт-революционер Шевченко впервые раскрыл трагические противоречия жизни украинского народа с тем чувством негодования, которого нет в «Энеиде». Но опыт Котляревского облегчит и для Шевченко великое дело основания новой украинской литературы.

---

<sup>31</sup> См. Степанова Н. Л. «Нарежный». «История русской литературы». М.—Л., 1941, т. 5, с. 284 и Гиппиус В. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя. «Груды Отдела новой русской литературы», 1. М.—Л., 1948, с. 25—31.

## ПРИМЕЧАНИЯ

### ЛИТЕРАТУРА КИЕВСКОЙ РУСИ В ИСТОРИИ БРАТСКИХ ЛИТЕРАТУР

Напечатано в сборнике «Русско-украинские литературные связи». — М., 1951. — С. 41—78. На украинском языке статья вошла в сборник «Українсько-російське літературне єднання». — К., 1953. — С. 43—76. Статья воспроизводится по изданию 1951 г. с незначительными сокращениями, обозначенными многоточием в скобках.

### ЛИТЕРАТУРА КИЕВСКОЙ РУСИ И ДРЕВНЕЙШИЕ ИНОСЛАВЯНСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Напечатано отдельной брошюрой: IV Международный съезд славистов. Доклады. Н. К. Гудзий. Литература Киевской Руси и древнейшие инославянские литературы. — М., 1958. — С. 66. С незначительными исправлениями и «Прибавлением» статья помещена в сборнике «Исследования по славянскому литературоведению и фольклористике. Доклады советских ученых на IV Международном съезде славистов». — М., 1960. — С. 7—60.

Печатается по тексту сборника «Исследования по славянскому литературоведению и фольклористике».

### ТРАДИЦИИ ЛИТЕРАТУРЫ КИЕВСКОЙ РУСИ В СТАРИННЫХ УКРАИНСКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРАХ

Напечатано в сборнике «Славянские литературы. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов (София, сентябрь 1963)». — М., 1963. — С. 14—46.

### «СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»

Напечатано как предисловие к изданию: Слово о полку Ігоревім. Упорядкування і підготовка тексту В. Л. Микитася. — К., 1955. — С. 3—28 («Бібліотека поета»).

### «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» И ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ

Напечатано в журнале «Литературный критик». — 1938. — № 5. — С. 59—83.

«СЛОВО О ПОЛЪКУ ИГОРЕВЪ»  
И ЕГО ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЧВА

Напечатано в «Историческом журнале». — 1938. — № 7. —  
С. 5—13.

О СОСТАВЕ «ЗОЛОТОГО СЛОВА» СВЯТОСЛАВА  
В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Напечатано в «Вестнике Московского университета». —  
1947. — № 2. — С. 19—32.

О ПЕРЕСТАНОВКЕ В НАЧАЛЕ ТЕКСТА  
«СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Напечатано в кн.: Слово о полку Игореve // Сборник исследований и статей под редакцией члена-корреспондента АН СССР В. П. Адриановой — Перетц. — М. — Л., 1950. — С. 249—254.

Предложенная Н. К. Гудзием перестановка в начале текста «Слова о полку Игореve» принята ныне в большинстве изданий «Слова», в частности, в украинских изданиях. К этому вопросу Н. К. Гудзий обратился повторно в статье «Еще раз о перестановке в начале текста «Слова о полку Игореve» (Труды Отдела древнерусской литературы. — Л., 1956. — Т. 12. — С. 35—41), возражая против необоснованных доводов В. И. Стеллецкого, приведенных им в статье «К вопросу о перестановке в начале текста «Слова о полку Игореve» (Труды Отдела древнерусской литературы. — М. — Л., 1955. — Т. 11. — С. 48—58).

ПО ПОВОДУ РЕВИЗИИ ПОДЛИННОСТИ  
«СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Напечатано в сборнике «Слово о полку Игореve» — памятник XII века». — М. — Л., 1962. — С. 79—130.

Данная работа Н. К. Гудзия является итоговой. Он неоднократно выступал с критикой несостоятельности теории новых скептиков, в частности французского профессора А. Мазона: Ревизия подлинности «Слова о полку Игореve» в исследовании проф. Мазона (Ученые записки МГУ. — Вып. 110. Труды кафедры русской литературы. — 1946. — Кн. 1. — С. 153—187); Невероятные догадки проф. А. Мазона о вероятном авторе «Слова о полку Игореve» (Известия Отделения литературы и языка АН СССР. — 1950. — Т. IX. — Вып. 6. — С. 492—498).

ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ

Напечатано как раздел в «Истории русской литературы. Том III. Литература XVIII века. Часть первая». — М. — Л., 1941. — С. 157—175. С незначительными сокращениями в переводе на украинский язык статья помещена в издании: Матеріали до вивчення історії української літератури. Том. I. Давня українська література. — К., 1959. — С. 574—587.

УКРАЇНСЬКІ ІНТЕРМЕДІЇ XVII—XVIII ст.

Напечатано как вступительную статью к изданию: «Українські інтермедії XVII—XVIII ст. Пам'ятки давньої української літератури» (К., 1960.— С. 5—30).

«ЭНЕИДА» И. П. КОТЛЯРЕВСКОГО  
И РУССКАЯ ТРАВЕСТИРОВАННАЯ ПОЕМА  
XVIII в.

Напечатано в «Вестнике Московского университета».— 1950.— № 7. Серия общественных наук, вып. 3.— С. 127—143.

# УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

- Абрамович Д. И. 89, 118, 120  
 Аввакум 6  
 Август II, польский король 294  
 Адам, Иеродиакон 304  
 Адрианова-Перетц В. П. 112, 122, 124—126, 220, 362  
 Азадовский М. К. 6  
 Айналов Д. В. 207, 213, 251, 252  
 Аксаков Константин 160, 161  
 Александр I 352, 354  
 «Александрия» 74, 102, 123, 167, 178  
 Александр Невский 163  
 Алексей Михайлович, царь 109, 321  
 Алексей Петрович, царевич 285, 286, 288  
 «Алексей, человек божий» 296, 309, 310, 321  
 Анастасия Римлянка 54  
 Ангелов Боню Ст. 68, 72, 86, 99  
 Ангелов Д. 69, 70  
 «Английский милорд» 356  
 Андрей (Ондрей) 236  
 Андриевский М. А. 205, 216  
 Анна (Ярославна) 94  
 Анна Ивановна 289, 301, 302  
 Анна, царевна 131  
 Антоний (Вадковский) 63, 64  
 Антоний (Добрыня Андрейкович) 91  
 Антонович В. Б. 19, 24, 26, 108  
 Аполлинарий Равенский 54  
 Апостол 1307 г. 277  
 Аристотель 66, 170, 295, 296  
 Арнаутов В. А. 106  
 Арсений, епископ 115  
 Арсеньев С. 129  
 Артемий 101  
 Архангельский А. С. 51, 55, 73  
 Архивский сборник XV в. 102, 103  
 «Архив Юго-Западной России» 109, 122, 130, 132  
 Арциховский А. В. 94  
 Аскольд 107  
 «Атений» 343, 345, 357  
 Афанасий, святой 290  
 Афанасий Александрийский 64  
 «Аще думно есть слышати о свадьбе Девгееве...» 258  
 Багалій Д. І. 106  
 Балдуин, король 124, 126  
 Балыка Богдан 107  
 Бантыш-Каменский Д. Н. 270, 273  
 Бантыш-Каменский Н. Н. 136, 269—274  
 Барика Петро 319  
 Барсов Е. В. 162, 204, 205, 207—210, 212, 252  
 Басов-Верхоянцев С. 205  
 Батый 13, 105, 107, 175  
 Баштовый И.— см. Нечуй-Левицкий И.  
 Белецкий А. И. (Білецький О. І.) 3, 4, 7, 9, 223, 310, 315, 328  
 Беликов И. 241, 255, 256  
 Белинский В. Г. 359  
 Беллармин 283,  
 Беловолод Просович 157  
 Белокуров С. 103, 104  
 Белосельские-Белозерские 206  
 Беляев Н. Д. 123  
 Бельский М. 103  
 Бенедикт Нурсийский 54  
 Березин В. 122, 123  
 Беринда Памво 317  
 Бестужев-Рюмин К. Н. 97, 174, 347  
 «Библиотека для чтения» 256, 275, 359  
 Библия 228, 299  
 Бирон 290  
 Бирчак В. 203

- Блюмауер А. 342, 344  
 Боболинский Леонтий 111, 112  
 «Бова» 356  
 Боголюбский Андрей 20, 40, 85, 134, 185  
 Бодянский О. 28  
 Болеслав 55, 56  
 Болтин И. Н. 263, 269  
 Болховитинов Евгений 159, 241, 277  
 Боняк, хап 187  
 Борелиус Цецилия 108  
 Борис Владимирович 55, 56, 58, 59, 88, 89, 110, 120, 121, 134, 172, 292  
 Борис, болгарский князь 61, 62, 70, 71, 81  
 Борис Вячеславович 156  
 Боян 143, 145, 147, 155, 163, 164, 191, 202, 211, 212, 214, 217—219, 221, 237, 240, 242—245, 255  
 Брюкнер А. 220, 278, 318  
 Брюсов В. 5  
 Буайе Поль 224  
 Буало 346  
 Бугославский С. А. 89, 99, 113, 120, 203  
 Будей 289  
 Будовиц И. У. 87  
 Булаховский Л. А. 261, 263  
 Буслаев Ф. И. 6, 77—79, 82, 161, 162, 252  
 Бэкон Ф. 283  
  
 Вагилевич И. 149  
 Вайян А. 224, 240  
 «Ванька-Каин» 356  
 Варвара, святая 58, 59  
 Василий Великий 66, 67  
 Васильевский В. Г. 81  
 Василько, князь 163, 166  
 Вашица И. 60  
 Вейнгарт М. 54, 57  
 Вельтман А. 197  
 Веневитинов М. 125, 126  
 Вергилий 275, 281, 339, 341, 344, 352, 354, 356, 357  
 Веселовский А. Н. 6, 54, 262  
 «Вестник Академии наук СССР» 47, 49  
 «Вестник Европы» 29, 30  
 «Вестник Московского университета» 362, 363  
 «Византийский вестник» 62  
 Викторов А. Е. 117, 123  
 Виленский список Хронографа 102  
 Виноградов В. П. 86  
  
 Витт 54  
 Вишенский Ипполит 126, 128, 129  
 «Витчизна» 343  
 Владимир, болгарский князь 71  
 Владимир Андреевич 227  
 Владимир Глебович, князь Переяславский 158, 188, 197, 201—203, 206, 209, 213  
 Владимир Игоревич 137, 153, 159, 181, 221  
 Владимир Мономах 27, 87, 88, 96, 107, 110, 138, 164—166, 177, 180, 184, 188, 190  
 Владимир Святославич 44—46, 55, 72, 81, 84, 88, 89, 93, 94, 103, 107, 109, 110, 118—120, 130—134, 154, 164, 169, 206, 214, 219, 241, 242, 290—297  
 Владимир П. В. 31, 33, 73, 114, 123, 162, 202, 203, 211  
 Владимирский-Буданов М. Ф. 26  
 Владислав, венгерский королевич 107  
 Возняк М. С. 122, 205, 309—312, 317, 318, 328, 329  
 Волохин, издатель 359  
 Вольнская летопись 102  
 Вольнский П. К. 355  
 Вольтер 257, 275  
 Вондрак В. 57  
 «Вопросы языкознания» 44  
 Воронин Н. Н. 89  
 Воронько П. 152  
 «Воскресенские стихи» 309, 335  
 Востоков А. Х. 55, 121, 123  
 «Временник, еже нарицается...» 258  
 Всеволод 134  
 Всеволод Святославич, князь трубчевский и курский 137, 141—143, 145, 153, 155—157, 181—183, 186, 188, 190, 195, 196, 199, 200, 204, 206, 210, 212—214, 216, 219, 221, 222, 244, 245, 247, 257, 258, 266  
 Всеволод Юрьевич Большое Гнездо 138, 163, 165, 177, 185, 189, 200—203, 208, 211—213, 248  
 Всеволод Ярославич 180  
 Всеволод Ярославич Волынский 201  
 Всеслав Брючиславич Полоцкий 142, 145, 147, 155, 156, 163, 190, 191, 202, 206, 207, 211, 221, 246, 266, 267  
 Вяземский П. П. 200, 201, 208, 211, 213

- Вячеслав (Вацлав) Чешский 53—56, 58—60, 88, 89
- Гаватович Якуб 308, 312—319
- Галилей Галилео 299
- Галицкая летопись 83
- Галицко-Волынская летопись 83, 88, 91, 101, 102, 104, 106, 163—166, 177, 178
- Ганка Вацлав 278
- Газак, Газа, хан 146, 187, 212, 256
- Геннадий, патриарх 87
- Генрих I 94
- Георгий Амартол 62, 74—76, 80—82, 102, 260
- Георгий Синкелл 74
- Георгиев Емил 65
- Гербель Н. 197, 275
- Герцен А. И. 97
- Гесснер 245
- Гете И.-В. 298
- Гизель Иннокентий 107—109, 111, 113, 118, 133, 295
- Гиппиус В. В. 360
- Глаголев А. 17
- Глазунов И. 339
- Глеб Владимирович 55, 56, 58, 59, 88, 89, 110, 120, 121, 134, 172, 292
- Глебовна 215, 253
- Гнедич Н. И. 333, 345, 348
- Гоголь Василь 338
- Гоголь Н. В. 4, 338, 359, 360
- Головатый Антон 269
- Головацкий Я. Ф. 26
- Голубев С. Т. 109, 111, 117, 132
- Голубинский Е. Е. 57, 63, 64, 73, 74, 83, 93—95, 113, 114
- Гомер 170, 281
- Гораций 275, 281, 300
- Гординский Я. 310—312, 318, 320, 328
- Горка Лаврентий 309
- Горлин М. 225, 233
- Горский А. 64, 67
- Горький А. М. 5, 355
- Грабянка Григорий 112
- Грамматин Н. 197, 264
- Греков Б. Д. 94
- Греч Н. И. 14, 15, 48
- Григорий, папа 53, 218
- Григорий Великий 54
- Григорий Назианзин 51
- Григорий-пресвитер 62, 67, 74
- Григорович Л. В. 357, 358
- Григорович-Барский Василий 126—129
- Григорьев А. Д. 75
- Грузинский А. Е. 205
- Грунский М. К. 152
- Грушевский М. С. 13, 38—43, 115, 203
- Гудзий Н. К. 3—12, 33, 75, 114, 249, 250, 267, 334, 361, 362
- Гумпoldt 53, 55
- Густынская летопись 106, 111, 113, 118, 119, 133
- Давид Ростиславич Смоленский 141, 156, 158, 200, 211, 214, 248
- Давыдов И. И. 224
- Даниил Галицкий 132, 163, 166, 178, 179
- Даниил Заточник 91, 94
- Даниил, игумен 90, 91, 95, 96, 124, 126—129
- Даниил Корсунский 124, 125
- Данилевич Иван 312
- Данилов В. В. 95
- Дарий 178
- Дашкевич Н. П. 340, 342, 351
- Дашков Георгий 303
- «Двенадцать снов царя Шаханши» 41
- «Девгениево деяние» 74, 161, 167, 258
- Декарт 283
- «Дело» («Дѣло») 30, 31
- «День» 23, 24
- Державин Г. Р. 63, 230, 255, 274
- «Деяние прежних времен храбрых человек...» 258
- Дзвонковський Ян 318
- Дидро 257
- Дивеев П. 97, 98
- Дир 107
- Длугош Ян 103
- Дмитрий Иванович Донской 148, 159, 227, 234, 235, 240, 244, 245, 248
- Дмитрий Ростовский 27, 114, 118, 125, 271, 296, 312
- Добровский И. 264
- Добролюбов Н. А. 24, 79
- Добрынин М. К. 129
- Добрыня Ядрейкович — см. Антоний
- Добрянский Ф. 121—123
- Довгалецкий Митрофан 308, 322—324, 326—330, 333, 337
- Докс, черноризец 67
- Доментан 84, 85
- «Домострой» 263
- Дорошенко Михайло 353
- Достоевский Ф. М. 27

- Драгомапов М. П. 29, 313, 314  
 Дубенский Д. 197, 198, 210  
 Дурново Н. Н. 74, 75  
 Дюкенъ 349, 354
- Евпраксия 175  
 Евсеев И. Е. 67  
 Екатерина I 285, 288, 300  
 Екатерина II (Катерина II) 136, 241, 265—267, 269, 270, 272  
 Елизавета Петровна, императрица 329, 330  
 «Еллинский и Римский летописец» 62, 76  
 Еремия И. П. 6, 102, 110  
 Ефрем, митрополит 116  
 Ефрем Сирий 84  
 Ефремов С. 43
- Ершов А. 106
- Жданов И. Н. 222, 334  
 Железняк (Залізняк Максим) 353  
 Житецкий П. Г. 26, 315—317, 327, 328, 332, 337, 351—353  
 «Житие Авраамия Смоленского» 262  
 Жуковский В. А. 199  
 «Журнал Министерства народно-го просвещения» 31, 34, 73, 74, 114, 125, 126, 359
- Забіла Н. 151  
 Заболотский Н. 223  
 «Задонщина» 8, 101, 148, 218, 220, 224—251, 253—255, 257, 260, 262, 268, 275—277  
 «Записки историко-філологічного відділу ВУАН» 123, 125, 312  
 «Записки Наукового товариства імені Шевченка» 32, 33, 106, 309, 311, 312, 314  
 «Записки о Южной Руси» 15  
 «Записки Українського наукового товариства в Кієві» 122  
 «Златоструй» 62  
 «Златоуст» 63  
 «Зоря» 28, 31
- Иаков-мних 172,  
 Иванов Йордан 64, 68  
 Игнатий Смольнянин 129  
 Игорь, князь, сын Святослава I, 107, 164, 169  
 Игорь Святославич Новгород-Северский 136—145, 148, 149, 153—159, 163—165, 181—192, 195, 196, 198—204, 206—215, 217, 219, 220—222, 225, 228, 241, 242, 244—256, 258, 273, 278  
 «Играње свадьбы» 308, 310, 321  
 «Изборник Святослава» 1073 г. 62, 102, 123  
 «Изборник Святослава» 1076 г. 87  
 «Известия на Института за българска история» 86  
 «Известия Отделения русского языка и словесности» («ИОРЯС») 20, 52—56, 63, 65—68, 74, 75, 84, 102, 106, 108, 122, 207, 217, 218, 261, 263, 308, 309, 311, 312, 335, 385  
 «Известия С.-Петербургского благотворительного общества» 29  
 Измайлов А. Е. 358  
 Измайлов В. 360  
 «Измарагд» 41  
 Изяслав Василькович 276  
 Изяслав Мстиславич 88, 132, 184, 201, 212  
 Иконников В. С. 81, 94, 106, 112  
 Иларион 25, 83—85, 95, 96, 99, 116, 119, 122, 131, 132, 168—171, 215, 245  
 Ильин Н. Н. 59, 60, 89  
 Ильинский Г. А. 48, 49, 52, 53, 73  
 Ильинский Л. К. 206  
 Ингварь Ярославич Волынский 201, 204  
 «Интередиум жид из русином» 309, 334  
 «Интермедѣя на три персоны: смерть, воин и хлопец» 309, 334  
 Иоанн III 199  
 Иоанн Дамаскин 66, 67,  
 Иоанн Златоуст 51, 63, 64, 67, 305  
 Иоанн Зонара 62  
 Иоанн Малала 62, 76, 81, 102  
 Иоанн, царь Московский 132  
 Иоанн, экзарх Болгарский 62, 63, 66, 67, 74, 123  
 Иосиф Флавий 74, 75, 95, 102, 167, 262  
 Ипатьевская летопись 106, 108, 119, 157—159, 174, 181—183, 187, 189, 221—233, 256, 257  
 «Исторический вестник» 29  
 «Исторический журнал» 362  
 «История русов» 13  
 Пестрин В. М. 31—37, 41, 44, 48, 49, 74—76, 95, 96, 100—102, 115, 121, 260  
 Пестрина Е. С. 263



- «Интермедия на три персонѣ: баба, дѣд и чорт» 308, 321
- Калайдович К. Ф. 258, 277
- Каллаш В. В. 123, 202, 203, 212, 317
- Калужняцкий Е. И. 122, 123
- Кальнофойский Афанасий 116, 117
- Каменецкий О. К. 339, 341
- Кантемир А. 302, 303, 305
- Карамзин Н. М. 83, 105, 159, 196—198, 202, 204, 212, 269, 270, 273, 274, 346, 347
- Каратаев И. 122
- Карл XII 295
- Карпенко-Карий (Тобілевич І. К.) 338
- Карский Е. Ф. 104, 122, 123
- Кассиан 115
- Катон 323
- Катулл 281
- Качеповский М. Т. 159, 224, 255, 256, 273, 277
- Квитка-Основьяненко Г. Ф. 27
- Келтуяла В. А. 205
- Кендзерский В. 151
- Кенигсбергская летопись 228
- Кжижановский Юлиан 224, 278
- Киевская летопись 83, 88, 105, 118, 213
- «Киевская старина» 105, 123, 316, 327, 342
- Киевские глаголические отрывки 53
- Киево-Печерский патерик 90, 100, 114—118, 130, 131, 175
- Кий 107
- Кирилл (Константин Философ) и Мефодий 45, 51, 52, 56—58, 61—68, 71, 98, 131
- Кирилл Иерусалимский 84
- Кирилл Туровский 14, 27, 85, 86, 93—95, 122, 170, 171, 172, 245, 251
- Кириша Данилов 241, 250
- Киселков В. Сл. 57, 63, 65, 66, 69
- Климент, митрополит 116
- Климент, папа 54
- Климент Словенский 57, 61—63, 66, 68, 71, 74
- Климент Смолятич 85, 170
- Климовский Семен 358
- Ключевский В. О. 82, 99, 113, 173, 174
- Кобяк 139, 163, 188, 249, 250
- Ковалевский Иосиф 125
- Коваленко Л. 343
- Коваленко О. І. 151
- Козачинський М. 309
- Козма Индикоплов 74
- Козма-пресвитер 63, 68, 69
- Колосов М. 225,
- Комаров М. (Уманец) 31
- Комарович В. Л. 87
- Кониский Георгій 309, 328, 329, 331, 333, 334
- Константин Болгарский 62—66, 74
- Кончак 145, 146, 155, 165, 183, 187, 188, 198, 212, 258
- Коперник Миколай 283
- Копыстенский Захария 106, 130—132
- Коробка Н. И. 54, 55
- «Корсунская легенда» 46
- Коршунов А. Ф. 129
- Коссов Сильвестр 115—119
- Костомаров Н. И. 23, 24, 25
- Костров Е. И. 251, 269
- Котельницкий А. X. 11, 340, 344—348, 352, 354
- Котляревский А. А. 17, 22, 342
- Котляревский И. П. 3, 11, 28, 328, 338—360, 363
- Кошаковский Илья 107
- Коутна М. 60
- Кохановский Пантелеймон 111
- Кохановский Ян 343
- Кочубей С. М. 339
- Краткая Киевская летопись 103
- Креваз Лев 130, 132
- Кропивницький М. Л. 338
- Крылов И. А. 355
- Крымский А. Е. 27
- Кудрявцев М. В. 183
- Купала Янка 203
- Кулиш П. 15, 19, 24
- Лаврентьевская летопись 158, 181—183, 186—188, 221, 222, 256, 267
- Лавров П. А. 57, 64, 68, 110
- Лавровский П. 18, 19, 21—23
- Лебединський Сава 327
- Леванський Й. 319
- Левшин В. А. 241, 251, 261, 269
- Леже Луи 225, 226
- Леклерк Н.-Г. 245, 263
- Ленин В. И. 43
- Леницкий Варлаам 126
- Леонид, архимандрит 126
- Лепкий Б. 43
- «Летописец русских царей» 102, 103

- «Летописцы Волыни и Украины» 107  
 Летопись Авраамки 104, 105  
 Лещинский, король 326  
 Ливий Тит 288  
 «Литературный критик» 361  
 Лихачев Д. С. 75, 81, 99, 223, 257  
 Ломоносов М. В. 160, 230, 282  
 Лонгинов Л. В. 206, 207, 213  
 Лопарев Х. М. 177  
 Лопатинский Феофилакт 284  
 Лосицкий Михаил 106  
 Лукиан Самосатский 298  
 Людмила 56, 59, 88  
 Люценко Е. П. 340, 347  
 Ляцкий Е. А. 207—209, 211, 213  
 Лященко А. М. 205, 339
- Мавродин В. В. 266  
 Мазепа Иван 282, 294, 295, 301, 304  
 Мазон А. 8, 224—279, 362  
 Майков А. Н. 198, 200, 210, 215  
 Майков В. И. 305, 340, 344, 345, 347  
 Макарий, иеромонах 126—128  
 Макарий, митрополит 83, 84, 256, 262  
 Максим Грек 101  
 Максимович М. А. 14—17, 19—26, 92, 93, 111, 112, 149, 162, 197, 199  
 Макферсон 253  
 Малашев Я. 197  
 Малиновский А. Ф. 136, 269, 270, 273  
 Малишко А. 152  
 Мамай 234  
 Мансикка В. 177  
 Мануил, византийский царь 177  
 Мария Всеволодовна 134  
 Мария, жена Микулы 249  
 Марковский М. 309, 342, 343  
 Марк К. 78, 140, 144, 161, 190, 192  
 Марциал 304  
 Маслов С. И. 109  
 Махновец Л. С. 138, 152  
 Маштаков Н. Л. 218  
 «Межевой обыск» 263  
 Мей Л. А. 203  
 Мелиоранский П. М. 261  
 Мельгунов Н. А. 357  
 Менжинский В. Г. 123  
 Меншиков А. Д. 283, 290  
 Мефодий — см. Кирилл (Константин Философ) и Мефодий  
 Мефодий Патарский 62  
 Мещерский Н. А. 75  
 Микитась В. Л. 361  
 Миклошич Ф. 260
- Микула Васильевич 249  
 Миллер Вс. 161, 162, 164, 165, 197, 250  
 Миллер Ор. 197  
 Мирный Панас 150, 151  
 Митуса 163  
 Михаил, митрополит 116  
 Михайлов А. В. 64, 65  
 Мишанич А. В. 12  
 Могила Петр 115—117, 122, 132  
 Могилевский (Могильницкий) Иоанн 15  
 «Моление Даниила Заточника» 41, 175, 141, 278  
 «Молитва на дьявола» 54, 55  
 «Молитва св. Троице» 55  
 «Молодик на 1844 год» 359  
 «Молот» 27  
 Морозов П. О. 310, 316, 317, 327  
 Мономаховичи 188, 189  
 «Москвитянин» 358  
 «Московские ведомости» 24, 342  
 «Московский журнал» 346  
 Мошин В. 73  
 Мстислав Владимирович 41, 138, 163, 184, 266  
 Мстислав Изяславич 184  
 Мстислав Ярославич 201  
 Мстиславичи (Роман, Святослав и Всеволод Волыньские) 201, 204, 209, 211, 212  
 «Мужик в дочкою на торг иде» 335  
 Мусин-Пушкин А. И. 136, 137, 153, 159, 226; 258, 265—267, 269, 270, 273, 274  
 Мюллер Л. 89
- Надеждин Н. И. 15  
 Назаревский А. А. 122, 123  
 Наполеон 352  
 Нарезный 360  
 Наум Охридский 61, 68, 71  
 Невоструев К. 64, 67  
 Некрашевич И. 312  
 Нестор 14, 17, 20, 27, 58, 60, 80, 88, 89, 93, 108, 110, 117, 122, 123, 340  
 Нечуй-Левицкий И. 27, 31  
 Новгородская летопись 105  
 Новиков И. А. 208, 209, 212, 213  
 Новиков М. И. 349, 355  
 Никита 58, 59  
 Никифор, патриарх 74  
 Никифоровский сборник 103  
 Никодимово Евангелие 53, 54  
 Николаев В. 45

- Николай I 17  
 Николай Павлович, великий князь 357  
 Никольская А. Б. 85, 99  
 Никольский Н. К. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 58, 166  
 Обнорский С. П. 265  
 Оболенский К. М. 103  
 Оболенский М. А. 105  
 Овидий 256, 281, 288, 300  
 Огісько І. 45, 57  
 Огоновский О. 28, 29, 162, 201, 202, 314  
 Оксман Ю. 345  
 Олег, князь 107, 132, 164  
 Олег Святославич (Гориславич) 87, 142, 173, 190, 214, 246, 277  
 Ольга, княгиня 88, 107, 118—120  
 Ольговичи 188, 189, 201, 207, 208, 212  
 Ольстин Олексич 181  
 Одровожиж-Мигалевич Інокентій 329, 330  
 Орлов А. С. 58, 77, 99, 102, 103, 206  
 Орь, певец 165  
 Осипов Н. П. 11, 340—348, 352, 354, 357  
 Ослабя, чернец 247  
 «Основа» 22—24  
 Оссиан 228—230, 250—253, 268, 271  
 Остерман А. 289  
 Острожские 111, 130  
 Острожский Александр Константинович 130  
 Остромирово Евангелие 62  
 «Отечественные записки» 357, 358  
 «Откровение Мефодия Патарского» 262  
 Отрок, хан 165  
 «О убьеньи Борисове» 88  
 Павел, апостол 46, 50  
 Павел, епископ 105  
 Павлик М. 314, 315  
 Павловский А. 14  
 Панкратий 262  
 Парпура Максим 339, 341  
 Пассек В. 358, 359  
 Первомайский Л. 152  
 Пересвет, чернец 344, 347  
 Перетц В. Н. 4, 5, 6, 35, 103, 114, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 203, 211, 218, 219, 222, 254, 256, 278, 308, 309, 312, 335, 340  
 Петр I (Петр Великий) 93, 133, 134, 275, 282—285, 287—289, 291, 294, 295, 297, 300, 303, 305  
 Петр II 289, 300, 305  
 Петр Черноризец 63, 68, 69, 74  
 Петров Н. И. 108, 120—123, 309—311, 327—329, 342  
 Петровский М. П. 84, 85  
 Петрушевич А. 121, 203,  
 Петухов Е. В. 68, 74  
 Пештич С. А. 111  
 Плавт 281, 291, 334  
 Платон 170  
 Плетнев П. А. 90  
 Плиний 288  
 Плутарх 288  
 «Повесть временных лет» 45—50, 57, 58, 80—83, 87, 88, 97, 102—107, 111, 112, 118, 130—132, 137, 164, 173  
 «Повесть града Иерусалима» 233  
 Повесть об Акире Премудром 74, 258  
 Повесть о Варлааме и Иосафе 74, 171  
 «Повесть о разорении Рязани Батыем» 175, 227  
 «Повесть о русской земле» 47  
 Повесть о царе Адарнане 74  
 Погодин А. Л. 45  
 Погодин М. П. 19—26, 357  
 Погорелов В. 57  
 Подкова Иван 111  
 Поликарп 90, 100  
 Полоцкий Симеон 27  
 Понтан Я. 281, 291, 295  
 Попов А. Н. 112, 121, 123  
 Попов М. В. 251, 263, 269  
 Порфирьев И. 199  
 «Послание новгородского архиепископа Василия о земном рае» 232  
 Потёбня А. А. 26, 162, 202, 203, 208, 209, 211  
 «Правда» 27  
 «Православный палестинский сборник» 126, 129  
 Прево, аббат 257  
 «Прение живота и смерти» 334  
 Пресняков А. Е. 39, 40, 41, 58  
 Приселков М. Д. 99, 105,  
 «Проглас святого Евангелия» 64  
 Прозоровский Д. 197, 211, 216  
 Прокок Чешский 51, 55  
 Прокопович Феофан (Елеазар,

- Елисей) 3, 10, 133, 134, 280—287, 292, 294—305, 310, 362  
«Пролог» 76, 114, 263  
«Пролог на Воскресеніе Христо-  
во» 321  
Прохазкова Е. 60  
Прыжов И. Г. 26  
Псалтырь 251  
Пушкин А. С. 4, 5, 7, 11, 27, 90,  
149, 175, 179, 191, 194, 199, 245,  
274, 278, 345, 347  
«Пчела» 74  
Пыпин А. Н. 24—26, 29—31, 36, 37,  
73, 74, 79, 82, 94
- Радищев А. Н. 355  
«Радянське літературознавство»  
4  
«Разговор пастырей» 312  
Расин 275  
Резанов В. И. 308, 309, 310, 312,  
317, 328  
Ржига В. Ф. 199, 200  
Рибсович Тарасий 117  
«Римские деяния» («Римські ді-  
ляння») 14, 313, 314  
Рильський М. 151, 152  
Рогозинский А. М. 108, 111  
Родышевский Маркелл 297  
Розанов С. П. 126, 129  
Роман Мстиславич князь Волын-  
ский 141, 156, 164, 165, 166, 177,  
178, 201, 209  
Роман Святославич 163, 265  
Ростислав, великоморавский  
князь 50  
Ростислав Всеволодович 143, 157  
Руданський С. 150  
Румянцев Н. П. 159  
«Русская историческая библиоте-  
ка» 131  
«Русская мысль» 29  
«Русская правда» 28  
«Русский вестник» 24  
Русский летописец 106  
«Русский филологический вест-  
ник» 52, 311, 334  
Рюрик 20  
Рюрик Ростиславич 141, 156, 158,  
200, 244, 248  
Рыбаков Б. А. 94
- Савва, сербский святой 85  
Савва Освященный 127  
Сагайдачный Петр 353  
Сакулин П. Н. 48, 77
- Самовидец 27  
Сафо (Сапфо) 354  
Сафонович Феодосий 108, 111  
Сахаров И. 199  
«Сборник за народни умотворе-  
ния, наука и книжнина» 65  
Свенцицкий И. 121, 123, 225  
Святополк Владимирович 55, 56,  
58, 89, 172  
Святополк Изяславич 134, 187  
Святослав Всеволодович Киев-  
ский 8, 139—141, 143, 146, 153,  
156—158, 165, 173, 183—186,  
188—190, 195—215, 228, 232, 246,  
247—249, 362  
Святослав Игоревич Киевский 80,  
88, 107, 132, 164, 169  
Святослав Ольгович Рыльский  
137, 153, 181—183, 222  
Святослав Ярославич 134  
Севериан Гавельский 66  
«Северная пчела» 358  
«Северные цветы» 357  
Селищев А. М. 44  
Сенека 281, 298  
Сенковский О. И. 159, 224, 241,  
255, 256, 268, 275, 277, 359  
Серапион, иннок 126, 128  
Серапион Владимирский 32, 41,  
91  
Серебрянский Н. И. 89, 99, 113  
Середонин С. М. 39, 40, 41  
Сереч Ю. 108  
Сильвестр, иеромонах 126, 127,  
128  
Симеон, болгарский царь 50, 61—  
63, 66—69, 71, 73  
Симеон, сербский святой 85  
Симон 100  
Симони П. К. 218  
«Синагрип царь Адоров...» 258  
«Синописис» 107—111, 113, 118, 119,  
133, 295  
«Синописис, или краткое видѣние  
декламации» 308, 330  
«Сказание Афродитиана» 124  
«Сказание и страсть и похвала  
святую мученику Бориса и Гле-  
ба» («Сказание о Борисе и Гле-  
бе») 58, 59, 60, 88, 89, 172, 173  
«Сказание об Индийском царстве»  
41  
«Сказание о Индии богатой» 258  
«Сказание о Мамаевом побоище»  
101, 237, 238, 239, 254, 256  
«Сказание о переложении книг на  
словенский язык» 57, 58

- «Сказание о Троянской войне» 62  
«Сказание о Филипате и о Максиме...» 258  
«Сказание про храброго витязя Бову королевича» 259  
Скалигер Ю.-Ц. 304  
Скарга Петр 4, 114  
Скаррон 343, 344, 346, 354  
Сковорода Г. С. 28, 339, 358  
Скотт Дунс 283  
Славинецкий Епифаний 27  
«Слово Даниила Заточника» 167  
«Слово некоего калугера о четырь книгах» 87  
«Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя Русского» 234, 241  
«Слово о князех» 173, 215  
«Слово о погибели Русской земли» 91, 166, 167, 176, 177, 232  
«Слово о полку Игореве» («Слово о полку Игоревим») 3, 5, 7—9, 14, 17, 22, 23, 25, 27, 28, 32, 33, 85, 87, 91—93, 95—97, 136—170, 172, 173, 175—181, 183, 185—189, 191—203, 205—233, 235—279, 361, 362  
Слово о пророке Симеоне 252  
«Слово похвальное инока Фомы» 259  
Служебная Миня 55  
Смирнов А. И. 162  
Смоленский А. П. 64, 65  
Смотрицкий Герасим 130  
Смотрицкий Мелетий 27  
Соболевский А. И. 26, 27, 34, 49, 52—55, 64—69, 73—75, 99, 109, 123, 211, 217—219, 257  
«Современник» 24  
Соколов М. И. 86  
«Соревнователь просвещения и благотворения» 344, 345  
Софоний-рязанец 220  
Спасович В. Д. 24, 25  
Сперанский М. Н. 6, 35, 61, 72, 99, 121, 122  
Спиридонов В. С. 359  
Срезневский И. И. 15, 18, 20, 22, 238, 254, 259, 260, 278  
Ставницкий Симеон 119  
Станислав-Август 275  
Старидький М. 338  
Стеблин-Каминский С. 347, 348, 358  
Стеллецкий В. И. 362  
Стендер-Петерсен А. 81  
Степанова Н. Л. 360  
Степенная книга 101, 118, 119  
Стефан, папа 54  
«Стефанит и Ихнилат» 41  
Степенько I. 309, 317  
Стрыйковский М. 103, 108, 110, 132  
Суворин А. С. 360  
Сулакадзе А. И. 274  
Сумароков А. П. 4, 346  
Сумцов Н. Ф. 122  
Сухомлинов М. И. 81, 82, 85, 94  
Сушицкий Ф. П. 104  
«Сын отечества» 358  
Сырчан, хан 165  
«Талмуд» 171  
Тавский 334  
Тарловский М. 205  
Татищев В. Н. 228, 305  
Тацит 288  
Творогов Л. А. 223  
Теодоров-Балан А. 70  
Теренций 281  
Тиховский Ю. 105, 106  
Тихомиров М. П. 94  
Тихонравов Н. С. 6, 162, 206, 217, 262, 309  
Тичина П. 152  
Толковая Палая 31, 32, 41  
Толковый апокалипсис 102  
Толстой Л. Н. 5, 27, 349  
Томашевский Б. 347  
Транквилион Ставровецкий Кирилл 122  
Тредиаковский В. К. 300  
де Трессан 248, 250  
Тризна Иосиф 117, 118  
Трифонов Ю. 65  
Трубицын Н. О. 340  
«Труды Киевской духовной академии» 109, 111, 327  
«Труды Института славяноведения» 114  
«Труды Отдела древнерусской литературы» 58, 72, 87, 94, 95, 102, 110, 220  
Тувим Юлиан 220  
Тунццкий Н. Л. 63, 65, 71, 72  
Тупиков Н. М. 257, 260, 261  
Туптало Даниил — см. Дмитрий Ростовский  
«Тысяча и одна ночь» 171  
Тютчев Ф. И. 5

- Уваров А. С. 342  
«Ужасная измѣна...» 309  
«Украинский вестник» 357  
Унбегаун Б. 225, 260  
Ундольский В. М. 229, 235  
«Утренняя звезда» 344  
«Ученые записки Карело-финского педагогического института» 75  
«Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института» 266  
«Ученые записки Ленинградского университета» 105  
«Ученые записки Московского университета» 15, 241
- Федор Алексеевич 109  
Федор (Федорец) 85  
Федор Юрьевич 175  
Федькович Ю. 150  
Феодосий Печерский 25, 27, 60, 88, 132  
«Физиолог» 62, 74, 167  
«Филологические записки» 26  
Флоровский А. В. 45, 52, 56  
Фома, пресвитер 85, 170  
Фома Аквинат 283  
Франко И. 4, 11, 27, 31—35, 37, 122, 150, 309, 311, 314, 328  
Францев В. А. 56  
Фрчек Я. 227
- Хмельницкий Богдан 353  
«Хожделение богородицы по мукам» 262, 349  
Холошевский Калистрат 117  
Храбр, черноризец 63, 67  
Хрисогов 54  
Хронограф 102, 104, 258  
«Хронограф по великому изложению» 76  
Хрущов И. П. 89
- «Цветная триодь» 63  
«Центральная Европа» 70  
Цицерон 275, 288
- Чаттертон 264  
Чернышевский Н. Г. 5, 24  
Чернявская С. Л. 259  
Чернявский М. 151  
Четья 1489 г. 114, 120  
Чижевский Д. 58, 60  
«Чин мастерству» 259  
«Чиновник» 54  
«Чтения в Историческом обще-
- стве Нестора-летописца» 122, 123, 340  
«Чтения в Обществе истории и древностей российских» 21, 99, 125, 126  
Чулков М. Д. 241, 251, 263, 269, 340, 355
- Шаликов П. 360  
Шамбинаго С. К. 200, 205, 235, 237, 238  
Шарокан 256  
Шахматов А. А. 27, 34, 36, 37, 40, 41, 45—47, 57—59, 62, 72, 80—82, 84, 89, 99, 102, 104, 105, 110  
Шашкевич М. 149  
Шевченко Т. 5, 11, 27, 32, 106, 149, 309—312, 314, 338, 360  
Шевырев С. П. 48, 85, 198, 199, 264  
Шейковский К. 151  
«Шестоднев» 66, 67, 167  
Шипков А. С. 196, 197, 198, 210, 245  
Шлецер А. 80, 275  
Шляпкин И. А. 55  
Шторм Г. П. 207, 209, 211, 212, 213
- Щербатов М. М. 228  
Щурат В. 125, 151, 203
- Эзоп 285  
Энгельс Ф. 78, 140, 161, 190, 192, 320  
Эфрос Н. Е. 317
- Югов А. К. 197, 223  
Юрий, князь киевский 177
- Яворский Стефан 282, 284, 285, 287, 289, 294  
Яворский Ю. А. 122  
Ягич В. 26, 58, 122  
Языков Д. 80  
Якобсон Р. 60, 64, 65  
Яковлев В. А. 162, 216, 217, 218, 219  
Ярополк Святославич 107, 291, 295, 298  
Ярослав Владимирович Осмомысл 138, 141, 158, 163, 165, 185, 189, 197, 200, 203, 211, 213  
Ярослав Всеволодович, князь Черниговский 140, 141, 181, 183, 200, 202, 203, 206, 208, 214  
Ярослав Мудрый 44, 55, 59, 74, 84,

- 95, 107, 130, 131, 163, 168—170,  
180, 207, 211, 212, 242, 244  
Ярославна 143—145, 148, 149,  
155—157, 191, 192, 196—198, 200,  
202, 205, 206, 208—213, 246, 249,  
250, 251, 258, 274  
Ясинский Варлаам 294, 301
- «Archiv für slavische Philologie»  
67, 318  
Badecki K. 319  
«Balticoslavica» 224  
Borelius Cecilia 108  
Budzyk Kaz. 319
- «Byzantinoslavika» 49, 57, 73  
«Harvard Slavic Studies» 60  
«Idea artis poeticae» 308  
Jakobson R. (Jansen Olaf) 51  
«Comunia duchowna ss. Borysa y  
Hleba» 309, 316  
Leger Louis 225  
Leskin A. 67  
Lewanski J. 319  
Mazon A. 226, 227, 241, 244, 255,  
257, 258, 281, 263, 266, 267, 270,  
274  
Popov N. 87  
«Poetica practica» 306

## СОДЕРЖАНИЕ

Николай Каллиникович Гудзий. <i>А. В. Мишанич</i>	3
Литература Киевской Руси в истории братских литератур . . . . .	13
Литература Киевской Руси и древнейшие инославянские литературы . . . . .	44
Традиции литературы Киевской Руси в старинных украинской и белорусской литературах . . . . .	99
«Слово о полку Игоревім» . . . . .	136
«Слово о полку Игореве» и древнерусская литературная традиция . . . . .	153
«Слово о плъку Игоревъ» и его историческая почва	181
О составе «золотого слова» Святослава в «Слове о полку Игореве» . . . . .	195
О перестановке в начале текста «Слова о полку Игореве» . . . . .	216
По поводу ревизии подлинности «Слова о полку Игореве» . . . . .	224
Феофан Прокопович . . . . .	280
Українські інтермедії XVII—XVIII ст. . . . .	306
«Энеида» И. П. Котляревского и русская травестированная поэма XVIII в. . . . .	339
Примечания . . . . .	361
Указатель имен и названий . . . . .	364



Научное издание

ГУДЗИЙ Николай Каллиникович

ЛИТЕРАТУРА  
КИЕВСКОЙ РУСИ  
И УКРАИНСКО-РУССКОЕ  
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЕДИНЕНИЕ  
XVII—XVIII ВЕКОВ

Оформление художника *В. Э. Куницы*  
Художественный редактор *В. П. Кузь*  
Технический редактор *Л. М. Капустина*  
Корректоры *Л. В. Малюга, Э. А. Ерохина*

ИБ 9986

Сдано в набор 10.05.88. Подп. в печ. 28.02.89. БФ 01031.  
Формат 84×108<sub>32</sub>. Бум. тип. № 1. Выс. печ. Обыкн. нов. гарн.  
Усл. печ. л. 19,74. Усл. кр.-отт. 19,74. Уч.-изд. л. 23,79.  
Тираж 1920 экз. Заказ 8—1459. Цена 4 р. 10 к.

Издательство «Наукова думка».  
252601 Киев 4, ул. Репина, 3

Отпечатано с матриц  
Головного предприятия республиканского  
производственного объединения «Полиграфкинига».  
252057, Киев, ул. Довженко, 3 в Нестеровской  
городской типографии. 292310 Нестеров,  
Львовской обл., ул. Горького, 8. Зак. 1737.